

Собрание сочинений
Владимира Сергеевича
СОЛОВЬЕВА

Съ 3-мя портретами и автографомъ

Подъ редакціей и съ примѣчаніями

С. М. Соловьева и Э. Л. Радлова

Второе изданіе

Томъ седьмой



С.-Петербургъ

Книгоиздательское Товарищество „Просвѣщеніе“,
Забалканскій просп., соб. д. № 75.

1912
<http://fcin.org.pl>

Продолжается подписка

на законченное печатаніемъ изданіе:

„Большая Энциклопедія“.

Словарь общедоступныхъ свѣдѣній по всѣмъ
отраслямъ знанія.

Подъ общей редакціей

С. Н. Южакова,

при участіи редакторовъ отдѣловъ:

Биологіческія науки — проф. А. М. Никольскій. — Ветеринарныя науки —
м-ръ ветеринарн. И. Н. Потапенко. — Военный отдѣлъ — проф. С. Лыко-
шинъ. — Востоковѣдѣніе — этнogr. академ. Д. А. Клеменцъ. — Географія,
геологія и минералогія — м-ръ геологіи С. Н. Никитинъ. — Древне-русская
письменность и славяновѣдѣніе — проф. А. К. Бороздинъ. — Иностранныя
литературы — прив.-доц. Е. В. Аничковъ. — Лингвистика — проф. Д. Н.
Овсяннико-Куликовскій. — Математика и астрономія — Л. Г. Малисъ. —
Медицина — врачъ Р. А. Брагинская. — Музыка — проф. Л. А. Саккетти. —
Русская литература XIX вѣка — А. М. Скабичевскій. — Соціология и исто-
рія — С. Н. Южаковъ. — Физика, химія и техника — д-ръ химіи В. А. Ко-
валевскій и проф. А. Н. Митинскій. — Экономическій отдѣлъ — проф. В. Г.
Яроцкій. — Юридический отдѣлъ — проф. В. М. Гессенъ, и при сотрудниче-
ствѣ болѣе 200 русскихъ ученыхъ и литературныхъ силъ.



„Большая Энциклопедія“ (тт. I—XX) рекомендована Главнымъ Управлениемъ
Военно-учебныхъ заведеній въ фундаментальная библиотеки кадетскихъ корпусовъ и
военныхъ училищъ.

Около 150,000 статей и замѣтокъ на 85,000 столбцовъ текста съ приблизительно 10,000
илюстрацій, картъ и плановъ въ текстѣ и на 1,000 отдѣльныхъ приложенийъ, изъ кото-
рыхъ 70 хромолитографій и болѣе 120 картъ и плановъ въ краскахъ.

Прогрессъ современной науки и связанныя съ нимъ крайняя специализація знаній съ
особой силой выдвинули потребность въ такъ называемыхъ энциклопедическихъ словаряхъ,
т. е. такихъ изданіяхъ, которыя стремятся ознакомить читателя хотя бы съ наиболѣе основа-
ными фактами и выводами всѣхъ отраслей науки и искуствъ, въ возможно обширенной

Собрание сочинений

В. С. СОЛОВЬЕВА.

Cogitative Communication

B. C. COJOPREBY

Собраніе сочиненій Владиміра Сергѣевича Соловьева.

Съ 3-мя портретами и автографомъ.

Подъ редакціей и съ примѣчаніями
С. М. Соловьева и Э. Л. Радлова.

Второе изданіе.

Томъ седьмой.

(1892—1897)

INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Tel. 26-68-63

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Книгоиздательское Товарищество „Просвѣщеніе“,
Забалканскій проспектъ, соб. д. № 75.

<http://rcin.org.pl>

Союз Георгия Победоносца
Бригада Георгия Победоносца
Союз Георгия Победоносца



Ломбардо Амадео

(1891-1892)

24.163/2

Содержание.

	Стр.
Смысл любви (1892—1894)	3
Предисловие къ книги Э. Гервей, Ф. Майерсъ и Ф. Подморѣ „Прижизненные призраки и другія телепатическія явленія“ (1893).	63
Первый шагъ къ положительной эстетикѣ (1894)	69
Буддійское настроеніе въ поэзіи (1894)	81
Современное состояніе вопроса о медіумизмѣ (1894)	100
Поэзія Ф. И. Тютчева (1895)	117
Поэзія гр. А. К. Толстого (1895)	135
Русскіе символисты (1895).	159
„Оттуда“. Разсказы Сергея Норманского (1895)	173
Рецензія на книгу Бундта (1895)	177
Когда жили еврейскіе пророки? (1896).	180
Магометъ, его жизнь и религіозное учение (1896)	203
Византізмъ и Россія (1896)	285
Поэзія Я. П. Полопскаго. Критический очеркъ (1896)	329
Сергѣй Михайлович Соловьевъ (1896).	354
Памяти императора Николая I (1896)	377
Миръ Востока и Запада (1896).	381
Изъ Московской губерніи. Письмо въ редакцію „Вѣстника Европы“ (1897)	385
Примѣчанія редактора	388

Catalogue

1920-1921. 1921-1922. 1922-1923. 1923-1924. 1924-1925. 1925-1926. 1926-1927. 1927-1928. 1928-1929. 1929-1930. 1930-1931. 1931-1932. 1932-1933. 1933-1934. 1934-1935. 1935-1936. 1936-1937. 1937-1938. 1938-1939. 1939-1940. 1940-1941. 1941-1942. 1942-1943. 1943-1944. 1944-1945. 1945-1946. 1946-1947. 1947-1948. 1948-1949. 1949-1950. 1950-1951. 1951-1952. 1952-1953. 1953-1954. 1954-1955. 1955-1956. 1956-1957. 1957-1958. 1958-1959. 1959-1960. 1960-1961. 1961-1962. 1962-1963. 1963-1964. 1964-1965. 1965-1966. 1966-1967. 1967-1968. 1968-1969. 1969-1970. 1970-1971. 1971-1972. 1972-1973. 1973-1974. 1974-1975. 1975-1976. 1976-1977. 1977-1978. 1978-1979. 1979-1980. 1980-1981. 1981-1982. 1982-1983. 1983-1984. 1984-1985. 1985-1986. 1986-1987. 1987-1988. 1988-1989. 1989-1990. 1990-1991. 1991-1992. 1992-1993. 1993-1994. 1994-1995. 1995-1996. 1996-1997. 1997-1998. 1998-1999. 1999-2000. 2000-2001. 2001-2002. 2002-2003. 2003-2004. 2004-2005. 2005-2006. 2006-2007. 2007-2008. 2008-2009. 2009-2010. 2010-2011. 2011-2012. 2012-2013. 2013-2014. 2014-2015. 2015-2016. 2016-2017. 2017-2018. 2018-2019. 2019-2020. 2020-2021.

Смыслъ любви.

1892—1894.

Cyrkuse Wogser

1893-1894

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ.

(Предварительные замѣчанія.)

I.

Обыкновенно смыслъ половой любви полагается въ размноженіи рода, которому она служить средствомъ. Я считаю этотъ взглядъ небѣримъ — не на основаніи только какихъ-нибудь идеальныхъ соображеній, а прежде всего на основаніи естественно-историческихъ фактовъ. Что размноженіе живыхъ существъ можетъ обходиться безъ половой любви, это ясно уже изъ того, что оно обходится безъ самого раздѣленія на полы. Значительная часть организмовъ, какъ растительнаго, такъ и животнаго царства, размножается безполымъ образомъ: дѣлениемъ, почкованиемъ, спорами, прививками. Правда, высшія формы обоихъ органическихъ царствъ размножаются половымъ способомъ. Но, во-первыхъ, размножающіеся такимъ образомъ организмы, какъ растительные, такъ отчасти и животные, могутъ также размножаться и безполымъ образомъ (прививка у растений, партеногенезисъ у высшихъ насѣкомыхъ), а во-вторыхъ, оставляя это въ сторонѣ и принимая, какъ общее правило, что высшіе организмы размножаются при посредствѣ полового соединенія, мы должны заключить, что этотъ половой факторъ связанъ не съ размноженіемъ вообще (которое можетъ происходить и помимо этого), а съ размноженіемъ высшихъ организмовъ. Слѣдовательно, смыслъ половой дифференціаціи (*и* половой любви) слѣдуетъ искать никакъ не въ ідеѣ родовой жизни и ея размноженія, а лишь въ *идее* высшаго организма.

Разительное этому подтвержденіе мы находимъ въ слѣдующемъ великому фактѣ. Въ предѣлахъ животныхъ, размножающихся исключительно половымъ образомъ (отдѣль позвоночныхъ), чѣмъ выше поднимаемся мы по лѣстницѣ организмовъ, тѣмъ сила размноженія

становится меньше, а сила полового влечения, напротивъ, больше. Въ низшемъ классѣ этого отдела — у рыбъ — размноженіе происходитъ въ огромныхъ размѣрахъ: зародыши, порождаемые ежегодно каждою самкою, считаются миллионами; эти зародыши оплодотворяются самцомъ вънъ тѣла самки, и способъ, какимъ это дѣлается, не позволяетъ предполагать сильного полового увлечения. Изъ всѣхъ позвоночныхъ животныхъ этотъ хладнокровный классъ несомнѣнно болѣе всѣхъ размножается и менѣе всѣхъ обнаруживаетъ любовную страсть. На слѣдующей ступени — у земноводныхъ и гадовъ — размноженіе гораздо менѣе значительное, чѣмъ у рыбъ, хотя по нѣкоторымъ своимъ видамъ этотъ классъ не безъ основанія относится Библіей къ числу существъ, кишмя кишащихъ (*шерецъ ширцу*); но при меньшемъ размноженіи мы уже находимъ у этихъ животныхъ болѣе тѣсныя половыя отношенія... У птицъ сила размноженія гораздо менѣе не только сравнительно съ рыбами, но и сравнительно, наприм., съ лягушками, а половое влечение и взаимная привязанность между самцомъ и самкою достигаютъ небывалаго въ двухъ низшихъ классахъ развитія. У млекопитающихъ — они же живородящія — размноженіе значительно слабѣе, чѣмъ у птицъ, а половое влечение хотя у большинства менѣе постоянно, но зато гораздо интенсивнѣе. Наконецъ, у человѣка, сравнительно со всѣмъ животнымъ царствомъ, размноженіе совершается въ наименьшихъ размѣрахъ, а половая любовь достигаетъ наибольшаго значенія и высочайшей силы, соединяя въ превосходной степени постоянство отношеній (какъ у птицъ) и напряженность страсти (какъ у млекопитающихъ). Итакъ, половая любовь и размноженіе рода находятся между собою въ обратномъ отношеніи: чѣмъ сильнѣе одно, тѣмъ слабѣе другое. Вообще все животное царство съ рассматриваемой стороны развивается въ слѣдующемъ порядкѣ. — Внизу огромная сила размноженія при полномъ отсутствіи чего-нибудь похожаго на половую любовь (за отсутствіемъ самого дѣленія на полы); далѣе, у болѣе совершенныхъ организмовъ, появляется половая дифференціація и соответственно ей нѣкоторое половое влечение — сначала крайне слабое, затѣмъ оно постепенно увеличивается на дальнѣйшихъ степеняхъ органическаго развитія, по мѣрѣ того какъ убываетъ сила размноженія (т. е. въ прямомъ отношеніи къ совершенству организаціи и въ обратномъ отношеніи къ силѣ размноженія), пока наконецъ на самомъ верху — у человѣка является возможна спльнѣйшая половая любовь, даже съ пол-

нымъ исключениемъ размноженія. Но если такимъ образомъ на двухъ концахъ животной жизни мы находимъ съ одной стороны размноженіе безъ всякой половой любви, а съ другой стороны половую любовь безъ всякаго размноженія, то совершенно ясно, что эти два явленія не могутъ быть поставлены въ неразрывную связь другъ съ другомъ, — ясно, что каждое изъ нихъ имѣть свое самостоятельное значеніе, и что смыслъ одного не можетъ состоять въ томъ, чтобы быть средствомъ другого. То же самое выходитъ, если рассматривать половую любовь исключительно въ мірѣ человѣческомъ, гдѣ она несравненно болѣе, чѣмъ въ мірѣ животномъ, принимаетъ тотъ индивидуальный характеръ, въ силу которого *именно это* лицо другого пола имѣть для любящаго безусловное значеніе, какъ единственное и незамѣнимое, какъ цѣль сама въ себѣ.

II.

Тутъ мы встречаемся съ поцуплярною теоріей, которая, признавая вообще половую любовь за средство родового инстинкта, или за орудіе размноженія, пытается въ частности объяснить индивидуализацію любовного чувства у человѣка какъ нѣкоторую хитрость или обобъщеніе, употребляемое природою или міровою волей для достижения ея особыхъ цѣлей. Въ мірѣ человѣческомъ, гдѣ индивидуальные особенности получаютъ гораздо большее значенія, нежели въ животномъ и растительномъ царствѣ, природа (иначе — міровая воля, воля въ жизни, иначе — безсознательный или сверхсознательный міровой духъ) имѣть въ виду не только сохраненіе рода, но и осуществление въ его предѣлахъ множества возможныхъ частныхъ или видовыхъ типовъ и индивидуальныхъ характеровъ. Но кромѣ этой общей цѣли — проявленія возможно полного разнообразія формъ — жизнь человѣчества, понимаемая какъ исторический процессъ, имѣть задачей возвышение и усовершенствованіе человѣческой природы. Для этого требуется не только, чтобы было какъ можно больше различныхъ образчиковъ человѣчества, но чтобы являлись на свѣтѣ *лучшіе* его образчики, которые цѣнны не только сами по себѣ, какъ индивидуальные типы, но и по своему возвышающему и улучшающему дѣйствію на прочихъ. Итакъ, при размноженіи человѣческаго рода та сила, — какъ бы мы ее ни называли, — которая двигаетъ міровымъ и историческимъ процессомъ, заинтересована не въ томъ только, что-

бы непрерывно нарождались человѣческія особи по роду своему, по и въ томъ, чтобы нарождались эти опредѣленныя и по возможности запачтительныя индивидуальности. А для этого уже недостаточно простого размноженія путемъ случайного и безразличного соединенія особей разнаго пола: для индивидуально-опредѣленнаго произведенія необходимо сочетаніе индивидуально *определенныхъ* производителей, а следовательно недостаточнымъ является и общее половое влечение, служащее воспроизведенію рода у животныхъ. Такъ какъ въ человѣчествѣ дѣло идетъ не только о произведеніи потомства вообще, по и о произведеніи этого наиболѣе пригоднаго для міровыхъ цѣлей потомства, и такъ какъ данное лицо можетъ произвести это требуемое потомство не со всякимъ лицомъ другого пола, а лишь съ однимъ опредѣленнымъ, то это одно и должно имѣть для него особую притягательную силу, казаться ему чѣмъ-то исключительнымъ, незамѣнимымъ, единственнымъ и способнымъ дать высшее блаженство. Вотъ это-то и есть та индивидуализація и экзальтація полового инстинкта, которою человѣческая любовь отличается отъ животной, но которая, какъ и та, возбуждается въ насть чуждою, хоть можетъ быть и высшою силою для ея собственныхъ, постороннихъ нашему личному, сознанію цѣлей, — возбуждается какъ ирраціональная роковая страсть, овладѣвающая нами и исчезающая какъ миражъ по минованіи въ ней надобности¹.

Если бъ эта теорія была вѣрна, если бъ индивидуализація и экзальтація любовнаго чувства имѣли весь свой смыслъ, свою единственную причину и цѣль виѣ этого чувства, именно въ требуемыхъ (для міровыхъ цѣдей) свойствахъ потомства, то отсюда логически слѣдовало бы, что степень этой любовной индивидуализаціи и экзальтациі или сила любви находится въ прямомъ отношеніи со степенью типичности и значительности происходящаго отъ нея потомства: чѣмъ важнѣе потомство, тѣмъ сильнѣе должна бы быть любовь родителей, и, обратно, чѣмъ сильнѣе любовь, связывающая двухъ данныхъ лицъ, тѣмъ болѣе замѣчательного потомства должны бы мы были

¹ Я изложилъ общую сущность отвергаемаго мною взгляда, не останавливаясь на второстепенныхъ видоизмѣненіяхъ, которыхъ онъ представляетъ у Шопенгауера, Гартмана и др. Въ недавно вышедшемъ брошюрѣ „Основной двигатель наслѣдственности“ (Москва 1891) Вальтеръ пытается историческими фактами доказать, что великие люди являются плодомъ сильной взаимной любви.

ожидать отъ нихъ по этой теоріи. Если вообще любовное чувство возбуждается міровою волею ради требуемаго потомства и есть только средство для его произведенія, то понятно, что въ каждомъ данномъ случаѣ сила средства, употребляемаго космическимъ двигателемъ, должна быть соразмѣрна съ важностью для него достигаемой цѣли. Чѣмъ болѣе міровая воля заинтересована въ имѣющемся явиться на свѣтъ произведеніи, тѣмъ сильнѣе должна она притянуть другъ къ другу и связать между собою двухъ несобходимыхъ производителей. Положимъ, дѣло идетъ о рожденіи мірового генія, имѣющаго огромное значеніе въ историческомъ процессѣ. Управляющая этимъ процессомъ высшая сила, очевидно, во столько разъ болѣе заинтересована этимъ рожденіемъ сравнительно съ прочими, во сколько этотъ міровой геній есть явленіе болѣе рѣдкое сравнительно съ обыкновенными смертными, и слѣдовательно на столько же должно быть сильнѣе обыкновенного то половое влечение, которымъ міровая воля (по этой теоріи) обезпечиваетъ себѣ въ этомъ случаѣ достиженіе столь важной для нея цѣли. Конечно, защитники теоріи могутъ отвергать мысль о точномъ количественномъ отношеніи между важностью данного лица и силою страсти его родителей, такъ какъ эти предметы точного измѣренія не допускаютъ; но совершенно безспорно (съ точки зрѣнія этой теоріи), что если міровая воля *чрезвычайно* заинтересована въ рожденіи какого-нибудь человека, она должна принять *чрезвычайныя мѣры* для обеспеченія желанного результата, т. е. по смыслу теоріи должна возбудить въ родителяхъ *чрезвычайно сильную страсть*, способную сокрушить всѣ препятствія къ ихъ соединенію.

Въ дѣйствительности однако мы не находимъ ничего подобнаго, никакого соотношенія между силою любовной страсти и значеніемъ потомства. Прежде всего мы встрѣчаемъ совершенно необъяснимый для этой теоріи фактъ, что самая сильная любовь весьма часто бываетъ пераzdѣленна и не только великаго, но и вовсе никакого потомства не производить. Если вслѣдствіе такой любви люди постригаются въ монахи или кончаютъ самоубійствомъ, то изъ-за чего же тутъ хлопотала заинтересованная въ потомствѣ міровая воля? Но если бы даже пламенный Вертеръ ² и не убилъ себя, то все-таки его не-

² Здѣсь и далѣе поясняю свое разсужденіе примѣрами преимущественно изъ великихъ произведеній поэзіи. Они предпочтительнѣе примѣровъ изъ дѣйствительной жизни, такъ какъ представляютъ не отдѣльные явленія, а цѣлые типы.

счастная страсть остается необъяснимою загадкой для теоріи квалифицированного потомства. Чрезвычайно индивидуализованная и экзальтированная любовь Вертера къ Шарлоттѣ показывала (съ точки зрѣнія этой теоріи), что именно съ Шарлоттою онъ долженъ быть произведенъ особенно важное и нужное для человѣчества потомство, ради котораго міровая воля и возбудила въ немъ эту необыкновенную страсть. Но какъ же эта всевѣдущая и всемогущая воля не догадалась или не смогла подѣйствовать въ желанномъ смыслѣ и на Шарлотту, безъ участія которой страсть Вертера была вполнѣ безцѣльной и не-нужной? Дляteleologически дѣйствующей субстанціи *love's labour lost* есть совершенная нелѣпость.

Особенно сильная любовь большою частью бываетъ несчастна, а несчастная любовь весьма обыкновенно ведеть къ самоубийству въ той или другой формѣ; и каждое изъ этихъ многочисленныхъ самоубийствъ отъ несчастной любви явно опровергаетъ ту теорію, по которой сильная любовь только затѣмъ и возбуждается, чтобы во что бы то ни стало произвести требуемое потомство, котораго важность знаменуется силою этой любви, тогда какъ на самомъ дѣлѣ во всѣхъ этихъ случаяхъ сила любви именно исключаетъ самую возможность не только важнаго, но и какого бы то ни было потомства.

Случаи нераздѣленной любви слишкомъ обычны, чтобы видѣть въ нихъ только исключеніе, которое можно оставить безъ вниманія. Да если бъ и такъ, — это мало помогло бы дѣлу, ибо и въ тѣхъ случаяхъ, где особенно сильно любовь является съ обѣихъ сторонъ, она не приводитъ къ тому, что требуется теоріей. По теоріи, Ромео и Джульетта должны были бы соответственно своей великой взаимной страсти породить какого-нибудь очень великаго человѣка, по крайней мѣрѣ Шекспира, но на самомъ дѣлѣ, какъ извѣстно, наоборотъ: не они создали Шекспира, какъ следовало бы по теоріи, а онъ ихъ, и при томъ безъ всякой страсти — путемъ безполаго творчества. Ромео и Джульетта, какъ и большинство страстныхъ любовниковъ, умерли, не породивъ никого, а породившій ихъ Шекспиръ, какъ и прочие великие люди, родился не отъ безумно-влюбленной пары, а отъ здѣшнаго житейского брака (и самъ онъ хотя испытывалъ сильную любовную страсть, какъ видно между прочимъ изъ его сонетовъ, но никакого замѣчательного потомства отсюда не произошло). Рожденіе Христофора Колумба было, можетъ быть, для міровой воли еще важнѣе, чѣмъ рожденіе Шекспира; но о какой-нибудь особенной любви

у его родителей мы ничего не знаемъ, а знаемъ о его собственной сильной страсти къ дониѣ Беатрисѣ Энрихѣсь, и хотя онъ имѣлъ отъ нея незаконнорожденаго сына Діэго, по этотъ сынъ ничего великаго не сдѣлалъ, а написалъ только біографію своего отца, что могъ бы исполнить и всякой дургой.

Если весь смыслъ любви въ потомствѣ и высшая сила управляетъ любовными дѣлами, то почему же вместо того, чтобы статься о соединеніи любящихъ, она, напротивъ, какъ будто нарочно препятствуетъ этому соединенію, какъ будто ея задача именно въ томъ, чтобы во что бы то ни стало отнять самую возможность потомства у истинныхъ любовниковъ: она заставляетъ ихъ по роковому недоразумѣнію закапываться въ склепахъ, топить ихъ въ Геллеспонтѣ и всякими другими способами доводить ихъ до безвременной и бездѣтной кончины. А въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда сильная любовь не принимаетъ трагического оборота, когда влюбленная пара счастливо доживаетъ до старости, она все-таки остается бесплодною. Бѣрное поэтическое чутье дѣйствительности заставило и Овидія, и Гоголя лишить потомства Филимона и Бавкиду, Аѳанасія Ивановича и Нульхерю Ивановну.

Невозможно признать прямого соответствія между силою индивидуальной любви и значеніемъ потомства, когда самое существование потомства при такой любви есть лишь рѣдкая случайность. Какъ мы видѣли, 1) сильная любовь весьма обыкновенно остается нераздѣленною; 2) при взаимности сильная страсть приводить къ трагическому концу, не доходя до произведенія потомства; 3) счастливая любовь, если она очень сильна, также остается обыкновенно бесплодною. А въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда необычайно сильная любовь производить потомство, оно оказывается самымъ зауряднымъ. Какъ общее правило, изъ котораго почти нѣть исключений, можно установить, что особая интенсивность половой любви или вовсе не допускаетъ потомства, или допускаетъ только такое, котораго значеніе нисколько не соответствуетъ напряженности любовнаго чувства и исключительному характеру порождаемыхъ имъ отношений.

Видѣть смыслъ половой любви въ цѣлесообразномъ дѣторожденіи значитъ признавать этотъ смыслъ только тамъ, гдѣ самой любви вовсе нѣть, а гдѣ она есть, отнимать у нея всякий смыслъ и всякое оправданіе. Эта мнимая теорія любви, сопоставленная съ дѣйствительностью, оказывается не объясненіемъ, а отказомъ отъ всякихъ объясненій.

III.

Управляющая жизнью человечества сила, которую одни называют міровою водой, другие — безсознательнымъ духомъ, и которая на самомъ дѣлѣ есть Промыслъ Божій, несомнѣнно распоряжается своевременнымъ порожденіемъ необходимыхъ для ея цѣлей пророческихъ людей, устраивая въ длинныхъ рядахъ поколѣній должностные сочетанія производителей въ виду будущихъ, не только ближайшихъ, но и отдаленнѣйшихъ произведеній. Для этого пророческое подбора производителей употребляются самыя разнообразныя средства, по любовь въ собственномъ смыслѣ, т. е. исключительное индивидуализованное и экзальтированное половое влечение, не припадлежитъ къ числу этихъ средствъ. Библейская исторія съ ея истиннымъ глубокимъ реализмомъ, не исключающимъ, а воплощающимъ идеальный смыслъ фактовъ въ ихъ эмпирическихъ подробностяхъ, — библейская исторія даетъ свидѣтельство въ этомъ случаѣ, какъ и всегда, правдивое и поучительное для всякаго человѣка съ историческимъ и художественнымъ смысломъ, независимо отъ религіозныхъ вѣрованій.

Центральный фактъ библейской исторіи, рожденіе Мессіи, больше всякаго другого предполагаетъ пророческий планъ въ выборѣ и соединеніи преемственныхъ производителей, и дѣйствительно главный интересъ библейскихъ рассказовъ сосредоточивается на разнообразныхъ и удивительныхъ судьбахъ, которыми устраивались рожденія и сочетанія «богоотцовъ»³. Но во всей этой сложной системѣ средствъ, опредѣлившихъ въ порядкѣ историческихъ явленій рожденіе Мессіи, для любви въ собственномъ смыслѣ не было места; она, конечно, встрѣчается въ Библіи, но лишь какъ фактъ самостоятельный, а не какъ орудіе христогонического процесса. Священная книга не говоритъ, женился ли Авраамъ на Саррѣ въ силу пламенной любви⁴, но во всякомъ случаѣ Пророчество ждало, когда эта любовь совершенно остынетъ, чтобы отъ столькихъ родителей произвести дитя вѣры, а не любви. Исаакъ женился на Ревекѣ не по любви, а по заранѣе составленному решению и плану своего отца. Іаковъ любилъ Рахиль, но эта любовь оказывается ненужной для происхожденія Мессіи. Онъ

³ Такъ называются на церковномъ языке преимущественно свв. Іоакимъ и Анна, но и прочие предки Богоматери носятъ иногда у церковныхъ писателей это название.

⁴ Повидимому, это исключается извѣстнымъ приключениемъ въ Египтѣ, которое при сильной любви было бы психологически невозможно.

должепъ произойти отъ сына Іакова — Іуды, который рождается не Рахилью, а нелюбимою мужемъ Ліею. Для произведенія въ данномъ поколѣніи предка Мессіи, необходимо было соединеніе Іакова именно съ Ліей; но, чтобы достигнуть этого соединенія, Провидѣніе не возбуждаетъ въ Іаковѣ сильной любовной страсти къ будущей матери «богородителя» — Іуды; не нарушая свободы сердечнаго чувства, высшая сила оставляетъ его любить Рахиль, а для необходимаго соединенія его съ Ліей пользуется средствомъ совсѣмъ иного рода: своеокрыстною хитростью третьаго лица — преданнаго своимъ семействымъ и экономическимъ интересамъ Лавана. Самъ Іуда для произведенія дальнѣйшихъ предковъ Мессіи долженъ, помимо своего прежняго потомства, на старости лѣтъ соединиться съ невѣсткою своею Тамарой. Такъ какъ подобное соединеніе вовсе не было въ порядкѣ вещей и не могло бы произойти при обыкновенныхъ условіяхъ, то цѣль достигается посредствомъ крайне страннаго приключенія, весьма соблазнительнаго для поверхностныхъ читателей Бібліи. Ни о какой любви въ этомъ приключеніи не можетъ быть и рѣчи. Не любовь соединяетъ іерихонскую блудницу Рахабъ съ пришельцемъ евреемъ; она сначала отдается ему по своей профессіи, а потомъ случайная связь скрѣпляется ея вѣрою въ силу нового Бога и желаніемъ его покровительства для себя и своихъ. Не любовь сочетала Давида праѣда, старика Вооза, съ молодою моавитянкою Руфью, и не отъ настоящей глубокой любви, а только отъ случайной груѣховной прихоти старѣющаго владыки родился Соломонъ.

Въ священной исторії, такъ же какъ и въ общей, половая любовь не является средствомъ или орудіемъ историческихъ цѣлей; она не служить человѣческому роду. Поэтому, когда субъективное чувство говорить намъ, что любовь есть самостоятельное благо, что она имѣеть собственную безотносительную цѣнность для нашей личной жизни, то этому чувству соответствуетъ и въ объективной дѣйствительности тотъ фактъ, что сильная индивидуальная любовь никогда не бываетъ служебнымъ орудіемъ родовыхъ цѣлей, которыхъ достигаются помимо нея. Въ общей, какъ и въ священной, исторіи половая любовь (въ собственномъ смыслѣ) никакой роли не играетъ и прямого дѣйствія на исторической процессъ не оказывается: ея положительное значеніе должно корениться въ индивидуальной жизни.

Какой же смыслъ она имѣеть здѣсь?

СТАТЬЯ ВТОРАЯ.

I.

И у животныхъ, и у человѣка половая любовь есть высший расцвѣтъ индивидуальной жизни. Но такъ какъ у животныхъ родовая жизнь рѣшительно перевѣшиается индивидуальной, то и высшее напряженіе этой послѣдней идетъ лишь на пользу родовому процессу. Не то, чтобы половое влечение было лишь средствомъ для простого воспроизведенія или размноженія организмовъ, но оно служить для произведенія организмовъ *болѣе совершенныхъ* съ помощью полового соперничества и подбора. Такое же значеніе старались приписать половой любви и въ мірѣ человѣческомъ, но, какъ мы видѣли, совершенно напрасно. Ибо въ человѣчествѣ индивидуальность имѣть самостоятельное значеніе и не можетъ быть въ своемъ сильнѣйшемъ выраженіи лишь орудіемъ вѣшнихъ ей цѣлей исторического процесса. Или, лучше сказать, истинная цѣль исторического процесса не такого рода, чтобы человѣческая личность могла служить для нея лишь страдательнымъ и преходящимъ орудіемъ.

Убѣженіе въ безотносительномъ достоинствѣ человѣка основано не на самомнѣніи, а также и не на томъ эмпирическомъ факѣ, что мы не знаемъ другого болѣе совершенного существа въ порядкѣ природы. Безотносительное достоинство человѣка состоить въ несомнѣнно присущей ему абсолютной формѣ (образѣ) *разумнаго* сознанія. Сознавая, какъ и животное, пережитыя и переживаemые имъ состоянія, усматривая между ними ту или другую связь и на основаніи этой связи предваряя умомъ состоянія будущія, человѣкъ, *сверхъ твою*, имѣетъ способность оцѣнивать свои состоянія, и дѣйствія, и всякие факты вообще, не только по отношенію ихъ къ другимъ единичнымъ фактамъ, но и ко всеобщимъ идеальнымъ нормамъ; его сознаніе *сверхъ явлений* жизни опредѣляется еще *разумомъ истины*. Сообразуя свои дѣйствія съ этимъ высшимъ сознаніемъ, человѣкъ можетъ безконечно совершенствовать свою жизнь и природу, не выходя изъ предѣловъ *человѣческой формы*. Поэтому-то онъ и есть высшее существо природного міра и дѣйствительный конецъ міроздательного процесса; ибо, помимо Существа, которое само есть вѣчная и абсолютная истина между всѣми другими, то, которое способно познавать и осуществлять въ себѣ истину, есть высшее — не въ относительномъ, а въ безуслов-

номъ смыслъ. Какое разумное основаніе можно придумать для созданія новыхъ, по существу болѣе совершенныхъ формъ, когда есть уже форма, способная къ безкочечному самоусовершенствованію, могущая вмѣстить всю полноту абсолютного содержанія? Съ появленіемъ такой формы дальнѣйшій прогрессъ можетъ состоять только въ новыхъ степеняхъ ея собственнаго развитія, а не въ смынѣ ея какими-нибудь созданіями другого рода, другими небывалыми формами бытія. Въ этомъ существенное отличіе между космогоническимъ и историческимъ процессомъ. Первый создаетъ (до появленія человѣка) все новые и новые роды существъ, при чёмъ прежніе частью истребляются, какъ неудачные опыты, частью же вмѣстѣ съ новымъ виѣшимъ образомъ существуютъ и случайно сталкиваются между собой, не образуя никакого дѣйствительного единства вслѣдствіе отсутствія въ нихъ общаго сознанія, которое связывало бы ихъ между собой и съ космическими прошлымъ. Такое общее сознаніе является въ человѣчествѣ. Въ мірѣ животныхъ преемство высшихъ формъ отъ низшихъ, при всей своей правильности и цѣлесообразности, есть фактъ для нихъ самихъ безусловно виѣшній и чуждый, вовсе для нихъ не существующій: слонъ и обезьяна ничего не могутъ знать о сложномъ процессѣ геологическихъ и биологическихъ трансформацій, обусловившемъ ихъ дѣйствительное появление на землѣ; сравнительно высшая степень развитія частнаго и единичнаго сознанія не означаетъ здѣсь никакого прогресса въ общемъ сознаніи, которое такъ же безусловно отсутствуетъ у этихъ умныхъ животныхъ, какъ и у глупой устрицы; сложный мозгъ высшаго млекопитающаго столь же мало служить для самоосвѣщенія природы въ ея цѣлости, какъ и зачаточные нервныя узлы какого-нибудь червя. Въ человѣчествѣ, напротивъ, чрезъ повышенное индивидуальное сознаніе, религіозное и научное, прогрессируетъ сознаніе всеобщее. Индивидуальный умъ здѣсь есть не только органъ личной жизни, но также органъ воспоминанія и гаданія для всего человѣчества и даже для всей природы. Тотъ еврей, который написалъ: *вотъ книга рождения неба и земли* (элле тол'дот гашаммаим ве гаарэц) и далѣе: *вотъ книга рождения человѣка* (эз сэфер тол'дот гаадам), выражалъ не только свое личное и народное сознаніе, — черезъ него впервые просияла въ мірѣ истина всемирнаго и вселовѣческаго единства⁵. И всѣ дальнѣйшіе успѣхи сознанія состоять лишь въ разви-

⁵ Если скажутъ, что эти слова богохваловены, то это будетъ не возраженіе, а только переводъ моей мысли на теологической языке.

ти и воплощений этой истины, имъ незачѣмъ и нельзя выходить изъ этой *всесообщемлющей* формы: что иное можетъ сдѣлать сама совершенная астрономія и геологія, какъ не возстановить вполнѣ генезисъ небесъ и земли; точно такъ же высшею задачей исторического познанія можетъ быть только — возстановить «книгу рождений человѣка», т. е. генетическую преемственную связь въ жизни человѣчества, и, наконецъ, наша творческая дѣятельность не можетъ имѣть высшей цѣли, какъ воплощать въ ощущительныхъ образахъ это изначала со-зданиое и провозглашенное единство небесъ, земли и человѣка. Вся истина — положительное единство всего — изначала заложена въ живомъ сознаніи человѣка и постепенно осуществляется въ жизни человѣчества съ сознательною преемственностью (ибо истина, не *появляющая родства*, не есть истина). Благодаря безграничной растяжимости и неразрывности своего преемственного сознанія, человѣкъ, оставаясь самимъ собою, можетъ постигать и осуществлять всю безпредѣльную полноту бытія, и потому никакіе высшіе роды существъ на смѣну ему не нужны и невозможны. Въ предѣлахъ своей данной дѣйствительности человѣкъ есть только часть природы; но онъ постоянно и послѣдовательно нарушаетъ эти предѣлы; въ своихъ духовныхъ порожденіяхъ — религіи и наукѣ, нравственности и художествѣ — онъ обнаруживается какъ центръ всеобщаго сознанія природы, какъ душа міра, какъ осуществляющаяся потенція абсолютнаго всеединства, и слѣдовательно, выше его можетъ быть только это самое абсолютное въ своемъ совершенномъ актѣ, или вѣчномъ бытіи, т. е. Богъ.

II.

Преимущество человѣка передъ прочими существами природы — способность познавать и осуществлять истину — не есть только родовая, но и индивидуальная: *каждый* человѣкъ способенъ познавать и осуществлять истину, каждый можетъ стать живымъ отражениемъ абсолютнаго цѣлага, сознательнымъ и самостоятельнымъ органомъ всемірной жизни. И въ остальной природѣ есть истина (или образъ Божій), но лишь въ своей объективной общности, невѣдомой для частныхъ существъ; она образуетъ ихъ и дѣйствуетъ въ нихъ и черезъ нихъ — какъ роковая сила, какъ нерѣдомый имъ самимъ законъ ихъ бытія, которому они подчиняются невольно и безсознательно; для себя самихъ, въ своемъ внутреннемъ чувствѣ и сознаніи, они не

могутъ подняться надъ своимъ даннымъ частичнымъ существованіемъ, они находятъ себя только въ своей особенности, въ отдѣльности отъ *всего*, — следовательно, въ истины; а потому истина или всеобщее можетъ торжествовать здѣсь только въ смѣнѣ поколѣній, въ пребываніи рода и въ гибели индивидуальной жизни, не вмѣщающей въ себя истину. Человѣческая же индивидуальность именно потому, что она можетъ вмѣщать въ себѣ истину, не упраздняется ею, а сохраняется и усиливается въ ея торжествѣ.

Но для того, чтобы индивидуальное существо нашло въ истинахъ — всеединствѣ — свое оправданіе и утвержденіе, недостаточно съ его стороны одного сознанія истины, — оно должно быть въ истинѣ, а первоначально и непосредственно индивидуальный человѣкъ, какъ и животное, не есть въ истинѣ: онъ находитъ себя какъ обособленную частицу всемирного цѣлага и это свое частичное бытіе онъ утверждаетъ въ эгоизмѣ какъ цѣлое для себя, хотеть быть всемъ въ отдѣльности отъ всего, — въ истины. Эгоизмъ, какъ реальное основное начало индивидуальной жизни, всю ее проникаетъ и направляетъ, все въ ией конкретно опредѣляетъ, а потому его никакъ не можетъ перевѣсить и упразднить одно теоретическое сознаніе истины. Пока живая сила эгоизма не встрѣтится въ человѣкѣ съ другою живою силою, ей противоположною, сознаніе истины есть только вѣтшее освѣщеніе, отблескъ чужого свѣта. Если бы человѣкъ только въ этомъ смыслѣ могъ вмѣщать истину, то связь съ нею его индивидуальности не была бы внутреннею и неразрывною; его собственное существо, оставалось, какъ животное, въ истины, было бы, какъ оно, обречено (въ своей субъективности) на гибель, сохраняясь только, какъ идея, въ мысли абсолютнаго ума.

Истина, какъ живая сила, овладѣвающая внутреннимъ существомъ человѣка и дѣйствительно выводящая его изъ ложнаго самотвержденія, называется любовью. Любовь, какъ дѣйствительное упраздненіе эгоизма, есть дѣйствительное оправданіе и спасеніе индивидуальности. Любовь больше, чѣмъ разумное сознаніе, но безъ него она не могла бы дѣйствовать какъ внутренняя спасительная сила, возвышающая, а не упраздняющая индивидуальность. Только благодаря разумному сознанію (или, что то же, сознанію истины) человѣкъ можетъ различать самого себя, т. е. свою истинную индивидуальность, отъ своего эгоизма, а потому, жертвуя этимъ эгоизмомъ, отдаваясь самъ любви, онъ находитъ въ ней не только живую, но и животворя-

щую силу и не теряетъ вмѣстѣ со своимъ эгоизмомъ и свое индивидуальное существо, а напротивъ, увѣковѣчивающа его. Въ мірѣ животныхъ, вслѣдствіе отсутствія у нихъ собственнаго разумнаго сознанія, истина, реализующаяся въ любви, не находя въ нихъ внутренней точки опоры для своего дѣйствія, можетъ дѣйствовать лишь прямо, какъ виѣшняя для нихъ роковая сила, завладѣвающая ими какъ сильными орудіями для чуждыхъ имъ міровыхъ цѣлей; здесь любовь является какъ одностороннѣе торжество общаго, родового надъ индивидуальнымъ, поскольку у животныхъ ихъ индивидуальность впадаетъ съ эгоизмомъ въ непосредственности частичнаго бытія, а потому и гибнетъ вмѣстѣ съ нимъ.

III.

Смысль человѣческой любви вообще есть *оправданіе и спасеніе индивидуальности* черезъ жертву эгоизма. На этомъ общемъ основаніи мы можемъ разрѣшить и специальную нашу задачу: объяснить смыслъ половой любви. Недаромъ же половыя отношенія не только называются любовью, но и представляютъ, по общему признанію, любовь по преимуществу, являясь типомъ и идеаломъ всякой другой любви (см. Пѣснь Пѣсней, Апокалипсисъ).

Ложь и зло эгоизма состоять вовсе не въ томъ, что этотъ человѣкъ слишкомъ высоко себя оцѣнить, придастъ себѣ безусловное значеніе и безконечное достоинство: въ этомъ онъ правъ, потому что всякий человѣческий субъектъ, какъ самостоятельный центръ живыхъ силъ, какъ потенція (возможность) безконечного совершенства, какъ существо, могущее въ сознаніи и въ жизни своей вмѣстить абсолютную истину, — всякий человѣкъ въ этомъ качествѣ имѣть безотносительное значеніе и достоинство, есть нечто безусловно-незамѣнное и слишкомъ высоко оцѣнить себя не можетъ (по евангельскому слову: что дастъ человѣкъ въ обмѣнъ за душу свою?). Непризнаніе за собою этого безусловнаго значенія равносильно отреченію отъ человѣческаго достоинства; это есть основное заблужденіе и начало всякаго невѣрія: онъ такъ малодушень, что даже въ самого себя вѣрить не въ силахъ — какъ можетъ онъ повѣрить во что-нибудь другое? Основная ложь и зло эгоизма не въ этомъ абсолютномъ самосознаніи и самооцѣнкѣ субъекта, а въ томъ, что, приписывая себѣ по справедливости безусловное значеніе, онъ несправедливо отказываетъ другимъ въ

этомъ значеніи; признавая себя центромъ жизни, каковъ онъ и есть въ самомъ дѣлѣ, онъ другихъ относить къ окружности своего бытія, оставляетъ за ними только внѣшнюю и относительную цѣнность.

Разумѣется, въ отвлеченномъ, теоретическомъ сознаніи всякий человѣкъ, не помѣшившійся въ разсудкѣ, всегда допускаетъ полную равноправность другихъ съ собою; но въ сознаніи жизненномъ, въ своемъ внутреннемъ чувствѣ и на дѣлѣ, онъ утверждаетъ безконечную разницу, совершенную несопримѣрность между собою и другими: онъ самъ по себѣ есть все, они сами по себѣ — ничто. Между тѣмъ, именно при такомъ исключительномъ самоутвержденіи человѣкъ и не можетъ быть въ самомъ дѣлѣ тѣмъ, чѣмъ онъ себя утверждаетъ. То безусловное значеніе, та абсолютность, которую онъ вообще справедливо за собою признаетъ, по несправедливо отнимается у другихъ, имѣть сама по себѣ лишь потенциальный характеръ, — это только возможность, требующая своего осуществленія. Богъ есть все, т. е. обладаетъ въ одномъ абсолютномъ актѣ всѣмъ положительнымъ содержаніемъ, всею полнотою бытія. Человѣкъ (вообще и всякий индивидуальный человѣкъ въ частности), будучи фактически только *этимъ*, а не *другимъ*, можетъ становиться всѣмъ, лишь снимая въ своемъ сознаніи и жизни ту внутреннюю грань, которая отдѣляетъ его отъ другого. «Этотъ» можетъ быть «всѣмъ» только *въ本事ѣ съ другими*, лишь вмѣстѣ съ другими можетъ онъ осуществить свое безусловное значеніе — стать нераздѣльною и незамѣнною частью всеединаго цѣлаго, самостоятельнымъ живымъ и своеобразнымъ органомъ абсолютной жизни. Истинная индивидуальность есть нѣкоторый опредѣленный образъ всеединства, нѣкоторый опредѣленный способъ воспріятія и усвоенія себѣ всего другого. Утверждая себя вѣтѣ всего другого, человѣкъ тѣмъ самымъ лишаетъ смысла свое собственное существованіе, отнимаетъ у себя истинное содержаніе жизни и превращаетъ свою индивидуальность въ пустую форму. Такимъ образомъ эгоизмъ никакъ не есть самосознаніе и самоутвержденіе индивидуальности, а напротивъ — самоотрицаніе и гибель.

Метафизическая и физическая, историческая и соціальная условія человѣческаго существованія всячески видоизмѣняютъ и смягчаютъ нашъ эгзизмъ, полагая сильныя и разнообразныя преграды для обнаруженія его въ чистомъ видѣ и во всѣхъ ужасныхъ его послѣдствіяхъ. Но вся эта сложная, Провидѣніемъ предопределенная, природою и исторіей осуществляемая система препятствій и коррективовъ оста-

вляетъ нетронутою самую основу эгоизма, который постоянно выглядываетъ изъ-подъ покрова личной и общественной нравственности, а при случаѣ проявляется и съ полпою ясностью. Есть только одна сила, которая можетъ изнутри, въ корнѣ, подорвать эгоизмъ, и дѣйствительно его подрываетъ, именно любовь и главнымъ образомъ любовь половая. Ложь и зло эгоизма состоять въ исключительномъ признаніи безусловного значенія за собою и въ отрицаніи его у другихъ; разсудокъ показываетъ намъ, что это неосновательно и несправедливо, а любовь прямо фактически упраздняетъ такое несправедливое отношение, заставляя насть не въ отвлеченномъ сознаніи, а во внутреннемъ чувствѣ и жизненной волѣ признать для себя безусловное значеніе другого. Познавая въ любви истину другого не отвлеченно, а существенно, перенося на дѣлъ центръ своей жизни за предѣлы своей эмпирической особности, мы тѣмъ самымъ проявляемъ и осуществляемъ свою собственную истину, свое безусловное значеніе, которое именно и состоить въ способности переходить за границы своего фактическаго феноменального бытія, въ способности жить не только въ себѣ, но и въ другомъ.

Всякая любовь есть проявление этой способности, но не всякая осуществляется ее въ одинаковой степени, не всякая одинаково радикально подрываетъ эгоизмъ. Эгоизмъ есть сила не только реальная, но основная, укоренившаяся въ самомъ глубокомъ центрѣ нашего бытія и оттуда проникающая и обнимающая всю нашу дѣйствительность, — сила, непрерывно дѣйствующая во всѣхъ частностяхъ и подробностяхъ нашего существованія. Чтобы настоящимъ образомъ подорвать эгоизмъ, ему необходимо противопоставить такую же конкретно опредѣленную и все наше существо проникающую, все въ немъ захватывающую любовь. То другое, которое должно освободить изъ оковъ эгоизма нашу индивидуальность, должно имѣть соотношеніе со всею этой индивидуальностью, должно быть такимъ же реальнымъ и конкретнымъ, вполнѣ объектированнымъ субъектомъ, какъ и мы сами, и вмѣстѣ съ тѣмъ должно во всемъ отличаться отъ насть, чтобы быть дѣйствительно другимъ, т. е., имѣя все то существенное содержаніе, которое и мы имѣемъ, имѣть его другимъ способомъ или образомъ, въ другой формѣ, такъ, чтобы всякое проявление нашего существа, всякий жизненный актъ встречали въ этомъ другомъ соотвѣтствующее, но не одинаковое проявление, такъ чтобы отношеніе одного къ другому было полнымъ и постояннымъ обмѣномъ, полнымъ и по-

стояннымъ утверждениемъ себя въ другомъ, совершеннымъ взаимодѣйствиемъ и общенiemъ. Тогда только эгоизмъ будетъ подорванъ и упраздненъ не въ принципѣ только, а во всей своей конкретной дѣйствительности. Только при этомъ, такъ сказать, химическомъ соединеніи двухъ существъ однородныхъ и равнозначительныхъ, но всесторонне различныхъ по формѣ, возможно (какъ въ порядке природномъ, такъ и въ порядке духовномъ) созданіе новаго человѣка, дѣйствительное осуществленіе истинной человѣческой индивидуальности. Такое соединеніе или по крайней мѣрѣ ближайшую возможность къ нему мы находимъ въ половой любви, почему и придаемъ ей исключительное значеніе, какъ необходимому и незамѣнимому основанію всего дальнѣйшаго совершенствованія, какъ неизбѣжному и постоянному условию, при которомъ только человѣкъ можетъ дѣйствительно быть въ истинѣ.

IV.

Признавая вполнѣ великую важность и высокое достоинство другихъ родовъ любви, которыми ложный спиритуализмъ и импотентный морализмъ хотѣли бы замѣнить любовь половую, мы видимъ однако, что только эта послѣдняя удовлетворяетъ двумъ основнымъ требованіямъ, безъ которыхъ невозможно рѣшительное упраздненіе самости въ полномъ жизненномъ общепи съ другимъ. Во всѣхъ прочихъ родахъ любви отсутствуетъ или однородность, равенство и взаимодѣйствіе между любящимъ и любимымъ, или же всестороннее различие восполняющихъ другъ друга свойствъ.

Такъ, въ любви мистической предметъ любви сводится въ концѣ концовъ къ абсолютному безразличію, поглощающему человѣческую индивидуальность; здѣсь эгоизмъ упраздняется только въ томъ весьма недостаточномъ смыслѣ, въ какомъ онъ упраздняется, когда человѣкъ впадаетъ въ состояніе глубокаго сна (съ которымъ въ Упанишадахъ и Ведантѣ сравнивается, а иногда и прямо отождествляется соединеніе индивидуальной души со всемирнымъ духомъ). Между живымъ человѣкомъ и мистическою «Бездною» абсолютного безразличія, по совершенной разпородности и несознѣмѣримости этихъ величинъ, не только жизненнаго общенія, но и простой совмѣстности быть не можетъ: если есть предметъ любви, то любящаго нѣтъ — онъ исчезъ, потерялъ себя, погрузился какъ бы въ глубокій сонъ безъ сновидѣній, а когда онъ возвращается въ себя, то предметъ любви исчезаетъ, и

вмѣсто абсолютнаго безразличія воцаряется пестрое многоразличіе дѣйствительной жизни на фонѣ собственнаго эгоизма, украшенаго духовною гордостью. Исторія знаетъ, впрочемъ, такихъ мистиковъ и цѣлія мистической школы, гдѣ предметъ любви понимался не какъ абсолютное безразличіе, а принималъ конкретныя формы, допускавшія живыя къ нему отношенія, но — весьма замѣчательно — эти отношенія получали здѣсь вполнѣ ясный и послѣдовательно выдержаный характеръ половой любви . . .

Любовь родительская — въ особенности материнская — и по силѣ чувства, и по конкретности предмета приближается къ любви половой, но по другимъ причинамъ не можетъ имѣть равнаго съ нею значенія для человѣческой индивидуальности. Она обусловлена фактъ размноженія и закономъ смѣны поколѣній, съ господствующимъ въ жизни животной, но не имѣющимъ или во всякомъ случаѣ не единствующимъ имѣть такого значенія въ жизни человѣческой. У животныхъ послѣдующее поколѣніе прямо и быстро упраздняетъ своихъ предшественниковъ и обличаетъ въ безмысленности ихъ существованіе, чтобы быть сейчасъ, въ свою очередь, обличеннымъ въ такой же безмысленности существованія со стороны своихъ собственныхъ порожденій. Материнская любовь въ человѣчествѣ, достигающая иногда до высокой степени самопожертвованія, какую мы не находимъ въ любви куриной, есть остатокъ, несомнѣнно, пока необходимый, этого порядка вещей. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что въ материнской любви не можетъ быть полной взаимности и жизненнаго общенія уже потому, что любящая и любимые принадлежать къ разнымъ поколѣніямъ, что для послѣднихъ жизнь — въ будущемъ съ новыми самостоятельными интересами и задачами, среди которыхъ представители прошедшаго являются лишь какъ блѣдныя тѣни. Достаточно того, что родители не могутъ быть для дѣтей цѣлью жизни въ томъ смыслѣ, въ какомъ дѣти бываются для родителей.

Мать, полагающая всю свою душу въ дѣтей, жертвуясь, конечно, своимъ эгоизмомъ, но она вмѣстѣ съ тѣмъ теряетъ и свою индивидуальность, а въ нихъ материнская любовь если и поддерживаетъ индивидуальность, то сохраняетъ и даже усиливаетъ эгоизмъ. — Помимо этого, въ материнской любви нѣтъ собственно признанія безусловнаго значенія за любимымъ, признанія его истинной индивидуальности, ибо для матери хотя ея дѣтище дороже всего, но именно только какъ ся дѣтище, не иначе, чѣмъ у прочихъ животныхъ, т. е. здѣсь мнимое

признаніе безусловнаго значенія за другимъ въ дѣйствительности обусловлено виѣшнею физиологическою связью.

Еще менѣе могутъ имѣть притязаніе замѣнить половую любовь остальные роды симпатическихъ чувствъ. Дружбѣ между лицами одного и того же пола недостаетъ всесторонняго формального различія восполняющихъ другъ друга качествъ, и если, тѣмъ не менѣе, эта дружба достигаетъ особенной интенсивности, то она превращается въ противостоящій суррогатъ половыи любви. Что касается до патротизма и любви къ человѣчеству, то эти чувства, при всей своей важности, сами по себѣ жизненно и конкретно упразднить эгоизмъ не могутъ, по несознательности любящаго съ любимымъ: ни человѣчество, ни даже народъ не могутъ быть для отдельного человѣка такимъ же конкретнымъ предметомъ, какъ онъ самъ. Пожертвовать свою жизнь народу или человѣчеству, конечно, можно, но создать изъ себя нового человѣка, проявить и осуществить истинную человѣческую индивидуальность на основе этой экстенсивной любви невозможно. Здѣсь въ реальномъ центрѣ все-таки остается свое старое эгоистическое я, а народъ и человѣчество относятся на периферию сознанія, какъ предметы идеальные. То же самое должно сказать о любви къ наукѣ, искусству и т. п.

Указавши въ немногихъ словахъ на истинный смыслъ половыи любви и на ея преимущества передъ другими сродными чувствами, я долженъ объяснить, почему она такъ слабо осуществляется въ дѣйствительности, и показать, какимъ образомъ возможно ея полное осуществление. Этимъ я займусь въ послѣдующихъ статьяхъ.

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ.

I.

Смысль и достоинство любви, какъ чувства, состоитъ въ томъ, что она заставляетъ насъ дѣйствительно, всѣмъ наполнившисьъ существомъ признать за другимъ то безусловное центральное значеніе, которое, въ силу эгоизма, мы ощущаемъ только въ самихъ себѣ. Любовь важна не какъ одно изъ нашихъ чувствъ, а какъ перенесеніе всего нашего жизненнаго интереса изъ себя въ другое, какъ перестановка самаго центра нашей личной жизни. Это свойственно всякой любви, но полно-

вой любви⁶ по преимуществу; она отличается отъ другихъ родовъ любви и большою интенсивностью, болѣе захватывающимъ характеромъ, и возможностью болѣе полной и всесторонней взаимности; только эта любовь можетъ вести къ дѣйствительному и неразрывному соединенію двухъ жизней въ одну, только про нее и въ словѣ Божиемъ сказано: будуть два въ плоть едину, т. е. станутъ однимъ реальнымъ существомъ.

Чувство требуетъ такой полноты соединенія, внутренняго и окончательшаго, по дальше этого субъективнаго требованія и стремленія дѣло обыкновенно не идетъ, да и то оказывается лишь преходящимъ. На дѣлѣ вместо поэзіи вѣчнаго и центральнаго соединенія происходитъ лишь болѣе или менѣе продолжительное, но все-таки временное, болѣе или менѣе тѣсное, но все-таки вышеине, поверхностное сближеніе двухъ ограниченныхъ существъ въ узкихъ рамкахъ житейской прозы. Предметъ любви не сохраняетъ въ дѣйствительности того безусловнаго значенія, которое придается ему влюбленною мечтою. Для посторонняго взгляда это ясно съ самаго начала; но невольный отг҃вѣнокъ насмѣшки, неизбѣжно сопровождающей чужое отношеніе къ влюбленнымъ, оказывается лишь предвареніемъ ихъ собственнаго разочарованія. Разомъ или понемногу паѳосъ любовнаго увлеченія проходитъ, и хорошо еще, если проявившаяся въ немъ энергія альтруистическихъ чувствъ не пропадаетъ даромъ, а только, потерявши свою сосредоточенность и высокій подъемъ, переносится въ раздробленномъ и разбавленномъ видѣ на дѣтей, которыя рождаются и воспитываются для повторенія того же самаго обмана. Я говорю обмана — съ точки зреянія индивидуальной жизни и безусловнаго значенія человѣческой личности, вполнѣ признавая необходимость и цѣлесообразность дѣторожденія и смѣны поколѣній для прогресса человѣчества въ его собирательной жизни. Но собственно любовь тутъ не при чемъ. Совпаденіе сильной любовной страсти съ успешнымъ дѣторожденіемъ есть только случайность, и при томъ довольно рѣдкая; историческій и ежедневный опытъ несомнѣнно показываетъ, что дѣти могутъ быть удачно рождаemy, горячо любимы и прекрасно воспитываемы своими

⁶ Я называю половою любовью (за пеимѣніемъ лучшаго названія) исключительную привязанность (какъ обойдную, такъ и одностороннюю) между лицами разнаго пола, могущими быть между собою въ отношеніи мужа и жены, нисколько не предрѣшай при этомъ вопроса о значеніи физиологической стороны дѣла.

родителями, хотя бы эти послѣдніе никогда не были влюблены другъ въ друга. Слѣдовательно, общественные и всемирные интересы человѣчества, связанные со смысломъ поколѣй, вовсе не требуютъ высшаго паѳоса любви. А между тѣмъ въ жизни индивидуальной этасть лучшій ея расцвѣтъ оказывается пустощающимъ. Первоначальная сила любви теряетъ здѣсь весь свой смыслъ, когда ея предметъ съ высоты безусловного центра увѣковѣченной индивидуальности низводится на степень случайного и легко замѣнимаго средства для произведенія новаго, быть можетъ немного лучшеаго, а быть можетъ немного худшаго, но во всякомъ случаѣ относительного и переходящаго поколѣй людей.

Итакъ, если смотрѣть только на то, что обыкновенно бываетъ, на фактическій исходъ любви, то должно признать ее за мечту, временно овладѣвающую нашимъ существомъ и исчезающую, не перейдя ни въ какое дѣло (такъ какъ дѣторождение не есть собственно дѣло любви). Но признавая въ силу очевидности, что идеальный смыслъ любви не осуществляется въ дѣйствительности, должны ли мы признать его *неосуществимымъ*?

По самой природѣ человѣка, который въ своемъ разумномъ сознаніи, нравственной свободѣ и способности къ самосовершенствованію обладаетъ безконечными возможностями, мы не имѣемъ права заранѣе считать для него неосуществимою какую бы то ни было задачу, если она не заключается въ себѣ внутренняго логического противорѣчія или же несоставимости съ общимъ смысломъ вселенной и цѣлесообразнымъ ходомъ космического и исторического развитія.

Было бы совершенно несправедливо отрицать осуществимость любви только на томъ основаніи, что она до сихъ поръ никогда не была осуществлена: вѣдь въ томъ же положеніи находилось никогда и многое другое, напримѣръ, всѣ науки и искусства, гражданское общество, управление силами природы. Даже и самое разумное сознаніе, прежде чѣмъ стать фактомъ въ человѣкѣ, было только смутнымъ и безуспешнымъ стремленіемъ въ мірѣ животныхъ. Сколько геологическихъ и биологическихъ эпохъ прошло въ неудачныхъ попыткахъ создать мозгъ, способный стать органомъ для воплощенія разумной мысли. Любовь для человѣка есть пока то же, чѣмъ былъ разумъ для міра животнаго: она существуетъ въ своихъ зачаткахъ или задаткахъ, но еще не на самомъ дѣлѣ. И если огромные міровые периоды—свидѣтели неосуществленного разума—не помѣшили ему наконецъ осуществиться, то тѣмъ больше неосуществленность любви въ теченіе немногихъ

сравнительно тысячелѣтій, пережитыхъ историческимъ человѣчествомъ, никакъ не даетъ права заключить что-нибудь противъ ея будущей реализаціи. Слѣдуетъ только хорошо помнить, что если дѣйствительность разумнаго сознанія явилась въ человѣкѣ, но не чрезъ человѣка, то реализація любви, какъ высшая ступень къ собственной жизни самаго человѣчества, должна произойти не только въ немъ, но и чрезъ него.

Задача любви состоитъ въ томъ, чтобы *оправдать на дѣль* тотъ смыслъ любви, который сначала данъ только въ чувствѣ; требуется такое сочетаніе двухъ данныхъ ограниченныхъ существъ, которое создало бы изъ нихъ одну абсолютную идеальную личность. — Эта задача не только не заключается въ себѣ никакого внутренняго противорѣчія и никакого несоответствія со всемирнымъ смысломъ, но она прямо дана нашею духовною природою, особенность которой состоитъ именно въ томъ, что человѣкѣ можетъ, оставаясь самимъ собою, въ своей собственной формѣ вмѣстить абсолютное содержаніе, стать абсолютной личностью. Но чтобы наполниться абсолютнымъ содержаніемъ (которое на религіозномъ языке называется вѣчною жизнью или царствиемъ Божиемъ), сама человѣческая форма должна быть возстановлена въ своей цѣлости (интегрирована). Въ эмпирической дѣйствительности человѣкa, какъ такого, вовсе нѣть — онъ существуетъ лишь въ опредѣленной односторонности и ограниченности, какъ мужская или женская индивидуальность (и уже на этой основе развиваются всѣ прочія различія). Но истинный человѣкъ въ полнотѣ своей идеальной личности, очевидно, не можетъ быть только мужчиной, или только женщиной, а долженъ быть высшимъ единствомъ обоихъ. Осуществить это единство или создать истинного человѣка, какъ свободное единство мужского и женского начала, сохраняющихъ свою формальную обособленность, но преодолѣвшихъ свою существенную разнью и распаденіе, это и есть собственная ближайшая задача любви. Разсматривая тѣ условія, которыя требуются для ея дѣйствительного разрѣщенія, мы убѣдимся, что только несоблюдение этихъ условій приводить любовь ко всегдашнему крушенню и заставляетъ признавать ее иллюзіей.

II.

Первый шагъ къ успешному решенію всякой задачи есть сознательная и вѣрная ея постановка: но задача любви никогда сознательно не ставилась, а потому никогда и не решалась какъ слѣдуетъ. На

любовь смотрѣли и смотрятъ только какъ на данный фактъ, какъ на состояніе (нормальное для однихъ, болѣзньное для другихъ), которое переживается человѣкомъ, но ни къ чему его не обязываетъ; правда, сюда привязываются двѣ задачи: физиологического обладанія любимымъ лицомъ и житейского съ нимъ союза, — изъ нихъ послѣдняя налагаетъ иѣкоторыя обязанности, — но тутъ уже дѣло подчиняется законамъ животной природы съ одной стороны и законамъ гражданскаго общежитія — съ другой, а любовь, съ начала и до конца предоставленная самой себѣ, исчезаетъ, какъ миражъ. Конечно, прежде всего любовь есть фактъ природы (или даръ Божій), независимо отъ насъ возникающій естественный процессъ; но отсюда не слѣдуетъ, чтобы мы не могли и не должны были сознательно къ нему относиться и самодѣятельно направлять этотъ естественный процессъ къ высшимъ цѣлямъ. Даръ слова есть также натуральная принадлежность человѣка, языкъ не выдумывается, какъ и любовь. Однако, было бы крайне печально, если бы мы относились къ нему только какъ къ естественному процессу, который самъ собою въ насъ происходитъ, если бы мы говорили такъ, какъ поютъ птицы, предавались бы естественнымъ сочетаніямъ звуковъ и словъ для выраженія невольно проходящихъ чрезъ нашу душу чувствъ и представлений, а не дѣлали изъ языка орудія для послѣдовательного проведения известныхъ мыслей, средства для достиженія разумныхъ и сознательно-поставленныхъ цѣлей. При исключительно-пассивномъ и бессознательномъ отношеніи къ дару слова, не могли бы образоваться ни наука, ни искусство, ни гражданское общежитіе, да и самій языкъ, вслѣдствіе недостаточнаго примѣненія этого дара, не развился бы и остался при однихъ зачаточныхъ своихъ проявленіяхъ. Какое значеніе имѣть слово для образованія человѣческой общественности и культуры, такое же и еще большее имѣть любовь для созданія истинной человѣческой индивидуальности. И если въ первой области (общественной и культурной) мы замѣчаемъ хотя и медленный, но несомнѣнныи прогрессъ, тогда какъ индивидуальность человѣческая съ начала историческихъ временъ и доселѣ остается неизмѣнною въ своихъ фактическихъ ограниченіяхъ, то первая причина такой разницы та, что къ словесной дѣятельности и къ произведеніямъ слова мы относимся все больше и больше сознательно и самодѣятельно, а любовь попрежнему оставляется всецѣло въ темной области смутныхъ аффектовъ и невольныхъ влечений.



Какъ истинное назначеніе слова состоить не въ процессѣ говоренія самомъ по себѣ, а въ томъ, что говорится — въ откровеніи разума вещей черезъ слова или понятія, такъ истинное назначеніе любви состоить не въ простомъ испытываніи этого чувства, а въ томъ, что посредствомъ него совершаются, — въ дѣлѣ любви: ей недостаточно чувствовать для себя безусловное значеніе любимаго предмета, а нужно дѣйствительно дать или сообщить ему это значеніе, соединиться съ нимъ въ дѣйствительномъ созданіи абсолютной индивидуальности. И какъ высшая задача словесной дѣятельности уже предопределена въ самой природѣ словъ, которая неизбѣжно представляютъ общія и пребывающія понятія, а не отдельныя и прходящія впечатлѣнія, и слѣдовательно, уже сами по себѣ будучи связью многаго воедино, наводятъ насъ на разумѣніе всемирного смысла; подобнымъ же образомъ и высшая задача любви уже предуказана въ самомъ любовномъ чувствѣ, которое неизбѣжно прежде всякаго осуществленія вводить свой предметъ въ сферу абсолютной индивидуальности, видѣть его въ идеальномъ свѣтѣ, вѣрить въ его безусловность. Такимъ образомъ въ обоихъ случаяхъ (и въ области словеснаго познанія и въ области любви), задача состоить не въ томъ, чтобы выдумать отъ себя что-нибудь совершенно новое, а лишь въ томъ, чтобы постѣдовательно проводить далѣе и до конца то, что уже зачаточно дано въ самой природѣ дѣла, въ самой основѣ процесса. Но если слово въ человѣчествѣ развивалось и развивается, то относительно любви люди оставались и остаются до сихъ поръ при однихъ природныхъ зачаткахъ, да и тѣ плохо понимаются въ ихъ истинномъ смыслѣ.

III.

Всѣмъ извѣстно, что при любви непремѣнно бываетъ особенная *идеализациѣ* любимаго предмета, который представляется любящему совершенно въ другомъ свѣтѣ, нежели въ какомъ его видятъ посторонніе люди. Я говорю здѣсь о свѣтѣ не въ метафорическомъ только смыслѣ, дѣло тутъ не въ особенной только нравственной и умственной оцѣнкѣ, а еще въ особенномъ чувственномъ воспріятіи: любящій дѣйствительно *видитъ*, зрительно воспринимаетъ не то, что другіе. И для него впрочемъ этотъ любовный свѣтъ скоро исчезаетъ, но слѣдуетъ ли отсюда, что онъ былъ ложнымъ, что это была только субъективная иллюзія?

Истинное существо человѣка вообще и каждого человѣка не исчерпывается его данными эмпирическими явленіями — этому положенію нельзя противопоставить разумныхъ и твердыхъ основаній ни съ какой точки зрѣнія. Для материалиста и сенсуалиста не менѣе, чѣмъ для спиритуалиста и идеалиста, то, что кажется, не тождественно съ тѣмъ, что есть, а когда дѣло идетъ о двухъ различныхъ видахъ кажущагося, то всегда законенъ вопросъ, какой изъ этихъ видовъ болѣе совпадаетъ съ тѣмъ, что есть, или лучше выражаетъ природу вещей. Ибо кажущееся, или видимость вообще, есть дѣйствительное отношеніе, или взаимодѣйствіе между видящимъ и видимымъ и, следовательно, опредѣляется ихъ обобщенными свойствами. Внѣшній міръ человѣка и вѣнчаній міръ крота — оба состоятъ лишь изъ относительныхъ явленій или видимостей; однако ёдва ли кто серьезно усомнится въ томъ, что одинъ изъ этихъ двухъ кажущихся міровъ пре-восходитъ другого, болѣе соотвѣтствуетъ тому, что есть ближе къ истинѣ.

Мы знаемъ, что человѣкъ, кроме своей животной материальной природы, имѣеть еще идеальную, связывающую его съ абсолютной истиной или Богомъ. Помимо материального или эмпирическаго содержанія своей жизни, каждый человѣкъ заключаетъ въ себѣ образъ Божій, т. е. особую форму абсолютного содержанія. Этотъ образъ Божій теоретически и отвлеченно познается нами въ разумѣ и черезъ разумъ, а въ любви онъ познается конкретно и жизненно. И если это откровеніе идеального существа, обыкновенно закрытаго материальнымъ явленіемъ, не ограничивается въ любви однимъ внутреннимъ чувствомъ, но становится иногда ощущительнымъ и въ сферѣ виѣшнихъ чувствъ, то тѣмъ большее значеніе должны мы признать за любовью, какъ за началомъ видимаго возстановленія образа Божія въ материальномъ мірѣ, началомъ воплощенія истинной идеальной человѣчности. Сила любви, переходя въ свѣтъ, преобразуя и одухотворяя форму виѣшнихъ явленій, открываетъ намъ свою объективную мощь, но затѣмъ уже дѣло за нами: мы сами должны понять это откровеніе и воспользоваться имъ, чтобы оно не осталось мимолетнымъ и загадочнымъ проблескомъ какой-то тайны.

Духовно-физический процессъ возстановленія образа Божія въ материальномъ человѣчествѣ никакъ не можетъ совершиться самъ собою, помимо насъ. Начало его, какъ и всего лучшаго въ этомъ мірѣ, возникаетъ изъ темной для насъ области несознаваемыхъ процессовъ

и отношений; тамъ зачатокъ и корни дерева жизни, но возрастить его мы должны собственнымъ сознательнымъ дѣйствіемъ; для начала достаточно пассивной восприимчивости чувства, но затѣмъ необходима дѣятельная вѣра, нравственный подвигъ и трудъ, чтобы удержать за собою, укрѣпить и развить этотъ даръ свѣтлой и творческой любви, чтобы посредствомъ него воплотить въ себѣ и въ другомъ образѣ Божій и изъ двухъ ограниченныхъ и смертныхъ существъ создать одну абсолютную и бессмертную индивидуальность. Если неизбѣжно и невольно присущая любви идеализація показываетъ намъ сквозь эмпирическую видимость далекій идеальный образъ любимаго предмета, то, конечно, не за тѣмъ, чтобы мы имъ только любовались, а за тѣмъ, чтобы мы силою истинной вѣры, дѣйствующаго воображенія и реальнаго творчества преобразовали по этому истинному образцу несоответствующую ему дѣйствительность, воплотили его въ реальномъ явленіи.

Но кто же думалъ когда-нибудь о чёмъ-нибудь подобномъ по поводу любви? Средневѣковые миннезингеры и рыцари при своей сильной вѣрѣ и слабомъ разумѣ успокаивались на простомъ отождествленіи любовнаго идеала съ даннымъ лицомъ, закрывая глаза на ихъ явное несоответствіе. Эта вѣра была столь же тверда, но и столь же бесплодна, какъ тотъ камень, на которомъ «все въ той же позиції» сидѣлъ знаменитый рыцарь фонъ-Грюнвалдъ «у замка Амали».

Кромѣ такой вѣры, заставлявшей только благоговѣйно созерцать и восторженно воспѣвать мнимо-воплощенный идеалъ, средневѣковая любовь была, конечно, связана и съ жаждой подвиговъ. Но эти воинственные и истребительные подвиги, не имѣя никакого отношенія къ вдохновлявшему ихъ идеалу, не могли вести къ его осуществленію. Даже тотъ блѣдный рыцарь, который совсѣмъ отдался впечатлѣнію открывшемся передъ нимъ небесной красоты, не смѣшивая ее съ земными явленіями, и онъ вдохновлялся этимъ откровеніемъ лишь на такія дѣйствія, которыя служили болѣе ко вреду иноплеменниковъ, нежели къ пользѣ и славѣ «вѣчноженственнаго».

Lumen coeli! Sancta rosa!
Восклицалъ онъ дикъ и рьянь,
И какъ громъ его угроза
Поражала мусульманъ.

Для пораженія мусульманъ, конечно, не было надобности имѣть «видѣніе, непостижное уму». Но надѣль всѣмъ средневѣковымъ рыцар-

ствомъ тяготѣло это раздвоеніе между небесными видѣніями христіанства и «дикими и рьяными» силами въ дѣйствительной жизни, пока наконецъ, знаменитѣйшій и послѣдній изъ рыцарей, Донъ-Кихотъ Ламанчскій, перебивши много барановъ и сломавъ немало крыльевъ у вѣтряныхъ мельницъ, но никакъ не приблизивши тобозскую коровницу къ идеалу Дульцинеи, не пришелъ къ справедливому, но только отрицательному сознанію своего заблужденія; и если тотъ типичный рыцарь до конца остался вѣренъ своему видѣнію и «какъ безумецъ умеръ онъ», то Донъ-Кихотъ отъ безумія перешелъ только къ печальному и безнадежному разочарованію въ своеемъ идеалѣ.

Это разочарованіе Донъ-Кихота было завѣщаніемъ рыцарства новой Европы. Оно дѣйствуетъ въ нась и до сихъ порь. Любовная идеализація, переставши быть источникомъ подвиговъ безумныхъ, не вдохновляетъ ни къ какимъ. Она оказывается только приманкою, заставляющею нась желать физического и житейского обладанія, и исчезаетъ, какъ только эта совсѣмъ не идеальная цѣль достигнута. Свѣтъ любви ни для кого не служить путеводнымъ лучомъ къ потерянному раю; на него смотрятъ, какъ на фантастическое освѣщеніе краткаго любовнаго «пролога на небѣ», которое затѣмъ природа весьма своевременно гаситъ, какъ совершенно ненужное для послѣдующаго земного представленія. На самомъ дѣлѣ этотъ свѣтъ гаситъ слабость и безсознательность нашей любви, извращающей истинный порядокъ дѣла.

IV.

Внѣшнее соединеніе, житейское и въ особенности физиологическое, не имѣть опредѣленного отношенія къ любви. Оно бываетъ безъ любви, и любовь бываетъ безъ него. Оно необходимо для любви не какъ ея непремѣнное условіе и самостоятельная цѣль, а только какъ ея окончательная реализація. Если эта реализація ставится какъ цѣль сама по себѣ прежде идеального дѣла любви, она губитъ любовь. Всякий внѣшний актъ или фактъ самъ по себѣ есть ничто; любовь есть нечто только благодаря своему смыслу, или идеѣ, какъ возстановленіе единства или цѣлостности человѣческой личности, какъ создание абсолютной индивидуальности. Значеніе связанныхъ съ любовью внѣшнихъ актовъ и фактовъ, которые сами по себѣ ничто, опредѣляется ихъ отношеніемъ къ тому, что составляетъ самое любовь и ея дѣло. Когда нуль ставится послѣ цѣлаго числа, онъ уве-

личиваетъ его въ десять разъ, а когда ставится прежде него, то во столько же уменьшаетъ или раздробляетъ его, отнимаетъ у него характеръ цѣлаго числа, превращая его въ десятичную дробь; и чѣмъ больше этихъ нулей, предиосланныхъ цѣлому, тѣмъ мельче дробь, чѣмъ ближе она сама становится къ нулю.

Чувство любви само по себѣ есть только побужденіе, винущающее намъ, что мы можемъ и должны возсоздать цѣлость человѣческаго существа. Каждый разъ, когда въ человѣческомъ сердцѣ зажигается эта священная искра, вся стенающая и мучающаяся тварь ждетъ первого откровенія славы сыновъ Божіихъ. Но безъ дѣйствія сознательного человѣческаго духа Божія искра гаснетъ, и обманутая природа создаетъ новыя поколѣнія сыновъ человѣческихъ для новыхъ надеждъ.

Эти надежды не исполняются до тѣхъ поръ, пока мы не захотимъ вполнѣ признать и осуществить до конца все то, чего требуетъ истинная любовь, что заключается въ ея идеѣ. При сознательномъ отношеніи къ любви и дѣйствительномъ рѣшеніи исполнить ея задачу прежде всего останавливаютъ два факта, повидимому, осуждающіе насть на безсиліе и оправдывающіе тѣхъ, которые считаютъ любовь иллюзіей. Въ чувствѣ любви по основному его смыслу мы утверждаемъ безусловное значеніе другой индивидуальности, а черезъ это и безусловное значеніе своей собственной. Но абсолютная индивидуальность не можетъ быть *преходящей*, и она не можетъ быть *пустою*. Неизбѣжность смерти и пустота нашей жизни совершенно несовмѣстимы съ тѣмъ повышеннымъ утвержденіемъ индивидуальности своей и другой, которое заключается въ чувствѣ любви. Это чувство, если сно сильно и вполнѣ сознательно, не можетъ примириться съ увѣренностью въ предстоящемъ одряхленіи и смерти любимаго лица и своей собственной. Между тѣмъ толь несомнѣнныи фактъ, что всѣ люди всегда умирали и умираютъ, всѣми или почти всѣми принимается за безусловно непреложный законъ (такъ что даже въ формальной логикѣ принято пользоваться этою увѣренностью для составленія образцового силлогизма: «всѣ люди смертны, Кай человѣкъ, слѣдовательно, Кай смертенъ»). Многіе, правда, вѣрятъ въ бессмертіе души; но именно чувство любви лучше всего показываетъ недостаточность этой ствленной вѣры. Безплотный духъ есть не человѣкъ, а ангель; но мы любимъ человѣка, цѣлую человѣческую индивидуальность, и если любовь есть начало просвѣщенія и одухотворенія этой индивидуаль-

ности, то она необходимо требуетъ сохраненія ея какъ такой, требуетъ вѣчной юности и бессмертія этого опредѣленного человѣка, этого вѣтлесномъ организмѣ воплощенаго живого духа. Ангель или чистый духъ не нуждается вѣ просвѣтленіи и одухотвореніи; просвѣтляется и одухотворяется только плоть, и она есть необходимый предметъ любви. Представлять себѣ можно все, что угодно, но любить можно только живое, конкретное, а, любя его дѣйствительно, нельзя примириться съ увѣренностью вѣ его разрушеніи.

Но если неизбѣжность смерти несовмѣстима съ истинною любовью, то бессмертіе совершенно несовмѣстимо съ пустотою нашей жизни. Для большинства человѣчества жизнь есть только смѣна тяжелаго механическаго труда и грубочувственныхъ, оглушающихъ сознаніе, удовольствій. А то меньшинство, которое имѣеть возможность дѣятельно заботиться не о средствахъ только, но и о цѣляхъ жизни, вмѣсто этого пользуется своею свободою отъ механической работы главнымъ образомъ для бессмысленаго и безнравственнаго времяпривожденія. Минъ нечего распространяться про пустоту и безнравственность — невольную и бессознательную — всей этой мнимой жизни, послѣ ея великоглѣднаго воспроизведенія въ «Аннѣ Карениной», «Смерти Ивана Ильича» и «Крейцеровой сонатѣ»⁷. Возвращаясь къ своему предмету, укажу лишь на то очевидное соображеніе, что для такой жизни смерть не только неизбѣжна, но и крайне желательна: можно ли безъ ужасающей тоски даже представить себѣ безконечно продолжающееся существованіе какой-нибудь свѣтской дамы, или какого-нибудь спортсмена, или карточнаго игрока?

Несовмѣстимость бессмертія съ существованіемъ ясна съ первого взгляда. Но при большемъ вниманіи такую же несовмѣстимость мы должны будемъ признать и относительно другихъ, повидимому, болѣе наполненныхъ существованій. Если вмѣсто свѣтской дамы или игрока мы возьмемъ, на противоположномъ полюсѣ, великихъ людей, геніевъ, одарившихъ человѣчество бессмертными произведеніями, или измѣнившихъ судьбу народовъ, то увидимъ, что содер-

⁷ Наше „общество“, а вѣ томъ числѣ и свѣтская дамы, съ восхищениемъ читали эти произведенія, вѣ особенности „Крейцерову сонату“; но едва ли хоть одна изъ нихъ послѣ этого чтенія отказалась отъ какого-нибудь приглашенія на балъ, — такъ трудно одною моралью, хотя бы и вѣ совершенной художественной формѣ, измѣнить реальное дѣйствіе общественной среды.

жаніе ихъ жизни и ея исторические плоды имѣютъ значеніе лишь какъ данные разъ и навсегда, а при безконечномъ продолженіи индивидуального существованія этихъ геніевъ на землѣ потеряли бы всякий смыслъ. Безсмертіе произведеній, очевидно, никакъ не требуетъ и даже само по себѣ исключаетъ непрерывное безсмертіе произведшихъ ихъ индивидуальностей. Можно ли представить себѣ Шекспира, безконечно сочиняющаго свои драмы, или Ньютона, безконечно продолжающаго изучать небесную механику, не говоря уже о нелѣпости безконечнаго продолженія такой дѣятельности, какою прославились Александръ Великій или Наполеонъ. Очевидно, что искусство, наука, политика, давая содержаніе отдѣльнымъ стремлѣніямъ человѣческаго духа и удовлетворяя времененнымъ историческимъ потребностямъ человѣчества, вовсе не сообщаютъ абсолютнаго, самодовлѣющаго содержанія человѣческой индивидуальности, а потому и не нуждаются въ ея безсмертіи. Въ этомъ нуждается только любовь, и только она можетъ этого достигнуть. Истинная любовь есть та, которая не только утверждаетъ въ субъективномъ чувствѣ безусловное значеніе человѣческой индивидуальности въ другомъ и въ себѣ, но и оправдываетъ это безусловное значеніе въ дѣйствительности, дѣйствительно избавляетъ насъ отъ неизбѣжности смерти и наполняетъ абсолютнымъ содержаніемъ нашу жизнь.

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

«Діонисъ и Гадесь — одно и то же», сказалъ глубочайшій мыслитель древняго міра. Діонисъ, молодой и цвѣтущій богъ материальной жизни въ полномъ напряженіи ея кипящихъ силъ, богъ возбужденной и плодотворной природы — то же самое, что Гадесь, блѣдный владыка сумрачнаго и безмолвнаго царства отшедшихъ тѣней. Богъ жизни и богъ смерти — одинъ и тотъ же богъ. Это есть истина, безспорная для міра природныхъ организмовъ. Закипающая въ индивидуальномъ существѣ полнота жизненныхъ силъ не есть его собственная жизнь, это жизнь чужая, жизнь равнодушнаго и беспощаднаго къ нему рода, которая для него есть смерть. Въ низшихъ отдѣлахъ животнаго царства это вполнѣ ясно; здѣсь особи суще-

ствуютъ только для того, чтобы произвести потомство и затѣмъ умереть; у многихъ видовъ онъ не переживаются акта размноженія, умираютъ тутъ же на мѣстѣ, у другихъ переживаются лишь на очень короткое время. Но если эта связь между рождениемъ и смертью, между сохраненiemъ рода и гибелью особи есть законъ природы, то, съ другой стороны, сама природа въ своемъ поступательномъ развитіи все болѣе и болѣе ограничиваетъ и ослабляетъ этотъ свой законъ; необходимость для особи служить средствомъ для поддержанія рода и умирать по исполненіи этой службы остается, но дѣйствіе этой необходимости обнаруживается все менѣе и менѣе прямо и исключительно по мѣрѣ совершенствованія органическихъ формъ, по мѣрѣ возрастающей самостоятельности и сознательности индивидуальныхъ существъ. Такимъ образомъ законъ таждества Діониса и Гадеса, — родовой жизни и индивидуальной смерти, — или, что то же самое, законъ противоположности и противоборства между родомъ и особью, всего сильнѣе дѣйствуетъ на низшихъ ступеняхъ органическаго міра, а съ развитиемъ высшихъ формъ все болѣе и болѣе ослабляется; а если такъ, то съ появлениемъ безусловно-высшей органической формы, облекающей индивидуальное существо самосознательное и самодѣятельное, отдаляюще себѣ отъ природы, относящееся къ ней какъ къ объекту, слѣдовательно, способное къ внутренней свободѣ отъ родовыхъ требованій, — съ появлениемъ этого существа не долженъ ли наступить конецъ этой тираніи рода надъ особью? Если природа въ биологическомъ процессѣ стремится все болѣе и болѣе ограничивать законъ смерти, то не долженъ ли человѣкъ въ историческомъ процессѣ совершенно отмѣнить этотъ законъ?

Само по себѣ ясно, что, пока человѣкъ размножается, какъ животное, онъ и умираетъ, какъ животное. Но столь же ясно, съ другой стороны, и то, что простое воздержаніе отъ родового акта никакъ не избавляетъ отъ смерти: лица, сохранившія дѣвство, умираютъ, умираютъ и скопцы; ни тѣ, ни другіе не пользуются даже особенною долговѣчностью. Это и понятно. Смерть вообще есть дезинтеграція существа, распаденіе составляющихъ его факторовъ. Но раздѣленіе половъ — не устранимое ихъ внѣшнимъ и преходящимъ соединенiemъ въ родовомъ актѣ — это раздѣленіе между мужскимъ и женскимъ элементомъ человѣческаго существа есть уже само по себѣ состояніе дезинтеграціи и начало смерти. Пребывать въ половой раздѣльности значитъ пребывать на пути смерти, а кто не хо-

четь или не можетъ сойти съ этого пути, долженъ по естественной необходимости пройти его до конца. Кто поддерживаетъ корень смерти, тотъ неизбѣжно вкуситъ и плода ея. Безсмертнымъ можетъ быть только цѣлый человѣкъ, и если физиологическое соединеніе не можетъ дѣйствительно возстановить цѣльность человѣческаго существа, то, значитъ, это ложное соединеніе должно быть замѣнено истиннымъ соединеніемъ, а никакъ не воздержаніемъ отъ всякаго соединенія, т. е. никакъ не стремленіемъ удержать *in statu quo* раздѣленную, распавшуюся и, слѣдовательно, смертную человѣческую природу.

Въ чёмъ же состоитъ и какъ осуществляется истинное соединеніе половъ? Наша жизнь такъ далека отъ истины въ этомъ отношеніи, что за норму принимается здѣсь только менѣе крайняя, менѣе воплощая ненормальность. Это нужно еще пояснить, прежде чѣмъ идти дальше.

II.

Въ послѣднее время въ психіатрической литературѣ Германіи и Франціи появилось нѣсколько специальныхъ книгъ, посвященныхъ тому, что авторъ одной изъ нихъ назвалъ *psychopathia sexualis*, т. е. разнообразнымъ уклоненіямъ отъ нормы въ половыхъ отношеніяхъ. Эти сочиненія, помимо своего специального интереса для юристовъ, медиковъ и самихъ больныхъ, интересны еще съ такой стороны, о которой, навѣрное, не думали ни авторы, ни большинство читателей, а именно въ этихъ трактатахъ, написанныхъ почтенными учеными, вѣроятно, безукоризненной нравственности, поражаетъ отсутствие всякаго яснаго и опредѣленного понятія о нормѣ половыхъ отношений, о томъ, что и почему есть должно въ этой области, вслѣдствіе чего и опредѣление уклоненій отъ нормы, т. е. самый предметъ этихъ изслѣдований, оказывается взятымъ случайно и произвольно. Единственнымъ критеріемъ оказывается обычность или необычность явлений: тѣ влеченія и дѣйствія въ половой области, которая сравнительно рѣдки, признаются патологическими уклоненіями, требующими лѣченія, а тѣ, которые обыкновены и общеприняты, предполагаются какъ норма. При этомъ смѣщеніе нормы съ обычнымъ уклоненіемъ, отождествленіе того, что должно быть, съ тѣмъ, что заурядъ бываетъ, доходитъ здѣсь иногда до высокаго комизма. Такъ, въ казуистической части одного изъ этихъ сочиненій мы подъ нѣсколькими ну-

мерами находимъ повтореніе слѣдующаго терапевтическаго пріема: больного заставляютъ частью настойчивымъ медицинскимъ совѣтомъ, преимущественно же гипнотическимъ внушеніемъ, занимать свое воображеніе представленіемъ обнаженнаго женскаго тѣла или другими непристойными картинами нормально-полового характера (sic), и затѣмъ лѣченіе признается удавшимся и выздоровленіе полнымъ, если подъ вліяніемъ этого искусственного возбужденія пациентъ начнетъ охотно, часто и успѣшно посѣщать *Iupanaria* . . . Удивительно, какъ эти почтенные учёные не были остановлены хотя бы тѣмъ простымъ соображеніемъ, что чѣмъ удачнѣе будетъ терапія этого рода, тѣмъ легче пациентъ можетъ быть поставленъ въ необходимости отъ одной медицинской специальности обратиться къ помощи другой, и что торжество психіатра можетъ надѣлать большихъ хлопотъ дерматологу.

Изучаемыя въ медицинскихъ книгахъ извращенія половаго чувства важны для насъ, какъ крайнее развитіе того самаго, что вошло въ житейскій обиходъ нашего общества, что считается позволительнымъ и нормальнымъ. Эти необычныя явленія представляютъ только въ болѣе яркомъ видѣ то самое безобразіе, которое присуще нашимъ обычнымъ отношеніямъ въ этой области. Это можно было бы доказать разсмотрѣніемъ всѣхъ частныхъ извращеній половаго чувства; но я надѣюсь, что въ этомъ дѣлѣ мнѣ извинять неполноту аргументаціи, и позволю себѣ ограничиться одною болѣе общую и менѣе обратительную аномаліей области половаго чувства. У многихъ лицъ, почти всегда мужскаго пола, это чувство возбуждается преимущественно, а иногда и исключительно, тою или другою частью въ существѣ другого пола (напр. волосы, рука, нога), а то даже внѣшними предметами — извѣстными частями одежды и т. п. Эта аномалія получила название фетишизма въ любви. Ненормальность такого фетишизма состоитъ, очевидно, въ томъ, что часть ставится на мѣсто цѣлага, принадлежность на мѣсто сущности. Но если возбуждающіе фетишиста волосы или ноги суть части женскаго тѣла, то вѣдь само это тѣло во всемъ своемъ составѣ есть только часть женскаго существа, и однакоже столь многочисленные любители женскаго тѣла самого по себѣ не называются фетишистами, не признаются сумасшедшими и не подвергаются никакому лѣченію. Въ чемъ же тутъ, однако, различие? Неужели въ томъ, что рука или нога представляютъ меньшую поверхность, нежели все тѣло?

Если по принципу ненормально то половое отношеніе, въ кото-

ромъ часть ставится на мѣсто цѣлаго, то люди, такъ или иначе покупающіе тѣло женщинъ для удовлетворенія чувственной потребности и тѣмъ самыемъ отѣляющіе тѣло отъ души, должны быть признаны ненормальными въ половомъ отношеніи, психически больными, фетишистами въ любви или даже некрофилами. А между тѣмъ эти заживо умирающіе любители мертвчины считаются людьми нормальными, и черезъ эту вторую смерть проходитъ почти все человѣчество.

Не заглушеннная совѣсть и не загрубоѣлое эстетическое чувство въ полномъ согласіи съ философскимъ разумѣніемъ безусловно осуждаются всякоеовое отношеніе, основанное на отдѣленіи и обособленіи низшей животной сферы человѣческаго существа отъ высшихъ. А вѣдь этого принципа невозможно найти никакого твердаго критерія для различія между тѣмъ, что нормально и что невор-мально въ половой области. Если потребность въ извѣстныхъ физиологическихъ актахъ имѣеть право на удовлетвореніе во что бы то ни стало потому только, что это потребность, то совершенно такое же право на удовлетвореніе имѣеть и потребность того «фетишиста въ любви», для котораго единственнымъ вожделѣннымъ предметомъ въ половомъ отношеніи оказывается висящій на веревкѣ, только что вымытый и еще не просохшій передникъ⁸. Если и находить различіе между этимъ чудакомъ и какимъ-нибудь хроническимъ посѣтителемъ лупанаровъ, то, разумѣется, это различіе будетъ въ пользу фетишиста; влеченіе къ мокрому переднику есть несомнѣнно натуральное, неподѣльное, ибо никакихъ фальшивыхъ мотивовъ для него придумать невозможно, тогда какъ многіе люди посѣщаются лупанары вовсе не по дѣйствительной въ томъ нуждѣ, а изъ ложныхъ гигіеническихъ соображеній, изъ подражанія дурнымъ примѣрамъ, подъ вліяніемъ опья-нѣнія и т. п.

Осуждаются обыкновенно психопатическая проявленія половаго чувства на томъ основаніи, что они не соответствуютъ естественному назначенію половаго акта, именно размноженію. Утверждать, что свѣже-вымытый передникъ или даже поношенній башмакъ могутъ служить для произведенія потомства, было бы, конечно, парадоксомъ; но едва ли менѣе парадоксально будетъ предположеніе, что этой цѣли соответствуетъ институтъ публичныхъ женщинъ. «Есте-

⁸ См. у Binet, „Le feticisme en amour“, также Krafft-Ebing, „Psychopathia sexualis“.

ственний» развратъ, очевидно, такъ же противенъ дѣторождению, какъ и «противоестественный», такъ что и съ этой точки зрѣнія нѣть ни малѣйшаго основанія считать одинъ изъ нихъ нормальнымъ, а другой ненормальнымъ. Если же, наконецъ, стать на точку зрѣнія вреда для себя и другихъ, то, конечно, фетишистъ, отрѣзающій пряди волосъ у незнакомыхъ дамъ или ворующій у нихъ платки⁹, наносить ущербъ чужой собственности и своей репутаціи, но можно ли сравнить этотъ вредъ съ тѣмъ, который причиняютъ несчастные распространители ужасной заразы, составляющей довольно обычное послѣдствіе «естественнаго» удовлетворенія «естественнай» потребности?

III.

Все это я говорю не въ оправданіе противоестественныхъ, а въ осужденіе мнимо-естественныхъ способовъ удовлетворенія полового чувства. Вообще, говоря о естественности или противоестественности, не слѣдуетъ забывать, что человѣкъ есть существо сложное, и чтѣ естественно для одного изъ составляющихъ его началъ или элементовъ, можетъ быть противоестественнымъ для другого и, следовательно, ненормальнымъ для цѣлаго человѣка.

Для человѣка, какъ *животнаго*, совершенно естественно неограниченное удовлетвореніе своей половой потребности посредствомъ извѣстнаго физиологического дѣйствія, но человѣкъ, какъ существо нравственное, находить это дѣйствіе противнымъ своей высшей природѣ и стыдится его. Какъ животному *общественному*, человѣку естественно ограничивать физиологическую функцию, относящуюся къ другимъ лицамъ, требованіями соціально-нравственного закона. Этотъ законъ извѣнѣ ограничиваетъ и закрываетъ животное отпрашеніе, дѣлаетъ его средствомъ для соціальной цѣли — образованія семейнаго союза. Но существо дѣла отъ этого не измѣняется. Семейный союзъ основанъ все-таки на виѣшнемъ материальномъ соединеніи половъ: онъ оставляетъ человѣка-животное въ его прежнемъ дезинтегрированномъ, половинчатомъ состояніи, которое необходимо ведеть къ дальнѣйшей дезинтеграціи человѣческаго существа, т. е. къ смерти.

Если бы человѣкъ сверхъ своей животной природы былъ только существомъ соціально-нравственнымъ, то изъ этихъ двухъ противо-

⁹ См. тамъ же.

борствующихъ элементовъ — одинаково для него естественныхъ — окончательное торжество оставалось бы за первымъ. Социально-правственный законъ и его основная объективация — семья вводить животную природу человѣка въ границы, необходимыя для родового прогресса, они упорядочиваются смертную жизнь, но не открываютъ пути бессмертія. Индивидуальное существо такъ же истощается и умираетъ въ социально-правственномъ порядкѣ жизни, какъ если бы оно оставалось исключительно подъ закономъ жизни животной. Слонъ и воронъ оказываются даже значительно долговѣчнѣе самаго добродѣтельного и аккуратнаго человѣка¹⁰. Но въ человѣкѣ, кромѣ животной природы и социально-правственного закона, есть еще третье высшее начало — духовное, мистическое или божественное. Оно и здѣсь, въ области любви и половыхъ отношений, есть тотъ «камень, его же небрегоша зиждущіи», и «той бысть во главу угла». Прежде физиологического соединенія въ животной природѣ, которое ведеть къ смерти, и прежде законнаго союза въ порядкѣ социально-правственномъ, который отъ смерти не спасаетъ, должно быть соединеніе въ Богъ, которое ведеть къ бессмертію, потому что не ограничиваетъ только смертную жизнь природы человѣческимъ закономъ, а переродчаетъ ее вѣчною и нетлѣнною силу благодати. Этотъ третій, а въ истинномъ порядкѣ — первый элементъ съ присущими ему требованіями совершенно естественъ для человѣка въ его цѣлости, какъ существа, причастнаго высшему божественному началу и посредствующаго между нимъ и міромъ. А два низшіе элемента — животная природа и социальный законъ, — такъ же естественные на своеімъ

¹⁰ По поводу недавнихъ толковъ о смерти и страхѣ смерти нужно замѣтить, что кромѣ страха и равнодушія — одинаково недостойныхъ мыслящаго и любящаго существа — есть и третье отношеніе — борьба и торжество надъ смертью. Дѣло идетъ не о своей смерти, о которой нравственно и физически здоровые люди, конечно, мало заботятся, а о смерти другихъ, любимыхъ существъ, къ которой безпристрастное отношеніе для любящаго невозможно (см. Ев. Іоан. XI, 33—38).

Резигнація въ этомъ отношеніи была бы требованіемъ разума только въ томъ случаѣ, если бы смерть человѣка была абсолютно-неизбѣжнымъ исходомъ. Но это всегда лишь предполагаютъ, но никогда не доказываютъ, и не безъ причины, ибо доказать это невозможно. Что при извѣстныхъ условіяхъ смерть необходима, объ этомъ, конечно, нѣть спора: но что эти условія суть единственno возможныя, что ихъ нельзя изменять, и что, следовательно, смерть есть необходимость безусловная, — для этого нѣть даже тѣни разумнаго основанія.

мѣстѣ, становятся *противоестественными*, когда берутся отдельно отъ высшаго и полагаются вмѣсто него. Въ области половой любви противоестественно для человѣка не только всякое безпорядочное, лишенное высшаго духовнаго освященія, удовлетвореніе чувственныхъ потребностей на подобіе животныхъ (помимо разныхъ чудовищныхъ явлений половой психопатіи), но также недостойны человѣка и противоестественны и тѣ союзы между людьми разнаго пола, которые заключаются и поддерживаются *только* на основаніи гражданскаго закона, исключительно для цѣлей морально-общественныхъ съ устраниемъ или при бездѣйствии собственно духовнаго, мистического начала въ человѣкѣ. Но именно такая противоестественная, съ точки зреянія цѣльного человѣческаго существа, перестановка этихъ отношений и господствуетъ въ нашей жизни и признается нормальной, и все осужденіе переносится на несчастныхъ психопатовъ любви, которые только доводятъ до смѣшиныхъ, безобразныхъ, иногда отвратительныхъ, но большей частью безвредныхъ сравнительно крайностей это самое общепрізнанное и господствующее извращеніе.

IV.

Тѣ многообразныя извращенія полового инстинкта, которыми занимаются психіатры, суть лишь диковинныя разновидности общаго и всепроникающаго извращенія этихъ отношеній въ человѣчествѣ, — того извращенія, которымъ поддерживается иувѣковѣчивается царство грѣха и смерти. Хотя всѣ три естественные для человѣка въ его цѣломъ отношенія или связи между полами, именно связь въ животной жизни или по низшей природѣ, затѣмъ связь морально-житейская или подъ закономъ и, наконецъ, связь въ жизни духовной или соединеніе въ Богѣ, — хотя всѣ эти три отношенія существуютъ въ человѣчествѣ, но осуществляются противоестественно, именно въ отдельности одно отъ другого, въ обратной ихъ истинному смыслу и порядку послѣдовательности и въ неравной мѣрѣ.

На первомъ мѣстѣ въ нашей дѣйствительности является то, что поистинѣ должно быть на послѣднемъ — животная физиологическая связь. Она признается основаніемъ всего дѣла, тогда какъ она должна быть лишь его крайнимъ завершеніемъ. Для многихъ здѣсь основаніе совпадаетъ съ завершеніемъ: дальше животныхъ отношеній они и не идутъ; для другихъ на этомъ прокомъ основаніи подни-

мается социально-нравственная надстройка законного семейного союза. Тутъ житейская средина принимается за вершину жизни, и то, что должно служить свободнымъ осмысленнымъ выражениемъ, во временномъ процессѣ, вѣчного единства, становится невольнымъ русломъ безмыслии материальной жизни. А затѣмъ, наконецъ, какъ рѣдкое и исключительное явленіе, остается для немногихъ избранныхъ чистая духовная любовь, у которой все дѣйствительное содержаніе уже заранѣе отнято другими низшими связями, такъ что ей приходится довольствоваться мечтательной и бесплодной чувствительностью безо всякой реальной задачи и жизненной цѣли. Эта несчастная духовная любовь напоминаетъ маленькихъ ангеловъ старинной живописи, у которыхъ есть только голова, да крыльшки и больше ничего. Эти ангелы ничего не дѣлаютъ за неимѣніемъ рукъ и не могутъ двигаться впередъ, такъ какъ ихъ крыльшкамъ хватаетъ силы только на то, чтобы поддерживать ихъ неподвижно на извѣстной высотѣ. Въ такомъ же возвышенномъ, но крайне неудовлетворительномъ положеніи находится и духовная любовь. Физическая страсть имѣеть передъ собою извѣстное дѣло, хотя и постыдное; законный союзъ семейный также исполняетъ дѣло, пока необходимо, хотя и посредственного достоинства. Но у духовной любви, какою она является до сихъ поръ, завѣдомо нѣть совсѣмъ никакого дѣла, а потому неудивительно, что большинство дѣльныхъ людей *glaubt an keine Liebe oder nimmt's fr Posie*.

Эта исключительно-духовная любовь есть, очевидно, такая же аномалия, какъ и любовь исключительно-физическая и исключительно-житейский союзъ. Абсолютная норма есть возстановленіе цѣлостности человѣческаго существа, и нарушается ли эта норма въ ту или другую сторону, въ результатѣ во всякомъ случаѣ происходитъ явление ненормальное, противоестественное. Мнимо-духовная любовь есть явленіе не только ненормальное, но и совершенно безцѣльное, ибо то отдѣленіе духовнаго отъ чувственнаго, къ которому она стремится, и безъ того наилучшимъ образомъ совершается смертью. Истинная же духовная любовь не есть слабое подражаніе и предвареніе смерти, а торжество надъ смертью, не отдѣленіе бессмертнаго отъ смертнаго, вѣчнаго отъ временнаго, а превращеніе смертнаго въ бессмертное, воспріятіе временнаго въ вѣчное. Ложная духовность есть отрицаніе плоти, истинная духовность есть ея перерожденіе, спасеніе, воскресеніе.

V.

«Въ день, когда Богъ сотворилъ человѣка, по образу Божію со-твориль его, мужа и жену сотвориль ихъ».

«Тайна сія велика есть, азъ же глаголю во Христа и во Церковь».

Не къ какой-нибудь отдельной части человѣческаго существа, а къ истинному единству двухъ основныхъ сторонъ его, мужской и женской, относится первоначально таинственный образъ Божій, по которому созданъ человѣкъ. Какъ Богъ относится къ своему творенію, какъ Христосъ относится къ Своей церкви, такъ мужъ долженъ относиться къ женѣ. Насколько общеизвѣстны эти слова, настолько же смыслъ ихъ мало разумѣется. Какъ Богъ творить вселенную, какъ Христосъ созидає церковь, такъ человѣкъ долженъ творить и созидать свое женское дополненіе. Что мужчина представляеть активное, а женщина пассивное начало, что первый долженъ образовательно вліять на умъ и характеръ второй — это, конечно, положенія азбучины, но мы имѣемъ въ виду не это поверхностное отношение, а ту «великую тайну», о которой говорить апостолъ. Эта великая тайна представляетъ существенную аналогію, хотя и не тождество, между человѣческимъ и божественнымъ отношениемъ. Вѣдь уже созиданіе церкви Христомъ различается отъ творенія вселенной Богомъ, какъ таковыми. Богъ творить вселенную изъ ничего, т. е. изъ чистой потенціи бытія или пустоты, послѣдовательно наполняемой, т. е. воспринимающей отъ дѣйствія Божія реальныя формы умопостигаемыхъ вещей; тогда какъ Христосъ созидає церковь изъ материала уже многообразно-оформленного, одушевленного и въ частяхъ своихъ самодѣятельного, которому нужно только сообщить начало новой духовной жизни въ новой высшей сфере единства. Наконецъ, человѣкъ для своего творческаго дѣйствія имѣть въ лицѣ женщины материалъ, ему самому равный по степени актуализаціи, передъ которыми онъ пользуется только потенциальнымъ преимуществомъ по-чина, только правомъ и обязанностью первого шага на пути къ совершенству, а не дѣйствительнымъ совершенствомъ. Богъ относится къ твари, какъ все къ ничему, т. е. какъ абсолютная полнота бытія къ чистой потенціи бытія, Христосъ относится къ церкви, какъ актуальное совершенство къ потенціи совершенства, образуемой въ дѣйствительное совершенство, отношение же между мужемъ и женой есть отношение двухъ различно дѣйствующихъ, но одинаково несо-

вершенныхъ потенций, достигающихъ совершенства только процессъ сомъ взаимодѣйствія. Другими словами, Богъ ничего не получаетъ отъ твари для себя, т. е. никакого приращенія, а все даетъ ей; Христосъ не получаетъ отъ церкви никакого приращенія въ смыслѣ совершенства, а все совершенство даетъ ей, но Онъ получаетъ отъ церкви приращеніе въ смыслѣ полноты Его содѣятельного тѣла; наконецъ, человѣкъ и его женское alter ego восполняютъ взаимно другъ другъ друга не только въ реальномъ, но и въ идеальномъ смыслѣ, достигая совершенства только чрезъ взаимодѣйствіе. Человѣкъ можетъ зиждительно возстановлять образъ Божій въ живомъ предметѣ своей любви только такъ, чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ возстановить этотъ образъ и въ самомъ дѣлѣ; а для этого онъ у самого себя силы не имѣеть, ибо если бы имѣль, то не нуждался бы и въ возстановленіи; не имѣя же у себя, долженъ получить отъ Бога. Слѣдовательно, человѣкъ (мужъ) есть творческое, зиждительное начало относительно своего женского дополненія не самъ по себѣ, а какъ посредникъ или проводникъ Божественной силы. Собственно и Христосъ созидаеть не какою-нибудь отдѣльною Свою силою, а тою же творческою силою Божества; но будучи самъ Богъ, Онъ обладаетъ этой силой по естеству и actu, мы же по благодати и усвоенію, имѣя въ себѣ лишь возможность (потенцию) для ея воспріятія.

Переходя къ изложенію основныхъ моментовъ въ процессѣ осуществленія истинной любви, т. е. въ процессѣ интеграціи человѣческаго существа или возстановленія въ немъ образа Божія, я предвижу недоумѣніе многихъ: зачѣмъ забираться на такія недоступныя и фантастическія высоты по поводу такой простой вещи, какъ любовь? Если бы я считалъ религіозную норму любви фантастическою, то я, конечно, и не предлагалъ бы ея. Точно такъ же, если бы я имѣль въ виду только простую любовь, т. е. обыкновенную, заурядную отношенія между полами, — то, что бываетъ, а не то, что должно быть, — то я, конечно, воздержался бы отъ всякихъ разсужденій по этому предмету, ибо, несомнѣнно, эти простыя отношенія принадлежать къ тѣмъ вещамъ, про которыхъ кто-то сказалъ: нехорошо это дѣлать, но еще хуже обѣ этомъ разговаривать. Но любовь, какъ я ее понимаю, есть, напротивъ, дѣло чрезвычайно сложное, затѣмненное и запутанное, требующее вполнѣ сознательного разбора и изслѣдованія, при которомъ нужно заботиться не о простотѣ, а обѣ истиинѣ . . . Гнилой пень, несомнѣнно, проще многовѣтвистаго дерева, и

трупъ проще живого человѣка. Простое отношеніе къ любви завершается тѣмъ окончательнымъ и крайнимъ упрощеніемъ, которое называется смертью. Такой неизбѣжный и неудовлетворительный конецъ «простой» любви побуждаетъ насъ искать для нея другого, болѣе сложнаго начала.

VI.

Дѣло истинной любви прежде всего основывается на вѣрѣ. Коренной смыслъ любви, какъ было уже показано, состоить въ признаніи за другимъ существомъ безусловнаго значенія. Но въ своемъ эмпирическомъ, подлежащемъ реальному чувственному восприятію, бытіи это существо безусловнаго значенія не имѣтъ: оно несовершенно по своему достоинству и проходяще по своему существованію. Слѣдовательно, мы можемъ утверждать за нимъ безусловное значеніе лишь вѣрою, которая есть упovаемыхъ извѣщеніе, вешней обличеніе невидимыхъ. Но къ чemu же относится вѣра въ настоящемъ случаѣ? Что собственно значитъ вѣрить въ безусловное, а тѣмъ самымъ и бесконечное значеніе этого индивидуального лица? Утверждать, что оно само по себѣ, какъ такое, въ этой свое частности и отдельности обладаетъ абсолютнымъ значеніемъ, — было бы столь же нелѣпо, сколько и богохульно. Конечно, слово «обожаніе» весьма употребительно въ сферѣ любовныхъ отношеній, но вѣдь и слово «безуміе» также имѣть въ этой области свое законное примѣненіе. Итакъ, соблюдая законъ логики, не дозволяющей отождествлять противорѣчащихъ опредѣленій, а также заповѣдь истинной религіи, запрещающую идолопоклонство, мы должны подъ вѣрою въ предметъ нашей любви разумѣть утвержденіе этого предмета, какъ существующаго въ Богѣ и въ этомъ смыслѣ обладающаго бесконечнымъ значеніемъ. Разумѣется, это трансцендентное отношеніе къ своему другому, это мысленное перенесеніе его въ сферу Божества предполагаетъ такое же отношеніе къ самому себѣ, такое же перенесеніе и утвержденіе себѣ въ абсолютной сфере. Признавать безусловное значеніе за даннымъ лицомъ или вѣрить въ него (безъ чего цевозможна истинная любовь) я могу только утверждая его въ Богѣ, слѣдовательно, вѣря въ самого Бога и въ себя, какъ имѣющаго въ Богѣ средоточіе и корень своего бытія. Эта трѣдина вѣра есть уже иѣкоторый внутренній актъ, и этимъ актомъ полагается первое основаніе къ истинному возсоединенію человѣка съ его другимъ и возстан-

новленію въ немъ (или въ нихъ) образа тріединаго Бога. Акть вѣры въ дѣйствительныхъ условіяхъ времени и мѣста есть молитва (въ основномъ, не техническомъ смыслѣ этого слова). Нераздѣльное соединеніе себя и другого въ этомъ отношеніи есть первый шагъ къ дѣйствительному соединенію. Самъ по себѣ этотъ шагъ малъ, но безъ него невозможно ничто дальнѣйшее и большее.

Такъ какъ для Бога, вѣчнаго и нераздѣльнаго, все есть вмѣстѣ и заразъ, все въ одномъ, то утверждать какое-нибудь индивидуальное существо въ Богѣ значитъ утверждать его не въ его отдѣльности, а во всемъ, или точнѣ — въ единствѣ всего. Но такъ какъ это индивидуальное существо въ своей данной дѣйствительности не входитъ въ единство всего, существуетъ отдѣльно, какъ материально обособленное явленіе, то предметъ нашей вѣрующей любви необходимо различается отъ эмпирическаго объекта нашей инстинктивной любви, хотя и нераздѣльно связанъ съ нимъ. Это есть одно и то же лицо въ двухъ различныхъ видахъ или въ двухъ разныхъ сферахъ бытія — идеальной и реальной. Первое есть пока только идея. Но въ настоящей, вѣрующей и зрячей любви мы знаемъ, что эта идея не есть наше произвольное измысленіе, а что она выражаетъ истину предмета, только еще не осуществленную въ сфере внѣшнихъ реальныхъ явлений.

Эта истинная идея любимаго предмета хотя и просвѣчиваетъ въ мгновенія любовнаго памятника сквозь реальное явленіе, но въ болѣе ясномъ видѣ является сначала лишь какъ предметъ воображенія. Конкретная форма этого воображенія, идеальный образъ, въ который я облекаю любимое лицо въ данный моментъ, создается, конечно, мною, но онъ создается не изъ ничего, и субъективность этого образа, какъ такого, т. е. являющагося теперь и здѣсь передъ очами моей души, нисколько не доказывается субъективнаго, т. е. для меня лишь существующаго характера самого воображаемаго предмета. Если для меня, находящагося по сю сторону трансцендентнаго міра, известный идеальный предметъ является только какъ произведение моего воображенія, это не мѣшаетъ его полной дѣйствительности въ другой высшей сфере бытія. И хотя наша реальная жизнь находится въ этой высшей сфере, но нашъ умъ не совсѣмъ чуждъ ей, и мы можемъ имѣть некоторое умозрительное понятіе о законахъ ея бытія. И вотъ первый, основной законъ: если въ нашемъ мірѣ раздѣльное и изолированное существование есть фактъ и актуальность,

а единство — только понятіе и идея, то тамъ, наоборотъ, дѣйствительность принадлежитъ единству или, точнѣ, всеединству, а раздѣльность и обособленность существуютъ только потенциальнно и субъективно.

А отсюда слѣдуетъ, что бытіе этого лица въ трансцендентной сферѣ не есть индивидуальное въ смыслѣ здѣшняго реальнаго бытія. Тамъ, т. е. въ истинѣ, индивидуальное лицо есть только лучъ живой и дѣйствительный, но нераздѣльный лучъ одного идеального свѣтила — всеединой сущности. Это идеальное лицо, или олицетворенная идея, есть только индивидуализація всеединства, которое недѣлимо присутствуетъ въ каждой изъ этихъ своихъ индивидуализаций. Итакъ, когда мы воображаемъ идеальную форму любимаго предмета, то подъ этой формой намъ сообщается сама всеединая сущность. Какъ же мы должны ее мыслить?

VII.

Богъ, какъ единый, различая оть себя свое другое, т. е. все, что не Онъ Самъ, соединяетъ съ Собою это все, представляя Себѣ его вмѣстѣ и заразъ, въ абсолютно-совершенной формѣ, слѣдовательно, какъ единое. Это *другое* единство, различное, хотя и не отдѣлимое оть первоначального единства Божія, есть относительно Бога единство пассивное, женское, такъ какъ здѣсь вѣчная пустота (чистая потенція) воспринимаетъ полноту божественной жизни. Но если *въ основѣ* этой вѣчной женственности лежитъ чистое ничто, то для Бога это ничто вѣчно скрыто воспринимаемымъ оть Божества образомъ абсолютнаго совершенства. Это совершенство, которое для насъ еще только осуществляется, для Бога, т. е. въ истинѣ, уже есть дѣйствительно. То идеальное единство, къ которому стремится нашъ міръ, и которое составляетъ цѣль космического и исторического процесса, оно не можетъ быть только чимъ-нибудь субъективнымъ понятіемъ (ибо чимъ же?), оно истинно есть какъ вѣчный предметъ любви Божьей, какъ Его вѣчное другое.

Этотъ живой идеалъ Божьей любви, предшествуя нашей любви, содержитъ въ себѣ тайну ея идеализаціи. Здѣсь идеализація низшаго существа есть вмѣстѣ съ тѣмъ начинающая реализація высшаго, и въ этомъ истина любовнаго паѳоса. Полная же реализація, превращеніе индивидуального женскаго существа въ неотдѣлимый оть

своего лучезарного источника лучъ вѣчной Божественности, будетъ дѣйствительнымъ, не субъективнымъ только, а и объективнымъ возсоединеніемъ индивидуального человѣка съ Богомъ, восстановленіемъ въ немъ живого и бессмертного образа Божія.

Предметъ истинной любви не простъ, а двойственный: мы любимъ, во-первыхъ, то идеальное (не въ смыслѣ отвлеченному, а въ смыслѣ принадлежности къ другой высшей сфере бытія) существо, которое мы должны ввести въ нашъ идеальный міръ, и, во-вторыхъ, мы любимъ то природное человѣческое существо, которое даетъ живой личный матеріаль для этой реализаціи, и которое чрезъ это идеализуется не въ смыслѣ нашего субъективнаго воображенія, а въ смыслѣ своей дѣйствительной объективной перемѣны или перерожденія. Такимъ образомъ, истинная любовь есть нераздѣльно и *востоющая*, и *нисходящая* (*amor ascendens* и *amor descendens*, или тѣ дѣ Афродиты, которыхъ Платонъ хорошо различалъ, но дурно раздѣлялъ — *Αὐροδίτη Οὐρανία* и *Αὐροδίτη Πάνθιμος*). Для Бога Его *другое* (т. е. вселенная) имѣетъ отъ вѣка образъ совершенной женственности, но Онъ хочетъ, чтобы этотъ образъ быть не только для Него, но чтобы онъ реализовался и воплотился для каждого индивидуального существа, способного съ нимъ соединяться. Къ такой же реализациіи и воплощенію стремится и сама вѣчная Женственность, которая не есть только бездѣйствіенный образъ въ умѣ Божиемъ, а живое духовное существо, обладающее всею полнотою силъ и дѣйствій. Весь міровой и исторический процессъ есть процессъ ея реализаціи и воплощенія въ великому многообразіи формъ и степеней.

Въ половой любви, истинно понимаемой и истинно осуществляемой, эта божественная сущность получаетъ средство для своего окончательного крайняго воплощенія въ индивидуальной жизни человѣка, способъ самого глубокаго и вмѣстѣ съ тѣмъ самого вицѣнія реально-ощущительного соединенія съ нимъ. Отсюда тѣ проблески неземного блаженства, то вѣяніе нездѣшней радости, которыми сопровождается любовь даже несовершенная, и которые дѣлаютъ ее, даже несовершенную, величайшимъ наслажденіемъ людей и боговъ — *hominum divorumque voluptas*. Отсюда же и глубочайшее страданіе любви, безсильной удержать свой истинный предметъ и все болѣе и болѣе отъ него удаляющеюся.

Здѣсь получаетъ свое законное мѣсто и тотъ элементъ обожанія и безпредѣльной преданности, который такъ свойственъ любви и такъ

мало имѣть смысла, если относится только къ земному ея предмету, въ отдѣльности отъ небеснаго.

Мистическое основаніе двойственнаго или лучшее сказать двусторонняго характера любви разрѣшаеть вопросъ о возможности повторенія любви. Небесный предметъ нашей любви только одинъ, всегда и для всѣхъ одинъ и тотъ же — вѣчная Женственность Божія; но такъ какъ задача истинной любви состоить не въ томъ только, чтобы поклоняться этому высшему предмету, а въ томъ, чтобы реализовать и воплотить его въ другомъ, низшемъ существѣ той же женской формы, не земной природы, оно же есть лишь одно изъ многихъ, то его единственное значеніе для любящаго, конечно, можетъ быть и преходящимъ. А должно ли быть таковыи и почему, это уже решается въ каждомъ индивидуальномъ случаѣ и зависитъ не отъ единой и неизмѣнной мистической основы истинаго любовнаго процесса, а отъ его дальнѣйшихъ нравственныхъ и физическихъ условій, которыя мы и должны разсмотрѣть.

СТАТЬЯ ПЯТАЯ.

I.

Невольное и непосредственное чувство открываетъ намъ смыслъ любви, какъ высшаго проявленія индивидуальной жизни, находящей въ соединеніи съ другимъ существомъ свою собственную безконечность. Не довольно ли этого мгновеннаго откровенія? Развѣ мало хоть разъ въ жизни дѣйствительно почувствовать свое безусловное значеніе?

И я знаю, взглянувши на звѣзды порой,
Что взирали на нихъ мы, какъ боги, съ тобой.

Едва ли этого довольно даже для одного поэтическаго чувства, а сознаніе истины и воля жизни рѣшительно на этомъ помириться не могутъ. Безконечность только мгновенная есть противорѣчіе нестерпимое для ума, блаженство только въ прошедшемъ есть страданіе для воли. Есть тѣ проблески иного свѣта, послѣ которыхъ

Еще темнѣе мракъ жизни вседневной,
Какъ послѣ яркой осенней зарницы.

Если они только обмань, то и въ воспоминаніи они могутъ вызывать только стыдъ и горечь разочарованія; а если они не были обманомъ, если они открывали намъ какую-то дѣйствительность, которая потомъ закрылась и исчезла для насъ, то почему же должны мы мириться съ этимъ исчезновеніемъ? Если то, что потеряно, было истиннымъ, тогда задача сознанія и воли не въ томъ, чтобы принять потерю за окончательную, а въ томъ, чтобы понять и устранить ея причины.

Ближайшая причина (какъ было отчасти показано въ предыдущей статьѣ) состоить въ извращеніи самого любовнаго отношенія. Это начинается очень рано: едва только первоначальный паѳосъ любви успѣеть показать намъ край иной, лучшей дѣйствительности — съ другимъ принципомъ и закономъ жизни, какъ мы сейчасъ же старайся воспользоваться подъемомъ энергіи, вслѣдствіе этого откровенія, не для того, чтобы идти дальше, куда оно зоветъ насъ, а только для того, чтобы покрѣпче укорениться и попрочнѣе устроиться въ той прежней дурной дѣйствительности, надъ которойю любовь только что приподняла насъ; добрую вѣсть изъ потеряннаго рая, — вѣсть о возможности его возвращенія, — мы принимаемъ за приглашеніе окончательно натурализоваться въ земль изгнанія, поскорѣе вступить въ полное и потомственное владѣніе своимъ маленькимъ участкомъ со всѣми его волчками и тернами; тотъ разрывъ личной ограниченности, который знаменуетъ любовную страсть и составляетъ ея основной смыслъ, приводить на дѣлъ только къ эгоизму *вдвоемъ*, потомъ втроемъ и т. д. Это, конечно, все-таки лучше, чѣмъ эгоизмъ въ-одиночку, но разсвѣть любви открывалъ совсѣмъ иные горизонты.

Какъ скоро жизненная сфера любовнаго соединенія перенесена въ материальную дѣйствительность, какова она есть, такъ сейчасъ же соответственнымъ образомъ извращается и самый порядокъ соединенія. Его «нездѣнія», мистическая основа, которая такъ сильно давала о себѣ знать въ первоначальной страсти, забывается, какъ мимолетная экзальтациѣ, а самымъ желательнымъ, существенною цѣлью и вмѣстѣ первымъ условиемъ любви признается то, что должно быть лишь ея крайнимъ обусловленіемъ проявленіемъ. Это послѣднее,— физическое соединеніе, поставленное на мѣсто первого и лишенное такимъ образомъ своего человѣческаго смысла, возвращенное къ смыслу животному, — дѣлаетъ любовь не только бессильною противъ смерти, но само неизбѣжно становится нравственною могилою

любви гораздо раньше, чѣмъ физическая могила возьметъ любящихъ.

Прямое личное противодѣйствіе такому порядку труднѣе для исполненія, нежели для пониманія: его можно указать въ нѣсколькихъ словахъ. Чтобы упразднить этотъ дурной порядокъ жизненныхъ явленій, нужно прежде всего признать его ненормальнымъ, утверждая тѣмъ самымъ, что есть другой, нормальный, въ которомъ все виѣшнее и случайное подчинено внутреннему смыслу жизни. Такое утвержденіе не должно быть голословно; опыту виѣшнихъ чувствъ долженъ быть противопоставленъ не отвлеченный принципъ, а другой опытъ — *опытъ вѣры*. Этотъ послѣдній несравненно труднѣе перваго, ибо онъ обусловленъ болѣе внутреннимъ дѣйствіемъ, нежели восприятіемъ извѣї. Только послѣдовательными актами сознательной вѣры входимъ мы въ дѣйствительное соотношеніе съ областью истинно-сущаго, а чрезъ это въ истинное соотношеніе съ нашимъ «другимъ»; только на этомъ основаніи можетъ быть удержана и укрѣплена въ сознаніи та безусловность для насть другого лица (а слѣдовательно, и безусловность нашего соединенія съ нимъ), которая непосредственно и безотчетно открывается въ паюсѣ любви, ибо этотъ любовный паюсъ приходитъ и проходитъ, а вѣра любви остается.

Но, чтобы не оставаться мертвою вѣрой, ей нужно непрерывно себя отстаивать противъ той дѣйствительной среды, гдѣ безмысленный случай созидає свое господство на игрѣ животныхъ страстей и еще худшихъ страстей человѣческихъ. Противъ этихъ враждебныхъ силъ у вѣрующей любви есть только оборонительное оружіе — терпѣніе до конца. Чтобы заслужить свое блаженство, она должна взять крестъ свой. Въ нашей материальной средѣ нельзя сохранить истинную любовь, если не понять и не принять ее какъ нравственный подвигъ. Недаромъ православная церковь въ своемъ чинѣ брака поминаетъ святыхъ *мучениковъ* и къ ихъ вѣнцамъ приравниваетъ вѣнцы супружеские.

Религіозная вѣра и нравственный подвигъ охраняютъ индивидуального человѣка и его любовь отъ поглощенія материальною средой во время его жизни, но не даютъ еще ему торжества надъ смертью. Внутреннее перерожденіе любовного чувства, исправленіе извращенныхъ отношений любви не исправляетъ и не отмѣняетъ дурного закона физической жизни не только во виѣшнемъ мірѣ, но и въ самомъ человѣкѣ. Онь реально остается попрежнему ограниченнымъ

существомъ, подчиненнымъ материальной природѣ. Внутреннее — мистическое и нравственное — соединение его съ дополняющею индивидуальностью не можетъ одолѣть ни ихъ взаимной отдельности и непроницаемости, ни общей зависимости ихъ отъ вещественного міра. Послѣднее слово остается не за нравственнымъ подвигомъ, а за беспощаднымъ закономъ органической жизни и смерти, и люди, до конца отстаивавшіе вѣчный идеалъ, умираютъ съ человѣческимъ достоинствомъ, но съ животнымъ безсиліемъ.

Пока индивидуальный подвигъ ограничивается только своимъ ближайшимъ предметомъ — исправленіемъ личного извращеннаго отношенія между двумя существами, — онъ необходимо остается безъ окончательнаго успѣха и въ этомъ своемъ прямомъ дѣлѣ. Ибо то зло, съ которымъ сталкивается истинная любовь, зло материальной отдельности, непроницаемости и внѣшняго противоборства двухъ существъ, внутренно восполняющихъ другъ друга, — это зло есть частный, хотя и типичный, случай общаго извращенія, которому подвержена наша жизнь, и не только наша, но и жизнь всего мира.

Дѣйствительно спастись, т. е. возродить и увѣковѣчить свою индивидуальную жизнь въ истинной любви, единичный человѣкъ можетъ только сообща или вмѣстѣ со всѣми. Онъ имѣть право и обязанность отстаивать свою индивидуальность отъ дурного закона общей жизни, но не отдѣлять свое благо отъ истиннаго блага всѣхъ живущихъ. Изъ того, что самое глубокое и интенсивное проявленіе любви выражается во взаимоотношеніи двухъ восполняющихъ другъ друга существъ, никакъ не слѣдуетъ, чтобы это взаимоотношеніе могло отдѣлять и обособлять себя отъ всего прочаго, какъ нѣчто самодовлѣющее; напротивъ, такое обособленіе есть гибель любви, ибо само по себѣ половое отношеніе, при всемъ своемъ субъективномъ значеніи, оказывается (объективно) лишь переходящимъ, эмпирическимъ явленіемъ. Точно такъ же изъ того, что совершенное соединеніе такихъ единичныхъ существъ останется всегда основою и истинною формой индивидуальной жизни, вовсе не слѣдуетъ, что эта замкнутая въ своемъ индивидуальномъ совершенствѣ жизненная форма должна пребывать пустою, когда она, напротивъ, по самой природѣ человѣка, способна и предназначена наполняться универсальнымъ содержашемъ. Наконецъ, если нравственный смыслъ любви требуетъ возсоединенія того, что неправедно раздѣлено, требуетъ отождествленія себя и друг-

того, то отдалять задачу нашего индивидуального совершенства отъ процесса всемирного объединенія было бы противно самому этому нравственному смыслу любви, если бы даже такое отдаленіе было физически возможно.

II.

Такимъ образомъ, всякая попытка уединить и обособить индивидуальный процессъ возрожденія въ истинной любви встрѣчается съ тройнымъ неодолимымъ препятствиемъ, поскольку наша индивидуальная жизнь со своею любовью, отдаленная отъ процесса жизни всемирной, неизбѣжно оказывается, во-первыхъ, физически несостоительной, безсильной противъ времени и смерти, затѣмъ, умственно пустой, безодержательной и, наконецъ, нравственно-недостойной. Если фантазія перескакиваетъ чрезъ физическое и логическое препятствіе, то и она должна остановиться передъ нравственною невозможностью.

Предположимъ иѣчто совершило фантастическое, — предположимъ, что какой-нибудь человѣкъ такъ усилилъ свой духъ послѣдовательнымъ сосредоточеніемъ сознанія и воли и такъ очистилъ свою тѣлесную природу аскетическимъ подвигомъ, что дѣйствительно восстановилъ (для себя и для своего дополнительного «другого») истинную цѣлость человѣческой индивидуальности, достичь полнаго одухотворенія и бессмертія. Будетъ ли эта возрожденная индивидуальность наслаждаться своимъ одинокимъ блаженствомъ въ той средѣ, где все попрежнему страдаетъ и гибнетъ? Но пойдемъ еще дальше. Пусть эта переродившаяся чета получила способность сообщать всѣмъ другимъ свое высшее состояніе, это, конечно, невозможно, поскольку оно обусловлено личнымъ нравственнымъ подвигомъ, но пусть это будетъ что-нибудь въ родѣ философскаго камня или жизненнаго эликсира. И вотъ, всѣ живущіе на землѣ исцѣлены отъ своихъ золь и болѣзней, всѣ свободны и бессмертны. Но чтобы быть при этомъ счастливыми, имъ нужно еще одно условіе: они должны забыть своихъ отцовъ, забыть настоящихъ виновниковъ этого своего благополучія, потому что какое бы фантастическое значеніе ни приписывалось личному подвигу, все-таки нужно было, чтобы тысячи и тысячи поколѣній своимъ совокупнымъ собирательнымъ трудомъ создали ту культуру, тѣ нравственные и умственные построенія, безъ которыхъ задача индивидуального перерожденія не могла бы быть не только исполнена, но и задумана. И эти миллиарды людей, положившихъ

свою жизнь за другихъ, будуть тлѣть въ своихъ могилахъ, а ихъ праздные потомки будутъ равнодушно наслаждаться своимъ даровыимъ счастьемъ! Но это предполагало бы нравственное одичаніе и даже хуже, потому что и дикари чтутъ своихъ предковъ и сохраняютъ общеніе съ ними. Какимъ же образомъ окончательное и высшее состояніе человѣчества можетъ быть основано на несправедливости, неблагодарности и забвеніи? Человѣкъ, достигшій высшаго совершенства, не можетъ принять такого недостойнаго дара; если онъ не въ состояніи вырвать у смерти всю ея добычу, онъ лучше откажется отъ бессмертія.

Разбей этотъ кубокъ, въ немъ злая отрава таится.

Къ счастью, все это — только произвольная и праздная фантазія, и до такого трагического испытанія нравственной солидарности въ человѣчествѣ дѣло никогда не дойдетъ въ силу естественной солидарности нашей съ цѣлымъ міромъ, — въ силу физической невозможности частнаго рѣшенія жизненной задачи отдѣльнымъ человѣкомъ или отдѣльнымъ поколѣніемъ. Наше перерожденіе неразрывно связано съ перерожденіемъ вселенной, съ преобразованіемъ ея формъ пространства и времени. Истинная жизнь индивидуальности въ ея полномъ и безусловномъ значеніи осуществляется иувѣковѣчивается только въ соответствующемъ развитіи всемирной жизни, въ которомъ мы можемъ и должны дѣятельно участвовать, но которое не нами создается. Наше личное дѣло, поскольку оно истинно, есть общее дѣло всего міра, — реализація и индивидуализація всеединой идеи и одухотвореніе матеріи. Оно подготавляется космическимъ процессомъ въ природномъ мірѣ, продолжается и совершается историческимъ процессомъ въ человѣчествѣ. Наше *невѣдомѣ* о всесторонней связи конкретныхъ частностей въ единствѣ цѣлаго оставляетъ намъ при этомъ свободу дѣйствій, которая со всѣми ея послѣдствіями уже отъ вѣка вошла въ абсолютный всеобъемлющій планъ.

Всеединая идея можетъ окончательно реализоваться или воплотиться только въ полнотѣ совершенныхъ индивидуальностей, значитъ, послѣдняя цѣль всего дѣла есть высшее развитіе каждой индивидуальности въ полнѣйшемъ единствѣ всѣхъ, а это необходимо включать въ себя и нашу жизненную цѣль, которую намъ, слѣдовательно, нѣть ни побужденія, ни возможности отдалять или обособлять отъ цѣли всеобщей. Мы нужны міру столько же, сколько и

онъ намъ; вселенная отъ вѣка заинтересована въ сохраненіи, развитіи и увѣковѣченіи всего того, что дѣйствительно для насъ нужно и желательно, всего положительного и достойнаго въ нашей индивидуальности, и намъ остается только принимать возможно болѣе сознательное и дѣятельное участіе въ общемъ историческомъ процессѣ — для самихъ себя и для всѣхъ другихъ *нераздельно*.

III.

Истинному бытію, или всеединой идеѣ противополагается въ нашемъ мірѣ вещественное бытіе — то самое, что подавляетъ своимъ безсмысличнымъ упорствомъ и нашу любовь, и не даетъ осуществляться ея смыслу. Главное свойство этого вещественного бытія есть *двойная непроницаемость*: 1) непроницаемость *во времени*, въ силу которой всякий послѣдующій моментъ бытія не сохраняетъ въ себѣ предыдущаго, а исключаетъ или вытѣсняетъ его собою изъ существованія, такъ что все новое въ средѣ вещества происходитъ на счетъ прежнаго или въ ущербъ ему, и 2) непроницаемость *въ пространствѣ*, въ силу которой двѣ части вещества (два тѣла) не могутъ занимать заразъ одного и того же мѣста, т. е. одной и той же части пространства, а необходимо вытѣсняютъ другъ друга. Такимъ образомъ то, что лежитъ въ основѣ нашего міра, есть бытіе въ состояніи распаденія, бытіе раздробленное на исключающіе другъ друга части и моменты. Вотъ какую глубокую почву и какую широкую основу должны мы принять для того рокового раздѣленія существъ, въ которомъ все бѣствіе и нашей личной жизни. Побѣдить эту двойную непроницаемость тѣлъ и явлений, сдѣлать вѣнчаную реальную среду сообразно внутреннему всеединству идеи — вотъ задача мірового процесса, столь же простая въ общемъ понятіи, сколько сложная и трудная въ конкретномъ осуществлении.

Видимое преобладаніе материальной основы нашего міра и жизни такъ еще велико, что многіе даже добросовѣстные, но нѣсколько односторонніе умы думаютъ, что, кроме этого вещественного бытія въ различныхъ его видоизмѣненіяхъ, вообще ничего не существуетъ. Однако, не говоря уже о томъ, что признаніе этого видимаго міра за единственный есть произвольная гипотеза, въ которую можно вѣрить, но которой нельзя доказать, и не выходя изъ предѣловъ этого міра — должно признать, что материализмъ все-таки неправъ, даже съ фак-

тической точки зрѣнія. Фактически и въ нашемъ видимомъ мірѣ существуетъ многое такое, что не есть только видоизмѣненіе вещественного бытія въ его пространственной и временной непроницаемости, а есть даже прямое отрицаніе и упраздненіе этой самой непроницаемости. Таково, во-первыхъ, всеобщее *тяготѣніе*, въ которомъ части вещественного міра не исключаютъ другъ друга, а, напротивъ, стремятся включить, вмѣстить себя взаимно. Можно ради предвзятаго принципа строить мнимо-научныя гипотезы одну на другой, но для разумнаго пониманія никогда не удастся изъ опредѣленій инертиаго вещества объяснить факторы прямо-противоположнаго свойства: никогда не удастся *притяженіе* свести къ *протяженію*, влеченіе вывести изъ непроницаемости и стремленіе — понять какъ косность. А между тѣмъ, безъ этихъ невещественныхъ факторовъ невозможно было бы даже самое простое тѣлесное бытіе. Вещество само по себѣ — вѣдь это только неопределенная и безсвязная совокупность атомовъ, которымъ болѣе велиодушно, чѣмъ основательно, придаютъ присущее имъ будто бы движеніе. Во всякомъ случаѣ, для опредѣленія и постояннаго соединенія вещественныхъ частицъ въ тѣла необходимо, чтобы ихъ непроницаемость, или, что то же, абсолютная безсвязность замѣнилась въ большей или меньшей степени положительнымъ взаимодѣйствіемъ между ними. Такимъ образомъ, и вся наша вселенная, насколько она не есть хаосъ разрозненныхъ атомовъ, а единое и связное цѣлое, предполагаетъ, сверхъ своего дробнаго материала, еще форму единства (а также дѣятельную силу, покоряющую этому единству противные ему элементы). Единство вещественного міра не есть вещественное единство, — такого вообще быть не можетъ, это *contradictio in adjecto*. Образованное противовещественнымъ (а съ точки зрѣнія материализма, значить, противоестественнымъ) закономъ тяготѣнія, всемирное тѣло есть цѣлостъ реально-идеальная, психо-физическая, или просто (согласно мысли Ньютона о *sensorium Dei*) оно есть *только мистическое*.

Сверхъ силы всемирного тяготѣнія, идеальное всеединство осуществляется духовно-тѣлеснымъ образомъ въ міровомъ тѣлѣ посредствомъ свѣта и другихъ сродныхъ явлений (электричество, магнетизмъ, теплота), которыхъ характеръ находится въ такомъ явномъ контрастѣ со свойствами непроницаемаго и коснаго вещества, что и материалистическая наука принуждена очевидностью признать здѣсь особаго рода полувещественную субстанцію, которую она называетъ

эоиромъ. Это есть матерія невѣсомая, препроницаемая и всепроницающая, — однимъ словомъ, *вещество невещественное*.

Этими воплощеніями всеединой идеи—тяготѣніемъ и эоиромъ—держится нашъ дѣйствительный міръ, а вещество само по себѣ, т. е. мертвая соковулиссть косныхъ и непроницаемыхъ атомовъ, только мыслится отвлекающимъ разсудкомъ, но не наблюдается и не открывается ни въ какой дѣйствительности. Мы не знаемъ такого момента, когда бы материальному хаосу принадлежала настоящая реальность, а космическая идея была бы безплотною и немощною тѣнью; мы только предполагаемъ такой моментъ, какъ точку отправления мірового процесса въ предѣлахъ нашей видимой вселенной.

Уже и въ природномъ мірѣ идеи принадлежитъ все, но истинная ея сущность требуетъ, чтобы не только ей принадлежало все, все въ нее включалось или ею обнималось, но чтобы и она сама принадлежала *всему*, чтобы все, т. е. *всѣ* частныя и индивидуальные существа, а слѣдовательно и *каждое* изъ нихъ, дѣйствительно обладали идеальнымъ всеединствомъ, включали его въ себя. Совершенное всеединство, по самому понятію своему, требуетъ полнаго равновѣсія, равноцѣнности и равноправности между единымъ и всѣмъ, между цѣлымъ и частями, между общимъ и единичнымъ. Полнота идеи требуетъ, чтобы наибольшее единство цѣлого осуществлялось въ наибольшей самостоятельности и свободѣ частныхъ и единичныхъ элементовъ — въ нихъ самихъ,透过 нихъ и для нихъ. Въ этомъ направлениі космической процессъ доходитъ до созданія животной индивидуальности, для которой единство идеи существуетъ въ образѣ *рода* и ощущается съ полною силой въ моментъ полового влечения, когда внутреннее единство, или общность съ другимъ со «всѣмъ», конкретно воплощается въ отношеніи къ единичной особи другого пола, представляющей собою это дополнительное «все» — въ одномъ. Сама индивидуальная жизнь животнаго организма уже содержитъ въ себѣ нѣкоторое, хотя ограниченное, подобие всеединства, поскольку здесь осуществляется полная солидарность и взаимность всѣхъ частныхъ органовъ и элементовъ въ единствѣ живого тѣла. Но какъ эта органическая солидарность въ животномъ не переходить за предѣлы его тѣлеснаго состава, такъ и для него образъ восполняющаго «другого» всепѣло ограниченъ такимъ же единичнымъ тѣломъ съ возможностью только материальнаго, частичнаго соединенія; а потому сверхвременная безконечность, или вѣчность идеи, дѣйствующая въ

жизненной творческой силѣ любви, принимаетъ здѣсь дурную прямолинейную форму безпредѣльного размноженія, т. е. повторенія одного и того же организма въ однообразной смынѣ единичныхъ временныхъ существованій.

Въ человѣческой жизни прямая линія родового размноженія хотя и сохраняется въ основѣ, но, благодаря развитію сознанія и сознательного общенія, она заворачивается историческимъ процессомъ все въ болѣе и болѣе обширные круги соціальныхъ и культурныхъ организмовъ. Эти соціальные организмы производятся тою же жизненною творческою силою любви, которая порождаетъ и организмы физические. Эта сила непосредственно создаетъ семью, а семья есть образующій элементъ всякаго общества. Несмотря на эту генетическую связь, отношение человѣческой индивидуальности къ обществу — существенно иное, нежели отношение животной индивидуальности къ роду: человѣкъ не есть преходящій экземпляръ общества. Единство соціального организма *действительно существуетъ* съ каждымъ изъ его индивидуальныхъ членовъ, имѣть бытіе не только въ немъ, и чрезъ него, но и для него, находится съ нимъ въ опредѣленной связи и соотношеніи: общественная и индивидуальная жизнь со всѣхъ сторонъ взаимно проникаютъ другъ друга. Слѣдовательно, мы имѣемъ здѣсь гораздо болѣе совершенный образъ воплощенія всеединой идеи, нежели въ организме физическомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, здѣсь начинается изнутри (изъ сознанія) процессъ интеграціи во времени (или *противъ* времени). Несмотря на продолжающуюся и въ человѣчествѣ смыну поколѣній, есть уже начатки увѣковѣченія индивидуальности въ религіи предковъ — этой основѣ всякой культуры, въ преданіи — памяти общества, въ искусствѣ, наконецъ въ исторической наукѣ. Несовершенный, зачаточный характеръ такого увѣковѣченія соотвѣтствуетъ несовершенству самой человѣческой индивидуальности и самого общества. Но прогрессъ несомнѣнъ, и окончательная задача становится яснѣе и ближе.

IV.

Если корень ложнаго существованія состоитъ въ непроницаемости, т. е. во взаимномъ исключеніи существъ другъ другомъ, то истинная жизнь есть то, чтобы жить въ другомъ, какъ въ себѣ, или находить въ другомъ положительное и безусловное восполненіе своего

существа. Основаниемъ и типомъ этой истинной жизни остается и всегда остается любовь половая, или супружеская. Но ея собственное осуществление невозможно, какъ мы видѣли, безъ соответствующаго преобразованія всей вѣнчаной среды, т. е. интеграція жизни индивидуальной необходимо требуетъ такой же интеграціи въ сферахъ жизни общественной и всемирной. Определенное различие, или раздѣльность жизненныхъ сферъ, какъ индивидуальныхъ, такъ и собираательныхъ, никогда не будетъ и не должно быть упразднено, потому что такое всеобщее слияніе привело бы къ безразличію и къ пустотѣ, а не къ полнотѣ бытія. Истинное соединеніе предполагаетъ истинную раздѣльность соединяемыхъ, т. е. такую, въ силу которой они не исключаютъ, а взаимно полагаютъ другъ друга, находя каждый въ другомъ полноту собственной жизни. Какъ въ любви индивидуальной два различныя, но равноправныя и равноценныя существа служать одинъ другому не отрицательною границей, а положительнымъ восполненіемъ, точно то же должно быть и во всѣхъ сферахъ жизни собираательной; всякий соціальный организмъ долженъ быть для каждого своего члена не вѣнчаною границей его дѣятельности, а положительной опорой и восполненіемъ: какъ для половой любви (въ сферѣ личной жизни) единичное «другое» есть вмѣсть съ тѣмъ все, такъ, съ своей стороны, соціальное все, въ силу положительной солидарности всѣхъ своихъ элементовъ, должно для каждого изъ нихъ являться какъ дѣйствительное единство, какъ бы другое, восполняющее его (въ новой, болѣе широкой сферѣ), живое существо.

Если отношенія индивидуальныхъ членовъ общества другъ къ другу должны быть братскія (и сыновнія — по отношенію къ прошедшимъ поколѣніямъ и ихъ соціальнымъ представителямъ), то связь ихъ съ цѣлыми общественными сферами — мѣстными, национальными и, наконецъ, со вселенскою — должна быть еще болѣе внутреннею, всестороннею и значительною. Эта связь активнаго человѣческаго начала (личнаго) съ воплощеніемъ въ соціальномъ духовно-тѣлесномъ организмѣ всеединою идеей должна быть живымъ *сизигиическимъ* отношеніемъ¹¹. Не подчиняться своей обществен-

¹¹ Отъ греч. *сизигія* — сочетаніе. Я принужденъ ввести это новое выраженіе, не находя въ существующей терминологіи другого, лучшаго. Замѣчу, что гностики употребляли слово *сизигія* въ другомъ смыслѣ, и что, вообще, употребленіе еретиками известнаго термина еще не дѣлаетъ его еретическимъ.

ной сферѣ и не господствовать надъ нею, а быть съ нею въ любовномъ взаимодѣйствіи, служить для нея дѣятельнымъ оплодотворяющимъ началомъ движения и находить въ ней полноту жизненныхъ условий и возможностей — таково отношеніе истинной человѣческой индивидуальности не только къ своей ближайшей соціальной средѣ, къ своему народу, но и ко всему человѣчеству. Въ Библіи города, страны, народъ Израильский, а затѣмъ и все возрожденіе человѣчества или вселенская церковь представляются въ образѣ женскихъ индивидуальностей, и это не есть простая метафора. Изъ того, что образъ единства соціальныхъ тѣлъ не ощущителенъ для нашихъ виышнихъ чувствъ, никакъ не слѣдуетъ, чтобы его вовсе не существовало: вѣдь и нашъ собственный тѣлесный образъ совсѣмъ не ощущителенъ и невѣдомъ для отдѣльной мозговой клѣточки и для кровяного шарика; и если мы, какъ индивидуальность, способная къ полнотѣ бытія, отличаемся отъ этихъ элементарныхъ индивидуальностей не только большею ясностью и широтою разумнаго сознанія, но и большею силой творческаго воображенія, то я не вижу надобности отказываться отъ этого преимущества. Какъ бы то ни было, съ образомъ или безъ образа, требуется прежде всего, чтобы мы отпосились къ соціальной и всемирной средѣ какъ къ дѣйствительному живому существу, съ которымъ мы, никогда не сливаясь до безразличія, находимся въ самомъ тѣскомъ и полномъ взаимодѣйствіи. Такое распространеніе сизигического отношенія на сферы собирательного и всеобщаго бытія совершенствуетъ самую индивидуальность, сообщая ей единство и полноту жизненнаго содержанія, и тѣмъ самымъ возвышаетъ и увѣковѣчиваетъ основную индивидуальную форму любви.

Несомнѣнно, что историческій процессъ совершается въ этомъ направленіи, постепенно разрушая ложныя или недостаточные формы человѣческихъ союзовъ (патріархальный, despотическая, односторонне-индивидуалистическая) и, вмѣстѣ съ тѣмъ, все болѣе и болѣе приближаясь не только къ объединенію всего человѣчества, какъ солидарного цѣлаго, но и къ установленію истинного сизигического образа этого всечеловѣческаго единства. По мѣрѣ того, какъ всеединая идея дѣйствительно осуществляется чрезъ укрѣпленіе и усовершенствованіе своихъ индивидуально-человѣческихъ элементовъ, необходимо ослабѣваютъ и стлаживаются формы ложнаго раздѣленія, или непроницаемости существъ въ пространствѣ и времени. Но для пол-

наго ихъ упраздненія и для окончательнаго увѣковѣченія всѣхъ индивидуальностей, не только настоящихъ, но и прошедшихъ, нужно, чтобы процессъ интеграціи перешелъ за предѣлы жизни соціальной, или собственно-человѣческой, и включилъ въ себя сферу космическую, изъ которой онъ вышелъ. Въ устроеніи физического міра (космической процессъ) божественная идея только снаружи облекла царство материи и смерти покровомъ природной красоты: чрезъ человѣчество, чрезъ дѣйствіе его универсально-разумнаго сознанія она должна войти въ это царство *изнутри*, чтобы оживотворить природу и увѣковѣчить ея красоту. Въ этомъ смыслѣ необходимо измѣнить отношеніе человѣка къ природѣ. И съ нею онъ долженъ установить то сизигическое единство, которымъ опредѣляется его истинная жизнь въ личной и общественной сферахъ.

V.

Природа до сихъ поръ была — или всевластною деспотическою матерью младенчествующаго человѣчества, или чужою ему рабою, вещью. Въ эту вторую эпоху одни только поэты сохранили еще и поддерживали хотя безотчетное и робкое чувство любви къ природѣ, какъ къ равноправному существу, имѣющему или могущему имѣть жизнь *въ себѣ*. Истинные поэты всегда оставались пророками всемірного возстановленія жизни и красоты, какъ хорошо сказалъ одинъ изъ нихъ своимъ собратьямъ;

Только у васъ мимолетныя грезы
Старыми въ душу глядятся друзьями,
Только у васъ благовонныя розы
Вѣчно восторга блестаютъ слезами.
Съ торжищъ житейскихъ, безцвѣтныхъ и душныхъ,
Видѣть какъ радостно тонкія краски,
Въ радугахъ вашихъ прозрачно-воздушныхъ
Неба родного мнѣ чудятся ласки.

Установленіе истиннаго любовнаго, или сизигического отношенія человѣка не только къ его соціальной, но и къ его природной и всемірной средѣ — эта цѣль сама по себѣ ясна. Нельзя сказать того же о путяхъ ея достижения для отдельнаго человѣка. Не вдаваясь въ преждевременные, а потому сомнительныя и неудобныя подробности, можно, основываясь на твердыхъ аналогіяхъ космического и истори-

ческаго опыта, съ увѣренностью утверждать, что всякая сознательная дѣятельность человѣческая, опредѣляемая идею всемірной сизигіи и имѣющая цѣлью воплотить всеединый идеалъ въ той или другой сфере, тѣмъ самымъ дѣйствительно производить или освобождать реальные духовно-тѣлесные токи, которые постепенно овладѣваютъ материальною средою, одухотворяютъ ее и воплощаютъ въ ней тѣ или другіе образы всеединства, — живыя и вѣчныя подобія абсолютной человѣчности. Сила же этого духовно-тѣлеснаго творчества въ человѣкѣ есть только превращеніе или *обращеніе внутрь* той самой творческой силы, которая въ природѣ, будучи обращена наружу, производить дурную безконечность физического размноженія организмовъ.

Связавши въ идеѣ всемірной сизигіи (индивидуальную половую) любовь съ истинною сущностью всеобщей жизни, я исполнилъ свою прямую задачу — опредѣлить смыслъ любви, такъ какъ подъ смысломъ какого-нибудь предмета разумѣется именно его внутренняя связь со всеобщею истиной. Что касается до нѣкоторыхъ соціальныхъ вопросовъ, которые мнѣ пришлось затронуть, то я предполагаю еще къ нимъ вернуться.

Предисловіе къ книгѣ „Прижизнен-
ные призраки etc.“

1893.



Первый шагъ къ положительной
эстетикѣ.

1894.

Wysokość i głębokość kanałów, w których znajdują się zbiorniki, jest zasadniczą czynnikiem wpływającym na ich rozwój. Wysokość kanału powinna być co najmniej 1 m, aby umożliwić przepływ wody z jednego zbiornika do drugiego. Gdy jednak kanały są głębsze niż 1 m, to woda z jednego zbiornika nie może przepływać do drugiego, ponieważ woda z jednego zbiornika zatrzymuje się w kanałach i nie może przepływać dalej. Wysokość kanału powinna być co najmniej 1 m, aby umożliwić przepływ wody z jednego zbiornika do drugiego. Gdy jednak kanały są głębsze niż 1 m, to woda z jednego zbiornika nie może przepływać do drugiego, ponieważ woda z jednego zbiornika zatrzymuje się w kanałach i nie może przepływać dalej. Wysokość kanału powinna być co najmniej 1 m, aby umożliwić przepływ wody z jednego zbiornika do drugiego. Gdy jednak kanały są głębsze niż 1 m, to woda z jednego zbiornika nie może przepływać do drugiego, ponieważ woda z jednego zbiornika zatrzymuje się w kanałach i nie może przepływać dalej.

Bibliotekarzom dać zająć mianowicie
zakazując

zakazując

ПРЕДИСЛОВІЕ

къ книгѣ Э. Гѣрней, Ф. Майерсъ, Ф. Подморъ:

„Прижизненные призраки и другія телепатическія явленія“. Съ англійскаго „Phantasms of the living“. Сокращенный переводъ подъ редакціей и съ предисловіемъ Владимира Соловьева. Издание А. Н. Аксакова. Спб. 1893.

Факты, методически собранные и удостовѣренные въ этой книгѣ, принадлежать къ одному отдѣлу обширной и важной области особыхъ естественныхъ явленій, которыхъ систематическая разработка (во всей ихъ совокупности) началась лишь во второй половинѣ истекающаго столѣтія. Вслѣдствіе этой новизны если не самаго дѣла, то сознательного и отчетливаго къ нему отношенія, даже нельзя сразу обозначить эту область явленій какимъ-нибудь общимъ названіемъ: окончательно установившагося и всѣми принятаго не существуетъ, а изъ многихъ болѣе или менѣе употребительныхъ нѣть ни одного вполнѣ удачнаго. Нѣкоторыя изъ этихъ названій, напр. *мистическія явленія, таинственныя, скрытныя (оккультизмъ)*, выражаютъ лишь случайный и преходящій признакъ предмета: коль скоро эти явленія подвергаются открытому изученію и публичному обсужденію, они тѣмъ самымъ перестаютъ быть таинственными или скрытыми; другіе термины, напр. *психическія явленія*, слишкомъ широки и неопределены. Я предложилъ бы новое название — *психурническія явленія*. Этотъ терминъ достаточно объемистый, чтобы покрыть всѣ факты данной области, вмѣстѣ съ тѣмъ достаточно специаленъ, чтобы ограничить ихъ отъ предмета школьнай психологіи, а главное — онъ выражаетъ основную сущность всѣхъ обозначаемыхъ явленій, именно то, что здѣсь психическій субъектъ *дѣйствуетъ самъ* какъ самостоятельная сила, не подчиненная всецѣло даннымъ условіямъ пространства, времени и механическаго движенія.

Существование такихъ психургическихъ явлений, обнаруживающихъ внутреннюю самостоятельную реальность нашей души, заранѣе отвергается, кромѣ чистыхъ материалистовъ, также и сторонниками того воззрѣнія, которое я, для краткости и общепонятности, назову полу-материализмомъ. Душевная жизнь признается этими мыслителями какъ особый способъ бытія, несводимый къ бытію материальному, но нераздѣльно съ нимъ связанный, — какъ другая, такъ сказать, лицевая сторона материального бытія. При этомъ вся объективная реальность, вся дѣйствующая сила принадлежитъ всецѣло и исключительно физическому миру, а на долю души остается съ этой точки зрѣнія только субъективный элементъ *сознанія*.

Такой взглядъ, въ отвлеченно-теоретическихъ своихъ основаніяхъ весьма далекий отъ обыкновенного материализма, на дѣлѣ со-впадаетъ съ нимъ по своимъ конечнымъ выводамъ; ибо какъ съ той, такъ и съ другой точки зрѣнія, нашъ вѣнчшій физический міръ есть единое и неизмѣнное, всегда себѣ равное цѣлое, единственная реальность, а душа или мы сами — только исчезающія частицы этого цѣлаго, только явленія, а не существо. Полу-материализмъ оставляетъ, правда, за нами преимущество познавать міръ и чрезъ это познаніе отрѣщаться, освобождаться отъ міра. Но познаніе здѣсь есть лишь мимолетное субъективное состояніе, ни въ какомъ случаѣ не переживающее того физического организма, въ чьемъ мозгу оно возникло, и такое исключительно-мысленное освобожденіе отъ рабства матеріи есть только отрицательное, — лишь субъективное предвареніе той окончательной свободы, которая объективно дается смертью. Но если дѣло сводится въ концѣ только къ этой отрицательной свободѣ духа, свободѣ его отъ реальности, то вѣдь для этого нѣть надобности и въ высшемъ сознаніи, въ познаніи мірового ничтожества, — эта отрицательная свобода получается при смерти невѣждо, какъ и мудрецомъ, для нея не нужно даже быть человѣкомъ, — чтобы умереть, достаточно быть животнымъ. Но не грубая ли это насмѣшка говорить рабу, изнывающему подъ тяжестью цѣпей: «ты свободенъ, потому что ты знаешь о своемъ рабствѣ, а также знаешь внутреннее ничтожество твоего господина; ты свободенъ сегодня, потому что завтра все равно умрешь».

Гораздо достойнѣе для признающихъ материализмъ, или полу-материализмъ за непреложную истину признать и всѣ вытекающія отсюда послѣдствія и не играть словами, называя «духовною свобо-

дой» и даже «вѣчною жизнью», то, что есть только свобода отъ бытія, простое отсутствіе всякаго дѣйствительного существованія. Со своей стороны и противники этого воззрѣнія не имѣютъ надобности настаивать преимущественно на его мрачномъ, неутѣшительномъ для человѣческаго чувства характерѣ. Главный вопросъ въ томъ: *истинно ли* это воззрѣніе, *или нѣть?* Составляемъ ли мы въ самомъ дѣлѣ проходящую частицу физического міра, безвластную и безсильную противъ него, способную въ лучшемъ случаѣ лишь на субъективный и мгновенный проблескъ высшаго сознанія, которое не спасаетъ насъ отъ смерти, а само неизбѣжно исчезаетъ вмѣстѣ съ разрушениемъ физического организма? Истинно ли это такъ?

Убѣждаться въ истинности чего-либо можно тремя путями: религіознымъ, чрезъ откровеніе свыше и свидѣтельство священныхъ авторитетовъ; чисто-раціональнымъ, посредствомъ философскаго размышленія и эмпірическимъ — въ силу фактъ опыта. Религіозныя основанія истины пріемлются только вѣрующими, чисто-раціональные или философскія убѣдительны только для меньшинства, способного къ умозрительному мышленію; эмпірическія доступны всѣмъ и каждому.

Отсюда понятенъ общій интересъ къ тѣмъ явленіямъ, которыхъ мы назвали психургическими; ибо эти явленія — если только они достовѣрны — доказываютъ эмпірически самостоятельную дѣйствительность нашей души, ея реальную мощь и способность пересиливать механическія данныя внѣшняго міра. При изученіи этихъ явленій самые великие и важные для человѣка вопросы изъ святилища вѣры и съ недосягаемыхъ вершинъ умозрѣнія переносятся на открытую и общедоступную площадь материальныхъ фактъ; здесь спиритуалисты стараются побѣдить материализмъ въ его собственной области.

До сихъ поръ однако побѣда не достигнута, все еще *sub iudice lis est.* Изученіе психургическихъ явленій можетъ похвалиться многими успѣхами, но ни одинъ изъ нихъ еще не упроченъ окончательно; и противники все еще могутъ, не впадая въ явный абсурдъ, отрицать самое существованіе психургическихъ явленій. Нехорошо только, что они, не ограничиваясь этимъ, прибѣгаютъ иногда къ запугиванію общества, выставляя занятія психургіей въ высшей степени опасными и зловредными. Указать отдельные случаи вреда отъ психургическихъ занятій, конечно, можно; но не слѣдуетъ

забывать той азбучной истины, что иѣтъ такого дѣла на свѣтѣ, которое было бы обезпечено отъ злоупотреблений. Не безъ основанія вѣдь и древній поэтъ восклицаѣтъ:

Tantum religio potuit suadere malorum!

Лондонское общество for psychical researches, во главѣ котораго стоятъ положительные ученые, свободные отъ доктринальныхъ предразсудковъ, предприняло между прочимъ, въ лицѣ трехъ своихъ членовъ, гг. Гернера, Майерса и Подмора, изслѣдованіе того особаго отдѣла психиатрии, которому посвящена предлагаемая книга. Большая часть сочиненія занята собраніемъ документально удостовѣренныхъ случаевъ ненамѣренного воздействиа на разстояніи умирающихъ или въ смертельной опасности находящихся субъектовъ на другія лица, близкія ихъ сердцу, но далекія по мѣсту. Степень реальности такихъ воздействиа различна — отъ глухого чувства тоски до полной зрительной, слуховой и осознательной галлюцинаціи; а также разстоянія, на которыхъ происходитъ воздействиа, варьируютъ отъ полуверсты до полуокружности земного шара.

Эти факты непосредственного воздействиа на разстояніи, удачно названныя *телепатическими*, доказываютъ (насколько достовѣрность ихъ поставлена вѣ сомнѣнія) власть нашей души надъ пространствомъ и даютъ эмпирическое подтвержденіе тому положенію, которое умозрительно доказано Кантомъ, именно, что не мы находимся въ пространствѣ, а пространство — въ насъ.

Задача труда и значеніе собраннаго матеріала достаточно выяснены авторами въ обширномъ введеніи и другихъ мѣстахъ книги. Мы остается только сказать нѣсколько словъ о переводѣ. Главы, имѣющія теоретический характеръ, сокращенно переведены съ англійскаго мною самимъ; прочія — подъ мою редакціей; только для главъ XIV—XVIII переводчикъ пользовался французскимъ сокращеннымъ переводомъ Марилье. Въ общемъ, русскій переводъ полнѣе французскаго.

Я думаю, что всякий безпристрастный человѣкъ по прочтеніи этой книги придется къ тому же заключенію, къ которому пришелъ и я: иѣтъ никакого вѣроятія, чтобы всѣ рассказанныя здесь происшествія были только вымысломъ или самообольщеніемъ.

Примѣчаніе. Въ русскомъ переводѣ пропущена глава XIII, посвященная опроверженію теоріи случайного совпаденія (theory of chance-coincidence). Такая теорія представляется лишь въ отвлеченной возможности; дѣйствительно ея никто не выставлялъ и едва ли когда-нибудь выставить; поэтому ея опроверженіе, хотя и свидѣтельствуетъ о чрезвычайной добросовѣтности англійскихъ авторовъ, ограждающихъ свой предметъ со всѣхъ возможныхъ сторонъ, но для читателей оно совершенно излишне. Я хотѣлъ сначала отнести эту главу въ особое приложеніе, но потому рѣшилъ вовсе выпустить. Для оправданія этого пропуска объясню здѣсь кратко, въ чмъ дѣло. Настоящая книга (въ англійскомъ подлинникѣ) содержитъ болѣе 600 случаевъ такъ называемыхъ правдивыхъ, или *вѣщихъ* галлюцинацій, т. е. такихъ, съ которыми совпадали дѣйствительныя происшествія, въ нихъ указанныя. Лица, а *priori* отрицающія возможность подобныхъ явлений, будутъ, конечно, оспаривать фактическую достовѣрность самихъ совпаденій и признавать всѣ эти разсказы въ существенныхъ пунктахъ за простой вымыселъ и обманъ. Если же кто, убѣжденный доводами и свидѣтельствами, собранными въ этой книгѣ, допустить фактическую достовѣрность совпаденія между данными галлюцинаціями и соответствующими имъ виѣшними событиями, то наѣврное онъ не станетъ объяснять этого многократнаго совпаденія простою случайностью. Такое объясненіе было бы еще возможно, если бы галлюцинаціи у здоровыхъ людей (клиническія явленія исключены изъ этого сборника) были вообще дѣломъ обыкновеннымъ. Если бы каждый изъ насъ ежедневно имѣлъ какую-нибудь галлюцинацію, то могло бы, конечно, случиться, что нѣкоторые изъ этихъ галлюцинацій совпадали съ соответственными объективными фактами безъ необходимости предполагать здѣсь прямую причинную связь. Но на самомъ дѣлѣ всякая галлюцинація у здоровыхъ (въ другихъ отношеніяхъ) людей суть явленіе ничуть не заурядное, а, напротивъ, чрезвычайно рѣдкое. Наши авторы представили тому статистическое доказательство. Они произвели опросъ въ довольно обширномъ кругу лицъ, и оказалось, что изъ 5705 человѣкъ только 21 имѣли въ своей жизни какую-нибудь зрительную галлюцинацію, при томъ 19 человѣкъ имѣли таковую разъ въ жизни, а двое — по два раза. При такой крайней рѣдкости галлюцинацій, то число галлюцинацій *вѣщихъ*, которое собрано въ этой книгѣ, оказывается весьма значительнымъ, и если признать ихъ достовѣрными, то ни-

кому въ голову не придетъ относить ихъ къ простой случайности. Между тѣмъ авторы путемъ сложныхъ вычислений, на основаніи теоріи вѣроятностей, показываютъ, что для возможности допустить случайный характеръ данного числа совпаденій необходимо было бы, чтобы число всѣхъ галлюцинацій (въ данной средѣ и въ данный періодъ времени) выражалось трилліонами. Это обстоятельное приведеніе *ad absurdum* такого мнѣнія, котораго нелѣпость и безъ того очевидна, могло быть выпущено безъ ущерба для читателей.

Противники телепатіи навѣрно не будутъ говорить о случайности собранныхъ здѣсь совпаденій; они ограничиваются отрицаніемъ ихъ фактической достовѣрности. Это отрицаніе будетъ частью головы словно, частью основано на натяжкахъ и придиркахъ къ мелочамъ; авторы уже достаточно имѣли дѣло съ такимъ отрицаніемъ, и все, что можно по поводу его сказать, сказано ими въ различныхъ мѣстахъ книги.

Первый шагъ къ положительной эстетикѣ.

1894.

I.

Къ числу многихъ литературныхъ реакцій послѣдняго времени, — частью вызванныхъ противоположными крайностями, а частью ничѣмъ положительнѣмъ не вызванныхъ, — присоединилась и реакція въ пользу «чистаго» искусства, или «искусства для искусства». Она несомнѣнно принадлежитъ къ первому разряду — къ разряду реакцій извинительныхъ; противоположная крайность, которой она вызвана, у всѣхъ въ памяти. Но неужели это такая неотвратимая для насть судьба — одну неправду уравновѣшивать другою и подчинять наше умственное развитіе дурно и «жестокосердно» понятому закону возмездія: ока за око и зубъ за зубъ? Если, какъ обыкновенно говорять, одно заблужденіе естественно вызываетъ другое противоположное, то подчиняться такому естественному процессу заблужденій не совсѣмъ естественно для человѣка, какъ существа разумнаго, — для него гораздо естественнѣе всякому заблужденію противопоставлять простую и чистую правду; это къ тому же и плодотворнѣе.

Когда, напримѣрь, писатели, объявивши Пушкина «пошилькомъ», въ подтвержденіе этой мысли спрашивали: «какую же пользу приносила и приноситъ поэзія Пушкина?» — а имъ на это съ негодованіемъ возражали: «Пушкинъ — жрецъ чистаго искусства, прекрасной формы; поэзія не должна быть полезна, поэзія выше пользы!» — то такія слова не отвѣчаютъ ни противнику, ни правдѣ, и въ результатѣ оставляютъ только взаимное непониманіе и презрѣніе. А между тѣмъ настоящій, справедливый отвѣтъ такъ простъ и бли-

зокъ: «нѣть, поэзія Пушкина, взятая въ цѣломъ (ибо нужно мѣрить «добрю мѣрою»), приносила и приносить большую пользу, потому что совершенная красота ея формы усиливаетъ дѣйствие того духа, который въ ней воплощается, а духъ этотъ — живой, благой и возвышенный, какъ онъ самъ свидѣтельствуетъ въ извѣстныхъ стихахъ:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что въ сей жестокій вѣкъ я прославлялъ свободу
И милость къ падшимъ призывалъ...

Такой справедливый отвѣтъ былъ бы умѣстенъ и убѣдителенъ даже въ томъ случаѣ, если бы противникъ въ своемъ увлечениі подъ пользою разумѣлъ только пользу материальную и требовалъ бы отъ поэзии «печныхъ горшковъ»; ибо въ такомъ случаѣ нетрудно было бы растолковать, что хотя добрыя чувства сами по себѣ и недостаточны для снабженія всѣхъ людей необходимою домашнею утварью, однако безъ такихъ чувствъ не могло бы быть даже рѣчи о подобномъ полезномъ предпріятіи за отсутствіемъ внутреннихъ къ нему побужденій, — тогда возможна была бы только непрерывная война за горшки, а никакъ не справедливоѣ ихъ распределеніе на пользу общую.

Если бы сторонники «искусства для искусства» разумѣли подъ этимъ только, что художественное творчество есть особая дѣятельность человѣческаго духа, удовлетворяющая особенной потребности и имѣющая собственную область, то они, конечно, были бы правы, но тогда имъ нечего бы было и поднимать реакцію во имя такой истины, противъ которой никто не станетъ серьезно спорить. Но они идутъ гораздо дальше: они не ограничиваются справедливымъ утвержденіемъ специфической особенности искусства или самостоятельности тѣхъ средствъ, какими оно дѣйствуетъ, а отрицаютъ всякую существенную связь его съ другими человѣческими дѣятельностями и необходимое подчиненіе его общимъ жизненнымъ цѣлямъ человѣчества, считая его чѣмъ-то въ себѣ замкнутымъ и безусловно самодовлеющимъ; вместо законной автономіи для художественной области они проповѣдуютъ эстетическій сепаратизмъ. Но хотя бы даже искусство было точно такъ же необходимо для всего человѣчества, какъ дыханіе для отдѣльного человѣка, то вѣдь и дыханіе существенно зависить отъ кровообращенія, отъ дѣятельности первовъ и

мускуловъ, и оно подчинено жизни цѣлаго; и самыя прекрасныя легкія не оживятъ его, когда поражены другіе существенные органы. Жизнь цѣлаго не исключаетъ, а, напротивъ, требуетъ и предполагаетъ относительную самостоятельность частей и ихъ функций, — но безусловно самодовлѣющею никакая частная функция въ своей отдѣльности не бываетъ и быть не можетъ.

Безполезно для сторонниковъ эстетического сепаратизма и слѣдующее тонкое различіе, дѣлаемое нѣкоторыми. Допустимъ, говорять они, что въ общей жизни искусство связано съ другими дѣятельностями, и все онѣ вмѣстѣ подчинены окончательной цѣли исторического развитія; но эта связь и эта цѣль, находясь за предѣлами нашего сознанія, осуществляются сами собою, помимо насъ, — и слѣдовательно не могутъ опредѣлять наше отношеніе къ той или другой человѣческой дѣятельности: отсюда заключеніе: пускай художникъ будетъ только художникомъ, думаетъ только объ эстетически прекрасномъ, о красотѣ формы, пусть для него, кромѣ этой формы, не существуетъ ничего важнаго на свѣтѣ.

Подобное разсужденіе, имѣющее въ виду превознестіи искусство, на самомъ дѣлѣ глубоко его унижаетъ, — оно дѣлаетъ его похожимъ на ту работу фабричного, который всю жизнь долженъ выдѣлывать только извѣстные колесики часового механизма, а до цѣлаго механизма ему нѣть никакого дѣла. Конечно, служеніе псевдо-художественной формѣ гораздо пріятнѣе фабричной работы, но для разумнаго сознанія одной пріятности мало.

И на чемъ же основывается это убѣжденіе въ роковой безсознательности исторического процесса, въ безусловной непознаваемости его цѣли? Если требовать определенного и адекватного представленія объ окончательномъ состояніи человѣчества, представленія конкретнаго и реальнаго, то, конечно, оно никому недоступно, — и не столько по ограниченности ума человѣческаго, сколько потому, что самое понятіе *абсолютно окончательного состоянія*, какъ заключенія *временнаго* процесса — содергитъ въ себѣ логическія трудности, едва ли устранимыя. Но вѣдь такое невозможное представленіе о немыслимомъ предметѣ ни къ чemu и не нужно. Для сознательного участія въ историческомъ процессѣ совершенно достаточно общаго понятія о его направленіи, достаточно имѣть идеальное представленіе о той, говоря математически, *предельной* величинѣ, къ которой несомнѣнно и непрерывно приближаются *перемѣнныя* величины человѣческаго

прогресса, хотя по природѣ вещей никогда не могутъ совпасть съ нею. А объ этомъ идеальномъ предѣлѣ, къ которому *реально* движается исторія, всякий, не исключая и эстетического сепаратиста, можетъ получить совершенно ясное понятіе, если только отъ обратится за указаніями не къ предвзятымъ мігніямъ и дурнымъ инстинктамъ, а къ тѣмъ выводамъ изъ историческихъ фактовъ, за которые ручается разумъ и свидѣтельствуетъ совѣсть.

Несмотря на всѣ колебанія и зигзаги прогресса, несмотря на нынѣшнее обостреніе милитаризма, націонализма, антисемитизма, динамитизма и проч., и проч., все-таки остается несомнѣннымъ, что *равнопольствующая* исторія идеть отъ людѣйства къ человѣкобудою, отъ безправія къ справедливости и отъ враждебнаго разобщенія частныхъ группъ къ *всеобщей солидарности*. Доказывать это значило бы излагать сравнительный курсъ всеобщей исторіи. Но для добросовѣстныхъ пессимистовъ, смущаемыхъ ретроградными явленіями настоящей эпохи, достаточно будетъ напомнить, что самыя эти явленія ясно показываютъ безповоротную силу общаго историческаго движения.

Вотъ два примѣра изъ совершенно различныхъ областей, но приводящіе къ одной и той же морали. Явился въ Германіи талантливый писатель (къ сожалѣнію, оказавшійся душевно-больнымъ), который сталъ проповѣждывать, что состраданіе есть чувство низкое, недостойное уважающаго себя человѣка; что нравственность годится только для рабскихъ натуры; что человѣчества нѣть, а есть господа и рабы, полубоги и полускоты, что первымъ все позволено, а вторые обязаны служить орудіемъ для первыхъ и т. п. И что же? Эти идеи, въ которыя нѣкогда вѣрили и которыми жили подданные египетскихъ фараоновъ и царей ассирийскихъ, — идеи, за которыя еще и теперь изъ послѣднихъ силъ боятся Бегаизинъ въ Дагомеѣ и Лобэнгула въ землѣ Матэбельской, — онъ были встрѣчены въ нашей Европѣ какъ что-то необыкновенное оригинальное и свѣжее, и въ этомъ качествѣ повсюду имѣли *grand succès de surprise*. Не доказывается ли это, что мы успѣли не только пережить, а даже забыть то, чѣмъ жили наши предки, такъ что ихъ міросозерцаніе получило для насъ уже прелесть новизны? А что подобное никогда и нигдѣ не предусмотрѣнное воскрешеніе мертвыхъ идеи вовсе не страшно для живыхъ, — это видно уже изъ одного фактическаго соображенія: кромѣ двухъ классовъ людей, упоминаемыхъ Ницше, — гор-

дыхъ господь и смиренныхъ рабовъ — повсюду развился еще третій — рабовъ несмиренныхъ, т. е. переставшихъ быть рабами. — и благодаря распространенію книгопечатанія и множеству другихъ неизбѣжныхъ и неотвратимыхъ золъ, этотъ третій классъ (который не ограничивается однимъ *tiers-état*) такъ разросся, что уже почти поглотилъ два другіе. Вернуться добровольно къ смиренію и рабской покорности эти люди не имѣютъ никакого намѣренія, а принудить ихъ некому и нечѣмъ, — по крайней мѣрѣ, до пришествія антихриста и пророка его съ ложными чудесами и знаменіями; да и этой послѣдней замаскированной реакціи дагомейскихъ идеаловъ хватить только ненадолго.

Второй примѣръ того, какъ реакціонныя явленія свидѣтельствуютъ объ истинномъ прогрессѣ — это характеръ нынѣшняго милитаризма: при такихъ огромныхъ вооруженіяхъ и при такомъ чрезвычайномъ обостреніи національного соперничества и вражды — такая небывалая нерѣшительность начать войну! Всякій невольно чувствуетъ и понимаетъ, что при нынѣшней всесторонней *связности* между различными частями человѣчества невозможно будетъ локализовать вооруженного столкновенія, и что небывалая громадность силъ по численности войскъ и смертоносности вооруженій представить войну во всемъ ея, еще никогда прежде невиданномъ, ужасъ и сдѣлаетъ нравственно и материально невозможнымъ ея повтореніе. Значить, одно изъ двухъ: или, несмотря на весь милитаризмъ, война все-таки не начнется, или же, если начнется, то будетъ *послѣднею*. Милитаризмъ сѣѣтъ войну. Вооруженныя политическія усобицы между націями неизбѣжно прекратятся, какъ прекратились постоянныя усобицы ихъ между отдельными внутри странъ областями и городами.

Мѣстная исторія показываетъ, какъ здѣсь или тамъ тяжелыми, запутанными и нерѣдко кривыми путями собиралась земля вокругъ народныхъ вождей, и какъ мало-по-малу росло и развивалось національное сознаніе. Но и всеобщая исторія также показываетъ намъ, какъ еще болѣе трудными и сложными путями собирается вся земля, цѣлое человѣчество вокругъ невидимаго, но могучаго центра христіанской культуры, и какъ, несмотря ни на какія препятствія, все растеть и крѣпнеть сознаніе всемирнаго единства и солидарности. Эту аналогію между національнымъ и всемирнымъ «собираемъ земли» можно было бы провести еще дальше, но я ограничиваюсь только очевидными и безспорными чертами.

Итакъ, у исторіи (а слѣдовательно и у всего мірового процесса) есть цѣль, которую мы несомнѣнно знаемъ, — цѣль всеобъемлющая и вмѣстѣ съ тѣмъ достаточно опредѣленная для того, чтобы мы могли сознательно участвовать въ ея достижени; ибо относительно всякой идеи, всякаго чувства и всякаго дѣла человѣческаго всегда можно по разуму и совѣсти рѣшить, согласно ли оно съ идеаломъ всеобщей солидарности, или противорѣчить ему, направлено ли оно къ осуществлению истиннаго всеединства¹, или противодѣйствуетъ ему. А если такъ, то гдѣ же право для какой-нибудь человѣческой дѣятельности отдѣляться отъ общаго движенія, замыкаться въ себѣ, объявлять себя своею собственою и единственою цѣлью? И въ частности, гдѣ права эстетического сепаратизма? Нѣтъ: искусство не для искусства, а для осуществлениія той полноты жизни, которая необходимо включаетъ въ себѣ и особый элементъ искусства — красоту, но включаетъ не какъ что-нибудь отдѣльное и самодовольствующее, а въ существенной и внутренней связи со всѣмъ остальнымъ содержаніемъ жизни.

Отвергнуть фантастическое отчужденіе красоты и искусства отъ общаго движенія міровой жизни, признать, что художественная дѣятельность не имѣеть въ себѣ самой какого-то особаго высшаго предмета, а лишь *по-своему*, своими средствами служить общей жизненной цѣли человѣчества — вотъ первый шагъ къ истинной положительной эстетикѣ. Этотъ шагъ въ русской литературѣ сдѣланъ около сорока лѣтъ тому назадъ авторомъ эстетическаго трактата, который (вмѣстѣ съ другими, менѣе важными, но также не лишенными интереса этюдами того же писателя) весьма кстати перепечатанъ былъ именно теперь — въ виду возрожденія у насъ эстетического сепаратизма. Желая указать положительное значеніе и заслугу этого стараго, но не устарѣвшаго трактата, я вовсе не закрываю глаза ни на многіе его частные недостатки, ни на общую неполноту представляемаго имъ возврѣнія. Въ свое время многіе были увѣрены, что авторъ

¹ Я называю истиннымъ или положительнымъ всеединствомъ такое, въ которомъ единое существуетъ не на счетъ всѣхъ или въ ущербъ имъ, а въ пользу всѣхъ. Ложное, отрицательное единство подавляетъ или поглощаетъ входящіе въ него элементы и само оказывается такимъ образомъ *пустотою*; истинное единство сохраняетъ и усиливаетъ свои элементы, осуществляясь въ нихъ, какъ *полнота бытія*.

«Эстетическихъ отношений искусства къ дѣйствительности», сказаъ послѣднее слово въ этой области. Я такъ далекъ отъ подобной мысли, что утверждаю какъ разъ обратное: онъ сказалъ вовсе не послѣднее, а только первое слово истинной эстетики. Но я считаю несправедливымъ отъ сдѣлавшаго иѣчто — требовать, чтобы онъ сдѣлалъ все, и думаю, что неизбѣжная недостаточность первого шага сама собою устранится, когда будуть сдѣланы дальниѣшіе шаги.

II.

Если нашъ авторъ подчиняетъ искусство дѣйствительности, то, конечно, не въ томъ смыслѣ, въ какомъ иные современные ему писатели объявляя, что «сапоги важнѣе Шекспира». Онъ утверждаетъ только, что *красота* дѣйствительной жизни выше красоты созданій художественной фантазіи². Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ отстаиваетъ реальность красоты противъ гегельянской эстетики, для которой прекрасное «является только призракомъ», проистекающимъ отъ непроницательности взгляда, не просвѣтленного философскимъ мышленіемъ, передъ которымъ исчезаетъ кажущаяся полнота проявленія идеи въ отдѣльномъ предметѣ (т. е. красота), такъ что «чѣмъ выше развито мышленіе, тѣмъ болѣе исчезаетъ передъ нимъ прекрасное, и, наконецъ, для вполнѣ развитаго мышленія есть только истинное, а прекраснаго нѣть»³.

Въ противоположность такому взгляду нашъ авторъ признаетъ красоту существеннымъ свойствомъ дѣйствительныхъ предметовъ и настаиваетъ на ея фактической реальности — не для человѣка только, но и въ природѣ, и для природы. «Понимая прекрасное какъ полноту жизни, мы должны будемъ признать, что стремленіе къ жизни, проникающее всю природу, есть вмѣстѣ и стремленіе къ произведению прекраснаго. Если мы должны вообще видѣть въ природѣ не цѣли, а только результаты, и потому не можемъ назвать красоту цѣлью природы, то не можемъ не назвать ее существеннымъ результатомъ, къ произведенію котораго направлены силы природы. Непреднамѣрен-

² „Эстетика и поэзія“ („Современникъ“, 1854—1861), изданіе М. Н. Чернышевскаго, Спб 1893, стр. 81.

³ Тамъ же, стр. 2—3. Въ этихъ словахъ гегельянская точка зрењія болѣе „выводится на свѣжую воду“, нежели просто излагается; но сущность дѣла передана совершенно вѣрно.

ность, безсознательность этого направления нисколько не мѣшаетъ его реальности, какъ безсознательность геометрическаго стремленія въ пчелѣ, безсознательность стремленія къ симметріи въ растительной силѣ, нисколько не мѣшаетъ правильности шестиугольнаго строенія ячеекъ сота, симметріи двухъ половинъ листа»⁴.

Значительную часть своего трактата авторъ посвятилъ подробному доказательству той мысли, «что произведение искусства можетъ имѣть преимущество передъ дѣйствительностью развѣ въ двухъ-трехъ ничтожныхъ отношеніяхъ, и по необходимости остается далеко ниже ея въ существенныхъ своихъ качествахъ»⁵. Въ этой обширной аргументаціи (стр. 38—81) много наивнаго (не нужно забывать, что это — юношеская диссертација), иные спорныя вещи голословно утверждаются, а другія, бесспорныя, доказываются съ педантичною полнотою; но всѣ эти недостатки и излишества не должны закрывать отъ насъ того, что доказываемая мысль вѣрна, — до такой степени вѣрна, что читатель, недовольный пространною прозой автора, можетъ найти краткое, но точное выраженіе того же самаго возврѣнія на противоположномъ полюсѣ нашей литературы, въ слѣдующемъ стихотвореніи Фета:

Кому вѣнецъ: богинѣ ль красоты,
Иль вѣ зеркало ея изображенію?
Поэтъ смущенъ, когда дивишься ты
Богатому его воображенію.
Не я, мой другъ, а Божій міръ богатъ:
Въ пылинкѣ онъ лелѣтъ жизнъ и множить,
И что одинъ твой выражаетъ взглядъ,
Того поэтъ пересказать не можетъ.

Но если такъ, то въ чёмъ же значеніе и задача искусства? Нашъ авторъ подходитъ къ этому вопросу съ настоящей стороны. Оправдывъ то мнѣніе, будто художество создаетъ совершенную красоту, какой неѣть въ дѣйствительности, онъ замѣчаетъ: «Въ произведеніяхъ искусства неѣть совершенства; кто недоволенъ дѣйствительною красотою, тотъ еще меныше можетъ удовлетвориться красотою, созданною искусствомъ. Итакъ, невозможно согласиться съ обыкновеннымъ объясненіемъ значенія искусства; но въ этомъ объясненіи есть намеки, которые могутъ быть названы справедливыми, если будутъ

⁴ Тамъ же, стр. 42—43.

⁵ Тамъ же, стр. 80.

истолкованы надлежащимъ образомъ. Человѣкъ не удовлетворяется прекраснымъ въ дѣйствительности, ему мало этого прекраснаго — воть въ чмъ сущность и правдивость обыкновенного объясненія, которая, будучи должно понимаема сама, нуждается въ объясненіи⁶.

Собственное объясненіе автора неудовлетворительно, и я не буду на немъ останавливаться. Я не стану также защищать всѣ тѣ 17 тезисовъ, которыми заканчивается его диссертациѣ. Главное ея содержаніе сводится къ двумъ положеніямъ: 1) существующее искусство есть лишь слабый суррогат дѣйствительности, и 2) красота въ природѣ имѣть объективную реальность, — и эти тезисы *останутся*. Ихъ утвержденіе въ трактатѣ, стѣсненное предѣлами особаго философскаго кругозора автора (онъ былъ въ то время крайнимъ приверженцемъ Фейербаха), не разрѣшаетъ, а только ставитъ настоящую задачу; но вѣрная постановка есть первый шагъ къ разрѣшенію. Только на основаніи этихъ истинъ (объективность красоты и недостаточность искусства), а никакъ не чрезъ возвращеніе къ артистическому дилетантизму, возможна будетъ дальнѣйшая плодотворная работа въ области эстетики, которая должна связать художественное творчество съ высшими цѣлями человѣческой жизни.

⁶ Тамъ же, стр. 89.

przeprowadzone, na którym przedstawiono dalszą fazę rozwoju tego eksperymentu, o której mowa jest w powyższej części, kiedy mowa o nowym eksperymencie, prowadzonym, podobnie jak w tym, z wykorzystaniem tych samych metod i technik, ale z wykorzystaniem nowego, lepszego i dokładniejszego modelu. W tym celu zaproponowano nowe zadanie, złożone z kilku części, dla których nowe, bardziej szczegółowe i precyzyjne, zadania i zadania kontrolne, zgodnie z nową metodą, miały być rozwiązywane. W tym celu zaproponowano nowe zadanie, złożone z kilku części, dla których nowe, bardziej szczegółowe i precyzyjne, zadania i zadania kontrolne, zgodnie z nową metodą, miały być rozwiązywane. W tym celu zaproponowano nowe zadanie, złożone z kilku części, dla których nowe, bardziej szczegółowe i precyzyjne, zadania i zadania kontrolne, zgodnie z nową metodą, miały być rozwiązywane. W tym celu zaproponowano nowe zadanie, złożone z kilku części, dla których nowe, bardziej szczegółowe i precyzyjne, zadania i zadania kontrolne, zgodnie z nową metodą, miały być rozwiązywane. W tym celu zaproponowano nowe zadanie, złożone z kilku części, dla których nowe, bardziej szczegółowe i precyzyjne, zadania i zadania kontrolne, zgodnie z nową metodą, miały być rozwiązywane.

Буддійское настроение въ поэзіи.

1894.



Современное состояніе вопроса о
медіумизмѣ.

1894.

• *Witajcie w naszej rodzinie, powitanym
przyjacielem -*
• *po*
*a wszyscy zawsze powitanym
dzienniczkiem*
• *witajcie.*

Буддійське настроеніе въ поэзіи.

1894.

Сочиненія гр. А. Голенишева-Кутузова, 2 тома, Спб. 1894.

I.

Многіе изъ нашихъ писателей уже находили въ легендахъ буддизма мотивы и сюжеты для своихъ произведений; но настоящимъ представителемъ буддійского *настроения* должно признать такого поэта, который, повидимому, вовсе не интересуется буддизмомъ и вообще строго охраняетъ свой русскій стихъ отъ всякихъ чужеродныхъ имёнъ и терминовъ.

Литературная значительность гр. А. А. Голенищева-Кутузова достаточно признана и публикою, — его стихотворенія издаются въ третій разъ, — и академіей наукъ, избравшей его въ члены-корреспонденты и поручающей ему оцѣнку поэтическихъ сочиненій, представляемыхъ на Пушкинскую премію. Это признаніе вполнѣ заслуженно: если не по возрасту, то по литературному типу гр. Кутузовъ можетъ быть названъ «остальнымъ изъ стаи славной» тѣхъ поэтовъ, которые явились всѣдъ за Пушкинымъ и Лермонтовымъ; болѣе, чѣмъ у кого-либо, въ его стихѣ слышится какое-то пушкинское вѣяніе; рамки трехъ главныхъ его произведеній («Старая рѣчи», «Дѣдъ простиль» и «Разсвѣтъ») не выходятъ изъ предѣловъ той «деревни, где скучалъ Егеній», а въ первой изъ этихъ трехъ поэмъ къ пушкинскому внушенію нужно отнести и главный характеръ и развязку. Но при этой зависимости, о которой я упоминаю, конечно, не для упрека, между поэзіей Пушкина и гр. Кутузова существуетъ — не говоря о силѣ и размѣрахъ — ясное различіе въ настроеніи и тонѣ. У Пушкина тонъ бодрый, радостный и увѣренный; при

самыхъ языческихъ, мірскихъ и даже грѣховныхъ сюжетахъ настроение его все-таки христіанское, — это поэзія жизни и воскресенія. У гр. Кутузова, напротивъ, тонъ минорный, настроение безнадежное, онъ поэтъ смерти и Нирваны, хотя это послѣднее столь нынѣ злоупотребляемое слово и не встречается въ его стихахъ.

Гейне раздѣлялъ всѣ умы на «эллиновъ» и «іudeевъ»; нашъ поэтъ не принадлежитъ ни къ тѣмъ, ни къ другимъ: онъ будистъ, — разумѣется, не въ смыслѣ какихъ-нибудь догматовъ и учений, а въ смыслѣ того душевнаго настроенія, которое кристаллизовалось исторически въ религіи Шакьямуни, но можетъ существовать индивидуально, независимо отъ нея. Я имѣю въ виду не порицаніе и не похвалу, а пока только опредѣленіе. Я вывожу его изъ разбора трехъ названныхъ поэмъ, на которыхъ главнымъ образомъ основано литературное значеніе нашего поэта. Помимо намѣренія, а можетъ быть и помимо сознанія автора эти три лирическія поэмы связаны между собою какъ послѣдовательныя ступени въ развитіи одного и того же настроенія¹.

II.

Одинокій, во всемъ отчаявшійся преждевременный старикъ возвращается послѣ многихъ лѣтъ странствованія въ свой деревенскій обетшалый домъ, гдѣ его узнаетъ и привѣтствуетъ только дряхлый песь. Все остальное ему чуждо, онъ окружены блѣдными призраками воспоминаній и мертвыми слѣдами минувшаго.

Онъ въ нихъ безмолвно, тихо бродить,
Какъ гость могиль, среди крестовъ
И сердцу милыхъ мертвцевовъ
По ветхимъ подицямъ находить
И внемлетъ смертный ихъ покой,
Къ гробамъ приникнувъ головой. —
Въ толпѣ иныхъ воспоминаній
Живѣй являлся одно.
Огнемъ несбычившихся желаній
Больнѣе душу жгло оно.

¹ Внѣшній признакъ принадлежности этихъ пьесъ въ лирической, а не въ эпической поэзіи, состоитъ въ *безымянности* дѣйствующихъ лицъ. Только второй разсказъ приближается нѣсколько къ эпическому строю, соответственно чему и два главныхъ лица въ немъ обозначены, хотя не именами, а титулами.

Найдя старую тетрадь дневника, унылый щутникъ читаетъ въ ней краткую исторію своей любви къ женѣ пріятеля и деревенского сосда. Эта исторія проста и обыкновенна.

Вѣдь замужъ вышла ты и рано и случайно.
Пошался „человѣкъ хорошій“, полюбилъ...
Ему ты отдалась, хотя, быть можетъ, тайно
И сознавалась въ томъ, что чуждъ тебѣ онъ былъ.

Этотъ «хорошій человѣкъ» оказывается таковымъ лишь въ самомъ широкомъ смыслѣ. При совершенной умственной пустотѣ онъ такъ грубъ, что обнимаетъ и цѣлуєтъ свою жену при постороннемъ, и въ концѣ концовъ подъ вліяніемъ вина увлекается азартной игрой и проигрываетъ въ одну ночь все свое состояніе, послѣ чего его постигаетъ ударъ паралича. Наканунѣ этой катастрофы жена имѣла краткое любовное объясненіе съ героямъ и назначила ему свиданіе:

„Я завтра вечеромъ останусь здѣсь одна —
У мужа въ городѣ какое-то есть дѣло.
Пройдите прямо въ садъ — подъ липой у ручья
Мы съ вами встрѣтимся — тамъ ждать васъ буду я“.

Но ждать пришлось не ей, а ему, и ждать до самой полночи.

Пѣтухъ вдали пропѣлъ. Съ ручья вдругъ потянуло
Холодной сыростью въ туманѣ спящихъ водъ...
Ждать больше нечего — она ужъ не придетъ...
И счастью не бывать! — сомнѣніе мнѣ шепнуло.
Должно быть счастье то чужое, — не мое! —
Я поднялъ голову — и увидалъ... ее!

Что же кидаетесь навстрѣчу вы ко мнѣ?
Я — видите — свое сдержанла обѣщанье:
Я ваша .. я пришла на тайное свиданье,
Въ потемкахъ крадучись, забывъ и стыдъ и честь. —
Да смѣйтесь, радуйтесь же! — добрую вамъ вѣсть
Съ собой я принесла: онъ боленъ, умираетъ...
Онъ въ этотъ самый мигъ, быть можетъ, призываетъ
Жену любимую. Да пѣть жены! Она —
Ушла къ любовнику — любимая жена!“

Такъ какъ растерявшійся герой хранить глубокое молчаніе, то героиня продолжаетъ иронизировать и, наконецъ, разражается рыда-

ніями. Герой все-таки упорствуетъ въ безмолвії и, наконецъ, долженъ выслушать слѣдующее объясненіе:

„Вотъ видите ли, — такъ она мнѣ говорила, — Пока онъ счастливъ былъ, его я не любила. Вы это поняли, вы это знали... Да, скрываться нечего, и тайны нѣть межъ нами. Мнѣ душно было съ нимъ — легко мнѣ было съ вами. Меня манили вы украдкою. — Куда? Къ блаженству ль, къ гибели? — Я спрашивать боялась... Какъ, птица въ клѣткѣ я безсмысленно металась. И — правду горькую примите не сердясь — Отъ скуки завлекла и полюбила васъ.

Тотъ мужъ теперь исчезъ... Полуживой калѣка, Безпомощный бѣднякъ явился предо мной И, глядя мнѣ въ глаза съ покорною тоской, Боясь не встрѣтить въ нихъ желанное участье, Молилъ послѣднее ему оставить счастье (То, что онъ требовать бы могъ!) — любовь мою... И жалко мнѣ его — и я его люблю! А къ вамъ теперь пришла проститься. Виновата Во всемъ случившемся, быть можетъ, я одна. И въ наказаніе за то нести должна Суровый, тяжкій крестъ! Къ былому нѣть возврата. Забудьте же меня, какъ я забуду васъ, А мнѣ... О! мнѣ давно пора разстаться въ вами, Пора идти къ нему!.. Все кончено межъ нами“. И, смолкнувъ, отъ земли не поднимая глазъ, Какъ будто торопя забвенье и разлуку, Она холодную мнѣ протянула руку.

Герой, которому слѣдовало бы говорить нѣсколько раньше, тутъ едругъ упускаетъ прекрасный случай промолчать и хоть къ самому концу сбояности свое достоинство.

„Ужель возврата нѣть? — я горько прошептала, — Ужель за краткій часъ счастливаго забвенья Должна разбиться жизнь? Ужели нѣть прощенья? Не вѣрю! — вновь должны сойтись мы!.. Но когда?“ Она окинула меня печальнымъ взоромъ; Не то съ усмѣшкою, не то съ нѣмымъ укоромъ Тотъ взглѣдъ отвѣтилъ мнѣ: „конечно, никогда!“ И молча я смотрѣлъ, какъ призракъ удалялся, Какъ въ мракѣ скрылся онъ, — и я одинъ остался.

Итакъ, дѣло кончается торжествомъ des ewig-Weiblichen — торжествомъ легкимъ, такъ какъ das zeitlich-Männliche могло бы быть лучше представлено. Исторія эта есть, коенчо, вариація на пушкинскую тему:

Но я другому отдана
И буду вѣкъ ему вѣрна, —

вариація, однако, ослабленная. Пушкинская Татьяна отвергаеть Онѣгина, котораго любить, и остается вѣрна мужу, котораго никогда не любила и котораго не имѣеть причины жалѣть, такъ какъ онъ здоровъ, самоувѣренъ и самодоволентъ. Слѣдовательно, она поступаетъ исключительно въ силу нравственнаго долга, — случай рѣдкій и интересный. Для героини гр. Кутузова исполненіе долга значительно облегчается двумя обстоятельствами: во-первыхъ, она въ сущности не любить героя, она сама признается, что только отъ скуки завлекала его, а во-вторыхъ, она жалѣеть своего безпомощнаго мужа. Всякій пойметъ, какъ трудно для сколько-нибудь тонкой женской натуры обманывать полуживого, но все-таки сознавшаго и чувствующаго калѣку, и, слѣдовательно, какъ легко ей остатся вѣрной долгому при такихъ условіяхъ. Отвлеченная идея обязанности мало говоритъ женскому сознанію — другое дѣло, когда она осознательно воплощаетъ въ лицѣ безпомощнаго жалкаго существа, требующаго любви и попечений. Если эта женщина отъ скуки готова была полюбить другого, то теперь ей никогда скучать, ея жизнь перестала быть пустою, у нея есть хотя скорбное и тяжелое, но зато ясное и настоятельное дѣло. И однако, несмотря на то, что нравственный исходъ коллизіи такъ облегченъ для нашей героини, все-таки не видно, чтобы этотъ исходъ былъ ея собственнымъ, безусловнымъ и безповоротнымъ рѣшеніемъ: является сильное подозрѣніе, что добродѣтельная связь обусловлена неловкостью и безответственностью героя. Еще до катастрофы ясно, что этому человѣку счастливымъ любовникомъ не бывать. Когда ему назначаютъ тайное свиданіе, онъ говорить — *merci*.

Я руку взялъ ея — рука ея дрожала.
Съ блаженной радостью прижалъ ее къ губамъ:
„Вы осчастливили меня, — спасибо вамъ!“
Сказалъ ей тихо я. Она не отвѣчала.

Люди, не лишенные такта, въ извѣстныхъ случаяхъ воздерживаются отъ прямыхъ изъявленій благодарности. Дальше — еще хуже.

Когда не нужно, онъ говоритьъ, а когда необходимо поддержать и ободрить бѣдную женщину, онъ молчитъ какъ рыба, чтобы опять заговорить, когда уже все кончено. Вообще онъ не обнаруживаетъ ничего, кромѣ чистосердечія, а съ такимъ прекраснымъ душевнымъ качествомъ никакъ не слѣдовало бы забираться ночью въ чужой садъ. Что касается до геронини, если бы ея благое рѣшеніе было принято сразу и окончательно послѣ катастрофы съ мужемъ, изъ жалости къ нему, то ей вовсе незачѣмъ было бы идти на тайное свиданіе. Для холоднаго объясненія достаточно было бы письма. Или она боялась, чтобы герой, просидѣвшій до утра надъ ручьемъ, не получилъ насморка? Впрочемъ, какъ мы видѣли, онъ и самъ оказался достаточно благоразумнымъ и собирался уходить домой еще при первыхъ пѣтухахъ. Мнѣ кажется несомнѣннымъ, что рѣшеніе было принято на мѣстѣ свиданія, вынужденное безнадежно пассивнымъ поведеніемъ героя. Она шла въ состояніи крайне возбужденномъ, полу-истерическомъ, и сама не знала, чѣмъ это кончится; но когда оказалось, что герой такъ же мало способенъ на какіе-нибудь поступки, какъ если бы и онъ былъ пораженъ параличомъ, тогда въ ней произошла спасительная реакція, и она совершенно искренно объявляетъ свое рѣшеніе разстаться съ нимъ навсегда и вернуться къ исполненію долга. Но такъ какъ другого ей ничего и не оставалось, то здѣсь иѣть мѣста для нравственной коллизіи, и читатель остается въ неизвѣстности относительно будущей судьбы геронини: — сохранить ли она свою добродѣтель при возможной встрѣчѣ съ другимъ, менѣе простодушнымъ, поклонникомъ?

Нужно, однако, замѣтить, что слабость характеровъ и неясность положенія закрываются здѣсь великолѣпными лирическими мѣстами. Читатель забываетъ и несостоительность героя, и сомнительную доблѣсть геронини, подъ впечатлѣніемъ такихъ, напримѣръ, стиховъ:

Она умолкнула, и посреди молчанья
Яснѣй, понятнѣй словъ, послышались рыданья.
Я ихъ не прерывалъ. Что могъ сказать я ей?
Сама природа-мать ея слезамъ внимала,
И ночь-волшебница любовнѣй и нѣжнѣй
Свой голубой покровъ надъ нею простириала,
Смиряла бережно мяtekъ больной души
И ласковый привѣтъ шептала ей въ тиши.
А мѣсяцъ, между тѣмъ, всплыvalъ все выше, выше,
Все необъятнѣе, все глубже былъ покой,

Неотразимъ онъ овладѣвалъ душой,
И слезы все лились обильнѣе и тише.
Грозы стихалъ порывъ, и грусти кроткій лучъ
Изъ-подъ густыхъ рѣсицъ, слезами отягченныхъ,
Въ глазахъ, вновь для меня знакомыхъ и смягченныхъ,
Блеснулъ мнѣ какъ лазурь сквозь убѣгашихъ тучъ.

За подобные стихи можно простить автору и недостатки содержанія и нѣкоторыя странности въ родѣ слѣдующей. Выплакавшись вволю, героиня обращается къ своему безмоловному собесѣднику, между прочимъ, съ такими словами:

*Васъ — пришлага въ дому, чужого человека
Я мужу предпочла! Я съ вами заодно
Его обманывать тайкомъ хотѣла...*

Непонятно, какой смыслъ имѣеть здѣсь указаніе на *пришлага, чужого*. Развѣ было бы лучше, если бы она захотѣла имѣть любовникомъ своего родного отца, брата или рожденаго въ дому служителя? Это напоминаетъ известный анекдотъ о дѣвицѣ, которая говорила: «Хорошо было тебѣ, матушка, за батюшку замужъ идти, а мнѣ-то каково — за чужого!» Было бы болѣе понятно и согласно съ обстоятельствами дѣла, если бы вместо того, чтобы упрекать себя за предпочтеніе чужого, она упрекнула своего сообщника за то, что, будучи не совсѣмъ чужимъ, а близкимъ пріятелемъ ея мужа, онъ рѣшился его обманывать; но и въ такомъ случаѣ не слѣдовало бы видѣть отягчающаго обстоятельства въ томъ, что обманъ произвѣлся *тайкомъ*, ибо «откровенный и прямодушный обманъ» еще менѣе возможенъ, чѣмъ «родной любовникъ». Если бы героиня говорила такъ несообразно въ началѣ своей истерики, то можно было бы подумать, что авторъ намѣренно изобразилъ замѣшательство ея мыслей, но такъ какъ она говоритъ это, уже успокоившись, то здѣсь очевидный недосмотръ, который необходимо будетъ исправить въ слѣдующемъ изданіи.

III.

Повторяю, не только эти мелочи, но и болѣе существенные недостатки характеровъ и дѣйствія не имѣютъ особенной важности въ этой лирической поэмѣ. Главное здѣсь — не лица и не то, что съ ними происходитъ, а настроеніе, которое воплощается въ живыхъ образахъ разсказа и остается послѣ его чтенія. Это настроеніе есть

съ начала до конца — безнадежность. Жизнь безмысленна, а счастье — мгновенная и обманчивая случайность. Герой раньше своей неудачи уже не вѣрить въ возможность счастья — развѣ только въ ту единственную минуту, когда онъ сталъ неумѣстно благодарить за него. Онъ уже не вѣрить на другой день, когда «объять певѣдомой и странною тревогой, онъ шелъ не торопясь пустынною дорогой... И самая любовь, какъ ночь въ красѣ своей, все становилася блѣднѣй и холоднѣй». А вотъ его заключеніе и мораль всего разсказа.

Къ чemu мечтанія, надежды лживый бредъ?!

Блаженъ, чье счастіе судьюю позабыто.

Мое мелькнуло мнѣ на мигъ и ужъ разбито!

Разбито почему? За что? — Отвѣта нѣтъ.

Но если бы оно и не было разбито несчастнымъ случаемъ, то все-таки оно оказалось бы несостоятельнымъ. Въ чемъ герой (или авторъ за него) полагаетъ цѣль жизни, какъ онъ понимаетъ ея смыслъ? Что могъ и хотѣлъ онъ предложить бѣдной женщинѣ, не-удовлетворенной житейскою пустотою?

Той цѣлью жизнь была во что бы то ни стало, —
Жизнь, полная страстей, веселья и тревогъ,
Съ мечтами юности, съ исканьемъ идеала,
Невиданныхъ небесъ, невѣдомыхъ дорогъ!
Она манила насть волшебной красотою
Тумановъ голубыхъ, мерцаній и лучей
Къ той сказочной дали, любимой съ дѣтскихъ дней,
Куда, летая, мысль уносится порою
На отдыхъ отъ мірской, печальной темноты.
Отъ скуки будничной, отъ зла и суеты.

Изъ всѣхъ этихъ прекрасныхъ словъ только три имѣютъ нѣкоторый опредѣленный смыслъ, именно: страсти, веселье и тревоги. Но эти три реальные факторы счастья были вполнѣ доступны и мужу героини.

Доволенъ жизню, онъ время проводилъ
И, кажется, равно отъ всей души любилъ
Тебя, и сельское хозяйство, и охоты,
Обѣды жирные съ гостями и виномъ.
И споры вечеромъ за карточнымъ столомъ.

Тутъ было, значитъ, мѣсто и страстямъ, и веселью, и тревогамъ, съ присоединеніемъ еще такого полезнаго и интереснаго занятія, какъ сельское хозяйство. А сверхъ этого герой могъ предложить своей

возлюбленной лишь нѣсколько «голубыхъ тумановъ», которые вообще никому не заказаны и которые легко совмѣщаются со всему жизнью пошлостью. Если материальная жизнь безмысленна, то она не приобрѣтаетъ смысла отъ присоединенія къ ней идеаловъ въ формѣ неопределѣленной фантазіи, или празднаго мечтанія о невиданныхъ небесахъ и невѣдомыхъ дорогахъ. Это не жизнь; а жизнь — въ законномъ ли бракѣ, или въ прелюбодѣяніи — все равно сведется къ тому, чѣмъ жилъ элементарный мужъ героини, и съ тѣмъ же — рано или поздно — концомъ. Заключеніе, значитъ, остается отрицательное, безнадежное.

Тѣмъ не менѣе, если бы нашъ поэтъ остановился на этомъ первомъ разсказѣ «Старая рѣчи», то я не рѣшился бы обозначить его настроеніе, какъ буддийское, даже въ самомъ широкомъ смыслѣ этого термина; впечатлѣніе здѣсь двоится, благодаря заключительнымъ словамъ героини, которая, хотя безъ достаточной психологической мотивациіи, все-таки указываетъ на новый смыслъ жизни, открываемый нравственнымъ подвигомъ и самопожертвованіемъ. Этотъ мотивъ, хотя и не оригиналный, и не выдержаній, высказывается, однако, нашимъ поэтомъ съ неподдельнымъ вдохновеніемъ.

Одинъ — вновь для нея далекій и чужой;
 Одинъ — униженный, забытый, оскорбленный,
 Поверженный во прахъ, колѣнопреклоненный
 Предъ новой, чистою могучей красотой!
 Къ ней не дерзаетъ страсть поднять съ моленьемъ очи,
 Уста не властны ей слова любви шептать;
 Ее желать нельзя, но и забыть нѣть мочи, —
 Возможно лишь бѣжать, бѣжать, бѣжать!
 Куда-нибудь ско рѣвъ чужое отдаленѣе
 Въ надеждѣ тамъ найти желанное забвенье.

Эта новая красота, хотя авторъ называетъ ее могучей, оказывается, однако, бессильной возродить своего поклонника къ новой жизни; она оставляетъ ему только бѣгство и забвеніе.

Какъ бы то ни было, самъ поэтъ не принимаетъ буддийской морали своего разсказа, и господствующій въ немъ безнадежный тонъ онъ, въ посвященіи, пытается объяснить случайными, личными причинами:

Отъ одиночества, отъ скуки
 Я повѣстъ эту написалъ;
 Но трудъ свершая одинокій,
 Все о тебѣ, мой другъ далекій,

Я вспоминалъ и тосковалъ.

Казалось мнѣ, что безвозвратно
Любовь и счастье скрылись вдаль!
Не оттого ль въ строкахъ тѣхъ виятно
Звучитъ сердечная печаль?
Не оттого ль веселья звуки
И радость жизни чужды имъ,
Что я слагалъ ихъ въ дни разлуки,
Тоской глубокою томимъ?
Но воротись — улыбкой нѣжной
Мнѣ душу снова озари,
Какъ свѣтомъ утреннимъ зари
Потемки ночи безнадежной —
И сердце радостнѣй, живѣй
Забывается полное участья,
И — вѣрю я — въ груди моей
Еще найдутся пѣсни счастья.

Нашлась только одна такая пѣсня: это «Сказка ночи», слѣдую-
щая непосредственно за «Старыми рѣчами». Это есть радостный гимнъ
любви, единственный въ поэзіи гр. Кутузова, но и онъ оканчивается
въ минорномъ тонѣ.

Мнѣ сказывала Ночь: „Васъ въ мірѣ только двое!
Сіяніе зари, мерцанье звѣздъ ночныхъ,
Равнины тихія и небо голубое —
Весь этотъ мракъ и блескъ для васъ — для васъ однихъ. —
Когда бъ другъ друга вы не знали, не любили,
Когда бы чуждою тебѣ была она, —
Ни эти небеса, ни звѣзды бѣ не свѣтили,
Просторъ, туманъ и даль къ себѣ бы не манили,
И я сама, какъ смерть, была бы холодна“.

Такъ говорила Ночь, и выше все и жарче
Зарницы страстныя пылали въ облакахъ,
Теплѣе вѣтерокъ дышалъ въ ночныхъ потьмахъ,
А образъ милый твой все чаще и все ярче
Улыбкой, какъ лучомъ небеснымъ озаренъ,
Мнѣ въ душу проникаль, глядѣль мнѣ прямо въ очи,
И взглядомъ повторяль онъ ту же сказку Ночи
Про счастіе любви... Ужель то былъ лишь сонъ?

Да, по крайней мѣрѣ, для поэзіи гр. Кутузова это оказалось
лишь сномъ. У него, какъ у настоящаго поэта, окончательный харак-

терь и смыслъ его произведеній зависить не отъ личныхъ случаинностей и не отъ его собственныхъ желаній, а отъ общаго невольнаго воздействиія на него объективной реальности съ той ея стороны, къ которой онъ, по натурѣ своей, особенно воспріимчивъ. Вторая его поэма, «Дѣдъ простиль», представляетъ значительное развитіе и углубленіе той же самой буддійски настроенной мысли, которая въ «Старыхъ рѣчахъ» выражена еще неясно и которую въ «Посвященіи» и въ «Сказкѣ ночи» онъ пытался отвергнуть, хотя лишь на мгновеніе и безъ полной увѣренности.

IV.

Не весель что-то старый князь:
 Его тревожать злые думы;
 Глубоко въ кресло погрузясь,
 Молчать онъ, мрачный и угрюмый.
 Предъ нимъ молоденькая дочь
 Сидѣть и книгу вслушъ читаетъ;
 Огонь въ каминѣ догораетъ,
 А на дворѣ метель и ночь.

Этотъ старый князь, когда-то обманутый и брошенный своею женою, которая ему оставила единственную дочь, скрылся съ этою дочерью въ деревнѣ.

Кончался день, вставала ночь,
 Одна звѣзда ему свѣтила:
 Одна любовь его живила —
 Его дитя родное — дочь.

И вотъ ее хотѣли у него отнять; явился «человѣкъ чужой, веселый, дерзкій, молодой»; она его полюбила и проситъ о согласіи отца. Старикъ съ гнѣвомъ отказываетъ:

„Нѣтъ, свадьбѣ этой не бывать,
 Пока я живъ!.. Ужъ гаснутъ силы;
 Добрѣсть хоть дайте до могилы
 И въ ней уснуть... Не долго ждать“.

Черезъ три дня женихъ тайно увозитъ княжну. Отецъ, узнавши, пускается за ними въ погоню при страшной метели; лошадь падаетъ, онъ, обезумѣвъ, бѣжитъ пѣшкомъ, бросаетъ шубу, и на другой день его привозятъ домой обледенѣлаго и умирающаго. Между тѣмъ дочь

успѣла обвѣнчаться; она пишетъ отцу и въ отвѣтъ получаетъ роковое извѣстіе:

Ужель разлуки краткій мигъ
Перенести не могъ стариkъ?!

Вѣдь дочь къ нему бы воротилась,
Вѣдь все мгновенно бъ объяснилось,

Лиши только бъ увидать онъ ихъ
Счастливыхъ, свѣтлыхъ, молодыхъ!

Лиши понять бы, что другъ безъ друга
Имъ невозможно было жить,
Какъ невозможно птицамъ юга
Не мчаться вдалъ и гнѣздъ не вить.

Но эта птичья философія оказывается несостоятельной. Дочь застаетъ старика уже на столѣ, и съ нею дѣлается страшная перемѣна:

Прислушайтесь: то не рыданья
Печали жгучей — то стеванья
Навѣкъ разбитой жизни — въ нихъ
Ни слезъ, ни звуковъ нѣть живыхъ!

Давно ли полонъ былъ веселья
Влюбленный взглядъ тѣхъ чудныхъ глазъ?

Теперь, какъ въ мракѣ подземелья
Заглохшій свѣточъ, онь погасъ.
Погасъ — и красота увяла,
И не играеть въ жилахъ кровь,
И жизнь поблекла, и любовь
Для сердца непонятной стала!

На мужа юная жена
Глядить съ враждебностью нѣмою;
Отнынѣ навсегда чужою
Ему останется она.

Для нихъ ужъ нѣть уединенья!
Ихъ трое, мужъ, жена... и онъ! —
Мертвѣцъ, не давшій имъ прощенья,
Неумолимъ, непримиренъ

Стоитъ — и смотрить прямо въ очи,
И дышитъ холодомъ на нихъ...
Они бѣгутъ того жилища,
Гдѣ имъ покоя больше нѣть;

Но мертвый съ своего кладбища
Встаетъ, несетъ имъ во слѣдъ.
Они въ шумящую столицу
На суету, въ толпу людей,
Все дальше, дальше, за границу,

Къ брегамъ невѣдомыхъ морей
 Бѣгутъ; но призракъ грозный мчится
 За ними всюду по пятамъ.
 Ни отдохнуть, ни позабыться
 Мертвѣцъ имъ не даетъ и тамъ.
 И у несчастной нѣть ужъ силы
 Бороться съ выходцемъ могилы:
 Онъ овладѣлъ ея душой,
 Ея умомъ, ея мечтой.
 Онъ — мертвый — побѣдилъ живого,
 Того обидчика чужого,
 Того лихого пришлеца,
 Что дочь похитилъ у отца.
 И только въ краткій мигъ забвенья
 Жена на мужа взглянетъ вновь, —
 Ей призракъ шепчетъ: нѣть прощенья!
 И меркнетъ взглядъ и стынетъ кровь.
 Опять, опять воспоминанье:
 Чу! — зимней выюги слышанъ стонъ,
 И лай ночной, и коней ржанье
 И вопль, и похоронный звонъ!

У нея все-таки рождается сынъ, и ей приходитъ на мысль, что онъ долженъ искупить ея вину и примирить ее съ отцомъ. Печальная семья возвращается изъ-за границы въ деревню, ту самую, где жилъ и умеръ старый князь. Больная страдаетъ попрежнему. Продолжать не сколько лѣтъ.

А мать несчастная все ждетъ,
 Ждетъ, чтобы чудо совершилось,
 Чтобъ сердцу какъ-нибудь открылось,
 Что ей мертвѣцъ вину простила,
 Что внука дѣдъ благословилъ.
 И создаетъ она примѣты:
 Хотѣлся бы ей во всемъ,
 Чтѣ совершается кругомъ,
 Читать рѣшенья и отвѣты.
 Недугъ ли тяжкій поразить
 Кого-нибудь, и невозможно
 Спасти ту жизнь — она тревожно
 Молитву жаркую творить.
 Съ боязнью страстью и тоскою
 Повсюду кары ищетъ слѣдъ
 И мнить себя одну виною
 Всѣхъ золъ, и недуговъ, и бѣдъ.

Во время жестокой засухи, когда народъ молился въ церкви о даровании дождя, ей вдругъ показалось, что если небо исполнить эту молитву, то это будетъ знакомъ, что отецъ простила. Она говорить это маленькому сыну, заставляетъ его молиться, а сама идетъ въ садъ.

Поникнувъ робко головою,
Въ тиши заглохшею тропою
Идетъ и слушаетъ она.
Засуха, зной... Во мглѣ туманной
Ликъ солнца красенъ, воздухъ спить;
Но, чу! — какой-то грохотъ странный
Издалека въ тиши звучить.

Скоро показывается грозовая туча:

Идетъ — и небо тѣсно ей!
Она живѣтъ, растетъ и дышитъ,
И крылья мощныя колышеть,
И хмуритъ черный валь бровей.
То взглянетъ вдругъ и заморгаетъ,
Заговоритъ... то вновь смолкаетъ
Въ раздумы страстномъ — и грозна
Ея живая тишина.
Идетъ, надвинулась, сверкнула
Могучимъ взглядомъ; грянуль громъ,
И все смѣшалось кругомъ,
Все въ тѣмѣ и бурѣ потонуло.
Не потонуло лишь одво
Несчастной дочери моленѣ,
Къ отцу довосится оно
Сквозь шумъ, и грохотъ, и смятенье,
И жизни страдальческую въ дарь
Пріемлетъ Богъ... Все позабыто,
Все прощено, все пережито...
Искупленъ грѣхъ, и паль ударъ!
Передъ страдалицей мгновенно
Разверзлась огненная твердь —
Улыбка... взглядъ... и волна блаженный
Небесной радости, и — смерть!
За мигъ предъ тѣмъ она стояла
Въ борьбѣ съ послѣднею мечтой...
Теперь, склонясь къ землѣ сырой,
Она спокойная лежала.

Содержаніе этого разсказа — самаго интереснаго изъ трехъ — напоминаетъ что-то глубоко-архаическое и таинственное. Человѣческія

жертвы предкамъ, мертвцы, дающіе дождь и говорящіе въ грозѣ... Но заключительный смыслъ ясенъ. «Послѣдняя мечта», отъ которой должна отказаться страдающая человѣчность — это мечта о возможности примиренія и счастья въ жизни, хотя бы чрезъ посредство новыхъ поколѣній: истинный исходъ только отрицательный — въ прекращеніи жизни.

V.

Счастье не только случайно, какъ было показано въ «Старыхъ рѣчахъ», оно непозволительно, незаконно по существу. Счастье дѣтей вытѣсняетъ изъ жизни родителей — это есть роковой грѣхъ, непоправимая въ жизни обида. Искупленіе, примиреніе — *только въ смерти*. Это заключительное торжество смерти разрастается въ третьей поэмѣ въ цѣлый апоѳеозъ. Тутъ уже смерть является не только какъ единственное разрѣшеніе жизненныхъ противорѣчій, но какъ единственное истинное благо и блаженство. Сюжетъ этой третьей поэмы гораздо проще, чѣмъ во второй и даже въ первой. Герой перебываетъ нѣвѣсту у жениха. Тотъ его вызываетъ на дуэль и смертельно ранитъ. Умирающій прозрѣваетъ въ истину бытія, которая открывается ему какъ смерть.

Я понялъ тишину! Я понялъ, чье дыханье
Мнѣ въ душу вѣяло прохладой неземной;
Чьей власти покорясь, утихнуло страданье, —
Я угадалъ, что Смерть витала надо мной...
Но не было въ душѣ ни страха, ни печали,
И гостюю грозиую улыбкой встрѣтилъ я...
Мнѣ представлялась во мглѣ туманной дали
Толпой призраковъ теперь вся жизнь моя.
Къ ней ничего назадъ меня ужъ не манило:
Страданья, радости, событій пестрыхъ рой.
И счастье, и... любовь — *равно все чуждо было*,
Бесѣдѣно все прошло, какъ почи бредъ пустой,
Я Смерти видѣлъ взглядъ. Великая отрада
Была въ спокойствіи ея *нѣмого* взгляда;
Въ немъ чуялся душѣ неслыханный привѣтъ,
Въ немъ брезжилъ на землѣ невиданный разсвѣтъ!
Казалось, дотоль я не имѣлъ понять
Объ утренней красѣ безоблачныхъ небесъ;
Теперь весь дольній міръ въ разсвѣтѣ томъ исчезъ
Я неба чувствовалъ безстрастныя объятья,
Я погружался въ нихъ, и становилось мнѣ

Все беспечальнѣе, все легче въ тишинѣ.
 Близи какой-то шумъ раздался непонятный,
 Какие-то шаги и шопотъ еле внятны, —
 Мнѣ было все равно: я видѣлъ предъ собой
 Лишь Смерть съ простертою на помощь мнѣ рукой...
 Но вдругъ коснулася меня рука иная,
 Рука знакомая, дрожащая, живая...

Къ нему пришла невѣста, та, изъ-за которой онъ стрѣлялся съ соперникомъ. Она шепчетъ ему нѣжныя рѣчи...

Ея не слушалъ я.
 Мнѣ смерть таинственно и внятно говорила:
 „Оконченъ жизни бредъ, недугъ я исцѣлила“.

Рѣчь Смерти опять прерывается страстнымъ шопотомъ:

„Взгляви же на меня... промолви мнѣ хоть слово...“
 Но въ равнодушное молчанье погруженъ,
 Я на призывъ любви не отвѣчалъ, и снова
 Въ тиши меня объяль невозмутимый сонъ.
 И въ чудномъ этомъ снѣ вновь Смерть заговорила:
 „Приди, избранникъ мой, тебя я полюбила:
 Тебя мнѣ стало жаль средь міра и людей,
 Въ томъ мрачномъ омутѣ ошибокъ, лжи, проклятій,
 Гдѣ краткая любовь и счастье быстрыхъ дней
 Дається лишь цѣной бѣды и скорби братій“.

Пока Смерть такими словами поддерживала своего избранника въ его безграстії и равнодушії, бѣдная девушка стояла съ поникшою головой —

И горько плакала. Ни слезъ ея, ни муки
 Постигнуть я не могъ и, протянувъ къ ней руку,
 Разспынно спросилъ: „о чемъ такъ плачешь ты?“
 Лампады слабый лучъ мнѣ освѣтилъ черты
 Ея лица — и въ нихъ такъ жизни было много,
 Такою странною и чуждою тревогой
 Въ лицо мнѣ вѣяло отъ этихъ свѣтлыхъ глазъ,
 Что отвернулся я. Тогда въ послѣдній разъ
 Съ вопросомъ трепетныи она ко мнѣ нагнулась,
 Взглянула мнѣ въ глаза и усть моихъ коснулась
 Устами жаркими... „Остаться, иль уйти?“
 Она шепнула мнѣ сквозь слезы: „до свиданья!“
 А я спокойное ей вымолвила „прости!“.

Этотъ апоѳеозъ смерти можно было бы принять за прекрасный стихотворный перифразъ знаменитой сцены умирающаго Андрея Бол-

конского въ «Войнѣ и Мирѣ». И тамъ и здѣсь наступающая смерть и прозрѣніе въ нирвану вызываютъ въ умирающемъ только полную апатію (безстрастіе) и равнодушіе ко всему, даже къ самому дорогому въ жизни; и тутъ и тамъ является любимая женщина и не находитъ въ умирающемъ никакого участія. Но хотя гр. Кутузовъ не даль ни одной существенной черты, которой не находилось бы у Толстого, было бы несправедливо видѣть здѣсь одно простое заимствованіе: заключеніе «Разсвѣтъ» уже предопределено въ предыдущей поэмѣ «Дѣдъ простиль», которая не находится ни въ какой зависимости отъ Толстого. Пространный апоѳеозъ смерти въ третьей поэмѣ есть только необходимое развитіе краткаго указанія въ концѣ второй:

Улыбка... вопль.. и взглядъ блаженной
Небесной радости—и смерть.

VI.

«Разсвѣтъ» признается обыкновенно самымъ лучшимъ и важнымъ произведеніемъ гр. Кутузова. Хотя поэма «Дѣдъ простиль» кажется мнѣ сама по себѣ и оригинальнѣе, и содержательнѣе, но я долженъ присоединиться къ общему мнѣнію въ томъ смыслѣ, что только въ «Разсвѣтъ» господствующее настроеніе автора вполнѣ выяснилось и получило свое окончательное выраженіе. Апоѳеозъ смерти, которымъ оканчивается и ради котораго написана эта третья поэма, есть послѣднее слово нашего поэта; сказавши его, онъ — вотъ уже двѣ наддатъ лѣтъ — не могъ создать ничего сколько-нибудь значительного (по содержанію).

Съ этимъ послѣднимъ словомъ смыслъ лирической трилогіи гр. Кутузова опредѣленъ и исчерпанъ. То, что было и смутно и поверхности въ первой поэмѣ, углублено во второй и окончательно выяснено въ третьей. Счастье жизни *случайно*, говорятъ намъ «Старыя рѣчи»; не только случайно, но и *грѣховно*, дополняетъ «Дѣдъ»; но ни случайность, ни преступность счастья еще не отнимаются у него свойства быть желательнымъ; эту послѣднюю неопределенность окончательно устраняетъ «Разсвѣтъ», показывая, что счастье и сама жизнь не только случайны и грѣховны, но что они *не нужны*, что смерть есть не только роковая необходимость, но высшее благо и настоящее блаженство.

Гр. Кутузовъ, какъ настоящій поэтъ, а не мыслитель, конечно, не началъ съ того, что поставилъ такой общій тезисъ, чтобы потомъ доказывать его съ помощью поэтическихъ образовъ и картинъ. Господствующее въ душѣ его настроеніе и міросозерданіе постепенно выдѣлялось, или высвобождалось для него самого изъ тѣхъ видѣній и мечтаній, которыя окружали его въ минуты творчества (какъ онъ самъ на это указываетъ въ посвященіи ко второй поэмѣ). Но когда этотъ процессъ совершился, то мысль поэта принимаетъ форму сознательного утвержденія или тезиса, что мы и находимъ въ концѣ «Разсвѣта». Здѣсь уже не остается никакого сомнѣнія въ томъ, что мы имѣемъ дѣло не съ какою-нибудь случайною картиною, возникшую въ воображеніи автора, а съ выраженіемъ опредѣленнаго настроенія и взгляда на жизнь; и мы имѣемъ право судить этотъ взглядъ по существу, а не со стороны только достоинства художественной формы.

Взглядъ автора, относящейся къ жизни съ рѣшительнымъ отрицаніемъ, заключаетъ въ себѣ *относительную истину*. Это правда, что материальная жизнь съ ея «страстями, весельемъ и тревогой» и случайна, и недостойна, и пуста; это правда, что прекращеніе такой жизни само по себѣ не есть зло, а скорѣй благо; это правда, наконецъ, что человѣкъ, который, въ виду прекращенія жизни, впадаетъ въ созерцательную апатію, лучше человѣка, который и въ предсмертный часъ все хотѣлъ бы терзать своихъ враговъ или предаваться распутству. Но что же дальше? Неужели кромѣ материальной жизни и ея прекращенія нѣть ничего на свѣтѣ, ничего, что давало бы смыслъ существованію міра и человѣка? У нашего поэта никакого намека на этотъ смыслъ мы не находимъ. Онъ представляетъ намъ поступки людей и ихъ необходимыя слѣдствія, — и то и другое представляется въ сущности вѣрно. Несомнѣнно, что отнимать чужую жену, или невѣstu, или для скорѣйшаго удовлетворенія своей эгоистической страсти бросать старого отца — поступки негодные и не ведутъ къ добру. Хотя это уже предусмотрѣно Моисеевымъ десятословиемъ, но такая почтенная старина этихъ истинъ не мѣшаетъ имъ быть вѣчно новыми и нисколько не уменьшаетъ заслугу гр. Кутузова, воплотившаго ихъ въ конкретныхъ образахъ и прекрасныхъ стихахъ. Но буддійское настроеніе (не имѣющее уже ничего общаго съ Моисеемъ) заставило нашего поэта остановиться на этой алементарной почвѣ и *относительную истину* своего отрицательного взгляда

принять и выдать за истину безусловную и окончательную. Изъ того, что дурные дѣйствія дурно кончаются, онъ выводить, что вообще никакихъ дѣйствій не должно быть. Это уже неправильно, — почти такъ же неправильно, какъ если бы изъ этого положенія, что не нужно похищать чужихъ дѣтей, кто-нибудь вывелъ, что необходимо бросать своихъ собственныхъ.

Дѣянія, совершаemыя лицами гр. Кутузова, принадлежать всецѣло къ области дурной материальной жизни, а ихъ слѣдствія сводятся къ прекращенію этой жизни. Герой первой поэмы, вслѣдствіе неудачи своего незаконнаго романа, превращается въ безнадежнаго «гостя могиль»; героиня второй поэмы, чтобы искупить свой грѣхъ противъ отца, убивается молнией, а герой «Разсвѣта» немедленно послѣ дуэли переходитъ въ нирвану. Никакого другого смысла жизни, кроме факта ея прекращенія, мы здѣсь не находимъ.

Взглядъ этотъ, конечно, неутѣшителенъ, и имъ достаточно объясняется минорный тонъ, господствующій въ поэзіи гр. Кутузова. Но, конечно, поэтъ имѣеть право отречься отъ утѣшительныхъ обмановъ и стать на сторону безнадежной истины. Остается только разобрать: — *истина ли это?*

Современное состояніе вопроса о медіумизмѣ.

1894.

А. Н. Аксаковъ, „Анимизмъ и спиритизмъ. Критическое изслѣдованіе медіумическихъ явленій и ихъ объясненія гипотезами „нервной силы“, „галлюцинаціи“ и „бесознательного“. Въ отвѣтъ Э. Ф. Гартману“, съ 8 фототипіями, 2 части, Спб. 1893.

Книга А. Н. Аксакова, какъ бы кто ни относился заранѣе къ ея предмету, во всякомъ случаѣ заслуживаетъ серьезнаго вниманія, такъ какъ въ ней резюмируется добросовѣстный трудъ цѣлой жизни въ области медіумическихъ явленій и представляется обильный матеріалъ для сужденія о современному состоянію вопроса. Почтенный авторъ безъ малаго сорокъ лѣтъ съ неутомимымъ усердіемъ занимался тѣми явленіями, которымъ посвящено его сочиненіе, и едва ли найдется въ Старомъ и Новомъ свѣтѣ другой человѣкъ, такъ много послужившій этому дѣлу.

«Зainteresowавшись спиритическимъ движеніемъ съ 1855 года, — пишетъ А. Н. Аксаковъ въ предисловіи къ настоящей книгѣ, — я не переставалъ изучать его во всѣхъ его подробностяхъ — во всѣхъ частяхъ свѣта и во всѣхъ литературахъ. Первоначально я принялъ факты на основаніи свидѣтельства другихъ людей; только въ 1870 году довелось мнѣ присутствовать на первомъ сеансѣ въ частномъ кружкѣ, мною самимъ устроенномъ». Убѣдившись собственнымъ опытомъ въ дѣйствительности явленій, А. Н. Аксаковъ сдѣлалъ все, находившееся въ его власти, для распространенія этихъ фактovъ и для привлеченія къ ихъ изученію вниманія мыслителей, свободныхъ отъ предразсудковъ.

Такъ какъ скромный авторъ лишь мимоходомъ упоминаетъ о томъ, что имъ сдѣлано, то я считаю справедливымъ сообщить здѣсь несолько болѣе опредѣленныхъ свѣдѣній. Четверть вѣка тому на-

задъ серъезное изученіе медіумическихъ явленій почти не переступало за границы англо-саксонскихъ и отчасти романскихъ странъ; тѣ успѣхи, которые съ тѣхъ порь сдѣланы въ этомъ отношеніи Германіей и Россіей, достигнуты, главнымъ образомъ, благодаря дѣятельности А. Н. Аксакова. Онъ издалъ на нѣмецкомъ и русскомъ языкахъ цѣлую библіотеку по медіумизму; сюда вошли всѣ болѣе значительныя произведенія американскихъ и англійскихъ авторовъ по этому предмету (между прочимъ важнѣйшія сочиненія извѣстнаго главы американскихъ спиритуалистовъ, Андрю Джексона Дэвиса, въ нѣмецкомъ переводе); въ теченіе двадцати лѣтъ издается Аксаковыми въ Германіи ежемѣсячникъ на нѣмецкомъ языкѣ «Psychische Studien», представляющій въ совокупности огромный материалъ, какъ фактическій, такъ и теоретическій (здесь участвовали, между прочимъ, извѣстные нѣмецкіе философы Фихте младшій и Гофманъ, ученикъ и издатель Баадера). Все цѣнное по этой части изъ англійской и нѣмецкой современной литературы, что могло появиться въ Россіи, издано Аксаковыми на русскомъ языкѣ. Кромѣ того, онъ поддерживалъ у насъ интересъ къ дѣлу, вызывая на изслѣдованіе ученыя комиссіи, приглашая знаменитыхъ медіумовъ и т. д. Вся эта неустанная многолѣтняя дѣятельность опредѣлялась исключительно мотивами высшаго порядка, ибо въ области личныхъ интересовъ она до сихъ порь ничего не принесла Аксакову, кромѣ весьма значительныхъ убытоковъ и возобновляющихся время отъ времени понопшней со стороны газетныхъ скептиковъ. Между тѣмъ, эту неуклонную энергию въ одномъ направлении никакъ нельзя объяснить фанатизмомъ или слѣпымъ увлеченіемъ:

... Покуда совершалась эта вѣщняя работа, — продолжаетъ почтенный авторъ «Анимизма», — внутренняя шла своимъ чередомъ. Я думаю, что всякий благородный наблюдатель, при первомъ своемъ знакомствѣ съ этими явленіями, поражается двумя безспорными фактами: явнымъ автоматизмомъ спиритическихъ сообщеній и, весьма часто, столь же явною лживостью ихъ содержанія; великия имена, коими они зачастую подписываются, суть лучшія доказательства, что эти сообщенія *не то*, за что они себя выдаютъ; точно такъ же и въ простыхъ физическихъ явленіяхъ вполнѣ очевидно, что они тоже происходятъ безъ всякаго сознательного участія медіума (т. е. автоматичны), и ничто въ самомъ началѣ не оправдываетъ предположеній о вмѣшательствѣ такъ называемыхъ «духовъ». И только впослѣд-

ствії, когда нѣкоторыя явленія умственного порядка заставляютъ насъ признать участіе разумной, вѣдь медіума находящейся силы, забываемъ о своихъ первыхъ впечатлѣніяхъ и относимся съ большимъ снисхожденіемъ къ спиритической гипотезѣ. Собранныя мною матеріалы чтеніемъ и опытомъ были громадны, но разгадки для нихъ не было. Напротивъ, съ годами всѣ слабыя стороны спиритизма становились ярче и только наростили: пошлость сообщеній, бѣдность ихъ умственного содержанія (даже когда и нѣть прямой пошлости), присущій имъ характеръ мистификаціи и лживости, капризность физическихъ явленій, въ особенности когда дѣло доходитъ до положительного опыта, легковѣріе, увлеченіе и шовинизмъ (?) спиритовъ и спиритуалистовъ, и, наконецъ, обманъ, который вторгся вмѣстѣ съ темными сеансами и материализаціями, и въ которомъ мнѣ пришлось удостовѣриться не только путемъ литературнымъ, но и личнымъ опытомъ въ сношеніяхъ моихъ съ профессіональными медіумами, даже самыми извѣстными».

Такимъ образомъ, всѣ общія возраженія, обыкновенно дѣлаемыя противъ подлинности этихъ явленій, не только предусмотрѣны нашимъ авторомъ, но и допущены какъ справедливыя. Вмѣсто того, чтобы закрывать глаза на слабыя стороны своего дѣла, онъ въ полной мѣрѣ признаетъ и выставляетъ ихъ.

«Поддаваясь отталкивающимъ впечатлѣніямъ, — продолжаетъ онъ, — легко было упасть духомъ, если бы не было у меня, съ другой стороны, болѣе вящихъ доводовъ — цѣлаго ряда безспорныхъ актовъ, имѣющихъ для отстаивания своего существованія всемогущаго защитника: саму природу.

«Разобраться же въ этомъ лабиринтѣ фактовъ я могъ только съ помощью систематического указателя, составлявшагося мною по мѣрѣ моихъ чтеній и занятій; группируя факты подъ различные рубрики, роды и виды, смотря по ихъ содержанію и условіямъ ихъ происхожденія, мы приходимъ (путемъ исключенія или градациі) отъ фактовъ простыхъ къ болѣе сложнымъ, требующимъ другой гипотезы».

Безъ такой подготовительной работы, въ которой, насколько мнѣ извѣстно, А. Н. Аксаковъ не имѣть предшественниковъ, невозможны были бы, конечно, никакія твердые обобщенія и выводы въ этой области.

«Большою помѣхою, — продолжаетъ нашъ авторъ, — для болѣе

разумного и терпимаго отнoшeнiя къ спиритизму послужило то обстоятельство, что *вся совокупность* его явленiй, во время вторженiя его въ Европу, въ самой элементарной его формѣ — столоверченiя, была немедленно приписана массою проявленiю «духовъ»... Противники же, съ своей стороны, впадали въ другую крайность — ни о какихъ «духахъ» и слышать не хотѣли и отрицали все. Истина же, какъ и всегда, оказалась въ серединѣ.

«Для меня свѣтъ забрежжилъ только тогда, когда мой указатель заставилъ меня открыть рубрику *анимизма*, когда внимательное и критическое изученiе фактovъ заставило меня признать, что *весь медиумический явленiя*, что касается ихъ типовъ, могутъ быть произведенiемъ безсознательнаго дѣйствiя живого человѣка, и это не въ качествѣ гипотезы, какъ произвольное предположенiе, но вслѣдствiе неоспоримаго свидѣтельства самихъ фактovъ, — что, слѣдовательно, наша психическая безсознательная дѣятельность не ограничивается периферiей нашего тѣла и характеромъ дѣйствiя исключительно психическимъ, но что она можетъ и переступать границы нашего тѣла, выражаясь въ дѣйствiяхъ не только физическихъ, но даже и плаstическихъ». Эту-то область явленiй, представляющихъ несознаваемыя реальные дѣйствiя внутренняго существа живого человѣка за предѣлами его физического организма и помимо обычныхъ механическихъ посредствъ, А. Н. Аксаковъ и предлагаетъ, въ отли-
чие отъ спиритизма, обозначить словомъ *анимизмъ*.

«Чрезвычайно важно, — говоритъ онъ, — признать и изучить существование и дѣятельность этого безсознательнаго въ нашей природѣ — въ его проявленiяхъ самыхъ разнообразныхъ и самыхъ необыкновенныхъ, какъ мы видимъ въ анимизме. Только на этой основѣ можно оправдать, въ извѣстныхъ предѣлахъ, притязанiе спиритизма, ибо если что переживаетъ тѣло и вѣчно пребываетъ, такъ именно это для насъ безсознательное — это внутреннее сознанiе, котораго теперь мы не вѣдаемъ, но которое и образуетъ первоначальное ядро всякой индивидуальности.

«Такимъ образомъ, для уразумѣнiя медиумическихъ явленiй, намъ представляется не одна, а три гипотезы, изъ коихъ каждая имѣть право на существование и на признанiе для извѣстнаго рода отдельныхъ фактovъ, и слѣдовательно, мы можемъ подвести всѣ медиумическiя явленiя подъ три большiя категорiи, которыхъ мы обозначимъ для формального удобства слѣдующими условными названiями:

«1. Персонизмъ. Этимъ словомъ я обозначаю психической безсознательныхъ явлений, имѣющія мѣсто *внутри предѣловъ тѣлесной сферы медуза*, коихъ отличительная черта большою частью состоить въ персонификаціи, т. е. въ принятіи не только имени, но часто и характера личности (*персоны*), посторонней медузы. Таковы элементарные явленія медумизма: разговоры посредствомъ стола, письма или безсознательной рѣчи въ трансѣ. Мы имѣемъ здѣсь первое и самое простое проявленіе раздвоенія сознанія — этой основной медумической черты. Явленія, принадлежащія къ этой рубрикѣ, раскрываютъ передъ нами великий фактъ дѣйственности психического существа — нетождественность нашего индивидуального, внутренняго безсознательного я съ нашимъ личнымъ, внѣшнимъ, сознательнымъ я; они намъ доказываютъ, что всецѣлость нашего психического существа — его центръ тяготѣнія — не находится въ нашемъ личномъ я; что это послѣднее есть только феноменальное проявленіе индивидуального (*нуменального*) я; что, следовательно, элементы этой феноменальности (необходимо личные) могутъ имѣть характеръ множественный — нормальный, аномальный, фиктивный — смотря по условіямъ организма (сочинъ естественный, сомнамбулизмъ, медумизмъ).»

Къ этой первой изъ трехъ категорій, установленныхъ нашимъ авторомъ, принадлежать явленія, вообще признаваемыя наукою. Никто не отрицаетъ фактъ перемежающагося сознанія и раздвоенія личности въ натуральномъ или искусственномъ сомнамбулизмѣ. Въ этомъ смыслѣ и въ этихъ предѣлахъ всякий ученый можетъ допустить и медумическую явленія. Разумѣется, это принципіальное допущеніе не означаетъ признанія реальности (хотя бы психопатической) за всѣми явленіями, происходящими на спиритическихъ сеансахъ. Причиной этихъ явленій можетъ быть и слишкомъ часто бываетъ не дѣйствительное раздвоеніе сознанія, а просто поддѣлка и обманъ, съ чѣмъ, какъ мы видѣли, согласенъ и А. Н. Аксаковъ.

Второй группѣ явленій, уже не пользующихся признаніемъ со стороны правовѣрной науки, онъ даетъ слѣдующее полное опредѣленіе:

«2. Анимизмъ. Этимъ словомъ я обозначаю безсознательныхъ психическихъ явлений, имѣющія мѣсто *внѣ предѣловъ тѣлесной сферы медуза* (умственное общеніе между людьми — телепатія, движение предметовъ безъ прикосновенія — телекинетія, явленіе прижизненныхъ призраковъ — телептанія, пластическое дѣйствіе на разстоя-

ні — *телесоматія*, матеріалізація). Ми имъемъ здѣсь кульминационное явленіе психического раздвоенія; психические элементы переступаютъ за предѣлы тѣла и проявляются на разстояніи посредствомъ дѣйствій не только психическихъ, но и физическихъ и даже пластическихъ, до полной объективациіи или экстернализациіи, — доказывая черезъ это, что психический элементъ можетъ быть не только простымъ явленіемъ сознанія, но и центромъ субстанціальной силы, мыслящей и организующей, могущей поэтому временно организовать подобіе органа, видимаго или невидимаго для нашихъ глазъ и производящаго физическія дѣйствія».

Реальность явлений этого второго рода рѣшительно отвергается огромнымъ большинствомъ людей положительной науки, но находить себѣ болѣе или менѣе смѣлыхъ и послѣдовательныхъ защитниковъ между философами-метафизиками, для которыхъ основы всякаго бытія имъютъ психический, а не вещественный характеръ. Такъ, Шопенгаузъ, исходя изъ своей метафизической воли, свободной отъ условій пространства, времени и механической причинности, признавалъ не только факты ясновидѣнія, прорицанія и прямого общенія субъектовъ на разстояніи, но и всевозможныя магіческія дѣйствія; также и Гартманъ на основаніи видоизмѣненныхъ и дополненныхъ принципіовъ своего учителя допускаетъ дѣйствительность двухъ вышеперечисленныхъ родовъ явлений, насколько ими не предполагается вмѣшательство отшедшихъ «духовъ».

Но напрь авторъ, признавая, что по общему характеру, или виѣшнему виду, всѣ медіумическія явленія могутъ быть включены въ первыя дѣя категоіи (т. е. объясняемы внутреннимъ или виѣшнимъ психическимъ раздвоеніемъ), находить однако въ своемъ обширномъ опытномъ матеріалѣ такія явленія, особенная дѣйствительность которыхъ, со стороны ихъ умственного содерянія, требуетъ, по его убѣжденію, именно этой, отвергаемой философомъ безсознательного, гипотезы и заставляетъ отнести ихъ въ новую, третью категоію:

«5. *Спиритизмъ*. Подъ этимъ словомъ обозначаются тѣ же, по виѣшнему виду, явленія персонизма и анимизма, когда дѣйствующая причина ихъ находится не только виѣ медіума, но и виѣ нашей сферы бытія: мы имъемъ здѣсь земное проявленіе индивидуального я, посредствомъ тѣхъ элементовъ личности, которые имѣли силу удержаться около индивидуального центра послѣ его отрѣшенія отъ тѣла

и которые могутъ проявиться черезъ медіумизмъ, т. е. черезъ ассоціацію съ однородными психическими элементами живущаго на землѣ существа. Изъ чего выходитъ, что спиритическая явленія, по своимъ вицѣшнимъ формамъ, совершенно сходны съ явленіями персонизма и анимизма и отличаются отъ нихъ только по умственному содержанію, свидѣтельствующему о посторонней самостоятельной личности.

«Разъ факты этой послѣдней рубрики признаны, — ясно, что гипотеза, изъ нихъ вытекающая, можетъ одинаково прилагаться и къ фактамъ двухъ первыхъ рубрикъ, такъ какъ она — дальнѣйшее развитіе двухъ предшествующихъ гипотезъ. Затрудненіе въ томъ, что очень часто всѣ три гипотезы могутъ имѣть мѣсто при объясненіи одного и того же факта: такъ, напримѣръ, простое явленіе персонизма можетъ быть фактомъ и анимистикъ, и спиритистикъ. Задача, слѣдовательно, состоять въ томъ, чтобы решить, на которой изъ трехъ гипотезъ остановиться, а не задаваться мыслью, что которой-нибудь одной изъ нихъ достаточно для объясненія всѣхъ фактovъ. Критика требуетъ не идти далѣе той, которая удовлетворительно объясняетъ данный случай.

«Итакъ, великая ошибка поборниковъ спиритизма состоить въ томъ, что всѣ явленія, извѣстныя подъ этимъ общимъ именемъ, приписываются ими «духамъ». Самое слово: спиритизмъ — сбиваешь съ толку. Оно должно быть замѣнено другимъ, болѣе общимъ, не содержащимъ въ себѣ никакой гипотезы, никакого ученія, какъ, напримѣръ, слово медіумизмъ, которое мы уже давно ввели у себя».

Замѣчу, съ своей стороны, что и этотъ терминъ далеко не удовлетворителенъ, ибо онъ не можетъ прилагаться къ обширной и важной группѣ явленій телепатическихъ и телефаническихъ, возникающихъ непосредственно или самопроизвольно безъ всякаго медіума; развѣ только признать всѣхъ людей медіумами, но тогда у этого термина не оказывается никакого опредѣленного содержанія, и онъ теряетъ *raison d'être*. Я предлагаю названіе *психургія*, указывающее на тотъ общий характеръ всей этой области, что въ ней душа действуетъ (или предполагается действующей), какъ субстанціальная сила, а не проявляется только, какъ пассивная функция мозга. Требованіе А. Н. Аксакова, чтобы общий терминъ не содержалъ въ себѣ никакой гипотезы, никакого ученія, кажется мнѣ неисполнимымъ.

Переходя къ специальному содержанію книги А. Н. Аксакова, я долженъ замѣтить, что въ теоретической части своего спора съ Гарт-

маномъ снъ рѣшительно правъ. Нѣмецкій философъ, допуская гипотетически, безъ самостоятельного изслѣдованія, реальность одной половины медіумическихъ явленій, какъ производимыхъ особою «нервною силою» медіума, связанной съ состояніемъ ясновидѣнія и т. п., останавливается передъ явленіями материализаціи и видить въ нихъ субъективная галлюцинація присущихъ, сознательно или бессознательно внушенные медіумомъ; при этомъ онъ запутывается въ противорѣчіи и нелогичности, побѣдоносно обличаемыя нашимъ авторомъ.

Такъ, относительно столь обычного въ спиритизмѣ появленія на сеансахъ рукъ, видимыхъ и осозаемыхъ, Гартманъ говорить слѣдующее: «Что касается собственно галлюцинації осозанія, то открытой остается здѣсь и та возможность, что испытываемое давленіе невидимыхъ или призрачныхъ рукъ, ногъ и т. д. зависитъ отъ системы динамическихъ линій давленія и натяженія, — системы, представляющей аналогъ давящей поверхности руки безъ лежащаго за этою поверхностью вещественнаго тѣла, т. е. такой системы, которую можно предположить на основаніи получаемыхъ отпечатковъ». «Такимъ образомъ, справедливо замѣчаетъ Аксаковъ, галлюцинація осозанія перестала бы быть галлюцинаціей и превратилась бы въ дѣйствительное «давленіе динамическихъ линій», или въ динамическое дѣйствие медіумической нервной силы; итакъ, когда я держу въ своей рукаѣ руку материализованную, — видъ этой руки былъ бы галлюцинацией; но осозаніе ея было бы реальнымъ, — я сжималъ бы въ своей рукаѣ систему линій нервной силы. Естественно возникаетъ вопросъ: почему же видъ руки, временно появившейся, долженъ быть галлюцинацией? Если система линейныхъ силъ можетъ сдѣлаться осозаемой, то она могла бы точно такъ же сдѣлаться и видимой; не представляется логичнымъ давать нервной силѣ предикать осозаемости и отказывать ей въ предикатѣ видимости, когда утвержденіе и отрицаніе предиката имѣютъ одно и то же основаніе. Или, говоря иначе, нѣтъ логики въ томъ, чтобы принимать реальную, объективную причину, когда рѣчь идетъ о томъ же явленіи и о томъ же воспринимающемъ субъектѣ».

Когда появляющіяся на сеансахъ руки не ограничиваются одними прикосновеніями, а приводятъ въ движение тяжелые предметы, то Гартманъ находитъ возможнымъ допустить и это, не измѣняя своей точки зрѣнія. «Дѣйствительное перемѣщеніе предметовъ, говорить

онъ, оказывающеся по окончаніи сеанса, можетъ служить доказательствомъ, что произошли дѣйствительно объективныя перемѣщенія матеріальныхъ вещей. Если эти движенія совершаются не виѣ сферы дѣйствій нервной силы мѣдіума, и родъ явленія и его размѣры не лежать за предѣлами тѣхъ дѣйствій, которыя эта сила можетъ произвести, то нѣтъ повода допускать какую-либо другую причину явленія, кромѣ упомянутой нервной силы. Медіумъ въ состояніи сомнамбулизма соединилъ, въ такомъ случаѣ, галлюцинацію появляющагося образа съ представленіемъ обѣ имѣющихъ произойти перемѣщеніяхъ предметовъ и безсознательно произвелъ эти перемѣщенія при помощи своей мѣдіумической нервной силы, оставаясь при этомъ въ увѣренности, что перемѣщенія эти произведены собственою силою представляющихся фантастическихъ образовъ, — черезъ переность своей галлюцинаціи на зрителей онъ невольно передалъ и имъ убѣженіе, что происшедшія перемѣщенія дѣйствительно произведены тѣми призраками, которые представлялись въ галлюцинаціяхъ». — «Логическая несостоятельность этого объясненія, справедливо возражаетъ А. Н. Аксаковъ, увеличилась на одну степень, тогда какъ, съ другой стороны, свидѣтельство зрѣнія и осозанія подтвердилось соѣтвѣствующимъ физическимъ дѣйствіемъ.

«До очевидной несобразности доходитъ объясненіе Гартмана по отношенію къ отпечаткамъ, получающимся отъ матеріализованныхъ рукъ (въ мягкой глинѣ, на мукѣ, или на закопченной бумагѣ). «Весьма естественно, говоритъ намъ авторъ, что уже давно старались получить отпечатки рукъ, только моментально появлявшихся на сеансахъ и потомъ исчезавшихъ, такъ какъ подобный отпечатокъ служилъ бы положительнымъ доказательствомъ, что въ этихъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло не съ галлюцинацией, но съ реальнымъ образованіемъ какого-то тѣла... Но для Гартмана это заключеніе не годится. Чтобы остаться вѣрнымъ своей теоріи нервной силы, онъ даетъ ей здѣсь необычайное развитіе: эта сила можетъ не только передвигать предметы, но даже производить и пластическую дѣйствія. По его мнѣнію, подобный оттискъ производится «системою давлений и натяженій нервной силы, дѣйствующей на разстояніи (ein Sistem von Druk- und Zuglinien der fernwirkenden Nervenkraft)». А когда тѣло (или, какъ здѣсь, рука), производящее этотъ результатъ, видимо, это опять, какъ въ предшествующемъ случаѣ, галлюцинація, — комбинація реального результата съ дѣйствіемъ галлюцинаторнымъ... Я вижу

появляющуюся руку — это галлюцинація; я вижу эту руку, трогаю ее и осозаю, — чувство осозанія считается реальнымъ, но видъ ея есть галлюцинація. Я вижу, какъ эта рука движеть неодушевленный предметъ, пишетъ; физическое дѣйствіе, ею произведенное, реально, но видъ ея — галлюцинація. Я вижу, какъ эта рука производить отпечатокъ, доказывающій, что это подлинно рука, — отпечатокъ признается реальнымъ, но видъ ея — галлюцинаторнымъ. Итакъ, свидѣтельство низшихъ чувствъ признается для цѣлаго ряда реальныхъ движений, но оно отвергается только для специальной формы воспріятія впечатлѣній зрѣнія, несмотря на то, что одинъ изъ полученныхъ результатовъ — реальный и пребывающей оттискъ — доказываетъ согласность свидѣтельства зрѣнія и осозанія съ этимъ полученнымъ результатомъ. И такимъ же образомъ, съ другой стороны, мы имѣемъ явленіе, которое обладаетъ всѣми признаками тѣлесности и которое таковымъ себя доказываетъ всѣми дѣйствіями, какія только тѣло можетъ вообще произвести: оно видимо, оно осозаемо, движетъ другое тѣло, оставляетъ пребывающіе слѣды, отпечатывается даже на другомъ тѣлѣ — всѣ эти предикаты признаются за нимъ самимъ Гартманомъ, какъ реальные, объективные, за исключениемъ только видимости». Очевидно, для такого двойственного отношения нѣть никакихъ логическихъ оснований.

«И эта логика, — продолжаетъ А. Н. Аксаковъ, — намъ покажется еще болѣе странною, если мы попросимъ Гартмана дать намъ въ смыслѣ его собственной философіи опредѣленіе понятія о тѣлѣ. Матерія, отвѣтить онъ намъ, не что иное какъ «система атомныхъ силъ» (*Philos. des Unbew.*, изд. 1872 г., стр. 474). Такимъ образомъ, когда я держу въ своей рукѣ другую естественную руку, я держу, по Гартману, систему атомныхъ силъ, и онъ не отказывается ей въ предикатѣ видимости, и такое свидѣтельство чувствъ моихъ онъ не считаетъ галлюцинацией. Но когда я держу въ своей рукѣ руку, такъ называемую «матеріализованную», которую вижу и осозаю и которой Гартманъ даетъ то же самое опредѣленіе, такъ какъ онъ признаетъ ее за систему линейныхъ силъ (*ein Sistem von Kraftlinien*), это въ этомъ случаѣ, говорить онъ, чувство осозанія реально, но зрительное впечатлѣніе этой руки — галлюцинація. Почему? На основаніи какой логики?» Я думаю, всякий согласится съ заключеніемъ нашего автора, что гипотеза галлюцинаціи послѣ всѣхъ уступокъ, допускающихъ объективную реальность того же явленія

для другихъ чувственныхъ воспріятій, представляется, съ точки зре́нія логики, совершенно несостоятельной. Столь же несостоятельнымъ кажется намъ и предположеніе какой-то «нервной силы», цѣлесообразно дѣйствующей и при томъ *внѣ тѣла* своего обладателя, на болѣе или менѣе значительномъ разстояніи отъ него.

А съ исключениемъ этихъ двухъ произвольныхъ и искусственныхъ предположеній вопросъ сводится къ такой дилеммѣ: или объективное проявленіе трансцендентального существа, или просто обманъ. УстраниТЬ второй членъ этой дилеммы, представляющей сразу самое естественное объясненіе, во всякомъ случаѣ, гораздо труднѣе, чѣмъ разрушить досужія измышленія нѣмецкаго метафизика. Съ этимъ согласенъ и нашъ авторъ. «Величайшее для меня затрудненіе, — говорить онъ, — состояло въ выборѣ фактovъ... Я сказалъ вначалѣ, что цѣль моего труда не въ томъ, чтобы защищать факты, — это такъ, когда я становлюсь на точку зре́нія Гартмана; но долженъ сказать, что я имѣлъ также въ виду и болѣе общую точку зре́нія и всегда старался представить такие факты, которые, по условіямъ своей обстановки, всего бы лучше соотвѣтствовали требованіямъ критики. Здѣсь-то и представляется величайшая трудность, здѣсь-то и уязвимое мѣсто, ибо никакія условія, никакія мѣры предосторожности при наблюденіяхъ не помогутъ убѣдить въ фактѣ, пока этотъ фактъ не находитъ себѣ мѣста въ общественномъ пониманіи. Съ другой стороны, возможность обмана, сознательного или безсознательного, — возможность, которую всегда легко предположить и отсутствие которой никакъ нельзя доказать, еще болѣе усиливаетъ затрудненіе».

Совершенно устраниТЬ это затрудненіе нельзя, его можно только ослабить тщательнымъ подборомъ фактovъ наиболѣе убѣдительныхъ. До вѣкоторой степени эта цѣль достигнута нашимъ авторомъ. Рассказы изъ первыхъ рукъ о таинственныхъ явленіяхъ, неподготовленныхъ, неожиданныхъ и тѣгостныхъ для лицъ, имъ подвергшихся, производятся на беспристрастного читателя впечатлѣніе полной реальности. Такова, въ особенности, сложная исторія «чертовщины» въ семействѣ Щаповыхъ на Уралѣ, а также сообщенія отравившейся тѣвицы, желавшей предотвратить бѣду отъ своего родственника. По крайней мѣрѣ, въ самихъ этихъ рассказахъ нѣть ничего такого, что поддерживало бы скептическое къ нимъ отношеніе. Нельзя сказать того же о различныхъ явленіяхъ, происходившихъ при участіи профессиональныхъ медіумовъ, хотя бы явленія эти и были засвидѣтель-

ствованы оттисками, фотографіями и т. п. Если, какъ замѣчаетъ самъ авторъ, дѣло сводится, въ концѣ концовъ, къ нравственному довѣрію, то почтенное сословіе медіумовъ успѣло себя зарекомендуовать такъ, что для оказанія ему хотя малѣйшей степени довѣрія не представляется никакихъ объективныхъ оснований. А исходя изъ совершенно законааго въ настоящемъ случаѣ недовѣрія, я не вижу никакой возможности осуществить такія условія опыта, при которыхъ была бы исключена возможность обмана со стороны лицъ, сдѣлавшихъ обманъ своею специальностью и средствомъ существованія¹. Да и помимо профессіональныхъ медіумовъ, нашъ авторъ требуетъ слишкомъ много отъ своихъ читателей, если желаетъ, чтобы они полагались на свидѣтельство лицъ, принадлежавшихъ большую частью къ той категоріи, которую нашъ старинный законъ обозначалъ, какъ «иностраницъ, поведеніе коихъ неизвѣстно». Такъ напримѣръ, разсказавши о полной матеріализаціи предполагаемаго духа Кэти Кингъ при медіумической помощи миссъ Флоренсъ Кукъ, онъ самъ замѣчаетъ: «для человѣка непосвященнаго (?) всего естественнѣе предположить, что роль Кэти продѣльвалась другимъ лицомъ, являющимся чрезъ искусно устроенный проходъ». Противъ этого предложенія, къ которому и я имѣю основаніе присоединиться, рискуя оказаться «непосвященнымъ», А. Н. Аксаковъ выставляетъ соображеніе рѣшительно недостаточное. «Но сеансы эти, — говоритъ онъ, — не всегда происходили на квартирѣ семейства Куковъ. И мнѣ самому довелось еще разъ видѣть Кэти на сеансѣ, происходившемъ 16—28 октября на дому у г. Люксмора, богатаго человѣка, бывшаго мирового судьи. Гостей было человѣкъ пятнадцать и т. д. Конечно, качество богатаго человѣка и бывшаго мирового судьи устраниетъ, вообще говоря, подозрѣнія въ корыстномъ мошенничествѣ; но это качество совершенно совмѣстимо съ возможностью для почтеннаго г. Люксмора быть обманутымъ со стороны медіума и кого-

¹ Отвлеченно говоря, можно, разумѣется, придумать условія, съ достаточнью вѣрностью исключающія всякий обманъ. Такъ, напримѣръ, можно было бы устроить сеансы на открытой вершинѣ холма, въ ясный лѣтній день, въ купальничьихъ костюмахъ, а медіума, зашивши предварительно въ мѣшокъ изъ легкой, по прочной матерії, положить въ свѣже-вырытую яму, слегка прикрывши только что выпиленными досками. При такихъ условіяхъ, активный обманъ съ его стороны былъ бы мало вѣроятенъ, но, насколько мнѣ извѣстно, па подобныя условія медіумы никогда не согласятся.

нибудь изъ пятнадцати гостей, о которыхъ читателю не сообщается ничего внушающаго довѣрія. А. Н. Аксаковъ имѣть право требовать нравственного довѣрія *къ себѣ*, по крайней мѣрѣ, со стороны тѣхъ, кто знаетъ его лично или литературно; но на какомъ основаніи можетъ онъ разсчитывать на наше довѣріе *къ г. Люксмору и его пятнадцати гостямъ*, т. е. именно *къ «иностраницамъ, поведеніе коихъ неизвѣстно»?*

Если профессиональные медіумы со всѣми своими злоупотребленіями получили неподобающее имъ значеніе въ области психургіи, то это отчасти зависѣло отъ увлеченія самихъ серьезныхъ спиритуалистовъ экспериментальною методою. Увлеченіе это, котораго весьма нечуждъ и нашъ авторъ, основано, мнѣ кажется, на недоразумѣніи. Между этими экспериментами, которыми такъ много обязаны физика, химія и иѣкоторыя другія положительныя науки, и тѣми экспериментами, которые производятся на спиритическихъ сеансахъ, сходство только номинальное. Вся сила научнаго эксперимента состоить въ его повторяемости при тѣхъ же условіяхъ, и для этого самыя условія должны: 1) быть извѣстны, 2) приведены въ простѣйший видъ и 3) находиться въ распоряженіи экспериментатора. Между тѣмъ, въ опытахъ собственно спиритическихъ (предполагая подлинность явлений), главныя условія, именно тѣ трансцендентальныя существа или «духи», которые дѣйствуютъ на медіума — 1) опредѣленно неизвѣстны, 2) по предположенію, крайне сложны и 3) никогда не находятся въ распоряженіи экспериментатора. Къ тому же, наука едва ли можетъ допустить такие эксперименты, одно изъ условій которыхъ есть интересъ въ поддѣлѣ явлений, а именно это условіе непрѣбѣжно присуще спиритическимъ сеансамъ съ профессиональными медіумами. Всѣмъ этимъ исключается серьезная аналогія между экспериментами научными и экспериментами спиритическими. Согласно этому, и въ книгѣ Аксакова всѣ дѣйствительно убѣдительные факты принадлежать къ числу безыскусственныхъ, самопроизвольно возникшихъ и, следовательно, только наблюдаемыхъ и констатируемыхъ, а не экспериментируемыхъ явлений.

На основаніи самой этой книги можно видѣть, что несомнѣнныи успѣхи психургіи за послѣдніе полвѣка обусловлены не развитіемъ спиритическихъ экспериментовъ, а другими факторами, изъ коихъ главнѣйшіе суть: 1) усиленное изученіе той психургической окраины, которая дѣйствительно допускаетъ приложеніе экспериментальной

методы, — разумѣю явленія гипнозма, которыя, по выраженію на-
шего автора, вошли клиномъ въ сферу положительной науки.
2) Опытъ систематической обработки извѣстій и наблюдений изъ
области телепатіи и телефонії². 3) Участіе нѣмецкихъ философовъ-
метафизиковъ въ объясненіяхъ психургическихъ явленій; трудами
Гелленбаха, дю-Преля и отчасти самого Гартмана въ значительной
степени обусловленъ и тотъ несомнѣнно удачный опытъ *естествен-
ной классификаціи* этихъ явленій, который данъ А. Н. Аксаковымъ
въ его книгѣ.

² Имѣю въ виду особенно обширный трудъ трехъ англійскихъ
ученыхъ „The phantasms of the living“, сокращенный русскій переводъ
котораго изданъ тѣмъ же А. Н. Аксаковымъ („Прижизненные при-
зраки и другія телепатическія явленія“, Спб. 1893).

Поэзия Ф. И. Тютчева.

1895.



Поэзия гр. А. К. Толстого.

1895.



Русские символисты.

1895.

алогізм. І. В. підсвіт

208г

— 20

алогізм. І. А. підсвіт

208г

— 20

алогізм. підсвіт

208г

— 20

Поэзія Θ. И. Тютчева:

1895.

Говорять, что въ къдрахъ русской земли скрывается много естественныхъ богатствъ, которыя остаются безъ употребленія и даже безъ описанія. Это можетъ, конечно, объясняться огромнымъ объемомъ страны. Болѣе удивительно, что въ небольшой области русской литературы тоже существуютъ такія сокровища, которыми мы не пользуемся и которыхъ почти не знаемъ. Самымъ драгоцѣннымъ изъ этихъ кладовъ я считаю лирическую поэзію Тютчева. Этого нesравненнаго поэта, которымъ гордилась бы любая литература, хорошо знаютъ у насъ только немногіе любители поэзіи, огромному же большинству даже «образованаго» общества онъ известенъ только по имени да по двумъ-тремъ (далеко не самымъ лучшимъ) стихотвореніямъ, помѣщаемымъ въ хрестоматіяхъ или положеннымъ на музыку. Я часто слыхалъ восторженные отзывы о стихотвореніяхъ Тютчева отъ Льва Толстого и отъ Фета¹; Тургеневъ въ своей

¹ Фетъ выразилъ свой восторгъ въ посланіи къ „обожаемому поэту“ („Вечерніе огни“, вып. I) и въ надписи — „На книжкѣ стихотвореній Тютчева“ („Вечерніе огни“, вып. II):

Вотъ нашъ патентъ на благородство,
Его вручаетъ намъ поэтъ:
Здѣсь духа мощнаго господство,
Здѣсь утонченной жизни цвѣть.
Въ сыртахъ не встрѣтишь Геликона,
На льдинахъ лавръ не расцвѣтеть,
У чукчей нѣтъ Анакреона,
Къ зырянамъ Тютчевъ не придетъ.
Но Муза, правду соблюдая,
Глядитъ: а на вѣсахъ у ней
Вотъ эта книжка небольшая —
Томовъ премногихъ тяжелый.

краткой рецензии называеть Тютчева «великимъ поэтомъ»; Ап. Григорьевъ упоминаетъ о немъ, говоря о нашихъ поэтахъ, особенно отзывчивыхъ на жизнь природы; — но специального разбора или объясненія его поэзіи до сихъ поръ не существуетъ въ нашей литературѣ, хотя прошло уже болѣе двадцати лѣтъ съ его смерти. Превосходное сочиненіе И. С. Аксакова есть главнымъ образомъ биографія и характеристика личности и славянофильскихъ взглядовъ поэта. Въ настоящемъ очеркѣ я беру поэзію Тютчева по существу, чтобы показать ея внутренній смыслъ и значеніе.

I.

Прежде всего бросается въ глаза при знакомствѣ съ нашимъ поэтомъ созвучіе его вдохновенія съ жизнью природы, — совершенное воспроизведеніе имъ физическихъ явлений какъ состояній и дѣйствий живой души. Конечно, всѣ дѣйствительные поэты и художники чувствуютъ жизнь природы и представляютъ ее въ одушевленныхъ образахъ; но преимущество Тютчева передъ многими изъ нихъ состоить въ томъ, что онъ вполнѣ и сознательно *вѣрилъ* въ то, что чувствовалъ, — ощущаемую имъ живую красоту принимать и понимать не какъ свою фантазію, а какъ *истину*. Эта вѣра и это пониманія стали рѣдки въ новое время, — мы не находимъ ихъ даже, напримѣръ, у такого сильного поэта и тонкаго мыслителя, какъ Шиллера. Въ своемъ знаменитомъ стихотвореніи «Боги Греціи» онъ предполагаетъ, что природа только *была* жива и прекрасна въ *вображеніи* древнихъ, а на самомъ дѣль она лишь мертвая машина. Смерть эллинской мифологии была для Шиллера смертью самой природы; вмѣстѣ съ прекрасными богами Греціи исчезла и душа мѣра, оставивъ только свою тѣнь въ художественныхъ памятникахъ классической древности:

Свѣтлый міръ, о, гдѣ ты? Какъ чудесенъ
Былъ природы радостный расцвѣтъ.
Ахъ! въ странѣ одной волшебныхъ пѣсенъ
Не утраченъ сказочный твой слѣдъ.
Загрустя, повымерли долины,
Взоръ пигдѣ не встрѣтить божества.
Ахъ! отъ той живительной картины
Только тѣнь видна едва.
Всѣхъ цвѣтовъ душистыхъ строй великий

Злы́мъ дыханьемъ съвера снесенъ...

Я ищу по небу, грусти полный,
Но тебя, Селена, нѣтъ какъ нѣтъ;
Оглашаю рощи, кличу въ волны —
Безотвѣтъ мой привѣтъ.
Безъ сознанья радость расточая,
Не провида блеска своего,
Надъ собой вождя не сознавая,
Не дѣля восторга моего
Безъ любви къ виновнику творенья,
Какъ часы — не оживленъ и сиръ,
Рабски лишь закону тяготѣнья
Обезбоженъ служить міръ...

Праздно въ міръ искусства скрылись боги,
Безполезны для вселенной той,
Что, у нихъ не требуя подмоги,
Связь нашла въ себѣ самой.
Да, они укрылись въ область сказки,
Унося туда же за собой
Все величье, всю красу, всѣ краски,
А у насъ остался звукъ пустой²⁾.

Тютчевъ не вѣрилъ въ эту смерть природы, и ея красота не была для него пустымъ звукомъ. Ему не приходилось искать душу міра и безответственно привѣтствовать отсутствующую: она сама сходилась съ нимъ и въ блескѣ молодой весны, и въ «свѣтлости осенихъ вечеровъ»; въ сверканьѣ пламенныхъ зарницъ и въ шумѣ ночного моря она сама намекала ему на свои роковые тайны. И безъ греческой мифологии міръ былъ полонъ для него и величья, и красы, и красокъ. Въ этомъ нѣтъ еще ничего особенного. Живое отношение къ природѣ есть существенный признакъ поэзіи вообще, отливающей ее отъ двоякой прозы: житейско-практической и отвлеченно-научной. Въ минуты настоящаго поэтическаго вдохновенія и Шиллеръ забывалъ, конечно, о часовомъ механизмѣ и о законѣ тяготѣнія — и отдавался непосредственнымъ впечатлѣніямъ природы красоты. Но у Тютчева, какъ я уже замѣтилъ, важно и дорого то, что онъ не только *чувствовалъ*, а и *мыслилъ*, какъ поэтъ, — что онъ былъ *убѣжденъ* въ объективной истинѣ поэтическаго воззрѣнія

²⁾ „Боги Греціи“ Шиллера, въ переводѣ Фета („Вечерніе огни“ вып. I).

на природу. Какъ бы прямымъ отвѣтомъ на Шиллеровскій похоронный гимнъ мнимо-умершой природѣ служить стихотвореніе Тютчева:

Не то, что мните вы, природа —
Не слѣпокъ, не бездушный ликъ:
Въ ней есть душа, въ ней есть свобода,
Въ ней есть любовь, въ ней есть языки.

Вовсе не высшее знаніе, а только собственная слѣпота и глупота заставляютъ людей отрицать внутреннюю жизнь природы:

Они не видятъ и не слышатъ,
Живутъ въ семъ мірѣ, какъ въ потьмахъ,
Для нихъ и солнца, знать, не дышать;
И жизни нѣть въ морскихъ волнахъ,
Лучи къ нимъ въ душу не сходили,
Весна въ груди ихъ не цвѣла,
При нихъ лѣса не говорили,
И ночь въ звѣздахъ нѣма была;
И, языками неземными
Волнуя рѣки и лѣса,
Въ ночи не совѣщалась съ ними
Въ бесѣдѣ дружеской грозы...

II.

Кто же правъ изъ двухъ поэтовъ? Есть жизнь и душа въ природѣ, или нѣть? Или, можетъ быть, существуютъ двѣ истины: одна для поэзіи, а другая — для науки? Но наука тутъ не при чемъ; она не отвѣчаетъ за тѣ ложные выводы, которые дѣлаются изъ ея достовѣрныхъ данныхъ въ силу односторонняго направлениія мысли, возобладавшаго въ извѣстную эпоху. Наука никогда не доказывала — да по существу дѣла и не можетъ доказывать, что міръ есть только механизмъ, что природа есть только мертвое вещества. РАЗЛИЧНЫЯ науки изслѣдуютъ природу по частямъ и находятъ между этими частями механическую связь; но такой естественной науки, которая изслѣдовала бы вселенную въ ея единство и цѣлості, вовсе не существуетъ, а логика, обязательная и для наукъ, не позволяетъ отъ анализа частей и ихъ внѣшней частичной связи дѣлать окончательное заключеніе о всеобщемъ характерѣ или смыслѣ цѣлага. Вѣдь и въ тѣль живого человѣка всѣ его части и частицы связаны между собою механически, — это не мѣшаетъ ему, однако, быть одушевленнымъ.

вленнымъ существомъ. Никто не рѣшится утверждать, что механическое устройство и дѣйствіе скелета, сосудистой, мускульной и нервной системъ, изучаемое точными науками — анатоміей и физиологіей, — исчерпываетъ собою весь истинный смыслъ человѣческаго существа и существованія; напротивъ, каждый согласится, что весь этотъ механизмъ координированныхъ частей имѣть смыслъ только какъ орудіе или средство выраженія и осуществленія внутренней жизни или души человѣка³. Точно такъ же и механизмъ всей природы есть только слаженная совокупность для проявленія и развитія всемирной жизни. Точное изученіе механизма въ высшей степени важно: оно даетъ человѣку возможность въ извѣстной мѣрѣ управлять естественными явленіями, пользоваться ими для своихъ цѣлей. Но ни теоретический принципъ, ни практическая польза такого изученія не составляютъ еще достаточнаго основанія, чтобы видѣть здесь всю истину о природѣ; это въ сущности было бы такъ же странно, какъ если бы кто-нибудь сталъ утверждать, что для полнаго и окончательнаго познанія человѣка нужно только вскрыть и препарировать его трупъ.

Противъ нашего заключенія отъ одушевленности человѣческаго тѣла къ одушевленности тѣла всемирного нельзѧ приводить то соображеніе, что живого человѣка мы дѣйствительно видимъ какъ замкнутое цѣлое въ нѣкоторомъ ощущительномъ единстве, — природу же воспринимаемъ всегда лишь по частямъ. Ясно, что это различие зависитъ не отъ существа дѣла, а отъ причины совершенно условной — отъ относительныхъ размѣровъ того и другого предмета. Для микроскопическихъ глазъ мухи вовсе не существуетъ цѣлое гармоническое очертаніе человѣка или человѣческаго лица съ его выражениемъ, да и для нашего собственнаго глаза самое прекрасное и одушевленное лицо превратилось бы при микроскопическомъ изслѣдованіи въ безформенную массу грубыхъ тканей и клѣтокъ, механически погроможденныхъ безо всякой законченности и единства. Однако, когда я смотрю на это лицо, какъ на живое, узнаю въ его очертаніяхъ и измѣненіяхъ следы внутренняго опыта и выраженіе мыслей, чувствъ и желаній, вижу черезъ него душу и судьбу этого человѣка, то я, конечно, вижу несравненно *больше*, чѣмъ видитъ въ немъ са-

³ Объ отношеніи жизни къ матеріальной организаціи тѣла — см. превосходныя разсужденія Клода Бернара въ его „Общей физиологии“.

мая наблюдательная муха, и узнаю о немъ болѣе полную истину, чѣмъ ту, которую могъ бы узнать при помощи микроскопа. Никакъ не тѣ волокна и клѣтки, а именно это болѣшее, содержательное и единое, что я вижу живымъ взглядомъ, — оно-то и есть *истина*, или подлинный *смыслъ* этого человѣческаго существа, а то все — только матеріаlъ, въ которомъ воплощается, посредствомъ котораго выражается эта истинна или этотъ смыслъ.

Какъ тѣлесная видимость человѣка, сверхъ анатомическихъ и физиологическихъ фактовъ, говоритъ намъ еще своими знаками о его внутренней жизни или душѣ, такъ точно и явленія всей природы, каковъ бы ни былъ ихъ *механическій составъ*, говорятъ намъ въ своей живой дѣйствительности о жизни и душѣ великаго міра. Ни логика, ни сама естественная наука, не позволяютъ намъ разсуждать иначе и противопоставлять человѣка міру, какъ живое мертвому. Для взгляда исключительно-аналитического — и въ самомъ человѣкѣ нѣтъ живого и цѣлаго существа, а только механическая совокупность матеріальныхъ частицъ; для взгляда же, направленного на полную истину, а не на одну только ея сторону, есть жизнь и во вѣнчайшей природѣ. Послѣдовательная мысль должна выбирать между двумя положеніями: или ни въ чёмъ, даже въ человѣкѣ, даже въ насъ самихъ, нѣтъ одушевленной жизни, или — она есть во всей природѣ, различаясь только по степенямъ и формамъ. Ибо нѣтъ никакой возможности, оставаясь на научной почвѣ, отѣлить человѣка въ этомъ отношеніи отъ остального міра. Свою тѣлесною организаціей, которой обусловлено развитіе его внутренней жизни, человѣкъ принадлежитъ къ животному царству, а животныхъ никакъ нельзя выдѣлить изъ прочей природы и признать ихъ исключительными носителями жизни. На самомъ дѣлѣ животное царство неразрывно связано съ растительнымъ, имѣя съ нимъ первоначально одну общую основу органическаго бытія, до сихъ поръ еще представляемую такими организмами, которыхъ нельзя отнести ни къ животнымъ, ни къ растеніямъ. А цѣлый органическій міръ, при всемъ своемъ формальномъ *отличіи, нераздѣльно* связанъ, однако, и по составу, и по происхожденію, съ міромъ неорганическимъ. Утверждать безусловную границу между этими двумя мірами такъ же въ сущности неосновательно и противно духу науки, какъ если бы мы признали безусловную разнородность между твердымъ скелетомъ и мягкими тканями человѣческаго тѣла.

Нѣтъ во всей вселенной такой пограничной черты, которая дѣлила бы ее на совершенно особенные, несвязанные между собою области бытія; повсюду существуютъ переходныя, промежуточные формы, или остатки такихъ формъ, и весь видимый міръ не есть собраніе дѣланныхъ вещей, а продолжающееся развитіе или ростъ единаго живого существа.

III.

Глубокое и сознательное убѣжденіе въ дѣйствительной, а не воображаемой только, одушевленности природы избавляло нашего поэта отъ того раздвоенія между мыслью и чувствомъ, которымъ съ прошлаго вѣка и до послѣдняго времени страдаетъ большинство художниковъ и поэтовъ. Простодушно принимая механическое міровоззрѣніе за всеначальное и единствено-научное, а потому несомнѣнное, вѣря ему на слово, эти служители красоты *не въягутъ въ свое дѣло*. Какъ художники, они передаютъ намъ жизнь и душу природы, но при этомъ въ умѣ своемъ убѣждены, что она безжизненна и бездушна, что ихъ чувство и вдохновеніе ихъ обманываютъ, — что красота есть субъективная иллюзія. А на самомъ дѣлѣ иллюзія только въ томъ, что отраженіе ходячихъ мнѣній на поверхности ихъ сознанія принимается ими за нѣчто болѣе достовѣрное, чѣмъ та истина, которая открывается въ глубинѣ ихъ собственнаго поэтическаго чувства.

Понятно, что при такомъ невѣріи самихъ поэтовъ въ свое дѣло простые смертные пріучаются смотрѣть на поэзію (и на художественную красоту вообще) какъ на праздный вымыселъ, и про всякую идею, возвышающуюся надъ житейскою плоскостью, говорить: «это только поэзія!» — разумѣя: «это вздоръ и пустяки!». И кто же, въ самомъ дѣлѣ, станетъ придавать серьезное значеніе тому божеству, въ которому сами жрецы видятъ только пріятный вымыселъ?

Поэты, не вѣрющіе въ поэзію, у которыхъ умъ противорѣчитъ вдохновенію и которые думаютъ, что истина есть только одна механика, — такие поэты или должны быть неискренни, или же, отдаваясь поэтическому чувству, должны воздерживаться отъ всякой мысли, что не всегда возможно и не всегда полезно; когда же они начинаютъ разсуждать, у нихъ выходитъ отвлеченная и мертвая дидактика, вовсе не нуждающаяся въ «языкѣ боговъ». Тютчевъ былъ избавленъ отъ такого печального положенія. Его умъ былъ вполнѣ

согласень съ вдохновеніемъ: поэзія его была полна сознанной мысли, а его мысли находили себѣ только поэтическое, т. е. одушевленное и законченное выражение.

Дѣло поэзіи, какъ и искусства вообще, — не въ томъ, чтобы «украшать дѣйствительность пріятными вымыслами живого воображенія», какъ говорилось въ стариныхъ эстетикахъ, а въ томъ, чтобы воплотить въ *ощутительныхъ* образахъ тотъ самый высшій смыслъ жизни, которому философъ даетъ опредѣленіе въ разумныхъ понятіяхъ, который проповѣдуется моралистомъ и осуществляется историческимъ дѣятелемъ, какъ идея добра. Художественному чувству непосредственно открывается въ формѣ ощущительной красоты то же совершенное содержаніе бытія, которое философией добывается какъ истина мышленія, а въ нравственной дѣятельности даетъ о себѣ знать какъ безусловное требованіе совѣсти и долга. Это только различныя стороны или сферы проявленія одного и того же; между ними нельзя провести раздѣленія, и еще менѣе могутъ онѣ противорѣчить другъ другу. Если вселенная имѣеть смыслъ, то двухъ противорѣчащихъ другъ другу истинъ — поэтической и научной такъ же не можетъ быть, какъ и двухъ исключающихъ другъ друга «высшихъ благъ», или цѣлей существованія. Слѣдовательно, правъ былъ напр. поэтъ, когда прекрасное онѣ сознательно принималъ и утверждалъ не какъ вымыселъ, а какъ предметную истину, и, чувствуя жизнь природы и душу міра, былъ убѣжденъ въ дѣйствительности того, что чувствовалъ.

IV.

Убѣжденіе въ истинности поэтическаго возврѣнія на природу и вытекающая отсюда цѣльность творчества, гармонія между мыслью и чувствомъ, вдохновеніемъ и сознаніемъ, составляетъ преимущество Тютчева даже передъ такимъ значительнымъ поэтомъ-мыслителемъ, какъ Шиллеръ; но, разумѣется, это не есть исключительное преимущество нашего поэта или специфическая особенность его поэзіи. И въ новой литературѣ далеко не всѣ поэты такъ довѣрчиво, какъ Шиллеръ, приняли механическое міровоззрѣніе, такъ легко усвоили дуализмъ Картезія или субъективизмъ Канта. Многіе продолжали и продолжаютъ сознательно вѣрить въ дѣйствительность жизни и красоты, не видя въ этомъ никакого противорѣчія съ маятникомъ Галилея или закономъ тяготѣнія Ньютона. Между великими

европейскими именами достаточно назвать Шелли въ Англіи и особенно Гёте въ Германіи. Гёте, который былъ не только поэтъ и мыслитель, но и великий естествоиспытатель, положившій начало двумъ интереснѣйшимъ наукамъ — сравнительной анатоміи животныхъ и морфологіи растеній — лучше, чѣмъ кто-либо другой, могъ видѣть всю недостаточность исключительно-механическаго объясненія вселенной, и въ цѣломъ рядъ великолѣпныхъ стихотвореній, подъ заглавіемъ «Gott und Welt», онъ прославляетъ душу міра и жизнь природы.

Конечно, Тютчевъ не рисовалъ такихъ грандіозныхъ картинъ міровой жизни въ цѣломъ ходѣ ея развитія, какую мы находимъ у Гёте, напримѣръ, въ стихотвореніи: «Vertheilet euch durch alle Regionen...». Но и самъ Гёте не захватывалъ, быть можетъ, такъ глубоко, какъ нашъ поэтъ, темный корень мірового бытія, не чувствовалъ такъ сильно и не сознавалъ такъ ясно ту таинственную основу всякой жизни, — природной и человѣческой, — основу, на которой зиждется и смыслъ космического процесса, и судьба человѣческой души, и вся история человѣчества. Здѣсь Тютчевъ дѣйствительно является вполнѣ своеобразнымъ и если не единственнымъ, то наѣбрное самымъ сильнымъ во всей поэтической литературѣ. Въ этомъ пунктѣ — ключъ ко всей его поэзіи, источникъ ея содержательности и оригинальной прелести.

«Олимпіецъ» Гёте обнималъ своимъ орлинымъ взглядомъ величие и красоту живой вселенной. Онъ зналъ, конечно, что этотъ свѣтлый, дневной міръ не есть первоначальное, что подъ нимъ скрыто совсѣмъ другое и страшное, но онъ не хотѣлъ останавливаться на этой мысли, чтобы не смущать своего олимпійского спокойствія. Но при такомъ одностороннемъ взгляде смыслъ вселенной не можетъ быть раскрыть во всей своей глубинѣ и полнотѣ. Нашъ поэтъ одинаково чутокъ къ обѣимъ сторонамъ дѣйствительности; онъ никогда не забываетъ, что весь этотъ свѣтлый, дневной обликъ живой природы, который онъ такъ умѣетъ чувствовать и изображать, есть пока лишь «златотканый покровъ», расцвѣченная и позолоченная вершина, а не основа мірозданія:

На міръ таинственный духовъ,
Надъ этой бездной безымянной
Покровъ наброшенъ златотканый
Высокой волею боговъ.

День — сей блестательный покровъ —
 День — земнородныхъ оживленье,
 Души болящей испѣленье,
 Другъ человѣковъ и боговъ! —
 Но меркнетъ день, настала ночь, —
 Пришла — и съ мѣра рокового
 Ткань благодатную покрова,
 Собравъ, отбрасываетъ прочь.
 И бездна намъ обнажена,
 Съ своими страхами и мглами,
 И нѣть преградъ межъ ей и нами:
 Вотъ отчего намъ ночь страшна.

«День» и «ночь», конечно, только видимые символы двухъ сторонъ вселенной, которые могутъ быть обозначены и безъ метафоръ. Хотя поэтъ называетъ здѣсь темную основу мірозданія «бездной безымянной», но ему сказалось и собственное ея имя, когда онъ прислушивался къ напѣвамъ ночной бури:

О чѣмъ ты воешь, вѣтъ ночной,
 О чѣмъ такъ сѣтуешь безумно?
 Что значить странный голосъ твой,
 То глухо-жалобный, то шумный?
 Понятнымъ сердцу языкомъ
 Твердишь о непонятной мукѣ,
 И роешь и взрываешь въ немъ
 Порой неистовые звуки.
 О, страшныхъ пѣсень сихъ не пой
 Про древній хаосъ, про родимый!
 Какъ жадно мѣръ души ночной
 Внимаетъ повѣсти любимой!
 Изъ смертной рвется онъ груди
 И съ безпредѣльными жаждеть слиться.
 О, бурь успущихъ не буди:
 Подъ ними хаосъ шевелится!..

V.

Хаосъ, т. е. отрицательная безпредѣльность, зіяющая бездна всякаго безумія и безобразія, демоническіе порывы, возстающіе противъ всего положительнаго и должноаго — вотъ глубочайшая сущность міровой души и основа всего мірозданія. Космический процессъ вводить эту хаотическую стихію въ предѣлы всеобщаго строя, под-

чиняетъ ее разумнымъ законамъ, постепенно воплощая въ ней идеальное содержание бытія, давая этой дикой жизни смыслъ и красоту. Но и введенный въ предѣлы всемірного строя, хаосъ даетъ о себѣ знать мятежными движеніями и порывами. Это присутствіе хаотического, ирраціонального начала въ глубинѣ бытія сообщаетъ различнымъ явленіямъ природы ту свободу и силу, безъ которыхъ не было бы и самой жизни и красоты. Жизнь и красота въ природѣ — это борьба и торжество свѣта надъ тьмою, но этимъ необходимо предполагается, что тьма есть дѣйствительная сила. И для красоты вовсе не нужно, чтобы темная сила была уничтожена въ торжествѣ міровой гармоніи: достаточно, чтобы свѣтлое начало овладѣло ею, подчинило ее себѣ, до извѣстной степени воплотилось въ ней, ограничивая, но не упраздняя ея свободу и противоборство. Такъ безбрежное море въ своемъ бурномъ волненіи *прекрасно*⁴, какъ проявленіе и образъ мятежной жизни, гигантскаго порыва стихійныхъ силъ, введеныхъ, однако, въ позыблемые предѣлы, не могущихъ расторгнуть общей связи мірозданія и нарушить его строя, а только наполняющихъ его движеніемъ, блескомъ и громомъ:

Какъ хорошо ты, о, море ночное,
Здѣсь лучезарно, тамъ сизо-черно!
Въ лунномъ сіяніи, словно живое,
Ходить и дышитъ и блещетъ оно.
На бесконечномъ, на вольномъ просторѣ
Блескъ и движеніе, грохотъ и громъ...
Тусклымъ сіяніемъ облитое море,
Какъ хорошо ты въ безлюдьи ночномъ!
Зыбы ты великая, зыбы ты морская!
Чей это праздникъ такъ празднуетъ ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткія звѣзды глядятъ съ высоты.

Хаосъ, т. е. само безобразіе, есть необходимый фонъ всякой земной красоты, и эстетическое значеніе такихъ явленій, какъ бурное море или ночная гроза, зависить именно отъ того, что «подъ ними хаосъ шевелится». Въ изображеніи всѣхъ этихъ явленій при-

⁴ По Канту, оно не прекрасно, а возвыщенно (*erhaben*); но это одна изъ тѣхъ ненужныхъ *distinctiones more scholasticorum*, къ какимъ великій философъ имѣлъ чрезмѣрную слабость.

роды, гдѣ яснѣе чувствуется ея темная основа, Тютчевъ не имѣть себѣ равныхъ.

Не остывшая отъ зною,
Ночь юльская блестала,
И надъ тусклую землею
Небо полное грозою
Отъ зарницъ все трепетало.
Словно тяжкія рѣсицы,
Разверзалися порою.
И свозь бѣглыхъ зарницы
Чьи то грозныя зѣницы
Загорались надъ землею.

Этотъ поразительный образъ гениально заканчивается поэтомъ въ другомъ стихотвореніи:

.....
Однѣ зарницы огневыя,
Воспламеняясь чаредой,
Какъ демоны глухонѣмые,
Ведутъ бесѣду межъ собой,
Какъ по условленному знаку
Вдругъ неба вспыхнетъ полоса,
И быстро выступятъ изъ мраку
Поля и дальние лѣса.
И вотъ опять все потемнѣло,
Все стихло въ чуткой темнотѣ,
Какъ бы таинственное дѣло
Рѣшалось тамъ на высотѣ...

VI.

Частныя явленія суть знаки общей сущности. Поэты умѣеть читать эти знаки и понимать ихъ смыслъ. «Таинственное дѣло», заговоръ «глухонѣмыхъ демоновъ» — вотъ начало и основа всей міровой исторіи. Положительное, свѣтлое начало космоса сдерживаетъ эту темную бездну и постепенно преодолѣваетъ ее. Въ послѣднемъ, высшемъ произведеніи мірового процесса — человѣкѣ — вицѣній свѣтъ природы становится внутреннимъ свѣтомъ сознанія и разума, — идеальное начало вступаетъ здѣсь въ новое, болѣе глубокое и тѣсное сочетаніе съ земною душою; но соотвѣтственно этому глубже раскрывается въ душѣ человѣка и противоположное демониче-

ское начало хаоса. Ту темную основу мірозданія, которую онъ чувствуетъ и видить во виѣшней природѣ подъ «златотканымъ покровомъ» космоса, онъ находитъ и въ своемъ собственномъ сознаній, —

И въ чуждомъ, неразгаданномъ, почномъ
Онъ узнаетъ наслѣдье роковое.

Главное проявленіе душевной жизни человѣка, открывающее ея смыслъ, есть любовь, и тутъ опять напѣть поэты сильнѣе и яснѣе другихъ отмѣчаютъ ту самую демоническую и хаотическую основу, къ которой онъ былъ чутокъ въ явленіяхъ виѣшней природы. Этому вовсе не противорѣчитъ прозрачный одухотворенный характеръ Тютчевской поэзіи. Напротивъ, чѣмъ свѣтлѣе и духовнѣе поэтическое созданіе, тѣмъ глубже и полнѣе, значитъ, было прочувствовано и пережито то темное, *не-духовное*, что требуетъ просвѣщенія и одухотворенія.

Жизнь души, сосредоточенная въ любви, есть по основѣ своей злая жизнь, смущающая миръ прекрасной природы:

Что это, другъ? Иль злая жизнь не даромъ, —
Та жизнь — увы! — что въ нась тогда текла,
Та злая жизнь съ ея мятежнымъ жаромъ
Черезъ порогъ завѣтный перешла?

Эта злая и горькая жизнь любви убиваетъ и губитъ:

О, какъ убийственно мы любимъ,
Какъ въ буйной слѣпотѣ страстей
Мы то всего вѣрнѣе губимъ,
Что сердцу нашему милѣй.

И это нѣ есть случайность, а роковая необходимость земной любви, ея *предопределѣніе*:

Любовь, любовь, — гласить преданье, —
Союзъ души съ душой родной,
Ихъ съединенье, сочетанье,
И роковое ихъ сліянье,
И поединокъ роковой.
И чѣмъ одно изъ нихъ нѣжнѣе
Въ борьбѣ неравной двухъ сердецъ,
Тѣмъ неизбѣжнѣй и вѣрнѣе,
Любя, страдая, грустно млѣя,
Оно изноетъ наконецъ.

VII.

«Злая жизнь», превращающая саму любовь въ роковую борьбу, должна кончиться смертью. Но въ чём же тогда смыслъ существованія? Смыслъ природы былъ въ созданіи разумнаго существа — человѣка. Но разумъ въ природномъ человѣкѣ оказывается лишь формальнымъ преимуществомъ; онъ не въ силахъ овладѣть самою жизнью, сдѣлать ее разумною и бессмертною; на зло разуму и па погибель человѣка поднимается и въ немъ демоническое и хаотическое безуміе. Какъ въ міровомъ процессѣ природы темное начало хаоса преодолѣвалось виѣшнимъ образомъ, чтобы произвести свѣтлое мірозданіе, увѣличившее явленіемъ человѣческаго разума, — такъ теперь та же самая темная основа, открывшаяся на новой, высшей ступени въ жизни и сознаніи человѣка, должна быть побѣждена внутреннимъ образомъ, въ самомъ человѣчествѣ и при его собственномъ содѣйствіи. Достойная и вѣчная жизнь, которая требуется, но не дается разумомъ, должна быть добыта духовнымъ подвигомъ. Носитель мірового смысла не можетъ имѣть свой смыслъ *внѣ* себя. Если я, какъ человѣкъ, могу понимать откровеніе абсолютнаго совершенства и сознательно стремиться къ нему, то зачѣмъ же мнѣ переставать быть человѣкомъ, чтобы достигнуть этого совершенства? Если мое сознаніе, какъ форма, можетъ вмѣстить безконечное, то зачѣмъ же мнѣ искать другой формы? Очевидно, я долженъ быть не сверхъ-человѣкомъ, а только совершеннымъ человѣкомъ, т. е. соотвѣтствующимъ въ дѣйствительности идеалу человѣчности.

Смыслъ человѣка есть онъ самъ, но только не какъ рабъ и орудіе злой жизни, а какъ ея побѣдитель и владыка. Если загадка мірового сфинкса разрѣшена явленіемъ природнаго человѣка, то загадка нового сфинкса — души и любви человѣческой — разрѣшается явленіемъ духовнаго человѣка, дѣйствительнаго и вѣчнаго царя мірозданія, покорителя грѣха и смерти. И какъ первое явленіе разумнаго сознанія произошло въ природѣ и *изъ* природы, но *не отъ* природы, а отъ того разума, который изначала устроилъ саму природу для этого явленія и цѣлесообразно направлялъ естественный ходъ всемирнаго процесса, — подобнымъ образомъ и первое явленіе совершенной духовной жизни произошло въ человѣчествѣ и *изъ* человѣчества, но *не отъ* человѣчества, а отъ Того, Кто изначала вложилъ въ Свой образъ и подобіе зародышъ высшаго совершенства, и

какъ Грядущій приготвлялъ чрезъ всю исторію необходимыя условія своего дѣйствительного воплощенія.

Примкнуть къ «Вождю на пути совершенства», замѣнить роковое и убийственное наслѣдіе древняго хаоса духовнымъ и животворнымъ наслѣдіемъ новаго человѣка, или Сына человѣческаго, — перспенциа изъ мертвыхъ, — вотъ единственныій исходъ изъ «злой жизни» съ ея кореннымъ раздвоеніемъ и противорѣчіемъ, — исходъ, котораго не могла миновать вѣщая душа поэта:

О, вѣщая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
О, какъ ты бѣшься на порогѣ
Какъ бы двойного бытія!..
Такъ, ты жилище двухъ мировъ,
Твой день — болѣзнетный и страстный,
Твой сонъ — пророчески-неясный,
Какъ откровеніе духовъ...
Пускай страдальческую грудь
Волнуютъ страсти роковыя, —
Душа готова, какъ Марія,
Къ ногамъ Христа на вѣкъ прильнуть...

VIII.

«Роковое наслѣдіе» темныхъ силъ въ нашей душѣ не есть что-нибудь личное, оно одинаково принадлежитъ всему человѣчеству, — таково же и духовное наслѣдіе Христово: оно явилось не для одиночного утѣшенія отдельнаго человѣка, а для спасенія всего человѣчества. Но что такое это человѣчество, въ чемъ оно реально воплощается, гдѣ его дѣйствительное единство? На это у Тютчева былъ опредѣленный отвѣтъ, который я здѣсь только укажу, не оспаривая и не подтверждая его.

Какъ во всей природѣ нашъ поэтъ признавалъ живую душу, которой держится единство и цѣлостность міра, подобнымъ же образомъ онъ признавалъ и живую душу человѣчества и видѣлъ ее — въ Россіи. Какъ, по словамъ одного учителя церкви, душа человѣческая по природѣ христіанка, такъ Тютчевъ считалъ Россію по природѣ христіанскимъ царствомъ. Такъ какъ смыслъ исторіи въ христіанствѣ, то Россія, какъ страна по преимуществу христіанская, призвана внутренно обновить и виѣшнимъ образомъ объединить все человѣчество.

Для Тютчева Россія была не столько предметомъ любви, сколько вѣры — «въ Россію можно только вѣрить». Личные чувства его къ родинѣ были очень сложны и многоцвѣтны. Было въ нихъ даже нѣкоторое отчужденіе, съ другой стороны — благоговѣніе къ религіозному характеру народа: «всю тебя, земля родная, — въ рабскомъ видѣ Царь Небесный — исходилъ благословляя», — бывали въ нихъ, наконецъ, минутная увлеченія самыми обыкновеннымъ шовинизмомъ.

Тютчевъ не любилъ Россію тою любовью, которую Лермонтовъ называетъ почему-то «странною». Къ русской природѣ онъ скорѣе чувствовалъ антипатію. «Сѣверъ роковой» былъ для него «сповѣдѣніемъ безобразнымъ»; родныя мѣста онъ прямо называетъ *не милыми*:

Итакъ, опять увидѣлся я съ вами,
Мѣста не милыя, хоть и родныя,
Гдѣ мыслилъ я и чувствовалъ впервые

Ахъ, нѣть! не здѣсь, не этотъ край безлюдный
Былъ для души моей родимымъ краемъ, —
Не здѣсь расцвѣль, не здѣсь былъ величаемъ
Великій праздникъ молодости чудной!
Ахъ, и не въ эту землю я сложилъ
То, чѣмъ я жилъ и чѣмъ я дорожилъ...

Значить, его вѣра въ Россію не основывалась на непосредственномъ органическомъ чувствѣ, а была дѣломъ сознательно выработанаго убѣжденія. Первое, еще неопределеннное, но зато высоко-поэтическое выраженіе этой вѣры онъ далъ еще въ молодости — въ прекрасномъ стихотвореніи «На взятіе Варшавы». Въ своей борьбѣ съ братскими народомъ Россія руководилась не звѣрскими инстинктами а только необходимостью «державы цѣлостъ соблюсти», для того, чтобы —

Славянъ родныя поколѣнья
Подъ знамя русское собрать
И вѣсть на подвигъ просвѣщенья
Единомысленную рать.
И это высшее сознанье
Вело нашъ доблестный народъ
Путей небесныхъ оправданье
Онъ смѣло на себя береть.
Онъ чуетъ надъ своей главою
Звѣзду въ незримой высотѣ
И неуклонно за звѣздою
Идетъ къ таинственной мечѣ.

Эта вѣра въ высокое призвание Россіи возвышаетъ самого поэта надъ мелкими и злобными чувствами национального соперничества и грубаго торжества побѣдителей. Необычно у патріотическихъ пѣвцовъ гуманностью дышать заключительные стихи, обращенные къ Польшѣ:

Ты жъ, братскою стрѣлой проязенный,
Судѣбъ свершая приговоръ,
Ты палъ, орелъ одноплемененный,
На очистительный костеръ.
Вѣрь слову русскаго народа:
Твой пеплъ мы свято сбережемъ,
И наша общая свобода
Какъ фениксъ возродится въ немъ.

Позднѣе — вѣра Тютчева въ Россію высказывалась въ пророчествахъ болѣе опредѣленныхъ. Сущность ихъ въ томъ, что Россія сдѣлается всемирною христіанскою монархіей, —

... и не пройдетъ во вѣкъ,
Какъ-то провидѣлъ Духъ и Давилъ предрекъ.

Одно время условиемъ для этого великаго события онъ считалъ соединеніе Восточной церкви съ Западною чрезъ соглашеніе царя съ папой, но потомъ отказался отъ этой мысли, находя, что папство несовмѣстимо со свободой совѣсти, т. е. съ самою существенною принадлежностью христіанства.

Отказавшись отъ надежды мирнаго соединенія съ Западомъ, нашъ поэтъ продолжалъ предсказывать превращеніе Россіи во всемирную монархію, простирающуюся по крайней мѣрѣ до Нила и до Ганга, съ Царьградомъ, какъ столицей. Но эта монархія не будетъ, по мысли Тютчева, подобиемъ звѣрина царства Навуходоносорова,— ея единство не будетъ держаться насилиемъ. По поводу извѣстнаго изреченія Бисмарка, Тютчевъ противопоставляетъ другъ другу *два единства*:

„Единство, — возвѣстиль оракулъ нашихъ дней, —
Быть можетъ спаено желѣзомъ и лишь кровью“;
Но мы попробуемъ спасть его любовью, —
А тамъ увидимъ, что прочнѣй...“

Великое призваніе Россіи предписываетъ ей держаться единства, основанного на духовныхъ началахъ; не гнилою тяжестью земного оружія должна она облечься, а «чистою ризою Христовою».

Надъ этой темною толпой
 Непробужденного народа
 Взойдешь ли ты когда, свобода,
 Блеснетъ ли лучъ твой золотой?
 Блеснетъ твой лучъ и оживить,
 И сонъ разгонитъ и туманы...
 Но старыя, гнилыя раны,
 Рубцы насилий и обидъ,
 Растильные душъ и пустота,
 Что гложетъ умъ и сердцъ ноеть...
 Кто ихъ излѣчить, кто прикроеть?
 Ты, риза чистая Христа...

Миѣ остается только прибавить нѣсколько словъ, чтобы изъ патріотическихъ пророчествъ нашего поэта извлечь ихъ окончательный смыслъ.

Допустимъ, становясь на точку зрѣнія Тютчева, что Россія — душа человѣчества. Но, какъ въ душѣ природнаго міра, и въ душѣ отдельнаго человѣка свѣтлое духовное начало имѣеть противъ себя темную хаотическую основу, которая еще не побѣждена, еще не подчинилась высшимъ силамъ, — которая еще борется за преобладаніе и влечетъ къ смерти и гибели, — точно такъ же, конечно, и въ этой собирательной душѣ человѣчества, т. е. въ Россіи. Ея жизнь еще не опредѣлилась окончательно, она еще двоится, увлекаемая въ разныя стороны противоборствующими силами. Воплотился ли уже въ ней свѣтъ истины Христовой; спаяла ли она единство всѣхъ своихъ частей любовью? Самъ поэтъ признаеть, что она еще не покрыта ризою Христа.

Значить, — можно сказать поэту, — судьба Россіи зависитъ не отъ Царьграда и чего-нибудь подобнаго, а отъ исхода внутренней нравственной борьбы свѣтлого и темнаго начала въ ней самой. Условіе для исполненія ея всемірного призванія есть внутренняя побѣда добра надъ зломъ въ ней, а Царьградъ и прочее можетъ быть только слѣдствiemъ, а никакъ не условіемъ желанного исхода. Пусть Россія, хотя бы безъ Царьграда, хотя бы въ настоящихъ своихъ препяѣлахъ, станетъ христіанскимъ царствомъ въ полномъ смыслѣ этого слова — царствомъ правды и милости, — и тогда все осталнное, — навѣрное, — приложится ей.

Поэзія гр. А. К. Толстого.

1895.

I.

Алексѣй Толстой, какъ и ї. И. Тютчевъ, принадлежитъ къ числу поэтовъ-мыслителей; но въ отличіе отъ Тютчева — поэта исключительно *созерцательной* мысли, — гр. А. К. Толстой былъ по-этомъ мысли *воинствующей* — поэтомъ-борцомъ. Конечно, не въ смыслѣ виѣшней практической борьбы. Всякій истинный поэтъ невольно повинуется запрету, выраженному Пушкинымъ: «не для житейского волненія, не для корысти, не для битвъ»... Но, оставляя въ сторонѣ житейскія и корыстныя битвы, поэтъ, «рожденный для вдохновенія», можетъ вдохновляться и на борьбу — достойную поэтическаго вдохновенія. Нашъ поэтъ боролся оружиемъ свободнаго слова за право красоты, которая есть ощущительная форма истины, и за жизненные права человѣческой личности.

Самъ поэтъ понималъ свое призваніе какъ борьбу:

Господь, меня готовя къ бою,
Любовь и гнѣвъ вложилъ мнѣ въ грудь,
И мнѣ десницаю святою
Онъ указалъ правдивый путь...

Но именно потому, что путь, указанный поэту, былъ *правдивый*, и борьба на этомъ пути была борьбою за высшую правду, за интересы безусловнаго и вѣчнаго достоинства; она возвышала поэта не только надъ житейскими и корыстными битвами, но и надъ тою партійною борьбой, которая можетъ быть безкорыстною, но не можетъ быть правдивою, ибо она заставляетъ видѣть все въ бѣломъ

цвѣтѣ на своей сторонѣ — и все въ черномъ на сторонѣ враждебной; а такого равномѣрнаго распределенія цвѣтовъ на самомъ дѣлѣ не бываетъ и не будетъ — по крайней мѣрѣ до страшнаго суда.

По чувству правды, Толстой не могъ отдаваться всѣцѣло одному изъ враждующихъ становъ, не могъ быть партійнымъ борцомъ — онъ сознательно отвергалъ такую борьбу:

Двухъ становъ не боецъ, но только гость случайный,
За правду я бы радъ поднять мой добрый мечъ,
Но споръ съ обоими — досель мой жребій тайный,
И къ клятвѣ ни одинъ не могъ меня привлечь;
Союза полнаго не будетъ между нами —
Не купленный никѣмъ, подъ чье бѣ ни стала я знамя,
Пристрастной ревности друзей не въ силахъ снести,
Я знамени врага отстаивалъ бы честь!

II.

Для характеристики и оцѣнки поэта очень важенъ вопросъ объ отношеніи его собственной сознательной мысли къ его дѣлу: какъ онъ понималъ и за что принималъ поэзію? Съ этой точки зрѣнія все поэты нашего вѣка (я ограничиваюсь здѣсь одними русскими и изъ нихъ только почившими) распредѣляются на три естественные группы. Первая достаточно обозначается однимъ именемъ — Пушкина. Здѣсь отношеніе мысли къ творчеству — непосредственное, органическое, — въ процессѣ творчества сознаніе не отдѣляется отъ самого дѣла, — нѣть никакого раздвоенія въ поэтической дѣятельности. Какъ чистый поэтъ, поэтъ-художникъ по преимуществу. Пушкинъ прямо даетъ намъ совершенные образцы красоты, не тревожась общимъ вопросомъ: что такое поэтическая красота, какъ она относится къ жизни, какое ея мѣсто и значеніе во вселенной? Не то, чтобы поэтъ вовсе не думалъ и не говорилъ о своемъ дѣлѣ. Но это были случайныя, прходящія мысли по поводу поэзіи, а не окончательный отчетъ сознанія объ ея сущности и значеніи. Несмотря на свой — правда, поверхностный — байронизмъ, Пушкинъ никогда не сомнѣвался въ правахъ красоты и поэтическаго міровоззрѣнія, а потому и не давалъ себѣ яснаго и полнаго отчета объ этихъ правахъ. Онъ и не бралъ совсѣмъ этого вопроса въ его общности и глубинѣ. Лишь мимоходомъ указывалъ онъ на различные виѣшніе признаки словеснаго творчества.

Поэтическое вдохновение, по свидетельству Пушкина, есть нечто особенное или исключительное, не сливающееся с повседневной жизнью. Драгоценное показание великого поэта о процессе творчества, важный фактъ психологического опыта имѣемъ мы въ известныхъ стихахъ: «Пока не требуетъ поэта — Къ священной жертвѣ Аполлонъ, — Въ заботахъ суетного свѣта — Онъ малодушно погруженъ...» — «Но лишь божественный глаголь — До слуха чуткаго коснется, — Душа поэта встрепенется, — Какъ пробудившійся орелъ...» Но, принимая это «показаніе эксперта» во всей его силѣ и значеніи, мы не можемъ, однако, сказать, чтобы здѣсь выражалась самая сущность поэзіи. Не выражается она и въ тѣхъ стихахъ, где поэтъ отвергаетъ ложное въ дѣлѣ поэзіи требованіе практической пользы: «Не для житейского волненія, — Не для корысти, не для битвъ, — Мы рождены для вдохновенія, — Для звуковъ сладкихъ и молитвъ...» Все признаки вѣрные, но слишкомъ широкіе и вѣнчаніе: *вдохновеніе* бываетъ разное, и не одна поэзія есть плодъ вдохновенія; *сладкие звуки* свойственны музыкѣ еще болѣе, чѣмъ поэзіи; не всякая *молитва* поэтична, и не всякая поэзія имѣеть молитвенный характеръ. Ни каждый изъ этихъ признаковъ въ отдѣльности, ни всѣ они вмѣстѣ не опредѣляютъ существа поэзіи. Самъ Пушкинъ не принималъ своихъ указаний въ слишкомъ строгомъ смыслѣ и не боялся имъ противорѣчить, когда, напримѣръ, въ «Памятнике» онъ объясняетъ общественную пользу своей поэзіи: «Что чувства добрая я лирой пробуждалъ, — Что въ сей жестокій вѣкъ я прославлялъ свободу — И милость къ падшимъ призывалъ...» И это прекрасно, но опять таки не въ этомъ собственный смыслъ поэзіи. Для пониманія этого смысла лучше намъ обращаться къ тому, что Пушкинъ *создалъ* въ поэзіи, чѣмъ къ тому, что онъ о ней говорилъ. — слова его могутъ иногда вводить въ заблужденіе, напримѣръ: «Тымы низкихъ истинъ мнѣ дороже — Насъ возвышающій обманъ...» Изъ этихъ словъ, сказанныхъ по поводу поэтическаго вымысла, выдававшагося за историческое событие, можно бы, пожалуй, заключить, что поэзія была въ глазахъ Пушкина *обманомъ*, хотя возвышающимъ и дорогимъ; что онъ допускалъ возможность для истины быть *низкою*, и что онъ предпочиталъ обманъ истинѣ. Но было бы несправедливо искать точныхъ мыслей и определений въ случайныхъ замѣткахъ поэта, который самъ не относился серьезно къ своимъ рефлексіямъ и не смѣшивалъ ихъ съ «божественнымъ гла-

голомъ». Въ одномъ стихотвореніи онъ высказываетъ скептическую мысль, что жизнь есть «даръ напрасный, даръ случайный», невѣдомо кѣмъ и зачѣмъ даныи человѣку; но когда известный архинастырь основательно опровергъ эту мысль — тоже въ стихахъ, — Пушкинъ спѣшилъ съ раскаяніемъ отъ нея отказаться и сочиняетъ другое стихотвореніе, гдѣ призываетъ первое только за «изнѣженные звуки безумства, лѣни и страстей». Ясно, что по крайней мѣрѣ одно изъ этихъ двухъ противорѣчащихъ другъ другу произведеній, а вѣриѣ — оба созданы поэтомъ *не* по требованію Аполлона и *не* у его жертвеника.

Все это не важно, когда дѣло идетъ о Пушкинѣ. Онъ потому и есть несравненный представитель органическаго творчества среди нашихъ поэтовъ, что всѣ субъективные грѣхи его мысли оказались бессильными разложить живую цѣльность его поэзіи. Все это — только посторонняя примѣсь, которую ничего не стоитъ отѣлить отъ настоящаго поэтическаго дѣла. Когда высший голось требовалъ его къ священной жертвѣ, онъ вмѣстѣ съ «заботами суетнаго свѣта» бросалъ и всякую рефлексію. Она не была составною частью его поэтической организаціи, а скорѣе ее можно сравнить съ тѣми башмаками, въ которыхъ правовѣрные гуляютъ по улицамъ, но оста-вляютъ ихъ у входа въ храмъ.

Древніе греки и римляне, какъ известно, раскрашивали свои статуи. Это было довольно безвкусно и во всякомъ случаѣ излишне, но не измѣняло совершенства скульптурной формы; такова же рефлексія — байроническая и иная, — которая, къ сожалѣнію, мѣстами окрашиваетъ эту поэзію: наложенная разсудкомъ, эта примѣсь чужда творческому гению и съ годами спадаетъ ветхой чешуей, сохраняя только биографическое и историческое значеніе. Между тѣмъ были и еще встрѣчаются люди, которые изъ-за этой посторонней примѣси кощунственно объявляютъ саму поэзію Пушкина плоскою и безодержательною, тогда какъ другіе, напротивъ, не ограничиваясь справедливымъ благоговѣніемъ передъ этой поэзіей и восхищаясь всякою фразою поэта, признаютъ его за великаго мыслителя, какимъ онъ никогда не былъ и по натурѣ своей быть не могъ. На самомъ дѣлѣ его рефлексія, это — пыль на чудесномъ алмазѣ; она не уменьшаетъ его цѣны, но все-таки лучше стереть ее, а не восхищаться ею.

Совсѣмъ иное значеніе имѣетъ рефлексія у поэтовъ второй

группы — съ Баратынскимъ и Лермонтовымъ во главѣ. Здѣсь рефлексія проникаетъ въ самое творчество и какъ постоянный, пребывающій и преодолѣвающій элементъ въ сознаніи поэта разлагаетъ цѣльность его воззрѣнія и подрываетъ его художественную дѣятельность. Критическое, отрицательное отношеніе къ собственной жизни и къ окружающей средѣ — отношеніе болѣе или менѣе справедливое при данныхъ условіяхъ личныхъ и общественныхъ — обманчиво возводится здѣсь на степень безусловного принципа и становится господствующимъ настроеніемъ самой поэзіи. Отъ безсодержательности *своей* жизни, заключая къ жизни *вообще*, эти поэты находятъ, что у нея нѣтъ смысла и цѣли; но въ такомъ случаѣ и поэзія, какъ высшій цвѣтъ жизни, есть безсмысленный обманъ, и въ концѣ всего остается только «пустая и глупая шутка». То, что у Пушкина было выраженіемъ мимолетнаго настроенія, отъ котораго онъ самъ былъ готовъ сейчасъ же отказаться, то у Лермонтова принимаетъ видъ окончательнаго убѣжденія. Его стихотвореніе: «*И скучно и грустно*», если смотрѣть со стороны, конечно, есть только слабое повтореніе той Пушкинской «бутады», но самъ Лермонтовъ придавалъ содержанію этихъ посредственныхъ стиховъ трагическую важность и навѣрное не отказался бы отъ нихъ при вмѣшательствѣ особъ духовнаго званія.

Если бы отрицательная точка зрѣнія, на которую стали эти поэты разочарованія, была окончательнымъ выводомъ правильнаго мышленія, тогда дѣйствительно пришлось бы отказаться отъ поэзіи, какъ отъ обмана. На самомъ дѣлѣ и Баратынскій, и Лермонтовъ, при весьма значительномъ, хотя и подорванномъ рефлексіей поэтическомъ талантѣ, были не столько мыслителями, сколько резонерами на почвѣ субъективныхъ впечатлѣній. Но заключеніе отъ собственной зубной боли къ негодности всего мірозданія не оправдывается логикой. Изъ двухъ названныхъ поэтовъ у Баратынского, какъ ума болѣе развитого и зрѣлаго, разочарованіе имѣеть хотя пѣкоторую видимость объективныхъ оснований. Подобно большинству образованныхъ людей нашего вѣка, Баратынскій принялъ материалистическая обобщенія нѣкоторыхъ научныхъ данныхъ за непреложную истину и, видя противорѣчіе этой «истинѣ» съ поэтическимъ и религіознымъ возврѣніемъ на мірь и жизнь, рѣшилъ, что это возврѣніе есть иллюзія. Таковъ, хотя ошибочный, но заслуживающій уваженія мотивъ его тоски — не единственный, но лучший. Лермонтовъ въ свою

короткую жизнь не успѣлъ додуматься ни до чего подобнаго, и все его разочарованіе происходило исключительно изъ непріятныхъ впечатлѣній отъ окружающей дѣйствительности. т. е. отъ свѣтскаго общества въ Петербургѣ, въ Москвѣ и въ Пятигорскѣ.

Несмотря на такую свою неосновательность, разочарованная поэзія явилась не даромъ. Субъективная неудовлетворенность имѣеть огромное значеніе, какъ первый толчокъ къ работѣ сознанія и мышленія. Кто доволенъ, тогдѣ не идѣтъ дальше; отрицательный моментъ необходимъ, ненормальна и безсмысленна только остановка на немъ, т. е. *удовлетвореніе* своею *неудовлетворенностью*, — къ чему такъ склонны многіе скептики и пессимисты.

Будущность русской поэзіи зависѣла отъ того, хватить ли у нашихъ поэтовъ силы мысли, чтобы идти дальше субъективнаго отрицанія. Дорога назадъ была закаcана. Разъ мысль возбудилась, вопросы возникли, нельзя уже было просто вернуться къ прежней художественной непосредственности, къ органическому творчеству Пушкина. Тютчевъ сказалъ про него: «Тебя, какъ первую любовь, Россіи сердце не забудетъ». Имѣнно такъ: нельзя забыть, но и нельзя повторить!

Невозможно сознанію отказаться отъ рефлексіи, разъ она явилась, — нужно только довести ее до конца. Противорѣчія, возбужденныя мысли, должны быть разрѣшены ею же; и жизненность русской поэзіи доказана тѣмъ, что она не остановилась на разочарованности Баратынского и Лермонтова, что послѣ нихъ явились поэты положительной мысли, сознательно понимавшіе значеніе красоты въ мірѣ, примирявшіе умъ съ творчествомъ и оправдывавшіе поэзію, какъ выраженіе истины. Глубокаго и своеобразнаго представителя этого третьяго рода, — который можно назвать *поэзіей гармонической мысли*, — мы находимъ въ Тютчевѣ; сюда же, несомнѣнно, принадлежитъ по основѣ своего міропониманія и Алексѣй Толстой, присоединяющій къ этой общей умственной основѣ, какъ свою отличительную особенность, элементъ *дѣятельной воли* и борьбы, почти отсутствующей въ поэтическихъ произведенияхъ Тютчева. Этотъ боевой элементъ въ поэзіи Толстого дѣйствуетъ до нѣкоторой степени въ ущербъ силѣ и чистотѣ творчества, но зато дѣлаетъ его болѣе разнообразнымъ, яркимъ и доступнымъ.

III.

Нашъ поэтъ называетъ себя «пѣвцомъ, державшимъ стиѣ во имя красоты». Онъ былъ не только мирнымъ ея жрецомъ, но и воинственнымъ рыцаремъ. Не ограничиваясь спокойнымъ отраженiemъ того, что являлось изъ «страны лучей», его творчество опредѣлялось еще движениими воли и сердца, какъ реакція враждебнымъ явленіямъ:

Воспрянуль я, и негодуя
 Стихи текутъ. Такъ въ бурный день
 Прорѣзавъ тучи, лучъ заката
 Сугубить блескъ своихъ огней,
 И такъ рѣка, скалами ската,
 Бѣжитъ сердитѣй и звучнѣй.

Приявъ сознательною вѣрою высшій смыслъ жизни, ощущительное выраженіе котораго есть красота, поэтъ возмущался всѣмъ, что отрицало или оскорбляло этотъ смыслъ, и смѣло шелъ за него *противъ течения*:

Правда все та же! Средь мрака ненастнаго
 Вѣрьте чудесной звѣздѣ вдохновенія,
 Дружно гребите во имя прекраснаго
 Противъ течевія!

Други, гребите! Напрасно хулители
 Мнятъ оскорбить насть своею гордынею.
 На берегъ вскорѣ мы, волнъ побѣдители,
 Выйдемъ торжественно съ нашей святынею,
 Верхъ надъ конечнымъ возьметъ безконечное,
 Вѣрою въ наше святое значеніе
 Мы же возбудимъ теченіе встрѣчное
 Противъ течевія!

Свой идеалъ поэта Толстой олицетворилъ въ историческомъ образѣ Иоанна Дамаскина, которому посвящено его первое значительное произведеніе. Созданный для жизни духа, Иоанъ не выносить мірской суеты, но его духовная потребность влечетъ его не къ созерцанію только, а и къ борьбѣ:

И раздавался ужъ не разъ
 Его краснорѣчивый гласъ
 Противу ереси безумной,
 Что на искусство поднялась

Грозой веистовой и шумной.
Упорно съ пей боролся онъ,
И отъ Дамаска до Царьграда
Быль, какъ боецъ за честь иконъ
И какъ художества ограда,
Давно извѣстенъ и почтенъ.

На первый взглѣдъ можетъ показаться, что Толстой впадаетъ въ анахронизмъ, приписывая Иоанну Дамаскину и его современникамъ заботы объ интересахъ художества. Но ставши на точку зрѣнія нашего поэта, мы увидимъ, что онъ обнаружилъ здѣсь очень вѣрное и глубокое пониманіе дѣла. Вѣдь и собственный его интересъ къ искусству не былъ отвлеченно-техническимъ: и онъ видѣлъ въ немъ болѣе, чѣмъ изящную и пріятную внѣшность. Красота была для него дорога и священна какъ сіяніе вѣчной истины и любви:

Когда Глагола творческая сила
Толпы міровъ возвала изъ ночи,
Любовь ихъ всѣ какъ солнце озарила,
И лишь на землю къ намъ ея свѣтила
Нисходить порознь рѣдкіе луци.
И порознь ихъ отыскивая жадно,
Мы ловимъ отблескъ вѣчной красоты:
Намъ вѣстью лѣсь о ней звучитъ отрадной,
О ней потокъ гремить струею хладной
И говорять, качаяся, цвѣты.

Вопросъ о значеніи красоты сводится къ вопросу: возможно ли полное, окончательное выраженіе высшаго совершенства, или реальное, ощущительное воплощеніе абсолютнаго въ опредѣленныхъ формахъ? Но это есть тотъ самый вопросъ, которымъ занимались и на который отрицательно отвѣчали иконоборцы. Они говорили, что ощущительное выраженіе абсолютнаго *невозможно*, настаивали на томъ, что *божество неописуемо*, и на этомъ основаніи отвергали иконы. Здѣсь несомнѣнно отрицался, хотя и безсознательно, самый принципъ красоты и истинное значеніе художества. На той же точкѣ зрѣнія стоятъ тѣ, которые считаютъ все эстетическое областю вымысла и праздной забавы. Такимъ образомъ, Толстой не ошибся: то, за что онъ боролся противъ господствовавшаго въ его время теченія, было въ сущности то самое, за что Иоаннъ Дамаскинъ и его сторонники стояли противъ иконоборчества.

IV.

Истинный источникъ поэзіи, какъ и всякаго художества, — не во внѣшнихъ явленіяхъ, и также не въ субъективномъ умѣ художника, а въ самобытномъ мірѣ вѣчныхъ идей или первсобразовъ:

Тщетно, художникъ, ты мнишь, что твореній своихъ ты создатель!
Вѣчно восились они надъ землею, незримыя оку.

О, окружи себя мракомъ, поэтъ, окружися молчаньемъ,
Будь одинокъ и слѣпъ, какъ Гомеръ, и глухъ, какъ Бетховень,
Слухъ же душевный сильнѣй напрягай и душевное зрѣніе,
И какъ надъ пламенемъ грамоты тайной безвѣтныя строки
Вдругъ выступаютъ, такъ выступять вдругъ предъ тобою картины,
Выходить изъ мрака все ярче цвѣта, осозательнѣй формы,
Стройная словъ сочетанія въ ясномъ сплетутся значеніѣ, —
Ты жъ въ этотъ мигъ и внимай, и гляди, притаивши дыханье,
И созидая потомъ, мимолетное помни видѣніе!

Красота въ явленіяхъ виѣшняго міра есть только отраженіе той самобытной и вѣчной красоты:

И всѣ сокровища природы,
Степей безбрежный просторъ,
Туманный очеркъ дальнихъ горъ,
И моря пѣнистая вода,
Земля, и солнце, и луна,
И всѣхъ созвѣздій хороводы,
И синей тверди глубина,—
То все одно лишь отраженіе,
Лишь тѣлья таинственныхъ красотъ,
Которыхъ вѣчное видѣніе
Въ душѣ избранника живеть.

Такой избранникъ можетъ и долженъ быть слѣпъ для виѣшняго міра, чтобы тѣмъ полнѣе отдаваться владѣющему имъ духу. Истинный художникъ не воленъ надъ своимъ творчествомъ. Прачастный божеству, онъ одинокъ въ толпѣ и окруженъ въ безлюдѣ и, какъ божество, даетъ всѣмъ отъ избытка внутренней жизни, не ожидая взаимности. Такова идея превосходной по содержанію и только мѣстами нѣсколько растянутой баллады «Слѣпой».

Князь съ дружиной, охотясь въ лѣсу, останавливается для полуденного отдыха и велитъ позвать изъ сосѣдней деревни убогаго слѣ-

пого пѣвца. Когда тотъ приходитъ, охотники уже отдохнули и уѣхали; не замѣчая ихъ отсутствія, слѣпой вдохновляется и поетъ до вечера, а когда узнаетъ, что пѣль одинъ, то нисколько этимъ не смущается:

Вои тину, если бъ очей моихъ ночь
Безлюдья отъ нихъ и не скрыла,
Я пѣсни бѣ не могъ и тогда перемочь,
Не могъ отъ себя отогнать бы я прочь,
Что душу мою охватило.
Пусть по слѣду псы, заливалась, бѣгутъ,
Пусть ловлею князь удоволенъ;
Убогому пѣть не тяжелый былъ трудъ,
А пѣсня ему не въ хвалу и не въ судъ,
Зане онъ надъ нею неволенъ.

.

Охваченный ею не можетъ молчать,
Онъ рабъ ему чуждаго духа,
Вожглась ему въ грудь вдохновенъя печать,
Неволей или волей — онъ долженъ вѣщать,
Что слышитъ подвластное ухо.
Не вѣдаетъ горный источникъ, когда
Потокомъ онъ въ степи стремится,
И бѣть и кипитъ его, пѣясь, вода, —
Придуть ли къ нему пастухи и стада
Струями его освѣжиться?..

V.

Вдохновенный художникъ, воплощаая свои созерцанія въ чувственныхъ формахъ, есть связующее звено или посредникъ между міромъ вѣчныхъ идей или первообразовъ и міромъ вещественныхъ явлений. Художественное творчество, въ которомъ упраздняется противорѣчіе между идеальнымъ и чувственнымъ, между духомъ и вещью, есть земное подобіе творчества божественнаго, въ которомъ снимаются всякия противоположности, и божество проявляется какъ начало совершенства единства, — «единства себя и своего другого»:

Едино, цѣльно, недѣлимо,
Полво созданья своего,
Надъ нимъ и въ немъ, невозмутимо,
Шарить отъ вѣка Божество.
Осуществилося въ немъ ясно,
Чего постичь не могъ никто:

Несогласимое согласно,
 Съ грядущимъ прошлое слито,
 Совмѣстно творчество съ покоемъ,
 Съ невозмутимостью любовь,
 И возникаютъ вѣчнымъ строемъ
 Ея созданья вновь и вновь.
 Всемирнымъ полная движеньемъ,
 Она свѣтиламъ кажеть путь,
 Она писходитъ вдохновенiemъ
 Въ пѣвца восторженную грудь;
 Цвѣтами рдѣя полевыми,
 Звуча въ паденьѣ свѣтлыхъ водь,
 Она законами живыми
 Во всемъ, что движется, живетъ.
 Всегда различна отъ веселенной,
 Но вѣчно съ ней съединена,
 Она для сердца песомнѣнна,
 Она для разума темна.

«Разумъ» называется здѣсь односторонне-аналитической разсудокъ. Настоящій, умозрительный разумъ не находится въ противорѣчіи съ сердцемъ. Съ твердостью мысли, которая сдѣлала бы честь любому метафизику и богослову, напѣть поэту проводить идею всеединаго Божества между Сциллою и Харибдою пантейизма и дуализма.

Богъ одинъ есть свѣтъ безъ тѣни,
 Нераздѣльно въ немъ слита
 Совокупность всѣхъ явлений,
 Всѣхъ сіяній полнота;
 Но струящаясь отъ Бога
 Сила борется со тьмой;
 Въ немъ могущества покой,
 Вокругъ него временъ тревога.

Здѣсь устранина пантейическая мысль о безразличіи всего въ Богѣ; но откуда же эта тьма и эта тревога, вызывающія силу Божью къ дѣйствію и къ борьбѣ?

Мірозданіемъ раздвинуть,
 Хаось мстительный не спить:
 Искаженъ и опрокинуть,
 Божій образъ въ немъ дрожитъ;
 И, всегда обмановъ полный,
 На Господню благодать
 Мутно плещущія волны
 Онъ старается поднять.

Такая двойственность, несомнѣнно, есть основной фактъ міровой жизни; но этимъ только возбуждается новый вопросъ: какимъ образомъ действительность злого начала можетъ быть согласована съ всеединствомъ Божества? И тутъ мы находимъ у нашего поэта удовлетворительное рѣшеніе — насколько оно возможно въ предѣлахъ поэтической формы:

*И усилия из духа злого
Вседержитель волю далъ,
И свершается все снова
Споръ враждующихъ началъ.
Въ битвѣ смерти и рожденья
Основало Божество
Нескончаемость творенья,
Мирозданья продолженье,
Вѣчной жизни торжество.*

Торжество вѣчной жизни надъ смертью и свободы зла какъ условіе еще большаго блага — этимъ устраивается противорѣчіе двухъ началъ и оправдывается всеединство Божіе.

VI.

Торжество вѣчной жизни — вотъ окончательный смыслъ вселенной. Содержаніе этой жизни есть внутреннее единство всего, или любовь, ея форма — красота, ея условіе — свобода.

Овладѣвъ сердцемъ поэта, любовь открылась ему какъ сущность всего существующаго.

Меня, во мракѣ и пыли
Досель влачившаго оковы,
Любови крылья вознесли
Въ отчизну пламени и слова;
И просвѣтлѣлъ мой темный взоръ,
И стала мнѣ виденъ міръ незримый.
И слышитъ ухо съ этихъ поръ,
Что для другихъ неуловимо.
И съ горней выси я сошелъ,
Проникнуть весь ея лучами,
И на волнующейся долѣ
Взираю новыми очами.
И слышу я, какъ разговоръ
Веадѣ немолчный раздается,

Какъ сердце каменное горъ
 Съ любовью въ темныхъ пѣдрахъ бьется,
 Съ любовью въ тверди голубой
 Клубятся медленныя тучи,
 И подъ древесною корой,
 Весною свѣжей и пахучей,
 Съ любовью въ листья сокъ живой
 Струей подъемлется пѣвучей.
 И вѣщимъ сердцемъ понялъ я,
 Что все, рожденное отъ Слова,
 Лучи любви кругомъ лія,
 Къ нему вернуться жаждеть снова.
 И жизни каждая струя,
 Любви покорная закону,
 Стремится силой бытія
 Неудержимо къ Божью лону.
 И всюду звукъ, и всюду свѣть,
 И всѣмъ мірамъ одно начало,
 И ничего въ природѣ нѣть,
 Что бы любовью не дышало.

Но эта стихійная любовь, которой дышитъ все въ природѣ, есть только стремленіе, только тяготѣніе къ вѣчному царству любви и красоты. Дѣйствительно и окончательно пріобщиться къ этому царству можетъ только человѣческая личность, такъ какъ совершенное соединеніе можетъ быть только при сознательности и свободѣ. Для того-то и злому началу «Вседержитель волю далъ», чтобы чрезъ борьбу съ нимъ человѣкъ могъ свободно достигнуть совершенства.

Безъ свободы и яснаго сознанія возможны многія блага для человѣчества — возможна общая сытость, безопасность, всякия матеріальная наслажденія, — но все это блага низшаго разряда, доступные и прочимъ животнымъ, и довольствоваться ими недостойно человѣка. Истинно-человѣческое добро возможно только, когда человѣкъ приходитъ къ нему самъ, своею волею и сознаніемъ принимаетъ его. Сообщить человѣку извнѣ готовую истину, помимо его собственного мышленія и опыта, значило бы отнять внутреннее достоинство и у истины, и у человѣка. Если бы можно было одарить людей какъ высшимъ благомъ — готовымъ, извнѣ обезпеченнымъ благополучиемъ, безъ ихъ трудовъ и усилий, то этимъ бы только обнаружилось, что между счастливымъ человѣкомъ и сытымъ животнымъ нѣть существеннаго различія. Но на самомъ дѣлѣ оно есть. «Не вѣзешь силой

въ совѣсть никому, и никого не вгонишь въ рай дубиной», — ибо совѣсть, измѣняемая насилиемъ, перестала бы быть совѣстью, и рай по принуждѣнію для всякаго человѣка, достойнаго этого имени, ничѣмъ не отличался бы отъ ада.

Доставить человѣку совершенство помимо его собственнаго, свободного и сознательнаго участія — никому невозможно. Личная свобода, или свобода самоопредѣленія, есть свойство, которое даетъ человѣку безусловное значеніе въ глазахъ Высшаго Существа.

VII.

Божество вѣчно обладаетъ полнотою совершенства, природа въ своихъ формахъ отражаетъ это совершенство и въ своей жизни тяготеть къ нему; человѣкъ свободнымъ дѣломъ достигаетъ его для себя. Въ этомъ процессѣ совершенствованія, составляющемъ смыслъ человѣческой жизни, естественно различаются два полюса. Человѣкъ есть, во-первыхъ, самостоятельная особь, или индивидуальность и, во-вторыхъ, нераздѣльная часть всемѣрнаго цѣлаго. Соответственно этому единственный человѣкъ можетъ не только совершенствовать самого себя (а чрезъ это косвенно и окружающую среду), но и прямо содѣйствовать общему прогрессу того цѣлага, къ которому онъ принадлежитъ, сознательно ставя его предметомъ своей дѣятельности. Естественное условіе для самосовершенствованія есть половая любовь, восполняющая человѣческую индивидуальность; реальное побужденіе къ участію въ дѣлѣ общаго прогресса есть патріотизмъ (въ широкомъ смыслѣ), т. е. чувство солидарности съ извѣстнымъ собирательнымъ цѣлымъ — гражданской общиной, народомъ, государствомъ, религиознымъ союзомъ, — въ благъ котораго историческая волюцается для отдельнаго человѣка благо всемѣрное.

Не только половая любовь имѣть свои корни въ животномъ мірѣ, но то же должно сказать и про патріотизмъ (у животныхъ общественныхъ и стадныхъ). Судьба человѣка и человѣчества, наше возвышеніе надъ животностью, зависить главнымъ образомъ отъ человѣченія и одухотворенія этихъ основныхъ фактовъ жизни, отъ перерожденія ихъ изъ слѣпыхъ инстинктовъ природы въ сознательные принципы достойнаго существованія. Преобладающая роль въ этомъ дѣлѣ естественно принадлежитъ духовнымъ вождямъ человѣчества — поэтамъ и мыслителямъ.

Въ поэзії Алексѣя Толстого мотивы любви и патріотизма принадлежать къ самымъ характернымъ и симпатичнымъ. Только идеальная сторона любви выражается въ его стихотвореніяхъ на эту тему. Любовь есть сосредоточенное выражение, — въ личномъ живомъ сознаніи, — всемирной связи и высшаго смысла бытія; чтобы быть вѣрною этому своему значенію, она должна быть единою, вѣчною и неразрывною:

Сліась въ одну любовь, мы цѣпи безконечной
Единое звено,
И выше восходить въ сіянье правды вѣчной
Намъ врозь не сужено.

Дѣйствительныя условія земного существованія далеко не соответствуютъ этому высокому понятію любви; поэтъ не въ силахъ примирить этого противорѣчія, но и це хочетъ ради него отказаться отъ своего идеализма, въ которомъ — высшая правда. Отсюда глубокая грусть, которою отмѣчены всѣ его любовныя стихотворенія, несмотря на общее преобладаніе бодраго, или, какъ онъ выражается, *мажорнаго тона* въ его поэзіи. Вполнѣ господствуетъ этотъ мажорный тонъ въ его историко-патріотическихъ стихотвореніяхъ.

VIII.

Патріотизмъ — природное чувство, заставляющее насъ жить и действовать для блага того собирательного цѣлага, къ которому мы принадлежимъ. Само чувство рѣшаеть въ каждомъ случаѣ, *какое именно* изъ многихъ собирательныхъ цѣлыхъ, къ которымъ я такъ или иначе принадлежу или примикаю, имѣеть на меня *преимущественные* верховныя права. Безусловного правила на этотъ счетъ установить невозможно; какъ напримѣръ, рѣшить, что есть *высшее цѣлое* для образованнаго эльзасца-католика: Франція, германская имперія, католическая церковь или европейская культура? Но при обыкновенныхъ условіяхъ вопросъ фактически рѣшается безъ затруднений. Для огромнаго большинства людей нашего времени собирательное цѣлое, за которымъ ихъ собственное чувство признаетъ верховныя права, есть *отечество*, т. е. кристаллизовавшаяся въ государственную форму народность или группа народностей: это цѣлое, преимущественно передъ всѣми другими, есть настоящій предметъ

патріотизма (въ точномъ смыслѣ слова) и вытекающаго изъ него гражданскаго долга.

Но если нѣтъ для насъ сомнѣй въ томъ, что мы должны жить и дѣйствовать для блага своего отечества, — въ нашемъ случаѣ, Россіи, — то этимъ еще нисколько не решается самый главный и важный вопросъ: въ чёмъ же благо моего отечества, и что я долженъ дѣлать, чтобы служить ему. Только при крайнемъ слабоуміи и невѣжествѣ, или же при крайней недобросовѣстности, можно утверждать, что естественное стихійное чувство патріотизма само по себѣ достаточно, чтобы давать должное направление патріотической дѣятельности. На самомъ дѣлѣ патріотизмъ, какъ и всякое натуральное чувство, можетъ быть источникомъ и добра, и зла. Вся исторія свидѣтельствуетъ, что государства и народы какъ спасались патріотами, такъ отъ «патріотовъ» же и погибали. Что можетъ быть сильнѣе того патріотизма, который заставлялъ персидскихъ вельмож чинными рядами бросаться въ морѣ, чтобы спасти корабль Ксеркса? Но такой патріотизмъ, будучи сопряженъ съ рабскимъ духомъ, не спасъ, а погубилъ персидское царство. Развѣ не патріотизмъ одушевлялъ тѣхъ парижанъ, которые ликовали при объявлении войны Германіи, и кричали: *à Berlin, à Berlin?* Но этотъ патріотизмъ оказался и предвестіемъ, и причиной національного бѣдствія.

Сверхъ силы непосредственного чувства нужно еще патріотическое *сознаніе*, различающее истинное благо отечества отъ кажущагося и ложнаго. Это сознаніе имѣть различныя степени, допускающія сравнильную опѣнку. Мы можемъ сказать, что та степень патріотического сознанія, которая выражается у нашего поэта, до сихъ поръ остается *вышею* сравнильно съ господствующими чувствами и представлениями.

Истинный патріотизмъ заставляетъ желать своему народу не только наибольшаго могущества, но — главное — наибольшаго достоинства, наибольшаго приближенія къ правдѣ и совершенству, т. е. къ подлинному, безусловному благу. Это благо, согласно міросозерцанію нашего поэта, опредѣляется окончательно какъ единство въ свободной полнотѣ живыхъ силъ. Свободное достижениѳ такого совершенного состоянія есть смыслъ человѣческаго существованія. Соответственнаго этому — подвижная прогрессирующая жизнь общества и народа, основанная на свободѣ всѣхъ положительныхъ силъ, въ предѣлахъ общаго государственного единства, воплощающагося въ

свободной нравственной личности государя, — вотъ патріотический идеалъ нашего поэта. Прямая противоположность такому идеалу — насильственное, нивелирующее единство, подавляющее всякую частную особенность и самостоятельность.

Со всею живостью поэтическаго представлениі и со всею энергией борца за идею Толстой славилъ, въ прозѣ и въ стихахъ, свой идеалъ истинно-русской, европейской и христіанской монархіи и громилъ ненавистный ему кошмаръ азіатскаго деспотизма. Начало истиннаго національного строя онъ находилъ въ кievской эпохѣ нашей истории; осуществленіе противоположнаго принципа онъ видѣлъ въ періодѣ московскаго государства, къ которому относился съ яростной враждой. «Моя ненависть къ московскому періоду, — пишетъ онъ въ одномъ письмѣ, — есть моя идіосинкразія... Моя ненависть къ деснотизму — это я самъ».

Этотъ взглядъ на двойственность началъ въ русской исторіи составляеть общий тонъ всего, что Толстой писалъ на историко-патріотической темы. Самое прямое и цѣльное выраженіе своей патріотической идеи онъ далъ въ оригиналной балладѣ «Змѣй-Тугаринъ» (Полное собраніе стихотвореній, т. II, стр. 234. Спб. 1876).

IX.

Кievский князь Владиміръ съ дружиною и множествомъ горожанъ пируетъ на берегу Днѣпра. Онъ любить слушать пѣсни, и вотъ на его вызовъ изъ заднихъ рядовъ пирующихъ выступаетъ пѣвецъ чудовищнаго вида:

Глаза словно щели, растянутый ротъ,
Лицо на лицо не похоже,
И выдались скully углами впередъ;
И ахнуль отъ ужаса русскій народъ:
Ай рожа, ай страшная рожа!

Пѣвецъ начинаетъ пѣсню, въ которой пророчитъ монгольское иго. Владиміръ и его гости встрѣчаютъ это пророчество громкимъ смѣхомъ:

Пѣвецъ продолжаетъ: „Смѣшина моя вѣсть
И вашему уху обидна?
Кто могъ бы изъ васъ оскорблѣніе снести!
Безпѣнное русскимъ сокровище честь.
Ихъ клятва: да будетъ мнѣ стыдно!

На вѣчѣ народномъ вершится ихъ судъ,
Обиды смываеть съ нихъ поле —
Но дни, погодите, иные придуть,
И честь, государи, замѣнить вамъ кнутъ,

А вѣче — каганская воля!“ —

„Стой, — молвить Илья, — твой хоть голосъ и чистъ
Да пѣсня твоя непригожа!
Былъ воръ-Соловей, какъ и ты, голосистъ,
Да я пятерней приглушилъ его свистъ —

Съ тобой не случилось бы то же!“

Пѣвецъ продолжаетъ: „И время придетъ:
Уступитъ нашъ ханъ христіанамъ,
И снова подымется русскій народъ,
И землею единый изъ васъ собереть,

Но самъ же надъ ней станеть ханомъ.
И въ теремѣ будеть сидѣть онъ своимъ,
Подобенъ кумиру средь храма,
И будеть онъ спины вамъ бить батожемъ,
А вы ему стукать да стукать челомъ —

Ой, срама, ой, горькаго срама!“ —

„Стой, — молвить Поповичъ, — хоть дюжій твой ростъ.
Но слушай, погапая рожа:
Зашла разъ корова къ отцу на погость,
Махнулъ я ее черезъ крышу за хвостъ —

Тебѣ не было бы того же!“

Но тотъ продолжаетъ, осклабивши пасть:
„Обычай вы нашъ переймете,
На честь вы поруху научитесь класть,
И вотъ, наглотавшись татарщины всласть,

Вы Русью ее пазовете!

И съ честной поссоритеесь вы стариной,
И предкамъ великимъ на соромъ,
Не слушаясь голоса крови родной,
Вы скажете: станемъ къ варягамъ спиной,
Лицомъ повернемся къ обдорамъ!“

При этихъ словахъ богатырь Добрыня узнаётъ въ пѣвецѣ поганаго Змѣя-Тугарина и натягиваетъ лукъ, чтобы выстрѣлить въ него, но толь принимаетъ свой настоящій змѣйный видъ и упливаетъ по Днѣпу.

Смѣется Владиміръ: „Виши выдумалъ намъ
Какимъ угрожать онъ позоромъ!
Чтобъ мы отъ Тугарина приняли срамъ!
Чтобъ спины подставили мы батогамъ!
Чтобъ мы повернулись къ Обдорамъ!

Нѣть, шутишь! Живеть наша русская Русь,
Татарской намъ Руси не надо!

Солгалъ онъ, солгалъ, перелетный онъ гусь:
За честь нашей родины я не боюсь!

Ой, ладо, ой, ладушко-ладо!

А если бъ надъ нею бѣда и стряслась,
Потомки бѣду перемогутъ!

Бываетъ, — промолвиль свѣтъ-солнышко князь, —
Неволя заставить пройти черезъ грязь,

Купаться въ ней свиньи лишь могутъ!

Подайте же мнѣ чару большую мою,
Ту чару, добытую въ сѣчѣ.

Добытую съ хаиномъ хозарскимъ въ бою —
За русскій обычай до дна ее пью,

За древнєе русское вѣче!

За вольный, за честный славянскій народъ,

За колоколь пью Новограда,
И если онъ даже во прахъ упадетъ,

Цусть звонъ его въ сердцѣ потомковъ живеть —
Ой, ладо, ой, ладушко-ладо!

Я пью за варяговъ, за дѣдовъ лихихъ,

Кѣмъ русская сила подъята,
Кѣмъ славенъ нашъ Киевъ, кѣмъ грекъ пріутыхъ,

За синее море, которое ихъ,

Шумя, принесло отъ заката!“

И выпилъ Владимиrъ, и разомъ кругомъ,

Какъ плескъ лебединаго стада,

Какъ лѣтомъ изъ тучи ударившій громъ,

Народъ отвѣчаетъ: „За князя мы пьемъ —

Ой, ладо, ой, ладушко-ладо!

Да править по-русски онъ русскій народъ,

А хана намъ даромъ не надо!

И если настанетъ година невзгодъ,

Мы вѣримъ, что Русь ихъ побѣдно пройдетъ —

Ой, ладо, ой, ладушко-ладо!“

X.

Ясно, что съ исторической точки зрѣнія идея кіевскаго Ормузда и московскаго Аримана не выдерживаетъ критики. И кіевская Русь далеко не была идеальнымъ царствомъ свѣта, и татарско-московскій periodъ вовсе не былъ такою безсмыслицою напастью, такою, невѣдомо зачѣмъ, надвинувшеюся тучей, какою представлялся онъ Тол-

стому. Коренное пороки древняго южно-русского строя бытъ видиже автору «Слова о полку Игоревѣ», нежели автору «Змѣя-Тугарина». Недостатокъ прочной государственной организациіи, отсутствіе единовластія дѣлало киевскую Русь беззащитною противъ окружающихъ дикихъ ордъ, отнимало у нея историческую жизнеспособность. Народное вѣче можетъ казаться красивымъ издали, но на самомъ дѣлѣ это было лишь разновидностью междуусобной войны, и поэтичный колоколь Новгорода призывалъ обыкновенно не къ гражданскимъ подвигамъ, а просто къ рукопашному бою.

Впрочемъ, нашъ поэтъ въ другихъ случаяхъ и самъ болѣе пра-вильно относится къ киевской Руси. Такъ, въ стихотвореніи «Чужое горе», гдѣ Россія представляется въ видѣ богатыря, несущаго на себѣ тягость разныхъ историческихъ грѣховъ, — вмѣсть съ «горемъ» царя Ивана и «татарскимъ горемъ», поминается также и «Ярославово горе», т. е. именно то горе политической розни и многонациональя, которое сокрушило киевскую Русь.

Какъ организмъ высшаго порядка не можетъ, подобно какои-нибудь губкѣ, или какому-нибудь моллюску, оставаться безъ твердой и опредѣленной формы, такъ великая историческая нація не можетъ обойтись безъ крѣпкаго объединеннаго государственного строя. Созданіе этого строя было дѣломъ московскаго периода, дѣломъ совершенно необходимымъ даже независимо отъ татаръ. Татарское нашествіе было только окончательнымъ нагляднымъ обличеніемъ несостоительности киевскихъ порядковъ или беспорядковъ, а никакъ не причиною созданія московского государства: и хронологически киевская Русь стала приходить въ явный упадокъ и безсилие, и съ-верное единодержавіе стало складываться (въ суздальской области) — раньше татаръ.

Московский периодъ вполнѣ оправдывается съ исторической точки зрењія, но дѣло въ томъ, что сама эта точка зрењія не есть высшая и окончательная. Если я понимаю смыслъ изрѣстнаго исторического явленія, т. е. его необходимость при данныхъ условіяхъ и въ данное время, это никакъ не даетъ мнѣ права возводить это явленіе въ принципъ и въ идеалъ. Противъ *идеализации* московскаго периода, противъ стремленія увѣковѣчить его духъ — осужденіе его нашимъ поэтомъ получаетъ всю силу высшей правды. Оправдывается также и предпочтеніе киевской Руси — не за ея «вѣче», конечно, и еще менѣе за ея «поле», въ которомъ, во-первыхъ, не было ничего хо-

рошаго, и которое, во-вторыхъ, сохранилось и въ московскій періодъ (какъ описывается самимъ Толстымъ въ «Князъ Серебряномъ»). Но были у кіевской Руси дѣйствительныя преимущества, хотя они и оставались тамъ только въ зародыши.

Совершенно независимо отъ тѣхъ обстоятельствъ, которыя принудили Россію перейти отъ «кіевского» строя къ «московскому», и вообще независимо отъ какихъ бы то ни было политическихъ формъ стоитъ вопросъ о тѣхъ нравственныхъ началахъ жизни, въ осуществлениі которыхъ — окончательный смыслъ исторіи. Эти начала вошли въ Россію при ея крещеніи, и спрашивается: гдѣ они сильнѣе чувствовались и вѣрили понимались: въ Кіевѣ X—XII вѣковъ, или въ Москвѣ XVI и XVII? Кто былъ ближе къ идеалу христіанского государя: Владіміръ Св. и Владіміръ Мономахъ, которыхъ совѣсть не мирилась съ казнью преступниковъ, или Иванъ IV, который такъ легко совмѣщалъ усердное благочестіе съ массовыми избѣженіями и утонченными терзаніями невинныхъ людей? Тутъ дѣло вовсе не въ личной жестокости: ею вовсе не отличались такие цари, какъ Алексѣй Михайловичъ и Федоръ Алексѣевичъ, однако и при нихъ не прекращались свирѣпые казни дѣйствительныхъ и мнимыхъ преступниковъ (напр., сожженія старообрядцевъ). Ясно, что московская эпоха, какова бы ни была ея историческая необходимость въ другихъ отношеніяхъ, сопровождалась полнымъ затменіемъ нравственного сознанія, рѣшительнымъ искаленіемъ духовнаго образа человѣческаго, если не въ страдательной массѣ народной, то въ верхнихъ слояхъ, отдавшихся всецѣло грубому дѣланію вѣнчаней исторіи. Задача истиннаго патріотизма — не возвеличивать это тяжелое и мрачное прошлое, а стараться объ окончательномъ искорененіи изъ нашей жизни всѣхъ остатковъ и следовъ пережитаго озвѣренія:

Неволя заставить пройти черезъ грязь,
Купаться въ ней — свиньи лишь могутъ.

Какъ патріотъ-поэтъ, Толстой былъ вправѣ избрать не историческую, а пророческую точку зрѣнія. Онъ не останавливался на материальныхъ необходимостиахъ и условіяхъ прошедшаго, а мѣрялъ его сверху — нравственными потребностями настоящаго и упованіями будущаго. *И тутъ онъ не ошибался.* Для нашего настоящаго духовнаго исцѣленія и для нашихъ будущихъ задачъ нужны намъ, конечно, не монгольско-византійскія преданія московской эпохи, а

развитіе тѣхъ христіанскихъ и истинно-національныхъ начальъ, что какъ бы было *обѣщано* и предсказано свѣтлыми явленіями киевской Руси.

XI.

А. Толстой былъ поэтъ-боецъ. Но это была не та борьба, которая отнимаетъ у человѣка духовную свободу, дѣлая его рабомъ какой-нибудь, хотя бы и великой, но все-таки вѣнчаной цѣли. Для кого высшая цѣль борьбы есть правда Божія, — всеобъемлющая и надъ всѣмъ возвышающаяся, тотъ — свободенъ возвыситься и надъ самою борьбою въ увѣренномъ сознаніи окончательного примиренія. Нашъ поэтъ не разъ въ своей жизни зналъ минуты такого высшаго успокоенія, но съ полною ясностью оно далось ему передъ концомъ и выражено въ стихотвореніи, составляющемъ прекрасный заключительный аккордъ всей его дѣятельности:

Земля цвѣла. Въ лугу, весной одѣтомъ,
Ручей межъ травъ катился, молчаливъ;
Былъ тихій часъ межъ сумракомъ и свѣтомъ,
Былъ легкій сонъ лѣсовъ, полей и нивъ;
Не оглашалъ ихъ соловей привѣтомъ;
Природу всю широко осѣнивъ,
Шарилъ покой; но подъ безмолвной тѣнью
Могучихъ силъ мнѣ слышалось движенье.
Не шелестя надъ головой моей,
Въ прозрачный мракъ деревья улетали;
Сквозной узоръ ихъ молодыхъ вѣтвей,
Какъ легкій дымъ, терялся въ горней дали;
Лѣсной чеберъ и полевой шалфей,
Блестя росой, въ травѣ благоухали.
И думалъ я, въ померкшій глядя сводъ:
Куда меня такъ манилъ и влечеть?
Проникнуть весь блаженствомъ былъ я новымъ,
Исполненъ весь невѣдомыхъ мнѣ силъ:
Чего въ житейскомъ натискѣ суровомъ
Не смѣлъ я ждать, чего я не просилъ —
То свершено однимъ, казалось, словомъ,
И мнилось мнѣ, что я лечу безъ крылья,
Перехожу, подъять природой всею,
Въ одинъ порывъ неудержимый съ нею!
Но трезвъ былъ умъ, и чуждъ ему восторгъ,
Надежды я не зналъ, ни опасенія...

Кто жъ мощно такъ отъ нихъ меня отторгъ,
 Кто отрѣшилъ отъ тягости хотѣнья?
 Со злой дня души постыдный торгъ
 Сталъ для меня безъ смысла и значенья,
 Для всѣхъ тревогъ безслѣдно умерть я
 И ожилъ вновь въ сознаньѣ бытія...
 Тутъ пронеслось какъ въ листьяхъ дуновеніе,
 И какъ отвѣтъ послышалося мнѣ:
 Задачи то старинной разрѣщеніе
 Въ таинственномъ ты видишь полуснѣ!
 То творчества съ покоемъ соглашеніе,
 То мысли пыль въ душевной тишинѣ...

XII.

Я не имѣль въ виду излагать и разбирать все написанное А. Толстымъ; я хотѣль только напомнить въ общихъ чертахъ существенное содержаніе его поэзіи. О многомъ хорошемъ и превосходномъ (напримѣръ «Драконъ», «Алхимикъ», Трилогія) я вовсе не упоминалъ, указывая только главное. При всемъ различіи возможныхъ эстетическихъ оцѣнокъ, никто не усомнится, я увѣренъ, дать за поэта добрый отвѣтъ на вопросъ, которымъ оканчивается одно изъ послѣднихъ его стихотвореній:

Всему насталъ покой, прими же его и ты,
 Пѣвецъ, державшій стягъ во имя красоты!
 Провѣрь, усердно ли ея святое сѣмѧ
 Ты въ борозды бросаль, оставленныя всѣми,
 По совѣсти ль тобой задача свершна,
 И жатва дней твоихъ обильна иль скудна?

Да! задача свершена имъ по совѣсти, и содержаніе того, что имъ оставлено, важно и обильно. Какъ поэтъ, Толстой показалъ, что можно служить чистому искусству, не отдѣляя его отъ нравственного смысла жизни, — что это искусство должно быть чисто отъ всего низменного и ложнаго, но никакъ не отъ идеинаго содержанія и жизненнаго значенія. Какъ мыслитель, онъ далъ въ поэтической формѣ замѣчательно ясныя и стройныя выраженія старому, но вѣчно-истинному платоническо-христіанскому міросозерцанію. Какъ патріотъ, онъ горячо стоялъ за то именно, что всего болѣе нужно для нашей родины, и при этомъ — что еще важнѣе — онъ самъ представлялъ собою то, за что стоялъ: живую силу свободной личности.

У русскаго народа есть важныя добродѣтели преимущественно передъ народами Запада, — это именно тѣ, которыя общи намъ съ близкимъ намъ Востокомъ: созерцательность, покорность, терпѣніе. Этими добродѣтелями долго держалась наша духовная метрополія — Византія, однако онъ не могли спасти ея. Значить, однихъ этихъ восточныхъ свойствъ и преимуществъ самихъ по себѣ — мало. Они не могутъ уберечь великую націю, если къ нимъ не присоединится тотъ другой элементъ, который, конечно, не чуждъ и Россіи, какъ странѣ европейской и христіанской, но по историческимъ условіямъ имѣлъ доселѣ у насъ (какъ и въ Византіи) лишь слабое развитіе — я разумѣю *сознаніе безусловнаго человѣческаго достоинства, принципъ самостоятельной и самодѣятельной личности*. Поэты, котораго мы теперь помянули, былъ однимъ изъ очень рѣдкихъ у насъ носителей этого истинно-человѣческаго жизненнаго начала, въ развитіи котораго главное условіе будущности каждого народа. И съ этой стороны его произведенія привлекательны и значительны своею искренностью: онъ стоялъ въ нихъ за то, что было глубоко заложено въ немъ самомъ, — такъ какъ онъ самъ былъ сильною и свободною индивидуальностью, человѣкомъ внутренняго достоинства, чести и правды прежде всего. Эти качества не суть единственныя добродѣтели, но *безъ нихъ* всѣ прочія стоятъ немногого; безъ нихъ отдельный человѣкъ есть только произведеніе одной вѣшней среды, а сама такая среда является стадомъ.

Русские символисты.

1895.

I.

Вып. 1-й. Валерій Брюсовъ и А. Л. Миропольскій.
Москва 1894 (44 стр.).

Эта тетрадка имѣетъ несомнѣнныя достоинства: она не отягощаетъ читателя своими размѣрами и отчасти увеселяетъ своимъ содержаніемъ. Удовольствіе начинается съ эпиграфа, взятаго г. Валеріемъ Брюсовымъ у французскаго декадента Стефана Маллармэ:

Une dentelle s'abolit
Dans le doute du jeu suprême¹.

А вотъ русскій «прологъ» г. Брюсова:

Гаснутъ розовыя краски
Въ блѣдномъ отблескѣ луны;
Замерзаютъ въ льдахъ сказки
О страданіяхъ весны.
Отъ исхода до завязки
Завернулись въ трауръ сны,
И безмолвіемъ окраски
Ихъ гирлянды сплетены.
Подъ лучами юной греазы
Не цвѣтутъ созвучій розы
На кутинахъ пустоты,
А сквозь окна сновъ безсвязныхъ
Не увидять звѣздъ алмазныхъ
Усыпленныя мечты.

¹ Въ буквальномъ переводе это значитъ: „кружево упраздняется въ сомнѣніи высочайшей игры“.

Въ словахъ: «созвучій розы на куртинахъ пустоты» и «окна сновь безсвязныхъ» можно видѣть хотя и символическое, но довольно вѣрное опредѣленіе этого рода поэзіи. Впрочемъ, собственно русскій «символизмъ» представленъ въ этомъ маленькомъ сборникѣ довольно слабо. Кромѣ стихотвореній, прямо обозначенныхъ какъ переводы, и изъ остальныхъ добрая половина явно внушена другими поэтами и при томъ даже не символистами. Напримеръ, то, которое начинается стихами:

Мы встрѣтились съ нею случайно,
И робко мечталъ я о ней,

а кончается:

Вотъ старая сказка, которой
Быть юной всегда суждено —

песомиѣнно происходитъ отъ Генриха Гейне, хотя и пересаженного на «куртина пустоты». Слѣдующее:

Невнятный сонъ вступаетъ на ступени,
Мгновенія дверь пріотворяетъ онъ —

есть невольная пародія на Фета. Его же безглагольными стихотвореніями внушено:

Звѣздное небо безстрастное, —

развѣ только неудачность подражанія принять за оригинальность.

Звѣзды тихонько шептались —

опять вольный переводъ изъ Гейне.

Склонися головкой твою —

idem.

А вотъ стихотвореніе, которое я одинаково бы затруднился назвать и оригинальнымъ и подражательнымъ:

Слезами блестящіе глазки
И губки, что жалобно сжаты,
А щечки пылаютъ отъ ласки
И кудри запутанно-смѣты, — и т. д.

Во всякомъ случаѣ, перечислять въ уменьшительной формѣ различныя части человѣческаго организма, и безъ того всѣмъ известныя, — развѣ это символизмъ?

Другого рода возражение имѣю я противъ слѣдующаго «заключенія» г. Валерія Брюсова:

Золотистыя феи
Въ атласномъ саду!
Когда я найду
Ледяныя аллеи?
Влюбленныхъ наядъ
Серебристые всплески,
Гдѣ ревнивыя доски
Вамъ путь заградятъ.
Непонятныя вазы
Огнемъ озаря,
Застыла заря
Надъ полетомъ фантазій.
За мракомъ завѣсь
Погребальныя урны,
И не ждетъ сводъ лазурный
Обманчивыхъ звѣздъ.

Несмотря на «ледяныя аллеи въ атласномъ саду», сюжетъ этихъ стиховъ столько же ясенъ, сколько и предосудителенъ. Увлекаемый «полетомъ фантазій», авторъ засматривался въ дощатыя купальни, гдѣ купались лица женскаго пола, которыхъ онъ называетъ «феями» и «наядами». Но можно ли пышными словами загладить поступки гнусные? И вотъ къ чему въ *заключеніе* приводить символизмъ! Будемъ надѣяться по крайней мѣрѣ, что «ревнивыя доски» оказались на высотѣ своего призванія. Въ противномъ случаѣ, «золотистымъ феямъ» оставалось бы только окатить нескромнаго символиста изъ тѣхъ «непонятныхъ вазъ», которыя въ просторѣчіи называются шайками и употребляются въ купальняхъ для омовенія ногъ.

Общаго сужденія о г. Валеріи Брюсовѣ нельзя произнести, не зная его возраста. Если ему не болѣе 14 лѣтъ, то изъ него можетъ выйти порядочный стихотворецъ, а можетъ и ничего не выйти. Если же это человѣкъ взрослый, то, конечно, всякая литературная надежды пеумѣстны. О г. Миропольскомъ мнѣ нечего сказать. Изъ 10 страничекъ, ему принадлежащихъ, 8 заняты прозаическими отрывками. Но читать декадентскую прозу есть задача, превышающая мои силы. «Кутины пустоты» могутъ быть сносны лишь тогда, когда на нихъ растутъ «розы созвучий».

II.

Вып. 2-й, изд. В. А. Маслова. Москва. 1894.

Порода существъ, именующихся русскими символистами, имѣть главнымъ своимъ признакомъ чрезвычайную быстроту размноженія. Еще лѣтомъ ихъ было только два, а нынѣ ихъ уже цѣлыхъ десять. Вотъ имена ихъ по порядку: А. Бронинъ, Валерій Брюсовъ, В. Даровъ, Эрл. Мартовъ, А. Л. Миропольскій, Н. Новичъ, К. Созонтовъ, З. Фуксъ и еще два, изъ коихъ одинъ скрылся подъ буквою М., а другой подъ тремя звѣздочками. Я готовъ бы быть думать, что эта порода размножается путемъ произвольнаго зарожденія (*generatio aequivoса*), но едва ли такая гипотеза будетъ допущена точной наукой. Впрочемъ, русскій символизмъ обогащается пока звучными именами болѣе, чѣмъ звучными произведеніями. Во второмъ выпускѣ помѣщено всего восемнадцать оригинальныхъ стихотвореній; при десяти авторахъ это выходитъ на каждого по одному стихотворенію съ дробью (1,8 или $1\frac{4}{5}$). Читатель согласится, что такой мой критическій методъ пока отличается строго-научнымъ характеромъ и приводить къ результатамъ совершенно бесспорнымъ. Я желалъ бы держаться такого же метода и при оцѣнкѣ качественнаго достоинства русскихъ символистовъ, но это уже гораздо труднѣе: тутъ одною ариѳметикою не обойдешься. Необходимо установить общіе принципы или нормы художественной дѣятельности и вытекающими изъ нихъ постулатами провѣрить данное произведеніе. Къ сожалѣнію, этотъ единственно-научный способъ имѣть одно неудобство: онъ потребовалъ бы отъ меня многолѣтнихъ изученій и долженъ бы быть мною изложены въ многотомныхъ сочиненіяхъ, а отъ меня требуется только маленькая рецензія на маленькую тетрадку со стихами проблематического достоинства. Отъ научнаго метода приходится отказаться, но, съ другой стороны, я не хотѣлъ бы подвергнуться справедливому упреку въ субъективномъ произволѣ и тенденціозности. Неужели, однако, между строгою научностью и личнымъ впечатлѣніемъ нѣтъ ничего средняго? Безъ сомнѣнія, есть. Не вѣходя до безусловныхъ принциповъ, можно за норму сужденія принять не собственное мнѣніе, а намѣреніе критикуемаго автора или художника. Такъ, напримѣрь, когда живописецъ на своей картинѣ собственноручно обозначилъ: се левъ! — а между тѣмъ всякий видѣть на ней дурно на-

рисованную собаку, при чёмъ намѣреніе живописца изобразить льва въ осуществлении своемъ ограничилось лишь желтымъ цвѣтомъ собачьей шерсти, то всякий свидѣтель такой неудачи, не владая въ субъективизмъ, можетъ признать картину неудовлетворительной; ибо, независимо отъ личныхъ мнѣній, по существу вещей ясно, что ни желтый цвѣтъ, ни плохой рисунокъ не достаточны сами по себѣ, чтобы собаку сдѣлать львомъ. Такой способъ сужденія, основанный на объективномъ различіи между двумя млекопитающими, я называю методомъ относительно-научнымъ. Примѣненіе его къ русскимъ символистамъ тѣмъ легче, что они озабочились самымъ опредѣленнымъ образомъ выразить свое намѣреніе. Въ предисловіи г. В. Брюсовъ объясняетъ, что поэзія, которой онъ съ товарищами служитъ, есть поэзія намековъ. Слѣдуя нашей относительно-научной методѣ, посмотримъ, насколько въ самомъ дѣлѣ стихотворенія русскихъ символовистовъ представляютъ поэзію намековъ:

Струны ржавѣютъ
Подъ мокрой рукой,
Грезы нѣмѣютъ
И кроются мглой.

Такою строфою начинается и повтореніемъ ея заканчивается маленькое стихотвореніе г. Миропольского, открывшее нашъ сборникъ. Здѣсь съ преувеличенною явностью указывается на тотъ грустный, хотя и мало интересный фактъ, что изображаемый авторомъ гитаристъ страдаетъ извѣстнымъ патологическимъ явленіемъ. Ни поэзіи, ни намековъ тутъ нѣтъ. Первый стихъ «струны ржавѣютъ» — содержитъ въ себѣ еще другое указаніе, но опять-таки ясное *указаніе*, а не намекъ, — на малограмотность г. Миропольского.

Второе стихотвореніе: «Я жду», почти все состоять изъ повторенія двухъ стиховъ: «Сердце звонкое бьется въ груди» и «Милый другъ, приходи, приходи!». Что тутъ неясного, какіе тутъ намеки? Скорѣе можно здѣсь замѣтить излишнее стремленіе къ ясности, ибо поэтъ поясняетъ, что сердце бьется *въ груди*, — чтобы кто-нибудь не подумалъ, что оно бьется въ головѣ или въ брюшной полости.

Г. Валерій Брюсовъ, тотъ самый, который въ первомъ выпускѣ «русскихъ символовистовъ» описывалъ свое предосудительное заглядыванье въ дамскія купальни, нынѣ изображаетъ свое собственное

купанье. Это конечно не бѣда; но плохо то, что о своемъ купаньѣ г. Брюсовъ говорить такими словами, которыя ясно, безъ всякихъ намековъ, показываютъ не вполнѣ нормальное настроеніе автора. Мы предупреждали его, что потворство низменнымъ страстиамъ, хотя бы и подъ личиной символизма, не приведетъ къ добру. Увы! наши предчувствія сбылись раньше ожиданія! Посудите сами:

Въ серебряной пыли полуночная влага
Плѣнясть отдыхомъ усталыя мечты,
И въ зыбкой тишинѣ рѣчного саркофага
Великій человѣкъ не слышитъ клеветы.

Называть рѣку саркофагомъ, а себя великимъ человѣкомъ — есть совершенно ясный признакъ (а не намекъ только) болѣзненнаго состоянія.

Трупъ женщины, гніющій и зловонный,
Большая степь, чугунный небосводъ...
И долгій мигъ, пасмѣшкой воскрешенный,
Съ укорнымъ хохотомъ встаетъ.

Алмазный соиъ... Чертежъ вверху зажженный...
И ароматъ, и слезы, и роса...
Покинуть трупъ гніющей и зловонный,
И воронъ выклевалъ глаза.

Вотъ въ этомъ стихотвореніи, подписанномъ З. Фуксъ (будемъ надѣяться, что это З. означаетъ Захара, а не Зинаиду), можно, пожалуй, найти намекъ, только не поэтическій, а намекъ на то, что трое гласныхъ тамбовскаго земскаго собранія были бы, можетъ быть, не совсѣмъ неправы въ своемъ мнѣніи¹, если бы относили его не къ крестьянамъ, окончившимъ курсъ начального образованія, а къ некоторымъ стихотворцамъ, именующимъ себя символистами. Впрочемъ —

In jene Sphären wag' ich nicht zu streben...

Я думаю, что г. З. Фуксъ достаточно наказалъ самъ себя, выступивъ печатно съ такимъ произведеніемъ. Тѣмъ не менѣе впечатлѣніе, произведенное на меня стихотвореніемъ этого символиста, такъ сильно, что у меня не хватаетъ необходимаго спокойствія духа для

¹ См. телеграмму въ „Нов. Времени“ отъ 16 декабря 1894 г., где сообщалось, что трое гласныхъ названнаго собранія отстаивали свое мнѣніе о необходимости сохранить тѣлесное наказаніе.

относительно-научного разбора прочихъ символическихъ перловъ. При томъ на послѣдней страницѣ наши символисты объявляютъ о предстоящихъ трехъ новыхъ изданіяхъ, изъ коихъ одно озаглавлено «*Lès (?) eshefs (!) d'oeuvre*». Отложимъ свое окончательное сужденіе до появленія этихъ «*eshefs d'oeuvre*», а пока ради справедливости замѣтимъ, что въ разсмотрѣнной тетрадкѣ есть одно стихотвореніе, напоминающее дѣйствительную поэзію:

Дитя, смотри! тамъ при концѣ аллеи
Ночной красавицы раскинулись кусты...
Ихъ образъ приняли весенней ночи феи...
 Моей тоски не понимала ты!
Тамъ солнца лучъ съ восхода и до ночи
Льетъ чары страстныя на сонные цветы...
Напрасно рвется онъ хоть разъ взглянуть имъ въ очи...
 Моей тоски не понимашь ты!
Въ вечерній часъ, скрываясь за горою
Съ тоскою жгучею обманутой мечты,
Въ безсильнѣ видить онъ лобзанья ихъ съ луною...
 Мою тоску поймешь, навѣрно, ты!

III.

Русские символисты. — № 10 1895 года. — Москва 1895 (52 стр.).

Въ предисловіи къ этому новому выпуску юные спортсмѣны, называющіе себя «русскими символистами», «сочли необходимымъ выяснить свое отношеніе» къ критикѣ. По мнѣнію г. Брюсова и К°, большинство ихъ критиковъ были совершенно неподготовлены къ этой важной задачѣ, а тѣ, которые были подготовлены, оказались злоумышленниками. Таковъ именно рецензентъ «Вѣстника Европы». «Въ свое время, — пишутъ гг. символисты, — возбудили интересъ еще рецензіи г. Вл. С. Въ нихъ дѣйствительно попадаются дѣльные замѣчанія (напр. о подражательности многихъ стихотвореній г. Брюсова въ 1-мъ вып.); но г. Вл. С. увлекся желаніемъ позабавить публику, что повело его къ ряду остротъ сомнительной цѣнности и къ умышленному искаженію смысла стихотвореній. Говоримъ — «умышленному»: г. Вл. С., конечно, долженъ легко улавливать самые тонкіе намеки поэта, потому что самъ писать символическая стихотворенія, какъ, напр., «Зачѣмъ слова»... («Вѣстн. Евр.» 1892, № 10).».

Почему, однако, гг. символисты такъ увѣрены, что это стихотвореніе — символическое оно или нѣтъ — принадлежитъ автору рецензій? Вѣдь стихотвореніе подписано: «Владимиръ Соловьевъ», а рецензіи обозначены буквами Вл. С., подъ которыми, можетъ быть, скрывается Владиславъ Сырокомля или Власій Семеновъ. Отвѣтить за г. Владимира Соловьева по обвиненію его въ напечатаніи символического стихотворенія въ «Вѣстникѣ Европы» мнѣ не приходится. Но по обвиненію меня въ злоумышленномъ искаженіи смысла стихотвореній г. Брюсова и К°, я, Власій Семеновъ, имѣю объяснить, что если бы даже я былъ одушевленъ самою адскою злобою, то все-таки мнѣ было бы невозможно искажить смыслъ этихъ стихотвореній — по совершенному отсутствію въ нихъ всякаго смысла. Своимъ нынѣмъ выпускомъ гг. символисты поставили дѣло вѣтъ всякихъ сомнѣній. Ну, пусть кто-нибудь попробуетъ искажить смыслъ такого произведенія:

Тѣнь несозданныхъ созданий
 Колыхается во снѣ
 Словно лопасти латаний
 На эмалевой стѣнѣ.
 Фиолетовые руки
 На эмалевой стѣнѣ
 Полусонно чертятъ звуки
 Въ звонко-звукной тишинѣ.
 И прозрачные кiosки
 Въ звонко-звукной глубинѣ
 Выростаютъ точно блестки
 При лазоровой лунѣ,
 Всходить мѣсяцъ обнаженный
 При лазоревой лунѣ;
 Звуки рѣютъ полусонно,
 Звуки ластятся ко мнѣ,
 Тайны созданныхъ созданій
 Съ лаской ластятся ко мнѣ,
 И трепещетъ тѣнь латаний
 На эмалевой стѣнѣ.

Если я замѣчу, что обнаженному *мѣсяцу* всходить при лазоревой *лунѣ* не только неприлично, но и вовсе невозможно, такъ какъ *мѣсяцъ* и *луна* суть только два названія для одного и того же предмета, то неужели и это будетъ «умышленнымъ искаженіемъ смысла»?

Ну, а этотъ «chef d'oeuvre»:

Сердца лучъ изъ серебра волненій
 Надъ просторомъ инея встаетъ,
 И, дрожа, звучитъ хрусталь моленій
 И обрызганъ пѣною плыветь.
 Онъ плыветь... стеклящимъ переливомъ
 Ледъ звѣзды изъ бездны онъ манить...
 Далека въ покоѣ горделивомъ
 Спить звѣзда... звѣзда блестить и спить.

Или вотъ еще:

Въ воздухѣ повисли пѣсень колоннады,
 И кристаллъ созвучій какъ фонтанъ звенить,
 Замерли въ лазури бѣлыя громады
 И въ лучахъ тумана матовый гранитъ.
 Въ мысляхъ пѣной бьется зарево томленій,
 Молнией мелькаютъ милыхъ черты,
 Къ сердцу отъ чертоговъ чаръ и сновидѣній
 Перегнулись аркой звонкіе мосты,
 Яркія гирлянды обвили фасады,
 Мрамора Каррапы ароматный блескъ...
 И звучать побѣдно, таютъ серенады,
 И разносить эхо вдохновенный плескъ.

Нѣкоторые символисты облегчаютъ себѣ трудъ сочиненія безъ смысленныхъ стиховъ довольно удачнымъ пріемомъ: написавши одинъ стихъ, они затѣмъ переворачиваются его наизнанку — выходить другой:

Надъ темною равниной,
 Равнину темной,
 Нескромной картиной,
 Картивой нескромной,
 Повисли туманы,
 Туманы повисли,
 Какъ будто обманы,
 Обманы безъ мысли,
 Безъ мысли и связи
 Въ разсказѣ безстрастномъ.
 Въ безстрастномъ разсказѣ,
 Въ разсказѣ неясномъ,
 Гдѣ блѣдныя краски
 Развязки печальной
 Печальны, какъ сказки
 О родинѣ дальней.

А вотъ стихотвореніе, въ которомъ нѣтъ ни только смысла, но и риомы, — оно какъ будто написано для иллюстраціи выраженія — *ni rime, ni raison:*

Мертвцы, освѣщенные газомъ!
Алая лента на грѣшной невѣстѣ!
О! мы пойдемъ пѣловаться къ окну!
Видишь, какъ блѣдны лица умершихъ?
Это — больница, *гдѣ* въ траурѣ дѣти...
Это — на льду олеандры...
Это — обложка Романсовъ безъ словъ...
Милая, въ окна не видно луны.
Наши души — цвѣтокъ у тебя въ бутоньеркѣ.

Гр. символисты укоряютъ меня въ томъ, что я увлекаюсь желаніемъ позабавить публику; но они могутъ видѣть, что это увлеченіе приводитъ меня только къ простому воспроизведенію ихъ собственныхъ перловъ.

Должно замѣтить, что одно стихотвореніе въ этомъ сборникѣ имѣть несомнѣнныи и ясный смыслъ. Оно очень коротко, — всего одна строчка:

„О, закрой свои блѣдныя ноги“.

Для полной ясности слѣдовало бы, пожалуй, прибавить: «ибо иначе простудишься», но и безъ этого совѣтъ г. Брюсова, обращенный очевидно къ особѣ, страдающей малокровiemъ, есть самое осмысленное произведение всей символической литературы, не только русской, но и иностранной. Изъ образчиковъ этой послѣдней, переведенныхыхъ въ настоящемъ выпускѣ, заслуживаетъ вниманія слѣдующій шедевръ знаменитаго Метерлинка:

Моя душа больна весь день,
Моя душа болѣна прощаньемъ,
Моя душа въ борьбѣ съ молчаньемъ
Глаза мои встрѣчаютъ тѣни.
И подъ кнутомъ воспоминанья
Я вижу призраки охоты.
Полузабытый слѣдъ ведеть
Собакъ секретнаго желанья.
Во глубь забывчивыхъ лѣсовъ
Лиловыхъ грезъ несутся своры,
И стрѣлы желтые — укоры—
Казнить оленей лживыхъ сновъ.

Увы, увы! вездѣ желанья,
Вездѣ вернувшіеся сны,
И слишкомъ синее дыханье . . .
На сердцѣ меркнетъ ликъ луны.

Быть можетъ, у иного строгаго читателя уже давно «залаяла въ сердцѣ собака секретнаго желанья», — именно, того желанья, чтобы авторы и переводчики такихъ стихотвореній писали впредь не только «подъ кнутомъ воспоминанья», а и «подъ воспоминаніемъ кнута» . . . Но моя собственная критическая свора отличается болѣе «рѣзвостью», чѣмъ «злобностью», и «синее дыханье» вызвало во мнѣ только оранжевую охоту къ лиловому сочиненію желтыхъ стиховъ, а пестрый павлинъ тщеславія побуждаетъ меня подѣлиться съ публикою тремя образчиками моего гри-де-перлеваго, верь-де-мернаго и фель-мортина го вдохновенія. Теперь по крайней мѣрѣ гг. В. Брюсовъ и К° имѣютъ дѣйствительное право обвинять меня въ напечатаніи символическихъ стихотвореній.

I.

Горизонты вертикальные
Въ шоколадныхъ небесахъ,
Какъ мечты полу-зеркальныя
Въ лавро-вишневыхъ лѣсахъ.
Призракъ льдины огнедышащей
Въ яркомъ сумракѣ погасъ,
И стоитъ меня не слышацій
Гіациントовый Легасъ.
Мандрагоры имманентныя
Зашуршили въ камышахъ,
А першаво-декадентныя
Вирши въ явущихъ ушахъ.

II.

Надъ зеленымъ холмомъ,
Надъ холмомъ зеленымъ,
Намъ влюбленнымъ вдвоемъ,
Намъ вдвоемъ влюбленнымъ,
Свѣтить въ полдень звѣзда,
Она въ полдень свѣтить,
Хоть никто никогда
Той звѣзды не замѣтить.

Но волнистый туманъ,
Но туманъ волнистый,
Изъ лучистыхъ онъ странъ,
Изъ страны лучистой,
Онъ скользить между тучъ,
Надъ сухою волною,
Неподвижно летучъ
И съ двойною луною.

III.

На небесахъ горять паникадила,
А снизу — тьма.
Ходила ты къ нему, иль не ходила?
Скажи сама!
Но не дразни гену подозрѣнья,
Мышей тоски!
Не то смотри, какъ леопарды мишеня
Острять клыки!
И не зови сову благоразумья
Ты въ эту ночь!
Ослы терпѣнья и слоны раздумья
Бѣжали прочь.
Своей судьбы родила крокодила
Ты здѣсь сама.
Пусть въ небесахъ горять паникадила
Въ могилѣ — тьма.

„Оттуда“. Разсказы Сергея Нор-
манского.

1895.



Рецензія на книгу Вундта.

1895.



Когда жили еврейские пророки?

1896.

—довідні відповіді професійної
спільноти

2001

Педагогіка як наука
2001

2001

Хотя як ідеїчне творчі
2001

„Оттуда“. Разсказы Сергея Норманского.

1895.

„Оттуда“. Разсказы Сергея Норманского (Сигмы). Спб. 1894. Изд.
М. М. Ледерле и К° (189 стр.).

Рассказы, собранные въ этой книжкѣ, показываютъ въ авторѣ человѣка образованнаго, съ живыми умственными интересами, съ воображеніемъ и литературнымъ дарованіемъ. Онъ, повидимому, принадлежитъ къ писателямъ начинающимъ, потому небезполезно будетъ при оцѣнкѣ его произведеній остановиться особенно на ихъ недостаткахъ, отъ которыхъ онъ легко можетъ избавиться.

Первый изъ семи рассказовъ, «Актея», имѣетъ характеръ фантастический. Это вполнѣ законный элементъ литературы; цари творчества — Шекспиръ и Гѣтѣ — дали ему свою санкцію, и въ той или другой степени и формѣ ни одинъ значительный писатель не обходился безъ мистической и фантастической стихіи, которая въ старомъ Гофманѣ нашла и своего особенного мастера. И тѣ умы, которые не признаютъ дѣятельности такъ называемаго «сверхъестественного», но которые согласны съ основателемъ позитивизма, что «человѣчество управляется идеями», должны признать значение мистическихъ *идей*, а следовательно, и ихъ право на художественное выраженіе въ литературѣ. Съ другой стороны, люди, даже вполнѣ признающіе дѣйствительность мистической стороны міра и жизни, но не увлекающіе ею до потери разсудка, должны согласиться, что яркихъ, осязательныхъ и такъ сказать членораздѣльныхъ явленій сверхъестественного, вообще говоря, на свѣтѣ не бываетъ. Здѣсь подернуто какимъ-то неуловимымъ колеблющимся туманомъ, который во всемъ даетъ себя чувствовать, но ни въ чёмъ не обособляется; а когда являются ясные и опредѣленные образы, то чѣмъ они яснѣе

и опредѣленіе, тѣмъ болѣе вѣроятно, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ какимъ-нибудь обманомъ. То, что идѣть «оттуда», можно сравнить съ тонкою нитью, неуловимо вплетеною во всю ткань жизни и повсюду мелькающею для внимательного взгляда, способнаго отличить ее въ грубомъ узорѣ внѣшней причинности, съ которой эта тонкая нить всегда или почти всегда сливается для взгляда невнимательнаго или предубѣжденнаго.

Изъ такого характера «сверхъестественной» стихіи вытекаютъ два правила для ея художественнаго воспроизведенія: 1) мистическія явленія не должны прямо сваливаться съ неба или выскакивать изъ преисподней, а должны подготовляться внутренними и внѣшними условіями, входя въ общую связь дѣйствій и происшествій; 2) самый способъ явленія таинственныхъ дѣятелей долженъ отличаться особенною чертою неопредѣленности и неуловимости, такъ чтобы сужденіе читателя не подвергалось грубому насилию, а сохранило за собою свободу того или другого объясненія, и дѣятельность сверхъестественнаго не навязывалась бы, а только давала себя чувствовать. Поэтому въ фантастическихъ разсказахъ непремѣнно нужно избѣгать всякихъ рѣзкихъ, поразительныхъ и ошеломляющихъ эффектовъ. То, что въ мірѣ совершается съ трескомъ и грохотомъ, проходитъ обыкновенно отъ причинъ совершенно естественныхъ и материальныхъ, каковы: трусы, огонь, потопъ, нашествіе иночлененныхъ и междуусобныя браны. Точно такъ же и въ личной жизни самые сильные и рѣзкие эффекти производятся обыкновенно явленіями, не имѣющими въ себѣ ничего мистического, какъ, напр., явленіе судебнаго пристава съ описательными цѣлями, внезапно полученное или данное оскорблѣніе дѣйствіемъ, неожиданное появленіе третьего лица при такихъ обстоятельствахъ, когда и двое faciunt collegium, и т. п. Здѣшніе дѣятели шумно вторгаются въ жизнь, но тѣ, которые «оттуда», медленно и неслышно выступаютъ въ своихъ неуловимыхъ очертаніяхъ.

Рассказъ «Актея», при всей своей занимательности, не удовлетворяетъ двумъ указаннымъ требованіямъ. Древняя греко-халдейская покойница, жаждущая воплощенія вампирическимъ путемъ, хотя имѣетъ основанія явиться къ молодому русскому скандинависту, но обѣ этихъ основаніяхъ мы узнаемъ лишь post factum, а не видимъ ихъ передъ собою: главное происшествіе лишено внутренней и внѣшней художественной подготовки. Даѣ, само явленіе происходитъ не-

правдоподобнымъ образомъ. Актея не только сразу произносить длинныя и связныя рѣчи на правильномъ латинскомъ языкѣ, но и излагаетъ въ этихъ рѣчахъ цѣлую теорію своего явленія. Все это изображеніе взято авторомъ не «оттуда», а «отсюда».

Въ этомъ основномъ недостаткѣ нельзя упрекнуть другой фантастической разсказъ: «Гунхильда», содержаніе котораго взято изъ старой норвежской легенды. Здѣсь чувствуется настоящая мистическая стихія въ ея особой ирраціональной закономѣрности и романской связи съ действительною жизнью. Несмотря на некоторые изъянны изложенія, этотъ разсказъ въ общемъ производитъ впечатлѣніе большей жизненной правды, нежели однородный съ нимъ разсказъ Бальзака — «Séraphitus-Séraphita».

«Наивный писатель» и въ особенности «она» — принадлежать къ неблагодарному роду дидактической аллегоріи. Этотъ родъ можетъ быть хорошъ только въ предѣлахъ краткой притчи или басни, но распространенная на 25 страницахъ иносказательная мораль можетъ только приводить читателя въ уныніе, что едва ли составляеть истинную цѣль художественныхъ произведеній.

Рассказъ «Ошиблась» развѣ только по ошибкѣ попалъ въ книжку. Для простого анекдота въ немъ мало соли, а для серьезнаго этюда недостаетъ характеровъ и психологіи.

«Метеоръ» производитъ двойственное впечатлѣніе, — какъ будто картина съ двумя фигурами, изъ которыхъ одна начерчена углемъ, а другая написана какъ слѣдуетъ красками. Характеръ героини представленъ правдиво и тонко, и ея образъ остается въ памяти читателя, но герой обозначенъ только виѣшними признаками и съ карикатурною грубостью.

«Въ сумеркахъ сердца» — самый содержательный изъ рассказовъ г. Норманского. Но и здѣсь, хотя менѣе рѣзко, замѣтна противоположность въ изображеніи мужскаго и женскаго типа. Герой здѣсь — безхарактерная тѣнь, тогда какъ героиня — настоящая живая женщина, съ глубокимъ нравственнымъ чувствомъ.

Въ разсказахъ г. Норманского есть кое-какіе мелкие недостатки, которыхъ очень легко было бы избѣжать. Въ «Метеорѣ» встрѣчается между прочимъ описание «англійской четы», молодого джентльмена въ блестящихъ воротничкахъ и сърой дамы, выставлявшей наружу желтоватые клыки. Они говорили о Христіаніи. Дама произносила восторженнымъ шепотомъ: «very nice», господинъ задумчиво спраши-

валъ: «indeed?», на что его собесѣдница отвѣчала тономъ глубокаго убѣжденія: «о, yes!» Такой разговоръ продолжался по поводу музеевъ, погоды, дороги, и собесѣдники, повидимому, не скучали, будучи увѣрены, что разговариваются. Конечно, среди миллиона англійскихъ туристовъ попадается цемало и такихъ. Но что же тутъ типичнаго? Неужели авторъ рѣшился бы серьезно утверждать, что между англичанами дурные зубы и безсодержательные разговоры встречаются чаще, чѣмъ между людьми другихъ націй? Въ другомъ мѣстѣ говорится о салонѣ, «гдѣ сидѣли сумрачные англичане и заживо изсохшія англичанки». Неужели авторъ въ самомъ дѣлѣ никогда не видалъ веселыхъ англичанъ и здоровыхъ, полныхъ англичанокъ? Откуда эта англофобія? Въ томъ же разсказѣ читаемъ такой монологъ: «И затѣмъ я побѣхаль? — Проклятая юбочность! Только увидишь смазливую рожу, сейчасъ за ней, все равно куда — на гору, или въ болото». Русскій литературный языкъ отлично обойдется безъ обогащенія словомъ «юбочность», а выраженіе «смазливая рожа» — прямо нелѣпо, такъ какъ слово *рожа* не менѣе, чѣмъ *рыло, таря, морда, образина* и т. п., означаетъ непремѣнно лицо *уродливое*; ужъ если автору такъ хотѣлось употребить это существительное, то слѣдовало бы сказать: «смазливая рожица», хотя и это совсѣмъ не шло бы къ его Вальборгѣ съ «ея тонкими чертами и загадочными глазами неувлетворенной русалки».

Г. Норманскій прекрасно перевѣлъ на латинскій языкъ четверостишіе изъ Пушкина: «Не для житейского волненья», и т. д. Тѣмъ менѣе подобало ему помѣщать въ видѣ подлинной русской фразы такой плохой переводъ съ французскаго: «Никакія усилия *вершинъ парижского факультета* не могли спасти ея жизнь». Также слова *изнервленный* и *изнервлять* непозволительны въ русской рѣчи. Я указываю на эти мелкія погрѣшности въ предположеніи, что интересная книжка г. Норманскаго доживетъ до второго изданія, гдѣ онъ могутъ быть исправлены. Общій смыслъ этихъ разсказовъ можетъ быть выраженъ заглавиемъ послѣдняго изъ нихъ: «Сумерки сердца», и намъ остается только пожелать начинающему автору — яснаго утра.

Рецензія на книгу Вундта

„Лекції о душѣ человѣка и животныхъ“.

1895.

Вильгельмъ Вундтъ, профессоръ при универсистетѣ въ Лейпцигѣ, „Лекції о душѣ человѣка и животныхъ“ переводъ со 2-го нѣмецкаго изданія: „W. Wundt. Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele“, дра П. Я. Розенбаха. Съ 45 рис., Спб. 1894. Цѣна 5 рублей.

Нельзя не порадоваться появлению 2-го изданія «Лекцій Вундта о душѣ человѣка и животныхъ» на русскомъ языке. Изъ существующихъ въ настоящее время популярныхъ руководствъ по психологіи это — лучшее. Ясность и простота изложенія соединены здесь съ серьезною научностью содержанія.

Все сочиненіе распадается на 30 лекцій. Первая лекція составляетъ введеніе и заключаетъ въ себѣ краткій историческій очеркъ развитія психологіи и общія замѣчанія о ея задачахъ и методахъ.

Психологія должна быть опытною наукой. Опытъ долженъ давать кирпичи, а мышленіе — служить цементомъ, связывающимъ ихъ. Успѣхъ науки психологіи зависитъ отъ расширенія опыта и открытия вспомогательныхъ средствъ для мышленія. Особенно важнымъ вспомогательнымъ средствомъ является, по учению Вундта, экспериментъ. Благодаря эксперименту, думаетъ Вундтъ, становится возможнымъ самонаблюденіе во время теченія психическихъ процессовъ¹. Такой высокій взглядъ Вундта на экспериментъ совершенно понятенъ. Вундтъ первый устроилъ институтъ экспериментальной психологіи и питаетъ къ экспериментальной психологіи особенное расположение. Но этотъ взглядъ грѣшитъ противъ истины. Если непосредственное наблюденіе надъ душевными явленіями во время ихъ

¹ Стр. 14 въ нѣмецк. подлинникѣ и стр. 13 въ русск. переводѣ.

течения невозможно вообще, то и экспериментъ ничего не можетъ сдѣлать въ этомъ случаѣ.

Въ лекціяхъ 2—8 излагается учение объ ощущеніяхъ, какъ элементахъ представлений. Эти лекціи написаны весьма хорошо. Все, что въ настоящее время известно относительно общихъ условій, силы и качества ощущеній и что въ то же время можетъ быть понятно и интересно для читателя не-специалиста, изложено здѣсь въ высшей степени послѣдовательно и ясно. Особенного вниманія заслуживаетъ въ этихъ лекціяхъ принципіальная мысль, что сила и качество ощущеній опредѣляются закономъ относительности. «Вездѣ, — говорить Вундтъ, — гдѣ происходитъ количественная оценка ощущеній со стороны ихъ интенсивности, или качества, мы измѣряемъ отдаленое ощущеніе въ его отношеніи къ другимъ ощущеніямъ того же рода²». Можно пожалѣть лишь о томъ, что Вундтъ не сдѣлалъ необходимыхъ выводовъ изъ этой совершенно вѣрной мысли. Если намъ известна только относительная сила ощущеній, а абсолютной силы мы не знаемъ, то едва замѣтная разница не можетъ быть единицею силы, и возрастаніе силы ощущеній не можетъ быть приравниваемо къ возрастанию величинъ ариѳметической прогрессіи: стало быть, Фехнеровская математическая формулировка Веберовскаго закона не вѣрна, и объ измѣненіи абсолютной силы ощущеній посредствомъ едва замѣтныхъ разницъ не можетъ быть и рѣчи³. Вундтъ не дѣлаетъ этихъ выводовъ, находясь, очевидно, подъ вліяніемъ своего учителя — Фехнера.

Лекціи 8—13 разъясняютъ образование пространственныхъ представлений. Вундтъ стоитъ на эмпирической точкѣ зрѣнія и развиваетъ теорію сложныхъ мѣстныхъ знаковъ. При этомъ, онъ совершенно справедливо говоритъ, что первенствующая и руководящая роль въ дѣлѣ образования пространственныхъ представлений принадлежитъ не осозанію, а зрѣнію.

Въ 14—15 лекціяхъ рассматриваются чувствованія и хотѣнія.

Съ 16 по 22 лекцію идетъ разсужденіе о связи между представлениями. Это разсужденіе обнимаетъ собою ученія: о сознаніи, его развитіи и объемѣ, о продолжительности отдѣльныхъ психическихъ

² 126—127 стр. въ нѣмецк. подлинникѣ; ср. стр. 117 въ русск. переводе.

³ Подробное раскрытие этихъ мыслей находится въ „Христ. Чтеніи“, за мартъ—апрѣль, въ статьѣ „Психо-физическая исследованія и ихъ значеніе для психологіи“.

процессовъ, объ ассоціативныхъ и апперцептивныхъ соединеніяхъ, представлений и о центральныхъ состояніяхъ души: о душевныхъ разстройствахъ, сновидѣніяхъ и гипнотизмѣ. Рассматриваемыя лекціи — самыя интересныя во всей книгѣ. Читатель, незнакомый съ экспериментально-психологическими изслѣдованіями, можетъ составить на основаніи этихъ лекцій отчетливое понятіе объ измѣреніи объема сознанія, о происхожденіи психометрическихъ изслѣдованій, о способахъ ихъ производства и т. д. Онъ увидитъ также, какая тѣсная связь существуетъ между гипнотическими состояніями, сновидѣніями и душевною жизнью во время бодрствованія, и какъ, следовательно, важно знаніе психологіи для лицъ, интересующихся гипнотизмомъ.

23—24 лекціи посвящены психології животныхъ. Здѣсь говорится о задачахъ и методахъ этой психологіи и высказывается общей взглядъ на душевную жизнь животныхъ. Психологія животныхъ должна основываться на психології человека. Но отсюда не слѣдуетъ, что нужно приписывать животнымъ все, что мы находимъ въ своемъ внутреннемъ мірѣ. Большинство дѣйствій животныхъ основывается не на размышленіи, а на процессахъ воспроизведенія по законамъ ассоціації.

Въ 25—29 лекціяхъ содержится ученіе о чувствованіяхъ, аффектахъ, выразительныхъ движенияхъ, инстинктивныхъ дѣйствіяхъ, о волѣ и свободѣ. Эти лекціи заключаютъ въ себѣ много интересныхъ и правильныхъ мыслей. Преимущественнаго вниманія заслуживаютъ лекціи о происхожденіи инстинктовъ и произвольныхъ дѣйствій.

Въ послѣдней, 30-й, лекціи Вундтъ высказываетъ свой взглядъ на бессмертіе души, на отношеніе душевныхъ процессовъ къ тѣлеснымъ и на сущность души. Нельзя сказать, чтобы проводимый имъ взглядъ былъ насквозь прозраченъ и отличался законченностью. Но одно ясно, что Вундтъ — противникъ матеріализма. Не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, — говоритъ онъ, — что психическое можетъ быть дѣйствительно объясняемо лишь психическими, подобно тому какъ движение можетъ быть производимо лишь отъ другого движения.

Переведена книга неудовлетворительно. О недостаткахъ перевода можно судить по рецензіямъ въ «Журн. Мин. Нар. Просв.» за февраль, стр. 456—458 и въ «Церковн. Вѣстнике» № 12 за настоящій годъ. Издана книга чисто и на хорошей бумагѣ, но цѣна ея (5 рублей за 29 печатныхъ листовъ) слишкомъ высока.

Когда жили еврейские пророки?

(Ernest Haret, „La modernité des prophètes“, Paris 1891.)

1896.

Авторъ этой книжки, умершій въ 1889 г., имѣлъ нѣкоторую извѣстность во Франції, благодаря своему труду «Le christianisme et ses origines». Настоящая книжка издана отдельно, послѣ его смерти. Я говорю книжка, а не книга, потому что значительный какъ будто объемъ этого сочиненія оказывается обманчивою видимостью, созданною лишь типографскими ухищреніями. На самомъ же дѣлѣ это только воспроизведеніе (безъ перемѣнъ и дополненій) журнальной статьи, помѣщенной первоначально въ двухъ №№ «Revue des deux Mondes», всего страницъ 60. При такомъ объемѣ въ трактатѣ Авѣ доказывается слѣдующее положеніе: всѣ авторы пророческихъ книгъ въ еврейской Библіи, т. е. такъ называемые п'ijim acheronim (prophetae posteriores), отъ Исаіи и до Малахія, жили послѣ Маккавейскихъ войнъ за освобожденіе, а именно, одни изъ нихъ (такъ назыв. первый Исаія, Йеремія, Йезекіиль, Осія, Йоиль, Амосъ, Авдій, Йона, Михей, Наумъ, Аввакумъ и Софонія) жили при Ашмонеяхъ, Симонѣ и Йоаннѣ Гирканѣ (т. е. между 142 и 107 гг. до Р. Х.), другіе (именно такъ наз. второй Исаія, Аггей и Захарія) дѣйствовали столѣтіемъ позднѣе при идумейцѣ Иродѣ Великомъ, а послѣдній въ этомъ ряду пророковъ, Малахія, относится къ еще болѣе позднему времени: онъ писалъ подъ впечатлѣніемъ проповѣди Йоанна Крестителя, слѣд. въ 30-хъ годахъ по Р. Х. Около того же времени писалъ и авторъ книги Даниила (отдѣляемой въ еврейской Библіи отъ прочихъ пророковъ).

Для того, чтобы защищать такой взглядъ, необходимы нѣкоторыя особенные свойства и условія, которыя у Авѣ соединяются блестящимъ образомъ. На первое изъ нихъ онъ самъ прямо указы-

ваетъ, — именно на свое незнакомство съ еврейскимъ языкомъ, вслѣдствіе чего онъ могъ читать Ветхій Завѣтъ только въ переводахъ (стр. 6). При этомъ онъ заявляетъ, что изучалъ вопросъ о времени пророковъ *цѣлый годъ*, въ теченіе котораго читалъ о немъ публичный курсъ (*Je viens de donner à l'étude de cette question une année entière pendant laquelle j'en ai fait le sujet d'un cours public*, — стр. 8). Если въ предѣлы этого единственнаго года входилъ и публичный курсъ, т. е. сообщеніе *результатовъ* изученія, то на само изученіе приходится уже не цѣлый годъ, а развѣ только нѣсколько мѣсяцевъ. Такимъ образомъ, и помимо незнанія еврейскаго языка отношеніе этого библейскаго «критика» къ его предмету отличается рѣдкимъ легкомысліемъ, и поразительна та наивность, съ которой онъ самъ подчеркиваетъ крайне-поверхностный и торопливый характеръ своихъ занятій. Съ другими его свойствами, въ которыхъ онъ самъ не признается, мы познакомимся, слѣдя за его аргументаціей.

I.

Авѣ начинаетъ съ исторической характеристики того времени, къ которому онъ пріурочиваетъ большую часть пророковъ, именно времени Маккавейскаго восстания и послѣдовавшаго затѣмъ владычества національной династіи Ашмонеевъ. Онъ указываетъ, что еще прежде — въ III вѣкѣ до Р. Х. — евреи, подвластные поперемънно греко-египетскимъ Птоломеямъ и греко-сирійскимъ Селевкидамъ, мало-по-малу эллинизируются (*placés dans ce milieu hellénique il s'hellénisent insensiblement*, 17). Религіозно-политическое движеніе II вѣка не остановило культурной эллинизации еврейства, и даже титулъ, принятый Симономъ Маккавеемъ, какъ національнымъ государемъ, извѣстенъ только по-гречески — *εὐαγάρχος*. На основаніи подобныхъ актовъ нельзя, конечно, заключить (какъ, повидимому, заключаетъ Авѣ), что греческий языкъ былъ усвоенъ всѣмъ еврействомъ. На самомъ дѣлѣ онъ вполнѣ вошелъ въ общее употребленіе только у евреевъ «разсѣянія» (*διάσπορα*) — въ Египтѣ, Малой Азіи и Европѣ, въ Палестинѣ же и Сиріи имъ пользовались только высшіе классы, а народъ послѣ Вавилонскаго плененія говорилъ на арамейскомъ или такъ наз. сиро-халдейскомъ нарѣчіи. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно то, что въ эпоху, о которой говорить Авѣ, собственно еврейскій языкъ уже вышелъ изъ употребленія, сдѣлся мертвымъ.

Какъ же тогда объяснить, что всѣ публицисты того времени, — ибо съ точки зрѣнія нашего автора пророки были именно публицисты, писавшіе о современныхъ имъ, текущихъ, событияхъ, лишь прикрывая ихъ старинными именами, — какъ объяснить, что они всѣ писали на чистѣйшемъ древне-еврѣйскомъ языкѣ, и произведенія ихъ составляютъ классическіе образцы этого языка? Если прибавить еще, что и всю прочую библейскую письменность Авѣ относить къ той же маккавейской и послѣ-маккавейской эпохѣ, то получается совершенно фантастическое представлѣніе о цѣлой національной литературѣ высохайшаго достоинства (чего не отрицаешь и нашъ авторъ), которая создана на языкѣ уже умершемъ и при жизни своей не имѣвшемъ настоящей литературы. Если бы дѣло шло о двухъ или трехъ писателяхъ, то и это было бы неправдоподобно, ибо пришлось бы у этихъ писателей, кромѣ творческаго генія, предположить нѣбывалое въ тѣ времена филологическое знаніе и мастерство. Но когда предположеніе относится къ цѣлой литературѣ, то оно становится совершенно немыслимымъ. Это такъ же вѣроятно, какъ если бы мы представили себѣ, что всѣ русскіе писатели въ XIX вѣкѣ, въ особенности же публицисты и политики журналовъ и газетъ вдругъ стали безъ всякой побудительной причины писать на чистѣйшемъ церковно-славянскомъ языкѣ Остромирова Евангелія и при томъ, говоря о послѣдней турецкой войнѣ, замѣняли бы ее походомъ Святослава противъ грековъ, а русско-китайскій заемъ относили бы къ временамъ Ярослава.

Когда въ эпоху возрожденія въ Европѣ стали писать на хорощемъ латинскомъ языкѣ, то не говоря уже о специально-литераторскомъ характерѣ этихъ времень, какого вовсе не имѣла эпоха Ашмонеевъ въ Палестинѣ, помимо этого такое возобновленіе мертваго языка, во-первыхъ, не создало все-таки классическихъ совершенныхъ образцовъ, а, во-вторыхъ, оно уже имѣло предъ собою подлинную древне-латинскую литературу, которой эти новые писатели старались только какъ можно ближе подражать. Но случай Авѣ съ его открытиемъ совершенно подобенъ тому, какъ если бы кто-нибудь выступилъ съ заявлениемъ, что древней латинской литературы вовсе не существовало, а всѣ известные намъ ея образцы — оды Горация и поэма Виргилія, рѣчи Цицерона и анналы Тацита — все это написано неизвѣстными монахами частью въ эпоху преемниковъ Карла Великаго, а частью во время крестовыхъ походовъ, — при чемъ авторъ такого открытия добросовѣстно пояснялъ

бы, что самъ онъ по-латыни совсѣмъ не знаетъ, а пришелъ къ своему взгляду, «изучивши» въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ французскіе переводы латинскихъ книгъ съ кое-какими комментаріями.

Если бы внутренняя невозможность предположенія, что еврейскіе авторы, современные послѣднимъ Ашмонеямъ и даже Ироду, писали на языкѣ Амоса и Исаї, нуждалась еще въ какомъ-нибудь вѣнчанемъ подтвержденій, то мы нашли бы его въ той дѣйствительной литературѣ еврейской по происхожденію, которая несомнѣнно принадлежитъ къ этой поздней эпохѣ. У насъ есть книги маккавейскія, премудрость Соломона, премудрость Іисуса, сына Сирахова, пророчества Іудейской сивиллы, множество всякихъ псевдографовъ¹, — но все это и по языку и по литературному характеру не имѣть ничего общаго съ каноническими писаніями пророковъ, такъ что никакому компетентному критику и въ голову не могло придти относить эти двѣ группы произведеній къ одной эпохѣ.

Основное соображеніе о языкѣ пророческихъ книгъ, очевидное и безспорное для всѣхъ сколько-нибудь прикосновенныхъ къ этимъ предметамъ, составляетъ заранѣe une fin de non recevoir противъ взгляда Авѣ, который и былъ встрѣченъ въ ученомъ мірѣ или презрительнымъ молчаніемъ, или смѣхомъ. Но какъ же онъ самъ къ этому относится, чѣмъ пытается устраниТЬ главную несообразность своей гипотезы? Никакъ и ничѣмъ. Онъ ни словомъ не упоминаетъ обѣ этой трудности, какъ будто ему и въ голову не приходило, что вопросъ о языке извѣстныхъ литературныхъ памятниковъ и обѣ ихъ отношеніи къ другимъ памятникамъ той же національной литературы можетъ имѣть какую-нибудь важность при опредѣленіи времени происхожденія этихъ памятниковъ.

II.

Слѣдя молчаніемъ общую несозможность своего предположенія, Авѣ пріо обращается къ частнымъ доказательствамъ его вѣроятности, или же, какъ онъ рѣшительно утверждаетъ, — достовѣрности. Краеугольный камень для обоснованія своей теоріи онъ находитъ

¹ Псевдэграфами, т. е. лженадписанными, называются такія сочиненія, коихъ дѣйствительные авторы приписываютъ ихъ какимъ-нибудь древнимъ чаменитостямъ, чтобы придать больше авторитета своимъ идеямъ.

дить у Исаи въ главѣ XIX. Въ этой главѣ, т. е. собственно лишь въ немногихъ строкахъ изъ нея, онъ усматриваетъ связь съ однимъ извѣстнымъ событиемъ изъ эпохи Ашмонеевъ. Около 150 г. до Р. Х. Оніасъ, племянникъ первосвященника Оніаса Менелая, ставленника сирійскихъ царей, переселился въ Египетъ и, снискавъ расположение Иоанна Филометора, получилъ отъ него разрѣшеніе построить храмъ Богу Израилеву въ области Геліопольской. И вотъ мы читаемъ у Исаи (гл. XIX, ст. 19): «Въ день тотъ будетъ жертвенникъ Превѣчному среди земли Египетской и каменный столбъ близъ границы для Превѣчного» (Bajom hahū jihēh mizbeah la IHVH b'tok eres misraim umassebah esel-g'bulah la IHVH). Если взять этотъ стихъ отдельно, забывъ о контекстѣ, то можно, конечно, вмѣстѣ съ Авѣ увидѣть здѣсь указаніе на храмъ Оніасовъ, какъ еще Іосифъ Флавій замѣчалъ, что Исаія предсказалъ сооруженіе этого храма. Но уже и въ этомъ отдельномъ стихѣ вторая его половина — о неизвѣстномъ въ исторіи пограничномъ столбѣ, посвященномъ Превѣчному, заставляетъ видѣть здѣсь не столько указаніе на опредѣленный фактъ, сколько поэтическій оборотъ рѣчи, именно обычный въ Библіи parallelismus membrorum: жертвенникъ среди Египта и священный столбъ на границѣ. А почему здѣсь вообще говорится объ этихъ священныхъ предметахъ и объ Египтѣ, будетъ совершенно ясно, если не ограничиваться однимъ стихомъ, но прочесть всю главу, а также заглянуть въ предыдущую. Мы имѣемъ въ этихъ главахъ общемессіанское пророчество, — относящееся къ неопределенно-далекому будущему, — о наступленіи царства Божія, когда главные представители язычества, Мицраимъ и Ассуръ (Египетъ и Ассирия), а также Кушъ (Эфиопія) послѣ страшныхъ катастрофъ покаятся въ своемъ нечестіи, обратятся къ истинному Богу, воздадутъ ему поклоненіе и примирятся съ Израилемъ и между собою. Собственно о Египтѣ мы читаемъ, что Богъ прѣтъ эту страну своимъ гнѣвомъ, что она подвергнется великимъ мѣдствіямъ (отчасти напоминающимъ «казни» въ книжѣ Исхода),⁴ что затѣмъ египтяне познаютъ Превѣчного и будутъ служить Ему, а Превѣчный исцѣлитъ Египетъ, приметъ его какъ свой народъ и благословитъ его. Никакого отношенія все это къ Ашмонеямъ и къ Оніасову храму не имѣеть. Разъ предсказывается ощущеніе всего Египта, то жертвенникъ Превѣчному среди земли Египетской есть образъ, являющійся самъ собою; во всякомъ случаѣ говорится о жертвенникѣ, воздвигнутомъ египтянами для соединенного ихъ слу-

жения истинному Богу, а не для евреевъ. Тутъ становится понятнымъ столбъ во имя Превѣчнаго на границѣ или собственной окружности земли египетской: онъ долженъ показывать, что весь Египетъ, вся область (*g'bulah*), заключенная въ этихъ границахъ, стала принадлежать истинному Богу, или посвящена Ему.

Межу тѣмъ, если стать на точку зрѣнія Авѣ и видѣть въ стихѣ 19 указаніе современника на совершившееся событие, то куда дѣвать всѣ прочіе стихи, въ которыхъ говорится о событияхъ не совершившихся? Насъ увѣряютъ, что всѣ библейскія предсказанія суть пророчества *post factum*. Но когда же былъ такой случай, чтобы весь Ниль высохъ и совсѣмъ исчезъ (ст. 5—10)? До сихъ поръ этого еще не бывало, также какъ не бывало и того, чтобы пять египетскихъ городовъ (*chamesh arim b'eres misrajim*), т. е. Пентаполисъ, стали вдругъ говорить на кенаанскомъ, т. е. еврейскомъ, языке (ст. 18). Въ эпоху Ашмонеевъ этого не только не было, ио и не могло быть, такъ какъ тогда и въ самой Палестинѣ еврейскій языкъ уже вышелъ изъ употребленія, египетскіе же евреи несомнѣнно усвоили себѣ языкъ греческій.

Что касается до общаго содержанія всей XIX главы — обращенія Египта и Ассиріи къ Богу Израилеву, то это пророчество исполнилось въ позднѣйшія времена, такъ какъ и Египетъ и Передняя Азія приняли сначала христіанство, а потомъ отчасти перешли къ мусульманству, а обѣ эти религіи вышли изъ еврейства и признаютъ Бога Израилева своимъ истиннымъ Богомъ. Также исполнилось и предсказанное въ XVIII главѣ обращенія Эѳіопіи (Куша) къ истинному Богу, ибо Абиссинія въ IV вѣкѣ стала христіанскою съ примѣсью собственно-іудейскихъ элементовъ. Въ этомъ отношеніи совсѣмъ не стоило переносить Исаю въ эпоху Ашмонеевъ, такъ какъ и тутъ оно оказалось бы настоящимъ пророкомъ, а не публицистомъ, предсказывающимъ события послѣ ихъ совершеннія.

Весьма замѣчательны три послѣдніе стиха XIX гл. «Въ день тотъ будетъ открытая дорога изъ Египта въ Ассирію, и будутъ служить (Богу) Египетъ вмѣстѣ съ Ассуромъ. Въ день тотъ будетъ Израиль въ-третьихъ съ Египтомъ и съ Ассуромъ въ благословеніи всей земли, которымъ благословитъ ее Превѣчный Цебаотъ, говоря: благословенъ народъ Мой Египетъ и созданіе рукъ Моихъ Ассуръ и наслѣдие Мое Израиль». — Авѣ не стѣсняется относить это мѣсто къ борьбѣ Селевкидовъ съ Птоломеями, когда Иерусалимъ нѣсколько

разъ переходилъ изъ однѣхъ рукъ въ другія. Но что же общаго эти военно-политическая отношенія имѣютъ съ тѣмъ, о чёмъ говорится у пророка — съ духовнымъ союзомъ Египта, Ассирии и Израиля въ служеніи единому Богу, благословляющему всѣхъ троихъ?

Большое подтверждение своей теоріи Авѣ находитъ въ томъ, что, упоминая о пяти городахъ, которые будуть говорить на кенаанскомъ языкѣ, пророкъ замѣчаетъ: одинъ изъ нихъ будетъ называться *ir ha Heres*. Это название можно перевести *городъ Солнца*, по-гречески *Ηλιόπολις*, по егип. *Onz*. А такъ какъ храмъ Оніаса былъ построенъ въ геліопольской области (номѣ), то нашъ авторъ и объявляетъ съ торжествомъ, что Исаія прямо указываетъ на Оніасовъ храмъ. Немного больше знанія и сообразительности сдѣлали бы такой аргументъ невозможнымъ. *Onz* или Геліополисъ былъ издревле въ памяти евреевъ роднымъ мѣстомъ для Эфраима и Манассіи, такъ какъ ихъ мать Аснатъ, жена Іосифа, была дочерью жреца Геліопольского (Быт. XLI, 45). Затѣмъ тутъ же, по древнему преданию, воспитывался Моисей и отъ жрецовъ Солнечнаго бога научился «всей премудрости египетской», а въ Манеоновой лѣтописи онъ самъ называется жрецомъ Геліопольскимъ. Этими воспоминаніями можно, конечно, объяснить, почему Исаія въ своемъ мессіанскомъ пророчествѣ упомянулъ о городѣ Солнца; они же, усиленныя словомъ Исаіи, могли побудить Оніаса выбрать область Геліопольскую для построенія своего храма. Такимъ образомъ между этимъ храмомъ и пророчествомъ Исаіи есть, можетъ быть, связь, но только прямо обратная той, которую предполагаетъ Авѣ.

III.

Послѣ XIX гл. Исаій нашъ авторъ находитъ второй краеугольный камень для своей теоріи въ главахъ XXIV—XXVII, гдѣ говорится между прочимъ о паденіи и разрушеніи крѣпкаго города. Онъ относитъ это къ взятію іudeями, при Симонѣ Маккавеѣ, іерусалимской крѣпости, акры, составлявшей послѣдній оплотъ греко-сирийской власти надъ Іудеей. Въ большей части этихъ четырехъ главъ говорится о вещахъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ взятію какого-либо города или крѣпости; такъ напр.: «И онъ сниметъ на этой горѣ покровы, которыми покрыты всѣ народы, и крышку, которая закрываетъ всѣ языки. Ибо онъ поглотилъ смерть во вѣки. И Превѣчный Господь сотретъ слезы со всякаго лица и сниметъ позоръ съ

народа Своего во всѣхъ странахъ. Ибо Превѣчный сказалъ» (XXV, 7, 8). Или далѣе: «Оживутъ мертвые твои и возстанутъ съ тѣлами. Пробудитесь и воскликните, лежащіе во прахѣ, ибо роса полей зеленѣющихъ, роса Твоя, и землю Рефаймовъ (злыхъ мерутвецовъ) Ты писпровергнешь» (XXVI, 19). Среди подобныхъ грандіозныхъ предсказаний есть нѣсколько стиховъ, гдѣ говорится о нѣкоемъ городѣ, которые Авѣ выбираетъ и соединяетъ вмѣстѣ для своей цѣли. Въ этомъ видѣ они не представляютъ дѣйствительно ничего прямо противорѣчащаго его мнѣнію, но также и ничего такого, что бы его доказывало, ничего такого, чтѣ бы нась заставляло относить эти мѣста именно къ этому и только къ этому событию — взятію іерусалимской акры. Если бы теорія Авѣ была доказана или доказуема, то ссылка на эти главы могла бы служить подтвержденіемъ, но какъ самостоятельное доказательство, да еще одно изъ двухъ главныхъ, она только подчёркиваетъ беспомощность теоріи. Любопытенъ при этомъ слѣдующій пріемъ нашего автора.

Въ концѣ XXVII гл. говорится, что въ это время соберутся сыны Израилевы, отъ Евфрата до Нила, покинутые въ землѣ Ассурѣ и отвергнутые въ землѣ Египетской, — соберутся они всѣ одинъ за другимъ и придутъ молиться Превѣчному на Святой горѣ въ Іерусалимѣ (ст. 12, 13). Такого массового возвращенія изгнанниковъ и переселенцевъ по поводу взятія Акры и вообще при Ашмонеяхъ не было, никакихъ историческихъ извѣстій ни о чёмъ подобномъ не существуетъ, да и самъ фактъ быль бы въ высшей степени невѣроятенъ. Но нашъ авторъ, приведя это пророчество Исаіи о собраніи всѣхъ евреевъ на Святой горѣ и относя его вопреки всякому правдоподобію къ взятію іерусалимской крѣпости, прибавляетъ отъ себя, съ полною увѣренностью и ни на что не ссылаясь: «Это значитъ, что послѣ того, какъ независимость Израїля была, наконецъ, обеспечена, всѣ тѣ, которые были изгнаны въ Египетъ и въ Сирію, или сами себя изгнали, но будучи въ состояніи переносить македонское владычество, возвращаются со всѣхъ сторонъ на родину» (стр. 63). Но откуда онъ знаетъ объ этомъ возвращеніи, о которомъ ничего не знаетъ исторія? Вмѣсто того, чтобы свой взглядъ подтверждать дѣйствительными фактами, удостоенными изъ другихъ источниковъ, онъ самый этотъ еще недоказанный взглядъ, или истолкованные по этому взгляду пророческие тексты, принимаетъ за самостоятельное основаніе для утвержденія *новыхъ* фактовъ, не имѣющихъ за себя никакихъ другихъ свидѣтельствъ.

Въ началѣ XXVIII главы у Исаіи говорится о бѣдствіяхъ, ко-
торымъ подвергнется Эфраимъ, т. е. царство Израильское: «Увы,
вѣнецъ пышности пьяницы Эфраима, и цвѣтокъ поблекшій стройной
красоты его, что на челѣ долины тучной, тамъ, гдѣ бредятъ отъ
вина! Вотъ силачъ и богатырь отъ Господа, какъ буря съ градомъ,
непогода вредная, какъ буря водъ могучихъ стремительныхъ, пущенъ
на землю съ силою». — Авѣ относить это къ взятію Сихема, а по-
томъ Самаріи Ioannomъ Гирканомъ въ 129 г., при чемъ разрушенъ
былъ храмъ Самарянскій на горѣ Гаризимъ. Но у Исаіи говорится
о паденіи великоклѣнаго города, котораго жители роскошествовали
и пьянствовали. Это вполнѣ подходитъ къ Самаріи, какъ столицѣ
Израильскаго царства въ VIII вѣкѣ, и вовсе не подходитъ къ бѣд-
ной самарянской общинѣ II вѣка, которая могла гордиться только
своимъ храмомъ, — но именно на храмъ и нѣтъ никакого указанія
у Исаіи. Относить выраженіе «вѣнецъ пышности» (*âtereth geith*)
къ гаризимскому храму, а не къ царской Самаріи съ ея дворцами,
было бы не только произвольно, но и прямо несообразно тексту, ко-
торый связываетъ этотъ «вѣнецъ пышности и поблекшій цвѣтокъ
стройной красоты» не съ чѣмъ-нибудь религіознымъ (по понятіямъ
маккавейской эпохи), а только съ пьянствомъ и пьянямъ бредомъ
эфраимлянъ. Нѣтъ также никакого основанія въ «силачъ и бога-
тырь отъ Господа» (*hazak u'ammis ladonal*) видѣть непремѣнно Ioан-
на Гиркана, а не царя Ассирійскаго, какъ совершиителя Божіихъ
карь — представление весьма свойственное Библіи, — или же одного
изъ іудейскихъ царей, наносившихъ тяжкіе удары своимъ израиль-
скимъ соперникамъ. — Видѣть въ словахъ Исаіи современное собы-
тию извѣстіе о разореніи Самаріи въ маккавейскую эпоху невозможно
уже потому, что никакой правовѣрный іудей этой эпохи не сталъ
бы отождествлять тогдашнихъ ненавистныхъ самарянъ съ Эфраи-
момъ. «Пьяницы» Эфраима были все-таки свои братья, сыны
Израилевы, тогда какъ самаряне Гаризимскаго храма были для іеру-
салимскаго патріота хуже, чѣмъ язычники.

Въ XXXIV гл. Исаіи описывается въ яркихъ чертахъ буду-
щая конечная гибель всего язычества: «Приблизьтесь, языки, съ
вниманіемъ и, народы, прислушайтесь! Внемли, земля и все напол-
няющее ее, вселенная и всѣ цвѣты ея! Ибо гнѣвъ Превѣтнаго на
всѣ языки и ярость на все воинство ихъ: на заклятіе и на закла-
ніе отдастъ ихъ» (ст. 1—2). Далѣе упоминается особенно о бли-

жайшихъ къ еврейству язычникахъ Идумейцахъ (Эдомъ), которымъ предсказывается совершенное уничтожение, такъ что страна ихъ превратится въ дикую пустыню, — что и исполнилось во времена позднейшія. Но Авѣ смѣло относить все это къ войнѣ того же Иоанна Гиркана съ идумейцами, хотя эта война вовсе не окончилась уничтоженiemъ Эдома и превращенiemъ его страны въ пустыню, и хотя въ текстѣ Исаїи нѣтъ ни малѣйшаго намека на походъ Гиркана, или на какую-нибудь характерную черту изъ тѣхъ временъ и обстоятельствъ. Но при очень большомъ желании и очень маломъ смыслѣ можно, конечно, отнести ко временамъ послѣднихъ Ашмонеевъ и описание того Мессіанскаго царства (Исаія, гл. XXXV), когда у слѣпыхъ отверзутся глаза, а у глухихъ уши, когда хромые будутъ скакать какъ олени, и языки нѣмыхъ будетъ вѣшать хвалу, когда хищныхъ звѣрей болѣе не будетъ на землѣ, и всѣ спасенные Господомъ вернутся въ Сіонъ съ сіяніемъ Вѣчности на главахъ ихъ. Если вѣрить Авѣ, то все это совершилось при томъ же этнархѣ Іоаннѣ Гирканѣ, около 120 г. до Р. Х. (стр. 67, 68).

Четыре слѣдующія главы (XXXVI—XXXIX) нашъ авторъ голо- словно, но смѣло, объявляетъ позднейшею прибавкою, взятою изъ Книги Царствъ (*ce sont des pages du Livre des Rois, où figure le vieux prophète, et qu'on (?) a cru devoir reproduire à la suite du livre qu'on lui attribue*, стр. 68). До сихъ поръ критики, вообще, полагали наоборотъ, что историческія показанія Исаїи были въ качествѣ первого источника внесены въ болѣе позднюю Книгу Царствъ при ея окончательной редакціи. Авѣ, очевидно, думалъ, что умолчать объ этомъ общепринятымъ мнѣніи значить его опровергнуть. Впрочемъ, если свое собственное мнѣніе о сравнительной древности Книги Царствъ онъ распространялъ также и на книги еврейскихъ лѣтописей (*Dibré hajamim* — Паралипомены), то онъ могъ бы найти тамъ слѣдующее, неудобное для себя свидѣтельство: «прочія дѣла Езекія и кротость его — вотъ онѣ написаны въ видѣніи Исаїи пророка, сына Амоцова, и въ книгѣ Царей Іудиныхъ и Израилевыхъ» (2 Паралип. XXXII, 32).

IV.

Приступая къ пророку Йеремію, Авѣ самъ признается въ трудности подвести его подъ свою теорію, но разъ решено подвести, то никакія трудности не могутъ остановить смѣлаго критика. Тѣмъ

не менѣе Іеремія настолько непріятенъ нашему автору, что онъ, по-видимому, не могъ принудить себя прочесть этого пророка цѣликомъ, а только мѣстами его проглядывалъ. Это было бы по крайней мѣрѣ самымъ благопріятнымъ для Авѣ объясненіемъ его неимовѣрнаго утвержденія, будто въ *пророчествахъ* Іереміи совсѣмъ не говорится о разрушеніи Іерусалима халдеями (стр. 80). Это утверждаетъ Авѣ, а у Іереміи мы читаемъ слѣдующее: «И послалъ царь Цедекія Юхала «сына Шелеміна» и Цефанію священника, сына Маассина, къ Іереміи пророку, говоря: — Помолись за насъ Превѣчному, Богу нашему. — А Іеремія входилъ и выходилъ среди народа, и не сажали его въ темницу. — И войско Фараона вышло изъ Египта; и услыхали слухъ о нихъ халдеи, стоявшіе станомъ подъ Іерусалимомъ, и снялись изъ-подъ Іерусалима. И было слово Превѣчнаго къ Іереміи пророку, говоря: — Такъ говорить Превѣчный, Богъ Израилевъ: такъ скажите царю, пославшему васъ ко мнѣ, чтобы испытывать меня: вотъ войско фараоново, выдшедшее къ вамъ на помощь, вернется въ землю свою, въ Египетъ; и возвратятся халдеи и ополчатся на городъ этотъ и *возьмутъ его и сожгутъ его огнемъ*. Такъ говорить Превѣчный: Не обманывайте души ваши, говоря: уходя уйдуть отъ насъ халдеи, — ибо они не уйдутъ. И если бы вы разбили все войско халдейское, воюющее съ вами, и остались бы у нихъ только люди раненые, каждый при палаткѣ своей встанетъ и *сожгутъ городъ этотъ огнемъ*» (XXXVII, 3—10). Это мѣсто не стоитъ одиноко у Іереміи: черезъ всю его книгу проходятъ предсказанія о гибели Іерусалима. Приведу лишь нѣкоторыя. «Ибо Я обратилъ лицо Моє противъ города этого къ *бѣдѣ*, а не къ добру, — говоритъ Превѣчный; — въ руки царя Вавилонскаго будетъ преданъ онъ и *сожженъ огнемъ*» (XXI, 10). — «И Цедекію царя Іудина и вельможъ его отдамъ въ руки ищущихъ души ихъ и въ руки войскъ царя Вавилонскаго, что ушли отъ васъ. Вотъ заповѣдаю имъ, говоритъ Превѣчный, и вернутся къ городу этому, и ополчатся на него, и *возьмутъ его, и сожгутъ его огнемъ*, и вмѣстѣ съ нимъ города Іудины предамъ запустѣнію даже до того, что не будетъ обитающаго» (XXXIV, 21—22). Въ главѣ XXXVIII Іеремія говоритъ царю Цедекію: «И всѣ жены твои, и сыны твои уведутся къ халдеямъ, и ты не избѣгнешь рукъ ихъ, ибо руками царя Вавилонскаго будешь ты схваченъ, и *городъ этотъ сожжется огнемъ*» (стр. 23).

Кромѣ этихъ и имъ подобныхъ пророческихъ мѣстъ, пропущен-

ныхъ или обойденныхъ критикомъ, у Іеремія есть исторический разсказъ о гибели Іерусалима, въ главѣ XXXIX и LII, который Авѣ голословно объявляетъ взятымъ изъ Книги Царствъ, — предположеніе (помимо своей произвольности) совершенно для него бесполезное, разъ, кромѣ этихъ главъ, о гибели Іерусалима отъ халдеевъ говорится у Іеремія во многихъ другихъ текстахъ, каковы вышеупомянутые, къ которымъ отважный критикъ не посмѣль даже подступить.

Отъ дышащаго жизненной правдой изложенія событій, въ которыхъ самъ Іеремія принималъ непосредственное участіе (гл. XXXVI—LII), критикъ отдаѣвается изумительнымъ замѣчаніемъ о невѣроятности этого разсказа, — онъ кажется ему невѣроятнымъ потому, что царь Іудейскій и его приближенные не испугались угрозъ пророка и не раскаялись (*ni le roi ni ses serviteurs ne s'effrayent des menaces prophétiques, et ne pensent à demander grâce.* Il est clair que nous lisons là une fiction, non une histoire, стр. 93). А если бы у Іеремія было разсказано наоборотъ, что царь Іудейскій и его слуги послушались увещаній пророческихъ и раскаялись въ грѣхахъ своихъ, безъ всякаго сомнѣнія, тотъ же Авѣ воскликнулъ бы съ торжествомъ (и на этотъ разъ съ большимъ правомъ): какъ это непохоже на исторію, какая явная небылица!

V.

Отвергая очевидную правду, какъ вымыселъ, критикъ естественно считаетъ себя въ правѣ сочинять факты небывалые и неслыханные. Въ XXXI гл. Іеремія говорится о будущемъ собраніи вмѣстѣ всѣхъ частей еврейскаго народа, о примиреніи дома Іудина и дома Израилева. Нашъ авторъ рѣшительно утверждаетъ, что такое соединеніе и примиреніе совершилось при Иоаннѣ Гирканѣ. Приведя мессіанскія пророчества Іеремія о радости и ликованіи народа при возстановленіи царства Давида и заявивъ, — какъ всегда голословно и противно всякимъ вѣроятностямъ, — что эти мѣста относятся ко времени Ашмонеевъ и ни къ какому другому относиться не могутъ, Авѣ продолжаетъ такъ (стр. 84): *Mais voici un autre tableau qui ne peut non plus se placer qu'à cette date. C'est celui du retour d'Ephraïm ou d'Israël en sens restreint où le mon d'Israël s'oppose à celui de Juda, c'est à dire le retour des tribus séparées: pour la première fois alors Ephraïm est reconcilié ou plutôt soumis. Et il suffit*

d'ouvrir le livre d'Esdras pour s'assurer combien il s'en fallait qu'il en fût ainsi au temps de Zorobabel. Mais cela s'est vu sous Hyrcan, fils de Simon, et voici ce qui se lit dans Jérémie². Слѣдуютъ слова Йереміи о томъ, что Превѣчный будеть Богомъ для всѣхъ илменъ Израилевыхъ³ и затѣмъ извѣстное обращеніе Господа къ безутѣшной Рахили: «Такъ говорить Превѣчный: голось въ Рамѣ слышенъ, плачь и рыданія горькія, Рахиль рыдаєтъ по сынахъ своимъ и не можетъ утѣшиться о сынахъ своихъ, ибо нѣть ихъ. Такъ говорить Превѣчный: удержи голось твой отъ рыданій и глаза твои отъ слезъ; ибо будетъ награда за трудъ твой», говоритъ Превѣчный, и они вернутся изъ земли враговъ» (XXXI, 14—15, по евр. Библіи).

Если читатель все-таки недоумѣваетъ: что же собственно имѣетъ въ виду Авѣ, что такое случилось при Ioannѣ Гирканѣ столь утѣшительного для Рахили, то пусть онъ вспомнитъ, что этотъ правитель іудейскій разорилъ Самарію и Сихемъ и разрушилъ Гаризимскій храмъ! Хорошо еще, что Рахиль на самомъ дѣлѣ имѣла лишь очень слабую и отдаленную связь съ этою новою Самаріей, разореною Гирканомъ, а то утѣшеніе было бы ужъ очень странное. Тутъ критикъ приобѣгастъ къ сознательному и весьма грубому обману невнимательныхъ читателей: чтобы *разореніе* Самаріи превратить въ *примиреніе* Іуды съ Израилемъ, или Веньямина съ Эфраимомъ, употребляется такой оборотъ рѣчи: тогда (при Ioannѣ Гирканѣ) впервые Эфраимъ былъ *примиренъ или скорѣе покоренъ* (*r  concili  ou plut t soumis*). Вопіющая нелѣпость самой мысли слегка прикрыта этою гладкою фразой и при бѣгломъ чтеніи можетъ проскользнуть незамѣтно. Но въ самомъ дѣлѣ развѣ покореніе и примиреніе одно и то же? И какое еще покореніе: съ рѣзней, грудами развалинь, уничтоженіемъ святыни! Послѣ этого и разрушеніе Йерусалима римлянами можно считать примиреніемъ Іакова съ Исавомъ⁴.

² „Но вотъ другая картина, которая также можетъ быть помѣщена въ это время. Это картина возвращенія Эфраима или Израиля (въ тѣсномъ смыслѣ слова по противоположенію съ Лудой), т. е. возвращеніе отдаленныхъ колѣнъ: впервые Эфраимъ примиренъ, или скорѣе покоренъ. И достаточно раскрыть книгу Эздры, чтобы убѣдиться, какъ далеко было до того во время Зоровавеля. Но это случилося при Гирканѣ, сынѣ Симона, и вотъ, что читается у Йереміи.

³ По евр. Библіи гл. XXX, 24, по переводамъ XXXI, 1.

⁴ Въ раввинической литературѣ Риму усвоено название Исава или Эдома.

А вотъ еще образецъ критического метода, которому нашъ авторъ обязанъ своими важными открытиями: «пророчество (Иеремино) обѣ Эдомъ, говорить онъ, должно относиться, также какъ Исаинио, къ завоеванию Идумеи Гирканомъ. Что же касается пророчества о паденіи Вавилона, то я отношу его опять къ нашествію парсіянъ въ серединѣ II вѣка» (*la prophétie sur Edom (XLIX, 7) doit se rapporter, ainsi que celle d'Isaïe, à la conquête de l'Idumée par Hyrcan.* Et quant à celle de la ruine de Babylone (chap. LI et LII) je la rapporte encore à l'invasion des Parthes au milieu du II siècle, стр. 87). Этими строками исчерпана вся аргументація критика по этимъ двумъ пунктамъ: *должно относиться, я отношу* — этого довольно, и никакихъ дальнѣйшихъ оснований не требуется.

Впрочемъ, когда нашъ авторъ пускается въ разсужденія, то выходитъ еще хуже. У Иереміи есть сильное обличеніе «мерзости» человѣческихъ жертвъ, — ясное, казалось бы, свидѣтельство, что этотъ пророкъ писалъ до Вавилонского плененія, когда такія жертвы еще могли быть обычными въ полу-языческой массѣ іудеевъ. Но Авѣ умудряется и эту черту пріурочить къ эпохѣ Ашмонеевъ съ помощью слѣдующаго разсужденія (стр. 103): человѣческія жертвы суть выраженіе крайняго фанатизма, но фанатизмъ у евреевъ долженъ быть обостриться вслѣдствіе маккавейскихъ войнъ (*ce fanatisme avait eu sans doute une recrudescence pendant les crises douloureuses du milieu du II siècle*), — значитъ, въ это время евреи должны были усиленно жечь своихъ младенцевъ въ храмѣ Иерусалимскомъ, вызывая этимъ обличеніе благонамѣренныхъ публицистовъ въ родѣ автора книги Иереміи, очевидно, написанной въ это время. Едва ли, однако, можно согласиться, что всякий фанатизмъ выражается непремѣнно въ такихъ жертвахъ, какъ сожиганіе своихъ дѣтей: такъ, напр., даже крайний фанатизмъ отрицательной критики доволѣствуется жертвою здраваго смысла и исторической науки.

Относительно Иереміи у Авѣ есть только одно замѣчаніе, похожее какъ будто на серьезный аргументъ, именно указаніе па то, что обѣ этомъ пророкѣ не упоминается въ Книгѣ Царствъ; но и это расчитано только на читателей, незнакомыхъ съ Библіей. А тѣ, которые съ неї знакомы, знаютъ во-первыхъ, что послѣднія события въ Иерусалимѣ передъ Вавилонскимъ плененіемъ, т. е. именно тѣ события, въ которыхъ Иеремія принималъ участіе, вообще не рассказываются въ Книгѣ Царствъ, а сообщается только въ двухъ словахъ

фактъ конечной катастрофы, при чмъ одинаково естественно было и упомянуть, и не упоминать о дѣятельности пророка, смотря по расположению и намѣреніямъ историка; необходимымъ же такое упоминаніе во всякомъ случаѣ не было; люди, читающіе Библію болѣе внимательно, чмъ Авѣ, знаютъ во-вторыхъ, что о пророкѣ Йеремії упоминается вѣ двухъ священныхъ книгахъ, имѣющихъ историческое значение не менѣе Книги Царствъ (2 Паралип. XXXV, 25, XXXVI, 12, 21, 22 и Эздры I, 1). При томъ если изъ неупоминанія Йереміи вѣ Книгѣ Царствъ нашъ авторъ заключаетъ противъ подлинности Йереміи, то почему же изъ противоположнаго факта упоминанія Исаіи вѣ той же Книгѣ Царствъ онъ не дѣлаетъ никакого заключенія вѣ пользу подлинности Исаіи? Не ясно ли, что тенденція, а не логика, управляетъ этими псевдокритическими упражненіями?

VI.

Справедливость требуетъ признать у нашего автора минуты просвѣтленія, когда онъ самъ чувствуетъ себя пеловко вѣ области исторической и какъ будто сознаетъ, насколько его взгляды несерьезны, и аргументы непозволительны вѣ научномъ отношеніи. «Но я спѣшу, говорить онъ по поводу дѣятельности Йереміи, выйти и вывести моихъ читателей изъ этой исторической чащи» (*de ces broussailles historiques*, стр. 91); и далѣе: «Но пора оставить подробности, истолкованіе которыхъ иногда затруднительно» (стр. 93). Вѣ другомъ мѣстѣ онъ совершенно основательно замѣчаетъ самому себѣ: «лучше быть умѣреннымъ относительно текстовъ, которые можешь читать только вѣ переводѣ (*Il vaut mieux être sobre sur des textes que je ne puis lire que traduits*, стр. 133).

Но послѣ минутнаго отрезвленія псевдокритической бредѣ возвращается съ прежнею силою. Йезекіиль, также какъ Исаія и Йеремія, говорятъ о бѣдствіяхъ, которыя городъ Тиръ претерпѣлъ отъ вавилонянъ. Но *такъ какъ* эти пророки писали во II вѣкѣ, то *значитъ* вмѣсто вавилонянъ долженъ быть поставленъ Антиохъ Эпифанъ. Правда, изъ исторіи извѣстно, что Антиохъ Эпифанъ съ Тиромъ не воевалъ и никакихъ бѣдствій ему не причинялъ, но это все равно: онъ, вѣроятно, хотѣлъ разорить Тиръ, и іудеи заранѣе этому радовались (стр. 121). Но Исаія, описавши паденіе Тира, говорить затѣмъ, что онъ будетъ возстановленъ, и что тогда богатства его

купщовъ будуть посвящены Богу Израилеву и пойдутъ на содержаніе его священниковъ. Что же? «Можно предположить, что это случилось во время Гирканы» (On peut supposer du'on vit cela au temps d'Hyrcan, стр. 122).

У пророка Осія мы читаемъ, что іудеи будутъ спасены Превѣчными, Богомъ ихъ, а не оружіемъ и битвами (I, 7). Нашъ авторъ увѣряетъ, что это относится ко временамъ маккавейскимъ и ни къ какимъ другимъ относиться не можетъ, какъ будто Маккавеи освободили свой народъ безъ помощи оружія и безъ битвъ! Тотъ же пророкъ обличаетъ израильтянъ въ Самаріи за поклоненіе идолу въ видѣ «тельца» (VIII, 4—6) — ясное, казалось бы, свидѣтельство о древности этого пророка. Но Авѣ относится къ этому иначе. Припоминая, какъ всегда, свой недоказанный и недоказуемый хронологический тезисъ за несомнѣнную истину, онъ заключаетъ: такъ какъ Осія долженъ былъ жить во II вѣкѣ, то значитъ во II вѣкѣ культь тельцовъ еще сохранился у евреевъ!

По поводу пророка *Іоіля* мы получаемъ успокоительное увѣреніе, что предсказанный этимъ пророкомъ страшный судъ въ долинѣ Іосафатовой уже совершенъ Симономъ и Гирканомъ — «c'est Simon et Hyrcan qui ont exécuté ce jugement de leur Dieu» (стр. 140).

Амосъ также даетъ поводъ нашему автору къ интересному открытию. «Я не пророкъ и не сынъ пророческій», говоритъ Амосъ, и въ этомъ Авѣ видитъ ясное указаніе, что онъ жилъ послѣ окончательного освобожденія евреевъ отъ греко-сирийского владычества. Дѣло въ томъ, что пророковъ, — которыми въ то время, повидимому, кишала вся Палестина, — высоко цѣнили, какъ возбудителей народнаго энтузіазма въ войнѣ противъ грековъ, когда же она кончилась, то ихъ стали, напротивъ, опасаться и преслѣдовать, а потому имъ и приходилось отрекаться отъ своего званія. Въ такомъ объясненіи нѣть ничего несообразнаго — для не читавшихъ Амоса и незнакомыхъ, вообще, съ исторіей еврейства.

Увидавъ на страницахъ нашего критика имя *Іоны*, я ожидалъ доказательствъ, что китъ, проглотившій пророка, былъ также современникомъ Симона Маккавея и Иоанна Гирканы, но, къ сожалѣнію, Авѣ не коснулся этого обстоятельства.

Зато по поводу пророка *Михея* мы узнаемъ двѣ любопытныя новости: 1) что Мессія, о которомъ пророчествуетъ Михей, былъ именно не кто иной какъ Ашмоней Симонъ, этнархъ іудейскій (стр.

150), и 2) въ дополненіе къ прежнимъ указаніямъ, — что въ это время, т. е. во II вѣкѣ, официальная религія евреевъ требовала сожиганія младенцевъ, что ихъ приносили въ жертву самому Богу Израилеву «c'était bien à Jéhova lui même qu'on faisait ces immolations d'enfants» (152).

По поводу *Наума*, *Аввакума* и *Софонии* нашъ авторъ не говоритъ ничего поразительнаго, повторяя только, что они жили во II вѣкѣ. Что касается до *Аггея* и *Захаріи*, то, какъ припомнить читатель, они жили около Р. Х.; Мессія, котораго они возвѣщали, былъ Иродъ (159 и слѣд.). Особенно идетъ къ этому идумейцу названіе *отрасль Давидова!* Къ нему должно относить то, что у этихъ двухъ пророковъ говорится о Зоровавель, а у такъ называемаго второго Исаи — о Кирѣ. Но чтобы быть безпристрастивымъ, Авѣ къ тому же Ироду относитъ и то, что говорится объ антихристѣ, врагѣ Святыни и Бога и народа Божія, — въ книгѣ *Даниила*.

Эта книга, равно какъ и книга пророка *Мелахіи*, написана послѣ Ирода, сѣдовательно, около половины I вѣка по Р. Х. Тутъ есть одно маленькое затрудненіе, легко, впрочемъ, устранимое. Въ нашихъ каноническихъ евангеліяхъ п *Данииль* и *Малахій* цитируются какъ древніе и священные авторитеты. Когда же написаны евангелія? Если бы какой-нибудь единомышленникъ Авѣ захотѣлъ превзойти его критическю смѣлостью не отступая, однако, отъ его правиль и приемовъ, то ему слѣдовало бы утверждать, что евангелія написаны въ началѣ XVI вѣка, именно докторомъ Мартиномъ Лютеромъ, съ несомнѣнною и плохо скрываемою цѣлью основать на нихъ евангелическое исповѣданіе.

Нельзя не отмѣтить еще одного любопытнаго обстоятельства. Есть указанія, что греческій переводъ еврейскихъ священныхъ книгъ, въ томъ числѣ *Даниила* и *Малахіи*, уже существовалъ около 130 г. до Р. Х.; но если эти два пророка писали лишь въ I вѣкѣ по Р. Х., то вотъ единственный доселѣ примѣръ литературиыхъ произведеній, переведенныхыхъ на иностранный языкъ за полтораста лѣтъ до того, какъ они были первоначально написаны.

VII.

Въ лицѣ Авѣ злоупотребленіе отрицательною критикою дошло до абсурда, до смѣшной карикатуры. Не мало нелѣпаго и смѣшнаго

было, конечно, и на противоположной сторонѣ... Нынѣ обѣ крайности можно считать похороненными. Настоящее отечество отрицательной критики, Германия, все болѣе и болѣе отказывается сть «гиперкритического» произвола, а съ другой стороны неподвижный доселѣ оплотъ традиціонной экзегезы, Англія, примыкаетъ въ этой области къ общему научному движению, не избѣгая даже нѣкоторыхъ увлечений, которыя все-таки лучше прежней косности.

Ископаемыя рѣдкости слѣпого буквализма встрѣчаются теперь только въ странахъ и кругахъ, завѣдомо чуждающихъ науки, а вмѣстѣ съ тѣмъ такіе *enfants terribles* противоположного направленія, какъ Haret, принуждены горько жаловаться на полное презрѣніе къ ихъ теоріи со стороны ученыхъ, изъ коихъ «только тѣ ее пощадили, которые ничего о ней не сказали» (*ceux-là seulement l'ont ménagée qui n'en ont rien dit*, стр. 7).

Правду сказать, и здѣсь, какъ обыкновенно бываетъ, противоположныя крайности традиціонаго и отрицательнаго направлѣнія суть произведенія одной и той же почвы — школьнай отвлеченностіи, — онѣ порождены однимъ и тѣмъ же духомъ, или, лучше сказать, однимъ и тѣмъ же отсутствіемъ духа, одинаковыи *разнодушіемъ* къ сущности, къ внутреннему смыслу Библіи и пророческихъ писаній въ особенности.

Но при разнодушіи и невниманіи къ этому существенному содержанію, къ тому, что вдохновляло библейскихъ писателей, ради чего они дѣйствовали и писали, самый вопросъ о времени и обстоятельствахъ ихъ дѣятельности теряетъ живой интересъ и вмѣстѣ съ тѣмъ лишается главной основы для своего правильнаго решенія. Ибо только пониманіе того *смысла* еврейской исторіи, который выразился въ Библіи, даетъ намъ твердую точку опоры для истиннаго сужденія о времени и историческихъ рамкахъ, въ которыхъ жили и дѣйствовали носители этого смысла. Этимъ, конечно, не устраняется интересъ и необходимость специальныхъ филологическихъ и историческихъ изысканій, но и для нихъ самихъ необходимо пониманіе дѣла по существу, какъ исходная точка и руководящая нить умственной работы.

Я вовсе не имѣю здѣсь въ виду какого-нибудь метафизического построенія иaprіорнаго выведенія исторіи: я беру дѣло просто и элементарно. Существуетъ несомнѣнныи фактъ, что небольшая и при томъ раздробленная еврейская нація пережила въ древнія времена —

и пережила съ выгодаю для себя, съ внутреннимъ ростомъ и возвышенiemъ, такія историческія катастрофы, отъ какихъ въ конецъ погибали несравненно болѣе сильныя, сплоченные и культурныя национальныя тѣла. Значитъ, еврейскій народъ пережилъ это не силою материальною, а силою духовною. Эта духовная сила, несомнѣнно, была связана съ национальною религіей, такъ какъ кромъ нея иныхъ значительныхъ выражений народнаго духа у евреевъ не было. Но этимъ дѣло еще не объясняется. И у всѣхъ другихъ народовъ были национальныя религіи, и на первый взглядъ трудно найти существенное различие между первоначальною религіей сыновъ Израилевыхъ и религіей сыновъ Моаба, Амона, или Эдома. Но они погибли, а Израиль остался несокрушимъ. Значитъ, въ религіи евреевъ было что-то большее, чѣмъ ея видимая национальная форма, было какое-то внутреннее превосходство, благодаря которому укрѣпился духъ народа и сталъ способнымъ пережить разрушение своего политического тѣла. Это большее, отличавшее национальную религію евреевъ отъ всѣхъ другихъ и выражавшееся въ особенности у пророковъ, была не отвлеченная идея монотеизма, а живое сознаніе и чувство, что тотъ особенный Богъ, который есть национальное Провидѣніе Израиля и личное Провидѣніе каждого израильтянина, что Онъ же есть, во-первыхъ, Богъ всемирный, Который держитъ все въ Своей силѣ, а во-вторыхъ, что Онъ не есть Богъ силы только, но и Богъ правды, — не отвлеченно мыслимой, а реально дѣйствующей и осуществляющейся. Изъ такого соединенія силы и правды слѣдуетъ, что все совершающееся должно кончиться къ славѣ этого Бога, что для тѣхъ, кто вѣрець Ему, физическая бѣдствія суть только испытанія, способы и средства духовнаго совершенствованія и благополучія. А отсюда третій отличительный элементъ этого высшаго религіознаго сознанія — вѣра въ золотой вѣкъ *переди*, въ исторической прогрессѣ, или въ смыслѣ исторіи, въ окончательное царство правды.

Это высшее сознаніе есть поистинѣ *пророческое*, ибо оно предваряетъ будущее и самымъ этимъ предваренiemъ даетъ людямъ нравственныя силы для приближенія и осуществленія этого идеального будущаго. Только такое пророческое сознаніе могло спасти еврейскій народъ въ крайнихъ бѣдствіяхъ, непосильныхъ для другихъ народовъ. Всѣ виѣшия опоры существованія были у него отняты. Чѣмъ въ самомъ дѣлѣ сохранялось еврейство какъ единое национально-духовное общество во время Вавилонскаго плененія? Ни собственной

страны и государства, ни общаго культа, ни даже своего языка. Все было потеряно, что имѣли прочие народы и чѣмъ эти народы не спаслись. Израиль спасся тѣмъ, что было у него одного — духовнымъ соединенiemъ съ живымъ Богомъ Правды. Теперь спрашивается: *когда* возникла въ народѣ еврейскомъ эта внутренняя сила, когда жили первые иссители и выразители этого высшаго сознанія? Не ясно ли, что *передъ* тѣми виѣшними катастрофами, для перенесенія которыхъ нужна была эта духовная сила, это высшее сознаніе? По естественному ходу исторіи, тѣ идеальные начала, которыя овладѣваютъ сибирательными цѣлями, сперва являются въ лицѣ отдельныхъ избранниковъ. Если во время Вавилонскаго пленя и послѣ него цѣлое еврейское общество, по крайней мѣрѣ въ своихъ руководящихъ кругахъ, должно было усвоить для своего спасенія высшее религіозное сознаніе, то ясно, что единичные избранники должны были достигнуть этого сознанія и возвѣщать его *раньше* народнаго бѣдствія. Они оказались пророками въ трехъ смыслахъ: 1) они *предваряли* царство правды, идеально опредѣляя имъ свое религіозное сознаніе; 2) они обличали и судили дѣйствительное состояніе своего народа какъ противорѣчащее этому идеалу и *предсказывали* народныя бѣдствія какъ необходимое послѣдствіе такого противорѣчія; 3) съмѣясь своимъ явленіемъ и дѣятельностью они *предуказывали* выходъ изъ этого противорѣчія въ ближайшей будущности народа, именно черезъ признаніе имъ этого высшаго сознанія и подчиненіе ему.

Итакъ, на внутреннихъ основаніяхъ мы должны принять, что главные изъ еврейскихъ пророковъ жили частью *раньше* вавилонскаго плененія, частью въ началѣ его, что совершенно согласно, какъ съ древнимъ преданіемъ, такъ и съ мнѣніемъ всѣхъ серьезныхъ ученыхъ новѣйшаго времени.

Библія вообще и писанія пророковъ въ частности суть старѣйшее, но не отжившее, — попрежнему пророческое выраженіе самой высокой и чистой духовной силы, дѣйствующей въ человѣчествѣ. Относиться къ этому величайшему памятнику всемирной исторіи, отвлекаясь отъ его собственного содержанія или внутренняго смысла, видѣть въ немъ только отраженіе виѣшнихъ историческихъ обстоятельствъ, — это значитъ брать предметъ не такимъ, каковъ онъ есть, — значитъ поступать несправедливо, фальшиво, *ненаучно*. Съ другой стороны, смотрѣть на свидѣтельства исторического дѣйствія Бога живого какъ на окаменѣлую и неприкосновенную святыню, зна-

читъ показывать мертвую вѣру и грѣшить противъ Духа Святого, говорившаго черезъ пророковъ. Истинная научность требуетъ *понимать* въ Библіи то, что въ ней дѣйствительно есть существенное, именно духъ пророческій, а истинная религіозность требуетъ *принимать* этотъ духъ какъ вѣчно-живущую силу, которая не только опредѣляла въ прошедшемъ судьбы еврейскаго народа, но отъ которой должно зависѣть и созиданіе нашей собственной будущности.

Продолжение.

Магометъ, его жизнь и религіоз-
ное учение.

1896.

Misionaria, eto jekane n deciatos
noe Afrike

.0001

Предисловіе.

Основатель ислама называется на своемъ родномъ арабскомъ языке *Мухаммедъ*, такъ въ старину называли его и по-русски. Но въ настоящемъ столѣтіи вошло у насъ въ употребленіе взятое съ французского *Магометъ*. Въ текстѣ этой книжки введенъ мною *Мухаммедъ*, но на заглавномъ листѣ я долженъ былъ сохранить привычное для публики название.

Значеніе Мухаммеда и основанной имъ религіи въ общихъ судьбахъ человѣчества такъ важно, что писатель, занимающійся религіозною философией и философией исторіи, не нуждается въ особомъ оправданіи, если онъ, *и не будучи орієнталістомъ*, имѣть свое собственное сужденіе о лицѣ и дѣлѣ арабскаго пророка». Но чтобы обезпечить себя отъ естественныхъ въ такомъ случаѣ частныхъ ошибокъ, я обратился за совѣтами и указаніями къ самому авторитетному изъ нашихъ арабистовъ, который съ первостепенною специальною ученостью соединяетъ и живой интересъ къ общимъ вопросамъ. Считаю пріятнымъ долгомъ выразить свою глубочайшую признательность академику барону В. Р. Розену за любезное участіе, которое онъ принялъ въ моемъ маленькому труду.

Главнымъ источникомъ для этой книжки былъ Коранъ, которымъ я пользовался въ различныхъ переводахъ, старыхъ и новыхъ. Изъ менѣе известныхъ у насъ переводовъ были мнѣ рекомендованы барономъ Розеномъ: *Rodwell, El-Kor'an*, 2 ed. Lond. 1876 и *Rückert, Der Koran*, herausgegeben von August Müller, 1888. Изъ прочитанныхъ мною сочиненій о Мухаммедѣ и обѣ арабахъ его времени укажу только главныя:

Nicolaus Cusanus, De cibratione alchoran (въ собраніи его сочиненій).

- Caussin de Perceval, Histoire des Arabes, 3 т.*
Sprenger, Das Leben und die Lehre des Mohammed, 3 т.
Wellhausen, Skizzen und Vorarbeiten.
August Müller, Der Islam im Morgen- und Abendland.
Hubert Grimme, Mohammed.
Robertson Smith, The religion of the Semites.

Для многихъ читателей не лишнимъ будетъ замѣтить, что религіозное ученіе Мухаммѣда, сохраненное въ Коранѣ и изложенное въ настоящей книжкѣ, такъ же не похоже во многихъ отношеніяхъ на позднѣйшій исламъ, или мухаммѣданство, какъ проповѣди Шакъямуни Будды и уставы его общины не похожи на доктрины и учрежденія съвернаго (тибетско-монгольскаго) буддизма или ламаизма. Несомнѣнно однако, что каждая изъ этихъ великихъ религіозныхъ культуръ не есть только механическое накопленіе разнородныхъ элементовъ, а выросла на исторической почвѣ изъ живого зерна, брошенаго туда геніемъ первого основателя, съ именемъ котораго не напрасно связано все дальнѣйшее образованіе.

Вступленіе.

Слоновий годъ.

Пятьсотъ семидесятый годъ по Р. Х. былъ одинаково зловѣщимъ для обоихъ владыкъ, въ непримиримой враждѣ между собою раздѣлившихъ тогдашній историческій міръ. «Самодержецъ Ромеевъ», Юстинъ II, въ Византіи, и «Царь царей», Хозрой Апушированъ, въ Ктезифонѣ, получили оба въ разной формѣ грозное предостереженіе.

Еще Юстинъ Старый и Юстиніанъ, возобновляя войну съ персами, рѣшили, для отвлеченія непріятельскихъ силъ, воспользоваться далекимъ христіанскимъ царствомъ въ Эфіопіи или Абиссиніи, съ которымъ и завязали дипломатическая сношенія, отчасти при посредствѣ духовныхъ лицъ. Сношенія эти привели къ тому, что аксумскій негусъ, предки которого издавна стремились распространять свою власть на противолежащей австрійской берегъ Краснаго моря, занялъ своими войсками юго-западный уголъ Аравійского полуострова и поставилъ тамъ своего намѣстника, при чемъ имѣлось въ виду двинуться впослѣдствіи да же, къ сѣверо-восточной Аравії, где признавалось верховенство персидскаго царя, и находились его передовые отряды. Къ осуществленію этого плана въ большихъ размѣрахъ приступилъ въ помянутомъ году намѣстникъ абиссинской Абраха, собравшій огромное для тѣхъ мѣстъ и временъ ополченіе, со многими боевыми слонами, привезенными изъ Африки и составлявшими для аравитянъ невиданную диковину. Это войско должно было двинуться изъ Іемена чрезъ Хиджазъ въ городъ Ятрибъ и оттуда къ персидской границѣ. Въ Византіи знали объ этомъ предпріятіи и многаго отъ него ожидали. Но по дорогѣ изъ Іемена къ Персіи нельзя было миновать знаменитаго города Мекки, бывшаго нѣкоторымъ федеративнымъ центромъ для большей части аравійскихъ племенъ. Отворить ворота Мекки абиссинскому войску значило подвергнуть всю

Аравію той участі, которая постигла ея юго-западныя области, значило подчиниться иноплеменій власти. Рѣшиться на это нельзя было безъ боя, но попытки сопротивленія въ открытомъ полѣ не имѣли успѣха: перевѣсь организованной военной силы былъ на сторонѣ абиссинцевъ, а главное, африканскіе слоны съ непривычки наводили ужасъ на арабовъ и ихъ коней. Впечатлѣніе было такъ глубоко, что пятьсотъ-семидесятый годъ перешелъ въ исторію съ прозвищемъ *слонового года*. Владѣвшее Меккой племя корейшитовъ и ихъ союзники заперлись въ городѣ и готовились къ отчаянной защитѣ. Абиссинцы обложили священный городъ, по гъ первую же ночь въ ихъ станѣ проявилась страшная и невѣдомая болѣзнь, отъ которой большая часть людей погибла, а остальные въ беспорядкѣ бѣжали въ Йеменъ, но почти всѣ были перебиты по дорогѣ бедуинами. Это положило конецъ не только дальнѣйшимъ предпріятіямъ абиссинцевъ, но и самой ихъ власти въ южной Аравіи и ихъ союзу съ Византіей. Для греческаго императора это было большое огорченіе.

Но хотя персидскій царь и воспользовался неудачей африканскихъ союзниковъ Византіи и, вытѣснивъ ихъ изъ Йемена, водворилъ тамъ на некоторое время свое владычество, — однако и для него 570-й годъ былъ отмѣченъ дурнымъ предзнаменованіемъ. Въ ту самую ночь, когда нечеловѣческая рука истребила союзниковъ его врага, самъ онъ, по преданію, былъ пораженъ зловѣщимъ чудомъ: всѣ священные сосуды въ его дворцовомъ храмѣ были опрокинуты и разбиты, и неугасимый огонь — символъ верховнаго божества иранцевъ — внезапно потухъ.

Если греческій императоръ былъ огорченъ и смущенъ чудесной гибелью своихъ союзниковъ, если персидскій царь былъ пораженъ и испуганъ чудеснымъ паденiemъ своихъ боговъ, ни тому, ни другому властителю не было однако понятно все зловѣщее значеніе для нихъ этой ночи, ибо они не могли знать, что въ эту самую ночь въ домѣ бѣднѣйшаго изъ жителей Мекки, Абдаллы сына Абд-эль-Мутталибова, родился мальчикъ, которому было суждено создать новую духовно-политическую силу, предназначенную объединить народы Востока и покончить тысячелѣтиемъ расплю греческаго и персидскаго царства — разрушенiemъ обоихъ¹.

¹ Прописствіе во дворцѣ персидскаго царя въ ночь, когда родился Мухаммѣдъ, есть позднѣйшая легенда, которою я пользуюсь лишь какъ живописнымъ символомъ, хотя, быть можетъ, она и имѣть

I.

Историческая рамка.

По дорогѣ торговыихъ каравановъ, отправлявшихся изъ Іемена и Эюопіи въ Палестину и Месопотамію чрезъ Хиджазъ (между средне-аравійскимъ плоскогорьемъ Недждъ и Краснымъ моремъ), издавна главными станціями были Макораба (Мекка) и Ятриппа (Ятрибъ, впослѣдствіи Медина). Первый изъ этихъ городовъ былъ торговымъ и религіознымъ центромъ австрійскихъ племенъ, а второй имѣлъ значеніе международной или, лучше сказать, междурелигіозной связи Аравіи съ вѣтѣ-аравійской исторической стихіей, такъ какъ въ немъ, кромѣ двухъ арабскихъ племенъ Аусь и Хазраджъ, обитало много евреевъ, которые, подобно туземцамъ, составляли цѣлья племена, или кланы (Бену-Кейнока, Бену-Надиръ, Бену-Корейза), и занимали особыя части города. Въ близкомъ сосѣдствѣ съ Ятрибомъ (Мединой) находилась чисто-іудейская колонія Хейбаръ, а нѣсколько подальше къ сѣверу — Тейма. Отсюда Синай и Йерусалимъ были ближе, чѣмъ Петербургъ отъ Москвы. Такимъ образомъ мѣсто происхожденія новой религіи примыкаетъ къ священнымъ мѣстамъ іудейства и христіянства. Кромѣ этой географической связи аравійской религії съ еврейско-христіанскимъ откровеніемъ есть между ними родство племени, языка и преданій. Аравія издревле населена двумя семитическими племенами, которыхъ Библія называетъ сынами Йоктана (Бытія X, 25—30) и сынами Измаила (Бытія XXV, 12—16). Оба племени говорили на одномъ и томъ же языке, весьма близкомъ къ еврейскому. Сѣверные аравитяне задолго до Мухаммеда не только назывались измаилитами у еврейскихъ и у христіанскихъ писателей, но и сами они усвоили библейское сказаніе объ Авраамѣ, Агари и Измаилѣ и обогатили его мѣстными подробностями болѣе или менѣе древняго происхожденія. Источникъ Земземъ въ Меккѣ былъ тотъ

какое-нибудь реальное основаніе. Гибель христіанского войска подъ Меккою въ годъ рожденія пророка (или около того) есть несомнѣнныи фактъ. Но что эти два события произошли въ одну и ту же иочь — это, конечно, болѣе эффеќтно, нежели достовѣрно, особенно если принять во вниманіе, что число и даже мѣсяцъ рожденія Мухаммеда съ точностью неизвѣстны: по одниимъ свидѣтельствамъ, онъ родился въ день, соотвѣтствующій нашему 20 апрѣля, по другимъ 27 августа.

самый, изъ которого явившійся по молитвѣ Агарѣ² ангель Господень (по мусульманской версіи архангель Гавріїлъ) напоилъ умиравшаго отъ жажды Измаила; небольшой четыреугольный храмъ или алтарь (Кааба), находившійся около этого источника, былъ, по преданію, построенъ самимъ Авраамомъ, пришедшемъ посѣтить своего изгнанного сына; черный камень-метеоритъ, вѣдланий въ одну изъ стѣнъ Каабы, былъ тогда же принесенъ съ неба архангеломъ Гавріїломъ; тутъ же вблизи былъ обломокъ скалы, на которую становился Авраамъ съ Измаиломъ для молитвы — мѣсто Авраамово (Максимъ-Ибрахимъ). Тотъ фактъ, что всѣ эти преданія относились не къ полуеврейскому Ятибу и не къ южной Аравіи, где еврейскій элементъ пріобрѣлъ одно времія даже господствующее положеніе, а къ Меккѣ, где евреи никогда не жили, рѣшительно противорѣчить, на нашъ взглядъ, предположенію многихъ новѣвшихъ ученыхъ, будто, евреи произвольно навязали арабамъ библейское сказаніе объ Измаилѣ, не имѣвшемъ будто бы первоначально никакого отношенія къ арабамъ. Еще менѣе вѣроятно, чтобы все это было просто выдумано Мухаммедомъ. Теорія Дози, по которой сама Мекка была первоначально еврейскимъ поселеніемъ, не нашла признанія въ наукѣ.

Аравійский полуостровъ до Мухаммеда представлялъ весьма пеструю картину: остатки высокой древней культуры на югѣ, зачатки новой цивилизации въ силу вѣнчанихъ влияний на сѣверѣ и полуостровѣ, наполовину кочевая жизнь въ серединѣ. — Въ южной Аравіи, или Іеменѣ³, расположенному между Индіей и Эфиопіей, за много вѣковъ до Р. Х. существовали образованія государства, о которыхъ свидѣтельствуютъ огромныя развалины великолѣпныхъ храмовъ, двор-

² Любопытно, что еврейское *Хагарѣ* (Агарь) этимологически тождественно съ арабскимъ *Хиджра* (переселеніе, эмиграція), каковымъ словомъ обозначается начало мусульманства. Своимъ удалениемъ изъ Авраамова города Мекки Мухаммедь какъ бы повторилъ выселеніе своего праотца Измаила изъ дома Авраамова.

³ Іеменъ (то же, что еврейское Яминъ) значить собственно правый. Такъ какъ страны свѣта опредѣлялись семитами по отношенію къ сторонѣ солнечного восхода, то по правую руку находился югъ, и іемень значило южный. Но правая сторона у большинства народовъ считается счастливою, поэтому Іеменъ значить также счастливый, благословенный. Отсюда, по недоразумѣнію, южная часть Аравійского полуострова названа римлянами *Счастливой Аравіей* (*Arabia felix*). На такомъ же недоразумѣніи основано вѣроятно, и Гомеровское представление о „блаженныхъ эѳиопахъ“.

цовъ и разныхъ культурныхъ сооруженій — мостовъ, водоемовъ, плотинъ, а также столбы съ надписями обѣ историческихъ событияхъ, на арабскомъ языкѣ, по особымъ письменамъ, которыя недавно удалось разобрать ученымъ.

Нѣкоторыя изъ этихъ надписей, относящіяся къ главному изъ южно-аравийскихъ царствъ — Савскому, или Сабейскому, о которомъ говорится въ Библії, даютъ твердое хронологическое указаніе благодаря сопоставленію ихъ съ клинообразными надписями Ассирии. А именно, и тамъ, и здѣсь встрѣчается одно и то же лицо сабейскаго царя или князя Итамара, или Ятаамара. Найденная въ Ниневіи клинообразная надпись царя ассирийского Саргона, относящаяся къ 715 году до Р. Х., извѣщаетъ, что этотъ царь получилъ отъ Итамара савейца данъ: золото, травы восточной земли, рабовъ, коней и верблюдовъ; а многія изъ южно-аравийскихъ надписей говорятъ обѣ Ятаамарѣ, князѣ савейскомъ.

Паденіе этихъ южно-аравийскихъ царствъ, имѣвшее, какъ мы увидимъ, вліяніе на возникновеніе новой религіи, произошло во II вѣкѣ по Р. Х. и обусловлено было извѣдь двумя главными причинами. Во-первыхъ, послѣ основанія Александрии, особенно же съ возвышениемъ Рима, великий торговый путь изъ Индіи въ средиземноморскія страны пересталъ проходить черезъ Іеменъ (сухимъ путемъ), а отклонился къ западу (Краснымъ моремъ), такъ что царство Савское съ своимъ главнымъ городомъ Ма'рибомъ, процвѣтавшее прежде, какъ центральный этапъ этого великаго пути, осталось отъ него въ сторонѣ и пришло въ упадокъ. Доканало его другое бѣдствіе случайнаго характера, но съ которымъ ослабѣвшее царство уже не могло справиться. Огромная каменная плотина около Ма'риба, остатки которой сохраняются и теперь, рушилась отъ землетрясенія. Между тѣмъ это древнєе сооруженіе было послѣ международной торговли вторымъ главнымъ условіемъ благосостоянія Савскаго царства: плотина задерживала накоплявшіяся въ горахъ воды и позволяла распредѣлять ихъ сообразно нуждамъ земледѣлія. Такимъ образомъ, это разрушеніе плотины, навсегда запечатлѣвшееся въ національной памяти арабовъ, не только уничтожило наводненіемъ главный городъ Савскаго царства, но и у сельскаго населенія отняло средства къ существованію; страна, уже объѣднавшая вслѣдствіе упадка торговли, стала теперь жертвою стихійныхъ силъ и лишилась возможности про кармливать свое густое въ то время населеніе. Многія племена ара-

бовъ-юктанидоръ двинулись на съверъ, въ область измаилитовъ; одно изъ нихъ — племя Хозаа — овладѣло Меккой и отняло у господствовавшихъ тамъ прежде корейшитовъ завѣдываніе Каабой. Оставшееся населеніе Іемена вошло въ составъ нового государства Химьяръ (Гомериты), которое просуществовало нѣсколько вѣковъ, но въ богатство и могущество никогда не могло сравниться съ древнимъ Савскими царствомъ. Князья и часть населенія этого Химьярскаго государства исповѣдовали одно время еврейскую вѣру, какъ было у нашихъ хазаровъ.

Пока на югъ разрушались остатки древней аравийской культуры, на съверныхъ окраинахъ полуострова, подъ вліяніемъ персидской и греко-римской цивилизаціи, кочевые арабы переходили болѣе или менѣе къ осѣдлости и даже къ государственности. На съверо-востокѣ, въ низовьяхъ Евфрата, образовалось съ столицей Хира и династіей Лахмидовъ арабское государство, ставшее въ вассальныя отношенія къ ново-персидскому царству Сассанидовъ; а на съверо-западѣ, близъ предѣловъ Палестины, династія Гассанидовъ управляла окрестными арабами въ зависимости отъ сирійского намѣстника ромейскаго императора. Здѣсь такимъ образомъ, вліяніе обѣихъ великихъ державъ Востока уравновѣшивалось; въ южной Аравіи онѣ вступили въ борьбу за преобладаніе, которая имѣла перемѣнный успѣхъ и была упразднена лишь появленіемъ ислама. Мы видѣли (см. вступленіе), какую роль въ этой борьбѣ имѣла Абиссинія, и какъ ея войско, предназначеннное противъ персовъ, внезапно погибло передъ Меккой.

Тяготившіеся абиссинскимъ игомъ химьярскіе князья въ Іеменѣ, ободренные неудачей своихъ завоевателей подъ Меккой, рѣшили возстать и послали одного изъ своихъ къ персидскому царю Хозрою Ануширвану просить о помощи противъ абиссинцевъ-христіанъ, союзниковъ Византіи. Царь послать въ Іеменъ войско подъ начальствомъ полководца Вахриза, который двукратно разбилъ абиссинцевъ, изгналъ ихъ изъ Аравіи и утвердился самъ въ городѣ Санѣ, какъ намѣстникъ великаго царя надъ туземными князьями.

Но дни персидскаго, также какъ и византійскаго владычества, въ Аравіи были уже сочтены. Въ Меккѣ родился человѣкъ, чрезъ котораго исполнились древнія обѣтования Божіи обѣ Измаилѣ, предѣкъ его: и рече ей (Агари) ангель Господень: «Умножая умножу сѣмя твое и не сочтется отъ множества: се ты во чревѣ имаши и родиши сына и наречеши имя ему Ісмаиль (Ішма-эль значить «услышать

Богъ»): яко услыша Господь смиреніе твоє. Сей будеть селный чоловѣкъ, и руць его на всльхъ, и руки всльхъ на него, и предъ лицемъ вслія братіи своея вселится». (Бытія XVI, 10—12). «О Ісмаилѣ же се послушахъ тебе: и се благословихъ его, и возвращу его, и умножу его зѣло: дванадесять языки родить, и дамъ его въ языкъ велий» (Бытія XVII, 20; см. также XXI, 13, 18).

Родители Мухаммеда принадлежали къ измаилитскому племени корейшитовъ, господствовавшихъ въ Меккѣ еще до Рождества Христова. Во II вѣкѣ по Р. Х., вслѣдствіе упомянутой катастрофы въ Іеменѣ, принудившей жителей этой страны къ выселенію, племя Бену-Хозаѣ, прида съ юга, овладѣло окрестностями Мекки, а по-томъ и самою Меккой, отнявъ у корейшитовъ завѣдываніе храмомъ. Это племя хазаитовъ, какъ и прочія южно-аравійскія племена, было гораздо болѣе склонно къ фетишизму и натуралистическому многобожію, нежели сѣверяне-измаилиты, и вдовореніе хазаитовъ въ Меккѣ, безъ сомнѣнія, усилило здѣсь идолопоклонство и способствовало косвеннымъ образомъ той монотеистической реакціи, которой побѣдоноснымъ представителемъ впослѣдствіи сдѣлялся Мухаммедъ.

Мекка издавна была, по выражению Вельгаузена, «перекрест-нымъ пунктомъ въ вихрѣ внутреннихъ народныхъ переселеній арабовъ. Многія народныя наслоенія легли на этой почвѣ и оставили свои слѣды въ различныхъ святилищахъ и связанныхъ съ ними Божіихъ именахъ».

Городъ обязантъ былъ своимъ возникновеніемъ, говоритъ тотъ же ученый, безъ сомнѣнія, своему святилищу, которое въ свою очередь основалось на этомъ мѣстѣ, вѣроятно, благодаря источнику Земземъ. — Хотя мусульманское преданіе преувеличиваетъ исключительное значеніе Каабы, но во всякомъ случаѣ почитаніе этой древней святыни было широко распространено, и о ея значеніи свидѣтельствуютъ уже обширные размѣры священной ограды (*харамъ*). Мекка и ея окрестности были мѣстомъ паломничества въ великий годовой праздникъ (хаджъ) въ священные мѣсяцы перемирия для аравійскихъ племенъ. Съ религиознымъ движениемъ толпы соединялись, какъ всегда бываетъ, соціальные и торговыя сношенія. Къ хаджу пріурочивались ярмарки въ ближніхъ къ Меккѣ мѣстечкахъ (Указъ, Мина и др.), но главное значеніе оставалось за Меккой, какъ самымъ большимъ городомъ во всемъ полуостровѣ. Раньше ислама меккійскій календарь уже былъ принятъ въ болѣшой части Аравіи.

Понятно, что корейшиты не мирились съ потерей своего преобладанія въ Меккѣ, и святилище мира сдѣлалось яблокомъ раздора для двухъ племенъ. Наконецъ въ V вѣкѣ, по преданию, одинъ изъ предковъ Мухаммода сумѣлъ вернуть своему роду хозяйствскія права надъ Каабой тѣмъ же способомъ, какимъ его древній родичъ Израиль приобрѣлъ права первородства отъ своего простодушнаго брата.

Лѣтъ за полтораста до Мухаммода между племенами, переселившимися изъ Іемена въ сѣверную Аравію, было небольшое племя Озра, поселившееся недалеко отъ Ятриба (Медины). Какъ-то спрашивали одного бедуина: «Какого ты племени?» — «Я изъ тѣхъ людей, — отвѣчалъ онъ, — которые умираютъ, когда любятъ». Слышавшая это женщина воскликнула: «Онъ Озритъ, клянусь Богомъ!» — «Ибо Бену-Озра, — замѣчаетъ арабскій историкъ, — славится по всей Аравіи своею безмѣрною страстью въ любви». Изъ этого племени одна дѣвушка Фатима вышла замужъ за корейшита Килаба и родила въ Меккѣ двухъ сыновей. Вскорѣ овдовѣвша она вернулась съ младшимъ сыномъ къ своему племени въ Ятрибъ, вышла тамъ вторично замужъ за соплеменника и родила ему сына Ризаха, который и воспитывался вмѣстѣ съ братомъ своимъ. Этотъ послѣдній, какъ приведенный изъ другого племени, получилъ между озритами прозваніе Косай, что значитъ выходецъ; съ этимъ названіемъ онъ и остался въ исторіи.

Нѣкоторые новѣйшие историки (между прочимъ и Авг. Мюллеръ) не считаютъ Косая историческимъ лицомъ, не приводя однако убѣдительныхъ основаній для своего скептическаго взгляда, съ которымъ я позволю себѣ не согласиться. Дѣда Мухаммедова Мутталиба тѣ же ученые не признаютъ миѳомъ, а вѣдь этотъ исторический дѣдъ только двумя поколѣніями былъ отдѣленъ отъ предполагаемаго мифологического Косая. Хотя нѣть закона, опредѣляющаго, на какой степени восходящаго родства наши дѣйствительныя предки превращаются въ миѳы, однако можно принять за общее правило, чтоувѣковѣченный въ народной памяти *прадѣдъ* исторического лица не можетъ считаться чистымъ миѳомъ.

Достигши зрѣлаго возраста, Косай вернулся въ домъ отца своего въ Мекку, но и оттуда поддерживалъ добрыя сношения съ племенемъ матери и вотчина. Въ Меккѣ въ то время старѣйшимъ воождемъ хозаитовъ, владѣвшихъ Каабой, былъ Холейль, у котораго въ рукахъ находились и ключи отъ святилища. Косай съ нимъ сошелся и женился на его дочери. Онъ надѣялся, что тестъ усыновитъ его

и передастъ ему ключи Каабы, но тотъ, хотя при жизни позволялъ ему иногда замѣщать себя въ священной должности, однако опасался обидѣть соплеменниковъ, и, умирая, передалъ ключи старайшему изъ Бену-Хозаа, — Абу-Губшану. Но Косай не отказался отъ своего намѣренія и рѣшился для исполненія его воспользоваться слабостью соперника. Однажды онъ напоилъ Абу-Губшана пьянымъ, и когда тотъ въ полуусознательномъ состояніи сталъ требовать еще пить, Косай предложилъ ему мѣхъ съ виномъ въ обмѣнъ за ключи отъ Каабы, на что тотъ охотно согласился. Съ тѣхъ порь и до сего дня всякая сдѣлка, въ которой кто-нибудь сильно одураченъ, называется у арабовъ торгомъ Абу-Губшана, а чтобы выразить крайнюю степень слабоумія, говорятъ: «онъ глупѣе, чѣмъ Абу-Губшанъ».

Однако хозалты не хотѣли быть жертвой этой образцовой глупости своего соплеменника и подняли оружіе въ защиту своихъ правъ. Чтобы обеспечить себѣ побѣду, Косай обратился въ Ятрибъ къ сводному брату своему Ризаху, который привель ему на помощь всѣхъ Бену-Озра. Соединившись съ ними, корейшиты одолѣли хозаитовъ, и Косай сталъ общепризнаннымъ управителемъ Каабы. Онъ благоустроилъ святилище, учредилъ священное знамя (ливѣ), священный налогъ (рифадѣ) и разныя должности, связанныя съ потребностями безчисленныхъ богомольцевъ во время сборныхъ празднествъ (правильное распределеніе воды, распоряженіе процессіями и т. п.). Этотъ Сейдъ Косай, утвердившій въ Меккѣ власть корейшитовъ, родилъ трехъ сыновей, изъ коихъ младшій былъ Абд-Менафъ, а отъ Абд-Менафа въ пятомъ поколѣніи произошелъ Мухаммедъ⁴, сокру-

⁴ Вотъ традиціонная генеалогія Мухаммеда:

Косай

Абд-Менафъ

|

Хашимъ

|

Абд-эль-Мутталибъ

|

Абдалла

Мухаммедъ.

Впрочемъ руководствуясь извѣстнымъ гиперкритическимъ методомъ, необходимо даже отца и мать Мухаммеда признать мирами. Имя

шившій свой родъ и племя, но давшій силу и единство всѣмъ арабскому племенамъ, а черезъ нихъ и множеству другихъ народовъ Азіи и Африки.

II.

Ранніе годы Мухаммеда. его религіозное призваніе.

Отецъ Мухаммеда умеръ за два мѣсяца до его рожденія, а мать, когда ему было шесть лѣтъ. Воспитывалъ его сначала дѣдъ Абдъ эль-Мутталибъ, а потомъ — дядя Абу-Талибъ, котораго онъ еще въ отрочествѣ сопровождалъ въ Сирію (по торговымъ дѣламъ), и тамъ въ Босрѣ, по преданию, одинъ несторіанскій монахъ, по имени Бахира, предсказалъ ему великую судьбу. Въ 584 г., во время войны между корейшитами и Бену-Хавазинъ, онъ сопровождалъ своихъ дядей въ сраженіи при Нахлѣ и поднималъ для нихъ падавшія стрѣлы. Родители Мухаммеда, хотя принадлежали къ господствовавшему роду, были бѣдны и не оставили ему никакого состоянія. До 24-лѣтняго возраста онъ былъ въ услуженіи у своихъ дядьевъ, пасъ ихъ стада или же исполнялъ должность погонщика верблюдовъ. Несмотря на такое незначительное положеніе, онъ сталъ извѣстенъ своими способностями и честностью и получилъ прозваніе эль-амінъ, что значитъ вѣрный. Въ 594 г. богатая вдова (отъ двухъ мужей) Хадиджа, дальняя родственница Мухаммеда (дочь Ховейлида, внука Абд-Менафова), обратила на него вниманіе и сдѣлала своимъ приказчикомъ. Онъ съ успѣхомъ водилъ ея караванъ въ Сирію, и въ слѣдующемъ году она вышла за него замужъ. Ей было сорокъ лѣтъ, ему — двадцать пять. Бракъ ихъ былъ вполнѣ счастливъ, хотя не даль Мухаммеду мужского потомства; три сына, рожденные ему Хадиджей, умерли въ дѣтствѣ, дочери же — Зейнабъ, Рокайя, Омм-Кольсумъ и Фатима — остались въ живыхъ и впослѣдствіи сдѣлались мусульманками. Когда родилась послѣдняя дочь, Хадиджѣ было уже 51 годъ; она послѣ того прожила еще 13 лѣтъ, и Мухамедъ все время былъ ей вѣренъ; нѣть также вѣроятія, чтобы до брака съ нею онъ зналъ женщинъ. Такимъ образомъ неумѣренность въ чувственной любви, которую обыкновенно ставятъ въ вину Мухаммеду, относится исключительно къ

отца его означаетъ служитель Божій, а имя матери, Амина, значитъ вѣрная — не явно ли здѣсь аллегорическое олицетвореніе главныхъ свойствъ будущаго основателя мусульманства?

его старости и должна быть приписана скорѣе прежнему воздержанію, нежели порочнымъ нравамъ. Оправданіе старческихъ слабостей Мухаммеда и вмѣстѣ съ тѣмъ объясненіе его тридцатилѣтней добротельной жизни можно найти въ его собственномъ, очевидно искреннемъ, заявлениі: «Болѣе всего на землѣ я любилъ женщинъ и ароматы, но полное наслажденіе находилъ всегда только въ молитвѣ».

Сила духа, обнаруживаемая человѣкомъ, находится въ прямомъ отношеніи съ силою тѣхъ низшихъ душевныхъ страстей, которая онъ побораетъ въ себѣ. Великая сила, обнаруженная Мухаммедомъ въ его историческомъ дѣлѣ, пыталась его сдерживаемою страстью. Если бы онъ сдерживалъ ее всегда и во всемъ, онъ былъ бы совершеннымъ человѣкомъ, какимъ онъ не былъ и быть не могъ. Онъ не имѣлъ притязанія на такое совершенство, а потому вполнѣ несправедливо осуждать его за человѣческія слабости, которая онъ не скрывалъ. Точно такъ же несправедливо ставить вопросъ, въ какой мѣрѣ онъ былъ истиннымъ и въ какой — ложнымъ пророкомъ, несправедливо уже потому, что онъ вовсе не выдавалъ себя за пророка въ общепринятомъ теперь смыслѣ этого слова. Название *респул-аллахъ*, которое обыкновенно дается Мухаммеду имъ самимъ и его послѣдователями, значитъ *посланникъ Божій*, т. е. человѣкъ, получившій по рученіе, миссію отъ Бога. Миссія эта состояла только въ томъ, чтобы проповѣдывать арабамъ единство и праведность Божію, различие добра и зла и будущій судъ. Какъ Мухаммедъ вѣрно и успѣшно исполнялъ торговыя порученія, которая ему давали спачала дядья, а потомъ Хадиджа, такъ же вѣрно и успѣшно исполнилъ онъ и то порученіе, которое онъ, по своему убѣжденію, получилъ отъ Бога. А на какуюнибудь высшую задачу, требующую чудесныхъ даровъ и полнаго нравственного совершенства, онъ не только не заявлялъ притязаній, но прямо и много разъ утверждалъ, что никакой подобной задачи не имѣеться. Постѣ этого называть его обманщикомъ или лжепророкомъ есть верхъ несправедливости.

Но имѣлъ ли Мухаммедъ дѣйствительно ту миссію, которую себѣ присвоивалъ? Если видѣть во всѣмѣрной исторіи дѣло случая, результатъ внѣшняго механическаго спѣленія мелкихъ фактovъ, тогда конечно Мухаммедъ не имѣлъ никакой миссіи, но единственno только потому, что съ этой точки зрѣнія вообще никто никакой миссіи имѣть не можетъ. Если же признавать въ исторіи внутренний смыслъ и цѣлесообразность, тогда безъ сомнѣнія такое огромное міровое дѣло, какъ

созданіе ислама и основаніе мусульманской культуры, должно имѣть прорицательное значеніе, и миссія Мухаммеда не можетъ быть отпята у него; а способъ, какимъ онъ, по собственному своему свидѣтельству, получилъ ее (см. ниже), совершенно согласуется съ психологическимъ опытомъ и историческими аналогіями.

Чтобы получить историческую миссію въ какомъ-нибудь дѣлѣ, необходимо прежде всего имѣть прирожденное дарование или особенную способность именно къ этому дѣлу. Хотя религія назначается для всѣхъ, но не чрезъ всякоаго религіозныя идеи открываются и вводятся въ сознаніе и въ жизнь человѣчества. Для дѣятельной роли въ религіозной исторіи такъ же необходимо призваніе, вдохновеніе, геній, какъ и для того, чтобы совершить что-нибудь великое въ области науки, искусства, политики. У Мухаммеда, несомнѣнно, былъ специальный религіозный геній. Если бы мы никогда не читали Корана и не знали, что Мухаммедъ связалъ прочнымъ религіознымъ единствомъ добрую третью исторического человѣчества, то его признаніе, что при сильно развитой чувственности онъ всегда находилъ настоящее наслажденіе только въ молитвѣ, было бы совершенно достаточно, чтобы мы сказали: вотъ человѣкъ геніальный въ области религіи. Эта религіозная геніальность была производящей причиной ислама, ибо, благодаря ей, Мухаммедъ не могъ удовлетвориться старой религіей своихъ соплеменниковъ и могъ дать имъ новую. Разумѣется, одной этой производящей причины самой по себѣ недостаточно; конечно, религіозный геній Мухаммеда хотя проявился бы какъ-нибудь при всякихъ обстоятельствахъ, но для того, чтобы онъ произвелъ именно это дѣйствіе (созданіе ислама), необходимо было стеченіе многихъ независимыхъ отъ него опредѣляющихъ условій и факторовъ — въ чёмъ именно и состоитъ прорицательный характеръ исторического дѣла.

Религіей, по несомнѣнному общему смыслу, независимо отъ сомнительной этимологіи, мы называемъ то, что, во-первыхъ, связываетъ человѣка съ Богомъ, а во-вторыхъ, въ силу этой первой связи, соединяетъ людей между собою. Мухаммедъ зналъ три религіи: национальную религію арабовъ, имѣвшую свое срединное святилище въ его родномъ городѣ Меккѣ; религію Моисееву — отъ евреевъ Медины; и религію христіанскую — преимущественно отъ монаховъ, съ которыми встречался во время своихъ путешествий въ Сирію, а также отъ эзоплянъ, заходившихъ въ Мекку изъ Іемена. (Упоминаемая въ Коранѣ религія сабіевъ или крестильниковъ была лишь гности-

ческо-христіанской сектой. Остатки этихъ сабіевъ существуютъ и нынѣ въ Месопотамії, и извѣстны подъ именемъ мандейцевъ.) Национальная религія арабовъ была въ состояніи смѣшенія и разложенія. Первобытный натурализмъ мѣстныхъ культовъ, пріуроченныхъ главнымъ образомъ къ священнымъ камнямъ и деревьямъ, терялъ свою живую силу надъ умами по мѣрѣ возвышенія племенъ надъ дикимъ состояніемъ и по мѣрѣ развивающагося между ними взаимодѣйствія. Знакомствомъ съ чужими богами естественно подрывалось исключительное значеніе своего собственного. Самое понятіе Божества хотя начинало сознаваться въ своей общности, но лишь смутнымъ и неопределенымъ образомъ. Для его обозначенія у арабовъ искони существовало слово *Аллахъ* общаго семитического корня (иль, эль и т. д.), но съ этими словами, кроме понятія о божествѣ вообще, соединялось также и представление объ особомъ главномъ богѣ, — владыкѣ Каабы.

Божество представлялось виѣшними материальными предметами — естественными и искусственными идолами, хотя, конечно, не совпадало съ ними, а богочитаніе состояло единственно изъ виѣшнихъ дѣйствій, оргій и жертвоприношеній; были въ употребленіи и человѣческія жертвоприношенія — воиноплѣнныхъ и дѣтей. Господствовавшій обычай, требовавшій, чтобы родители умерщвляли дѣтей женского пола (если ихъ было много), закапывая ихъ живыми въ землю, по всей вѣроятности былъ также связанъ религіознымъ культомъ (хотя некоторые родители просто не хотѣли имѣть дочерей и закапывали всѣхъ до одной). Духи умершихъ, особенно убитыхъ, требовали человѣческихъ жертвоприношеній. Мусульманскіе историки рассказываютъ между прочимъ, что въ битвѣ при Бедрѣ Хабибъ убилъ Хариса, потомъ (въ битвѣ при Оходѣ) попался въ плѣнъ и былъ проданъ дѣтямъ Хариса, которыхъ сочли своей обязанностью принести его въ жертву духу убитаго отца.

Такое богочитаніе не устанавливало никакой связи между человѣкомъ и божествомъ и не могло удовлетворять религіозное чувство. Такъ же мало оно могло служить къ нравственному и социальному объединенію людей. Собрание людей разныхъ племенъ вокругъ Каабы во время Хаджа имѣло, конечно, важное значеніе, поскольку оно знакомило ихъ другъ съ другомъ, расширяло ихъ умственный кругозоръ и представляло каждому нагляднымъ образомъ идею национального единства. Но для осуществленія на дѣлѣ этого единства такой виѣш-

ий способъ былъ, конечно, недостаточенъ. Какъ изъ помѣщенія многихъ идоловъ въ одномъ огороженномъ пространствѣ не выходило одной религіи, такъ и временное собраніе всѣхъ арабскихъ племенъ около этой ограды для наружнаго поклоненія этимъ пестрымъ богамъ и для торговыхъ сдѣлокъ не создавало изъ этихъ племенъ одного соціального цѣлого. Священные мѣсяцы проходили, и жестокія распри съ убийствами и грабежами возобновлялись съ прежнею силой, и долгъ кровавой мести изъ рода въ родъ оставался отличительной чертой арабскихъ нравовъ и единственнымъ общепризнаннымъ закономъ арабской жизни.

III.

Религіозныя вліянія. — Ханифы.

Національная религія арабовъ ко времени появленія Мухаммѣда частью утратила всякий смыслъ, насколько въ ней содержались мифологическія представленія, неясныя для народа, уже вышедшаго изъ мифологического возраста, частью же — въ своемъ кульѣ сохраняла смыслъ безнравственный, состояла въ освященіи и возбужденіи дурныхъ влечений, особенно кровожадности — въ человѣческихъ жертвоприношеніяхъ.

Между тѣмъ сѣверные арабы недаромъ вели свое происхожденіе отъ отца вѣроящихъ. Ихъ лирическая поэзія, роскошно расцвѣтшая въ первые вѣка нашей эры, показываетъ сильное развитіе внутренняго индивидуального чувства, напряженность личной душевной жизни, которая не могла удовлетворяться ни одной вѣнчаной обрядностью, ни погружениемъ въ низшую чувственность. За отсутствіемъ религіозныхъ мотивовъ въ національной жизни эта поэзія воспѣваетъ любовь и подвиги мужества въ междуусобныхъ войнахъ племенъ и родовъ. Но въ эти человѣческія отношенія, вдохновлявшія ихъ поэзію, арабы вкладывали такую напряженность и экзальтацию внутренняго чувства, въ которой уже можно было предвидѣть ихъ религіозное будущее. Достаточно вспомнить, что про цѣлое племя Бену-Озра сложилась пословица, что они умираютъ, когда любятъ.

Безграницная преданность въ любви и дружбѣ, вѣрность долгу (преимущественно долгу кровавой родовой мести), мужество въ борьбѣ съ вѣнчими опасностями (воспитанное кочевой жизнью въ пустынѣ) и страсть къ смѣлымъ подвигамъ (питаемая постоянными междуусо-

біями), — вотъ главныя положительныя черты арабскаго національ-
наго характера, выражаютія рѣшительное преобладаніе въ немъ субъ-
ективной, личной стороны духа. Этимъ положительнымъ чертамъ
вполнѣ соотвѣтствуютъ и отрицательныя: равнодушіе къ объектив-
ной истинѣ, какъ таковой, къ истинѣ вѣщняго факта, затѣмъ свар-
ливость и наконецъ то упрямство, о которомъ свидѣтельствуетъ Му-
хаммѣдъ въ Коранѣ: «Арабы пустыни самые упрямые въ невѣріи и
обманѣ» (Сура IX, 98).

Если этотъ и въ недостаткахъ своихъ сильный народъ, несомнѣн-
но, переросъ свою традиціонную религію, то онъ, съ другой стороны,
быть мало способенъ къ принятію христіанства, особенно въ томъ
видѣ, въ какомъ оно было для него доступно. Напряженная энергія
субъективнаго духа, повышенное самочувствіе и самоутвержденіе лич-
ности несовмѣстимы ни съ созерцательнымъ аскетизмомъ, ни со вку-
сомъ къ художественной обрядности, ни съ пониманіемъ трансцен-
дентныхъ богословскихъ умозрѣній, ни съ подчиненіемъ сложному
іерархическому порядку. Между тѣмъ всѣ эти хотя необходимы, но
все-таки второстепенные, производные факторы истинной религіи были
уже слишкомъ на виду въ христіанствѣ VI вѣка и закрывали для
простого взгляда внутреннюю субъективную сущность Евангелія —
личное жизненное единеніе возрождающагося человѣка съ вочековѣ-
чившимся Богомъ-Спасителемъ. Это собственно — христіанское на-
чало богочеловѣчности — воплощенія Бога и обожествляемаго человѣ-
ка — было въ отвлеченнѣ идѣи недоступно арабскому уму, а цѣль-
наго, конкретнаго осуществленія этой идеи онъ не видѣлъ въ извѣст-
номъ ему христіанствѣ. Не нужно также забывать, что арабы Хиджаза
почти не имѣли дѣла съ православнымъ христіанствомъ, и сталкивали-
сь главнымъ образомъ съ еретиками: монофизитами и несторіанами,
а у этихъ христіанъ сама основная идея христіанства (совершенное
соединеніе божества и человѣчества) подверглась существенному иска-
женію. Внутреннее родство мусульманства съ христіанскими ересями
несомнѣнно. Вѣшина историческая связь издавна признавалась, хотя
не можетъ быть доказана. Еще въ XV вѣкѣ Николай Кузанскій
(de cibratione Alchoran) утверждалъ, что Мухаммѣдъ принялъ хри-
стіанство отъ несторіанскаго монаха Сергія, проповѣдывавшаго въ
Меккѣ, но потомъ былъ сбитъ съ толку евреями. Такимъ образомъ,
если для чувствительного къ религіозной правдѣ араба его національ-
ные культы были слишкомъ низменны, то христіанство было для него

слишкомъ сложно, слишкомъ загромождено чуждыми для непосредственного чувства объективными наслонениями догматическими, обрядовыми, иерархическими.

Между тѣмъ преданіе единобожной религіи, связанной съ имѣнами Авраама и Измаила, повидимому, никогда не исчезало на арабской почвѣ. Кромѣ библейскаго Іова, который по всей вѣроятности принадлежитъ Аравіи, въ Коранѣ часто упоминаются пророки или посланники единаго истиннаго Бога, проповѣдывавши Его различнымъ аравійскимъ племенамъ, погибшимъ впослѣдствіи за непослушаніе этой проповѣди. Такъ, у мідіанитовъ былъ пророкъ Шоаібъ, у темудитовъ — Салихъ и у адитовъ — Худъ. Совершенно отвергать эти извѣстія и считать эти лица и племена чистыми вымыслами, кажется, нѣть достаточныхъ оснований. Какъ бы то ни было, понятіе объ единомъ истинномъ Богѣ и о необходимости чистаго служенія Ему существовало раньше Мухаммеда и между тѣми арабами, которые не принимали евреевъ и христіанства. Такѣе люди для приверженцевъ національной религіи были отдельившимися, отщепенцами или, по-арабски, *ханифами* (слово приблизительно равнозначительное напему *суннитъ*). Но таково было внутреннее влеченіе арабскаго духа къ монотеизму, что это слово скоро утратило свой порицательный смыслъ и стало обозначать послѣдователя древней вѣры Авраамовой и Измаиловой. Въ этомъ смыслѣ и Мухаммедъ называетъ себя ханифомъ.

Чѣмъ живѣе пробуждалось у лучшихъ арабовъ религіозное сознаніе, тѣмъ менѣе могли они удовлетворяться отвлеченнымъ понятіемъ единобожія безъ всякой конкретной формы, опредѣляющей отношеніе человѣка къ Богу. Религіозное міросозерцаніе семитовъ, кромѣ монотеистической идеи, издревле характеризовалось идеей пророка или *посланника Божія*, т. є. человѣка, находящагося въ особомъ личномъ отношеніи къ Богу, получающаго откровеніе свыше и становящагося посредникомъ между Богомъ и людьми, которые черезъ него получаютъ священный законъ и писаніе. Для арабовъ, какъ настоящихъ семитовъ, безъ *посланника и книги* нѣть настоящей религіи. Поэтому тѣ изъ ханифовъ, которые не кончали переходомъ въ христіанство, жили ожиданіемъ новаго пророка, который дастъ арабамъ то, что евреи получили отъ Моисея и христіане — отъ Іисуса Христа. Быть, правда, еще выходъ. Связывая свою вѣру съ Авраамомъ, можно было въ немъ видѣть своего пророка. Но вѣра Авраамова была слишкомъ обща; ее признавали и іудеи, и христіане, однако для образования ихъ

религій нужны были, кроме Авраама и его вѣры, еще особые посланники и особый откровенія. Къ тому же Авраамъ не оставилъ по себѣ книги. А книга была такъ необходима для религіознаго сознанія арабовъ, что многие ханифы, за неимѣніемъ подлинныхъ писаній Авраама, добывали и переводили съ халдейскаго языка на арабскій распространенные въ Сиріи и Месопотамії апокрифические Авраамовы свитки (сохофъ), принадлежавшіе по всей вѣроятности къ священной литературѣ сабіевъ (крестильниковъ), упоминаемыхъ и въ Коранѣ. Но эти чужеземные апокрифы и по происхожденію, и по характеру своему могли только поддерживать, но не удовлетворять религіозную потребность ханифовъ, и ожиданіе новаго откровенія осталось въ силѣ среди избранныхъ умовъ Аравіи.

У древнѣйшаго лѣтописца мусульманства Ибн-Исхака находится слѣдующій разсказъ. «Однажды корейшиты собрались при Каабѣ вокругъ одного изъ главныхъ своихъ идоловъ, которому они приносили жертвы и передъ которымъ совѣщались о дѣлахъ своихъ. Разъ въ годъ бывало большое собраніе и большой праздникъ. И вотъ четверо мужей отдалились отъ прочихъ и, отойдя въ сторону, тайно сообщили другъ другу свои мысли. Это были: Барака, сынъ Науфала, сына Асадова, племянникъ Халиджа, первой жены Мухаммеда; родственникъ его Османъ, сынъ Ховейриса; Убейдаллахъ, двоюродный братъ Мухаммеда, и Зейдъ, сынъ Амра. И вотъ что они говорили между собою: «Сограждане наши находятся въ заблужденіи, они извращаютъ истинную вѣру Авраамову. Доколѣ будемъ мы, какъ они, вертѣться вокругъ камня, который не видить и не слышать и не можетъ сдѣлать намъ ничего худого или доброго. Пойшемъ вѣры лучшей, чѣмъ эта». И они покинули родину свою и отправились странствовать по чужимъ краямъ, отыскивая вѣру ханифовъ, истинную вѣру Авраамову.»

Изъ этихъ четырехъ трое приняли христіанство, между прочимъ и свойственникъ Мухаммеда Барака, хотя это не мѣшало ему ожидать новаго пророка для арабовъ и благосклонно отнеслись къ посланничеству Мухаммеда. Четвертый, Зейдъ, не нашелъ удовлетворенія и въ христіанствѣ. Онъ вернулся въ Мекку такимъ же чистымъ ханифомъ, какимъ и отправился въ свои религіозные поиски. Мухаммедъ, по преданію, часто видаль и слушалъ его около Каабы, проповѣдывающаго противъ идолопоклонства во имя чистой вѣры Авраамовой. «Клянусь тѣмъ, въ чьихъ рукахъ жизнь моя, я одинъ изъ вѣлькихъ держусь религіи Авраамовой». Но онъ при этомъ чистосер-

дечно признавалъ недостаточность своей отрицательной проповѣди, и прибавлялъ: «О Аллахъ! если бы я только зналъ, какой образъ поклоненія угоденъ тебѣ, я сейчасъ бы принялъ его; ио я этого не знаю». Предпринявъ новое путешествіе въ Сирію, Зейдъ на обратномъ пути узналъ о выступленіи Мухаммѣда съ проповѣдью, и спѣшилъ въ Мекку, чтобы разузнать въ чемъ дѣло, но на границѣ Хиджаза былъ убитъ разбойниками. Свои религіозные взглѣды Зейдъ выражалъ не только въ бесѣдахъ, но и въ стихотвореніяхъ, сохранившихъ арабскими историками; онъ обличалъ въ этихъ стихахъ ложь идолопоклонства и проповѣдавалъ единаго, праведнаго и милосерднаго Бога. Мухаммѣдъ очень высоко цѣнилъ его и однажды сказалъ (по преданію), что въ день великаго собрания (т. е. на страшномъ судѣ) Зейдъ Ибнъ-Амръ одинъ составить цѣлую церковь.

IV.

Порученіе проповѣдывать.

Мухаммѣду минуло сорокъ лѣтъ. Личная жизнь его была все время вполнѣ благополучна. Жена его Хадиджа, обладавшая, какъ видно, необычайными силами духовными и тѣлесными, пользовались, несмотря на свои лѣта, всею прежнею его привязанностью. Старшая дочь его была уже замужемъ, вторая помолвлена, а отсутствіе мужскаго потомства было возмѣщено усыновленіемъ двухъ молодыхъ людей, безгранично ему преданныхъ; это были Али, сынъ его дяди и покровителя Абу-Талиба, и Зейдъ Ибнъ-Харисъ, невольникъ христіанскаго происхожденія, которому онъ далъ свободу, а потомъ и усыновилъ. Всѣ близкіе любили Мухаммѣда, сограждане уважали его за честность и благочестіе; богатство жены избавляло его отъ материальныхъ заботъ, и онъ могъ бы жить спокойно и счастливо, если бы не заговорило въ немъ религіозное призваніе. По преданію, еще въ первой молодости онъ ежегодно уходилъ на мѣсяцъ въ пустынныя горы Хира, недалеко отъ Мекки, и тамъ отдавался уединеннымъ размышленіямъ. Его умъ перерабатывалъ и усвоивалъ себѣ тѣ духовныя вліянія, которыя онъ въ обычной жизни получалъ отъ евреевъ, христіанъ и ханифовъ. Въ немъ вырастало и укрѣплялось сознаніе, что боги его народа суть бездушные и безсильные идолы, а что истинный Богъ одинъ надъ всѣми и для всѣхъ, что этотъ Богъ, Котораго нѣкогда въ этой самой Меккѣ исповѣдывалъ праотецъ Авраамъ, открывалъ по-

томъ свою истину и свою волю разныи народы черезъ разныхъ пророковъ, но что арабы не знали Его потому, что забыли вѣру Авраамову и не являлось среди нихъ посланника Божія, который напомнилъ бы имъ и возстановилъ ее. Послѣ того какъ Мухаммѣдъ внутренне убѣдился въ теоретической истинѣ единобожія, для него оставались неразрѣшеными два практическіе жизненные вопросы: 1) что долженъ онъ дѣлать, чтобы угодить единому, истинному Богу, какъ или чѣмъ онъ долженъ служить Ему? и 2) какъ помочь арабамъ, погрязающимъ въ заблужденіи? Оба эти вопроса разрѣшались однимъ и тѣмъ же словомъ: проповѣдь; но Мухаммѣдъ эль-Аминъ былъ только честный арабскій купецъ, ничего не знавшій объ автономной нравственности и категорическомъ императивѣ. Увѣровавши въ живого Бога, онъ относился и къ Нему такъ же, какъ, будучи приказчикомъ, относился къ своимъ хозяевамъ. Проповѣданіе людямъ истинной вѣры было дѣломъ Божіимъ, которое Аллахъ поручалъ своимъ избранникамъ, какъ хозяинъ поручаетъ довѣренному приказчику доставить свой караванъ по назначению. Мухаммѣдъ не могъ брать на себя дѣла Божія, пока оно не было ему поручено самимъ Богомъ. И вотъ, съ неудовлетвореннымъ нравственнымъ стремленіемъ и неутоленной жаждой религіознаго дѣла, тоскливо бродилъ онъ въ пустынныхъ ущельяхъ Хирада.

Въ мѣсяцъ Рамаданъ 610 (а можетъ быть 612) года, во время своего ежегоднаго отшельничества, зашелъ онъ въ пещеру и, утомленный долгими и бесплодными размышленіями, легъ и заснулъ. То, что произошло съ нимъ въ эту ночь въ пещерѣ, было потомъ разукрашено всяческими легендами; но вотъ его собственный разсказъ, сохранившийся въ одномъ изъ преданій и отчасти засвидѣтельствованній Кораномъ. «Вдругъ я почувствовалъ во снѣ, что кто-то приблизился ко мнѣ и сказалъ: читай! Я отвѣчалъ: нѣтъ! Тогда тотъ сдавилъ меня такъ, что я думалъ, что я умираю, и повторилъ: читай! Я опять отказался, и онъ явившійся сдавилъ меня, и я услышалъ слова: «Читай во имя Господа твоего, который созидаешь — созидаешь человѣка изъ кровяного сгустка. Читай: Господь твой — Онъ милосердный — даетъ знать черезъ писчую трость, даетъ знать человѣку то, чего онъ не зналъ». (Сура XCVI, 1—5). Когда я это прочелъ, явленіе отступило отъ меня, и я проснулся. И я чувствовалъ, что эти слова написаны въ сердцѣ моемъ».

Мухаммѣдъ вернулся домой вѣнчъ себѣ. Хадиджа съ полнымъ вни-

маніемъ и довѣріемъ выслушала его разсказъ, а родственникъ ея Варака, котораго она позвала по этому случаю, сказалъ: «Если это правда, Хадиджа, то значить на него сошелъ великий Намусъ, сходившій нѣкогда на Моисея, и тогда значить онъ пророкъ нашего народа»⁵.

Послѣ этого съ Мухаммедомъ нѣсколько недѣль не было ничего особеннаго, но онъ видимо чего-то ждалъ, ибо снова отправился въ пустыню ранѣе обычнаго срока. Пробродивъ попонарасу въ горахъ, онъ виалъ въ страшное томленье и готовъ былъ броситься съ высокой скалы, чтобы избавиться отъ давившей его тоски. Тутъ вдругъ какое-то чудесное сіяніе озарило его, и онъ почувствовалъ полную увѣренность и спокойствіе въ душѣ. Но тѣло его изнемогало, и онъ вернулся домой въ сильной лихорадкѣ. Онъ удалился въ садовую бесѣдку и, попросивши, чтобы его завернули въ плащъ, легъ на полъ и тутъ въ сильномъ нервномъ припадкѣ (по ходячemu мнѣнію — эпилептическому) услышалъ слѣдующія слова: «Ты, завернутый въ плащѣ! Вставай! Проповѣдуй! Господа твоего, прославляй Его! Одежды твои — очисти ихъ! Нечистоты — избѣгай ея! Не будь боязъ изъ своеокрыстія — и Господа твоего — крѣпко держись Его!» (Сура LXXIV, 1—7).

Послѣ этого второго откровенія Мухаммѣдъ болѣе не колебался признать себя посланникомъ Божіимъ и принять порученіе свыше — проповѣдывать арабамъ истинную вѣру и обличать ихъ заблужденія.

Эти два первыя откровенія важны не по своему содержанію, которое очень обще и бѣдно, а потому, что въ нихъ обнаружилась для Мухаммѣда особая личная связь его съ Богомъ, установился фактъ его посланничества. А разъ этотъ фактъ былъ для него вѣръ сомнѣнія, то впослѣдствіи всякий приливъ вдохновенія, всякое внутреннее побужденіе къ религіозной проповѣди, хотя и не сопровождавшееся никакими особыми явленіями въ области виѣшнихъ чувствъ и тѣлесной жизни, Мухаммѣдъ могъ совершенно искренно и добросовѣстно принимать за божественное внушеніе. А что тѣ первыя явленія не были измышлены Мухаммѣдомъ, а произошли дѣйствительно, это до-

⁵ Отъ сближенія этого Намусъ съ греческимъ Νόμος (въ смыслѣ олицетворенія божественного закона) повидимому приходится отказаться. На самомъ дѣлѣ это есть, по всейѣ вѣроятности, терминъ изъ языка и религіи халдейскихъ сабіевъ или мандеевъ, обозначающій особое проявленіе Духа Божія. См. изслѣдованія Бранта о мандейской религії.

казывается, во-первыхъ, произвѣеннымъ имъ дѣйствiемъ, а во-вторыхъ, простотой и реальностью въ разсказѣ Мухаммѣда. «Если бы онъ былъ шарлатаномъ, — справедливо замѣчаетъ Августъ Мюлльеръ, — то онъ не преминулъ бы сочинить побольше яркихъ и опредѣленныхъ описаний происшедшаго съ нимъ явленія, говорилъ бы о какомъ-нибудь ангелѣ съ крыльями и т. д. Между тѣмъ не только непосредственно послѣ своихъ припадковъ, но и впослѣдствiи, вспоминая о нихъ и настаивая на ихъ истинности въ виду враждебнаго отношенiя къ его проповѣди со стороны корейшитовъ, по поводу новаго поѣтывшаго его видѣнiя, Мухаммѣдъ не уснащаетъ факта никакими живописными подробностями. Вотъ какъ онъ говоритъ о немъ въ Сурѣ LIII (слѣдую нѣмецкому переводу помянутаго ученаго): «Воистину то было небесное откровенiе. Онъ самъ научилъ земляка вашего. — Онъ, сильный крѣпостью, Онъ, могучий. Тогда вставъ Онъ, какъ былъ Онъ, на небѣ небесь. Потомъ сходилъ Онъ ближе и ближе. И открылъ Онъ слугѣ своему откровенiю, — не солгало сердце, что видѣлъ онъ. Или вы теперь спорите, что видѣлъ онъ? Уже видѣлъ онъ Его однажды нисходящимъ — у дерева въ концѣ сада — тамъ садъ отдохновенiя — тогда дерево было покрыто листвою — не уклонялся въ сторону и не отвращался глазъ его (т. е. Мухаммѣда) — воистину изъ чудесъ Господа своего величайшее увидѣлъ онъ».

V.

Сущность ислама. — Вѣра Авраамова. — Отношенiе къ другимъ монотеистическимъ религiямъ.

Хотя Мухаммѣдъ придавалъ важность и чувственнымъ явленiямъ, сопровождавшимъ получение имъ божественного откровенiя, — существеннымъ для него было, конечно, самое это откровенiе, т. е. Коранъ. Коранъ собственно значитъ *чтенiе*; но это чтенiе было первоначально внутреннимъ, сердечнымъ воспрiятiемъ божественныхъ глаголовъ, которые Мухаммѣдъ затѣмъ (иногда нѣсколько времени спустя) произносилъ вслухъ и диктовалъ своимъ близкимъ. Хотя Коранъ съ самаго начала представляется Мухаммѣдомъ какъ книга, но эта книга не похожа на обыкновенные писанiя — дѣло рукъ человѣческихъ; она существуетъ на небѣ и оттуда сообщена пророку: «Воистину Твой Богъ Властитель, Милосердный. Эта книга воистину идетъ отъ Владыки мiровъ. Вѣрный духъ принесъ ее съ неба. Онъ

положилъ ее на сердце тебѣ, чтобы ты былъ посланникомъ. Она изложена по-арабски и слогъ ея чистъ. Книги священныя и древнія упоминаютъ о ней» (Сура XXVI, 191—196).

Такова форма откровенія по Мухаммеду. Въ чемъ же онъ полагалъ самую сущность и главное содержаніе истинной религіи?

«Скажи тѣмъ, которые станутъ спорить съ тобою: я отдалъ сердце мое Богу, также и тѣ, что слѣдуютъ за мною» (Сура III, 18).

«Скажи имъ: или мнѣ искать другого покровителя, кромѣ Бога? Онъ сотворилъ небо и землю. Онъ питаетъ и не питается. Я получилъ приказаніе — первый (изъ арабовъ) — обратиться къ исламу и не давать равнаго Всевышнему» (Сура VI, 14).

«Авраамъ сказалъ отцу своему Азару: воздамъ ли изваяніямъ поклоненіе, подобающее единому Богу? Ты и народъ твой во мракѣ глубокомъ. Мы показали Аврааму славу неба и земли, чтобы сдѣлать вѣру его непоколебимой. Когда ночь осѣнила его, онъ увидаль звѣзды и воскликнулъ: вотъ мой Богъ! Но звѣзда исчезла, и онъ сказалъ: я не люблю того, что исчезаетъ. Увидѣвъ восходящую луну, онъ сказалъ: вотъ мой Богъ, но когда луна зашла, онъ прибавилъ: если бы Господь не просвѣтилъ меня, я бы былъ въ заблужденіи. Когда солнце появилось на востокѣ, онъ воскликнулъ: вотъ это мой Богъ — онъ больше другихъ! Но когда солнце закатилось, онъ продолжалъ: Народъ мой! Я не причастенъ поклоненію вашимъ божествамъ, я поднимаю чело мое къ Создателю неба и земли; почитайте Его единаго; я не съ тѣми, что причисляютъ боговъ къ Богу» (тамъ же, 74—79).

«Они приравняли джинновъ Богу, а тѣ лишь созданія Его. Они приписываютъ Ему дѣтей въ невѣжествѣ своемъ. Хвала Богу, да-лече отъ Него такое богохульство (тамъ же, 100).

«Если они откажутся вѣрить ученію твоему, скажи имъ: *милъ довольно и одного Бога*. Нѣть Бога кромѣ Него; на Него возложилъ я все довѣріе свое. Онъ — владыка верховнаго престола» (Сура IX, 130).

«Если вы будете невѣрны, то Богъ все-таки останется Владыкою неба и земли. Онъ богатъ, и хвала Его въ Немъ Самомъ» (Сура IV).

«Помните вы царя, который спорилъ съ Авраамомъ о Богѣ, давшемъ царство? — Мой Богъ, сказалъ Авраамъ, Тотъ, Который даетъ жизнь и смерть. — Это я, отвѣчалъ нечестивецъ, даю жизнь и

смерть. — Но мой Богъ, прибавилъ Авраамъ, поднимаетъ солнце съ востока — подними его съ запада! — Невѣрный остался въ смущеніи, ибо Всемогущій не просвѣщаетъ развратныхъ» (Сура II, 260).

«Богъ низводить дождь съ небесъ, и сухая земля становится плодородною, — не знакъ ли это для понимающихъ?» (Сура XVI, 67).

«Если бы во вселенной было много боговъ, ея разрушение было бы близко» (Сура XXI, 11).

«Мы внушили тебѣ принять вѣру Авраама, который былъ благочестивъ и не принадлежалъ къ идолопоклонникамъ» (Сура XVI, 124).

«Онъ начало и конецъ, Онъ явный и Сокрытый, знаніе Его обнимаетъ все существующее» (Сура LVII, 3).

Хотя Богъ является Мухаммеду преимущественно со стороны своего безконечного величія, какъ Богъ силы, какъ всемогущій Все-держитель, этимъ не устраняются и другія существенные для религіи стороны въ понятіи Божества. Въ VI Сурѣ Аллахъ называется *Богомъ истины*, а въ XVII читаемъ: «Призываите Бога, или призываите Милосерднаго: эти два имени одинаково прекрасны». Съ чувствомъ подавляющаго величія Божія у Мухаммеда соединялось понятіе о нравственномъ характерѣ Божества, о Его правдѣ и милосердіи. Свою проповѣдь онъ начинаетъ: «Во имя Бога милосерднаго, милости-ваго» (*бисмъ Иллахъ эр-рахманъ эр-рахимъ*), и первая вступительная Сура есть чисто-бблейское словословіе: «Хвала Богу, Владыкѣ міровъ, милосердному, милостивому, царю судного дня. Поклоняемся Тебѣ, Господи, и молимъ Тебя о помощи. Направь насъ на стезю спасенія, на стезю тѣхъ, кому Ты умножилъ благодѣянія Твои, кто не заслужилъ гнѣва Твоего и сохранился отъ заблужденія».

Единствомъ Божіимъ логически требуется единство человѣчества, связанного съ Богомъ, т. е. единство истинной религіи для всѣхъ народовъ. Открыть истину однимъ и скрыть ее отъ другихъ было бы противно правдѣ и милосердію Божію. Отсюда уже яствуетъ, что Мухаммедь не могъ смотрѣть на Коранъ какъ на безусловно новое откровеніе. Человѣчество, единое по происхожденію, имѣло съ самаго начала одну истинную вѣру. «Богъ всѣхъ вѣръ создалъ изъ одного человѣка, и изъ него же Онъ образовалъ женщину, чтобы быть подругой ему» (Сура VII, 189). — «Первоначально всѣ люди имѣли одну вѣру. Потомъ они предались религіознымъ спорамъ» (Сура X, 20).

Когда вслѣдствіе этихъ споровъ у разныхъ народовъ возникли различные заблужденія и ложныя религіи, Богъ каждому народу по-

сыдалъ пророка изъ среды его для возвращенія заблуждающихся къ единой истинѣ. «Всѣ народы имѣли посланниковъ (Божіихъ), судившихъ ихъ по правдѣ» (тамъ же). «Всякому народу посыпали Мы посланниковъ, проповѣдавшихъ единаго Бога и отвращавшихъ отъ тагута (иола). Нѣкоторые открыли глаза для свѣта, другіе судомъ Божіимъ остались въ ослѣплении» (Сура XVI, 38).

«Мухаммѣдъ рѣшительно отклоняетъ отъ себя притязаніе быть основателемъ или первымъ провозвѣстникомъ мусульманской религіи: «Исламъ, — говоритъ онъ, — есть религія Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса» (Сура XLII, 11). — «Скажи: мы вѣримъ въ Бога, въ то, что Онъ послалъ намъ, что Онъ открылъ Аврааму, Измаилу, Исааку, Іакову и двѣнадцати колѣнамъ, мы вѣримъ въ священные книги, полученные съ неба Моисеемъ, Иисусомъ и пророками, мы не полагаемъ между ними никакого различія — мы Ему предали себя» (Сура III, 78).

Это единство и древность ислама заставляютъ Мухаммѣда осуждать всякую религіозную исключительность и требовать *одинаково* признанія всѣхъ исторически-различныхъ проявленій истинной религіи. «Тѣ, — говоритъ онъ, — которые, возставая противъ Бога и посланниковъ Его, полагаютъ между ними различіе, вѣря одному и отвергая другого, *создаютъ себѣ произвольную вѣру*. Это невѣрные, которые будутъ наказаны. Но тѣ, которые вѣрюютъ въ Бога и посланниковъ Его, *безразлично* будутъ награждены» (Сура IV, 149—150).

Такое безразличіе, относящееся собственно къ единой и истинной сущности всѣхъ монотеистическихъ религій и къ общему для всѣхъ ихъ провозвѣстниковъ факту божественного посланичества, не мѣшаетъ Мухаммѣду относиться къ нимъ неодинаково съ другихъ точекъ зрѣнія. Прежде всего совершило особенное значеніе долженъ быть имѣть для него отецъ всѣхъ вѣрующихъ, Авраамъ. Его традиціоннымъ именемъ освѣщалась, съ одной стороны, та національно-религіозная почва, на которой возникъ исламъ, а съ другой стороны, это имя связывало новую религію съ прочими современными Мухаммѣду «народами писаній», т. е. христіанами, іудеями, сабіями.

Если бы Мухаммѣдъ, намѣреваясь дать арабамъ религію, имѣль въ виду не истину, а укрѣпленіе ихъ національной особенности, то снѣ долженъ быть бы выставить на первый планъ не Авраама, а традиціоннаго родоначальника своихъ современниковъ — Измаила,

представить его пророкомъ, посланнымъ специально для арабовъ, а самого себя — возстановителемъ религіи Измаила. Но хотя Мухаммедъ ограничивалъ — особенно сначала — свое посланничество одними арабами, считая себя имѣющимъ порученіе отъ Бога именно къ этому народу, однако самое порученіе это состояло не въ томъ, чтобы укреплять арабскую національность и утверждать особое для этого народа исключительно предназначеннное духовное начало, а въ томъ, чтобы проповѣдывать арабамъ истину единобожія. А традиционнымъ представителемъ этой истины въ древности былъ не Измаилъ, а Авраамъ. Авраамъ не былъ національнымъ пророкомъ, онъ не былъ посланъ специально къ арабамъ; они почитали его вмѣстѣ съ другими народами — съ іudeями и христіанами. Выставляя исламъ какъ религию Авраама, Мухаммедъ надѣялся сдѣлать свою проповѣдь убѣдительной и принятіе ея нравственно-обязательнымъ для добросовѣтныхъ послѣдователей Моисея и Христа. Онъ надѣялся согласить монотеистическую религію между собою, возвращая ихъ къ ихъ общему источнику. Если іудеи и христіане, думалъ онъ, искренно одобряютъ вѣру Авраама и считаютъ его родоначальникомъ своей религіи, то они должны принять и его, Мухаммедову, проповѣдь, такъ какъ онъ проповѣдуетъ имъ эту самую Авраамову вѣру и ничего болѣе. «Авраамъ не былъ, — читаемъ въ Коранѣ, — ни іудей, ни христіанинъ, — онъ былъ правовѣрный, мусульманинъ, поклонникъ единаго Бога. Ближе всѣхъ къ Аврааму тѣ, которые слѣдуютъ ему и этому посланнику (Мухаммеду) и вѣрютъ какъ онъ; Богъ глава вѣрующихъ» (Сура III, 60—61).

Тутъ уже Авраамъ не ставится въ ряду прочихъ пророковъ, и его религія не признается одною изъ безразлично-равныхъ формъ монотеизма, а выставляется какъ безусловная норма для другихъ монотеистическихъ религій. Это еще настойчивѣе подчеркивается въ Сурѣ II, данной также въ Мединѣ, какъ и Сура III: «Евреи и христіане говорятъ: примите нашу вѣру, если хотите встать на пути спасенія. — Отвѣчай имъ: мы слѣдуемъ вѣрѣ Авраама, который отказался кадить идоламъ и поклонялся только единому Богу. — Скажите: мы вѣруемъ въ Бога, въ книгу (откровеніе), намъ посланную, въ то, что было открыто Аврааму, Измаилу, Исааку, Іакову и родоначальникамъ двѣнадцати колынь. Мы вѣrimъ ученію Моисея, Іисуса и пророковъ; мы не дѣлаемъ между ними никакого различія, и мы Ему (Аллаху) себя предаемъ. Если христіане и евреи имѣютъ ту же вѣру,

они находятся на томъ же пути; если уклоняются отъ него, то произведутъ съ тобою раздоръ, но Богъ дасть тебъ силу бороться съ ними, потому что Онъ слышитъ и понимаетъ все. Наша вѣра отъ Бога, и мы ей вѣрны. Кому какъ не Богу давать людямъ религії? — Скажи имъ: станете ли вы спорить съ нами о Богѣ? Онъ Владыка и валишь, и напиць. У насъ наши дѣла, у васъ — ваши, но вѣра наша чиста. Скажете ли вы, что Авраамъ, Измаилъ, Исаакъ, Яковъ и родоначальники коленъ Израилевыхъ были іудеи и христіане?» (Сура II, 129—134).

Выраженія: «наша вѣра отъ Бога» и «кому какъ не Богу давать людямъ религії?» вполнѣ объясняютъ, въ какомъ смыслѣ нужно понимать признаніе Мухаммедомъ прочихъ откровеній безъ всякаго различія между ними. Всѣ эти откровенія происходятъ отъ Бога, но происходить порознь, безъ всякой генетической связи между собою; поэтому Коранъ вовсе не зависитъ отъ прежнихъ откровеній. Онъ согласенъ съ ними и подтверждаетъ ихъ, но онъ, какъ и они, посланъ *прямо* съ неба, отъ единаго Бога. «Нѣть Бога, кроме Бога живого и вѣчнаго. Онъ послалъ тебѣ книгу (откровеніе), содержащую истину, чтобы подтвердить писалія, бывшія прежде нея. Раньше Онъ ниспославъ Пятикнижіе и Евангеліе для руководства людей. Нынѣ послалъ онъ просвѣщеніе» (Сура III, 1—2).

Идея постепенного откровенія Божія соответственно процессу духовнаго развитія человѣчества совершенно чужда Мухаммеду. Поэтому Мухаммедь нигдѣ не выставляетъ ученіе Корана какъ *высшую ступень* религіознаго развитія; признаваемое имъ превосходство этого ученія, равно какъ и вѣры Авраамовой, съ которой оно безусловно тождественно, состоить не въ большей полнотѣ или высшемъ развитіи религіозной истины, а единственno только въ томъ, что здѣсь эта истина остается въ своей первоначальной чистотѣ и простотѣ: «наша вѣра чиста». Всѣ пророки получали чистую вѣру съ неба, но затѣмъ она искажалась, частью отъ дѣйствія злого духа, частью по винѣ людей: «Каждый разъ какъ мы посыпали пророковъ, сатана примѣшивалъ заблужденіе къ ихъ учению» (Сура XXII, 51).

«Мы приняли, говорить Аллахъ, христіанъ въ завѣтъ свой, но они забыли часть нашихъ заповѣдей. Мы посыпали между ними распри и ненависть, они погаснутъ лишь въ день воскресенія. Скоро они увидятъ, что они сдѣлали» (Сура V, 17).

Впрочемъ, помимо искаженій, вносимыхъ злобою сатаны и невѣр-

ностю людѣй, въ монотеистическихъ религіяхъ есть и первоначальная различія, происходящія отъ самого Бога. Эти различія касаются не вѣры, а заповѣдей. Вѣра въ единаго Бога и Его праведный судъ одна и та же во всѣхъ откровеніяхъ, но заповѣди Богъ даетъ различнымъ народамъ разныя. «Богъ могъ соединить васъ всѣхъ въ одной религіи, но Онъ хотѣлъ испытать, будете ли вы вѣрши различнымъ Его заповѣдямъ» (Сура V, 53).

Поэтому Мухаммѣдъ, насколько онъ оставался послѣдовательнымъ, не требовалъ отъ іудеевъ и христіанъ принятія Корана, какъ непремѣнного условія спасенія: они обязаны только исполнять заповѣди своей религіи: «Скажи: о люди Писанія! у васъ нѣть никакого основанія, если вы не соблюдаете заповѣдей Божіихъ, данныхыхъ въ законѣ и Евангеліи. Книга (откровеніе), полученная тобою отъ Господа твоего, увеличитъ ослѣпленіе многихъ изъ нихъ; но ты не тревожься судьбою невѣрныхъ. Вѣрные іудеи, сабіи и христіане, вѣрующіе въ Бога и въ послѣдній день, и добродѣтельно живущіе, будутъ избавлены отъ страха и мученій» (тамъ же, 72—73).

VI.

Взглядъ Мухаммѣда на самого себя.

Несмотря на испытанное имъ въ «благословенную ночь» и на дальнѣйшіе случаи вдохновенія и экстаза, повторявшиеся съ нимъ болѣе или менѣе сильно и явственно при возвѣщеніи другихъ главъ Корана, Мухаммѣдъ никогда не приписывалъ себѣ сверхчеловѣческаго достоинства и настаивалъ только на истинѣ получаемыхъ имъ свыше откровеній, не подтверждая ихъ никакими знаменіями и прорицаніями.

«Мухаммѣдъ только посланникъ Божій; другіе посланники ему предшествовали. Если бы онъ умеръ или былъ убитъ, неужели вы покинете его ученіе? Ваше отступленіе повредило бы не Богу, а вамъ самимъ» (Сура III, 138).

Въ Сурѣ IV находимъ слѣдующее заявленіе обѣ ограниченности знанія у Мухаммѣда: «Мы открыли тебѣ часть нашего посланничества; есть другая, относительно которой мы оставили тебя въ невѣдѣніи». — «Служеніе посланного состоять только въ проповѣданіи» (Сура V).

«Я не говорилъ вамъ, что обладаю небеснымъ сокровищемъ, что знаю тайны или что я — ангель. Я проповѣдалъ только то, что мнѣ открыто» (Сура VI, 50).

«Если бы будущее было мнѣ открыто, я собралъ бы себѣ сокровища и обезопасилъ бы себя отъ всякихъ ударовъ судьбы. Но я только человѣкъ, обязанный возвѣщать вѣрующимъ угрозы и обѣтованія Божіи» (Сура VII, 188).

«Я не могу ничего измѣнить, — пишу только то, что получилъ черезъ откровеніе» (Сура X, 16).

«Если бы какая-нибудь моя заповѣдь, говорилъ Аллахъ Мухаммеду, вышла у тебя изъ памяти, или если бы у тебя требовали, чтобы ты открылъ сокровища, или чтобы тебѣ сопровождали ангелы, — не огорчайся. Твое служеніе только въ проповѣданіи. Управлѣніе всѣмъ существующимъ принадлежитъ Богу» (Сура XI, 15).

«Скажи: я такой же человѣкъ, какъ вы. Я только получилъ откровеніе, что Богъ вашъ есть Богъ единій» (Сура XVIII, 110).

«И прежде тебя, говорить Аллахъ, мы посыпали вдохновенныхъ мужей, — спросите у людей Писанія. Мы не давали имъ призрачныхъ тѣлъ; они не оставались вѣчно на землѣ» (Сура XXI, 7—8).

«Ты не былъ съ Моисеемъ на западной сторонѣ горы, когда мы возложили на него наше порученіе. Ты не былъ въ числѣ свидѣтелей... Ты не былъ на склонѣ горы Синай, когда мы призвали Моисея. Но божественное милосердіе избрало тебя проповѣдывать народу, у котораго не было прежде посланныхъ, чтобы онъ открылъ глаза для свѣта» (Сура XXVIII, 44—46).

«Скажи: я не первый изъ посланныхъ. Я не знаю, что будетъ со мною и съ вами. Я слѣдую тому, что мнѣ открыто. Мнѣ поручено только проповѣдывать» (Сура XLVI, 8).

Такъ какъ «люди писаній» были мусульманами прежде Корана (Сура XXVIII, 53), то миссія Мухаммеда къ нимъ прямо не относится; онъ посланъ къ арабамъ, не имѣвшимъ откровенія прежде него: «прежде тебя мы не посыпали имъ ни книги, ни апостоловъ» (Сура XXXIV, 43).

Коранъ есть писаніе для арабовъ; онъ не отмѣняетъ Пятикнижія и Евангелія для получившихъ эти книги, но онъ замѣняетъ ихъ для арабовъ. Религіозный законъ остается прежній для народовъ, получившихъ писанія; и на землѣ, и въ послѣдній день каждый изъ нихъ судится своимъ пророкомъ и по своей книгѣ.

«Христіане пусть судятъ по Евангелію; кто не судить сообразно тому, что ниспослалъ Аллахъ, поступаетъ превратно» (Сура V, 51).

«Изъ каждого народа мы воздвигнемъ въ этотъ (послѣдній) день свидѣтеля, чтобы свидѣтельствовать противъ него: ты будешь свидѣтельствовать противъ этихъ (т. е. арабовъ)» (Сура XVI, 91).

«Покинемъ ли мы нашихъ боговъ, говорятъ они, ради безумного поэта? Тотъ, кого они такъ называютъ, просвѣщенный свѣтомъ истины, пришелъ подтвердить посланичество пророковъ. А вы — вы испытаете жестокую казнь — возляніе праведное за ваши дѣла» (Сура XXXVII, 36).

VII.

Первые возраженія, встрѣченные Мухаммедомъ.

Увѣренность Мухаммеда въ открывшемся ему религіозной истинѣ единаго, живого и праведнаго Бога и въ своемъ призваніи возвѣщать эту истину соплеменникамъ, погруженнымъ въ невѣдѣніе и нечестіе,— эта увѣренность могла только укрѣпляться отъ тѣхъ возраженій, которыя ему пришлось услышать отъ этихъ своихъ соплеменниковъ. Всѣ такія возраженія имѣли совершенно виѣшній характеръ и къ существу дѣла совсѣмъ не относились. Вотъ самое сильное изъ нихъ: «Когда убѣждаетъ невѣрныхъ принять откровеніе Божіе, они возражаютъ: мы слѣдуемъ вѣрѣ нашихъ отцовъ. — Должны ли они ей слѣдоватъ, справедливо замѣчаетъ Мухаммедъ, если отцы ихъ ходили во тьмѣ невѣдѣнія и заблужденій?» (Сура II, 165).

А что отцы дѣйствительно заблуждались, — это Мухаммедъ подтверждаетъ указаніемъ на безнравственные обычаи у арабовъ, освящавшіеся вѣрою отцовъ, въ особенности на принесеніе въ жертву дѣтей и на закапываніе въ землю новорожденныхъ дочерей.

«Богъ не можетъ повелывать преступленій. Скажи: Богъ повелываетъ мнѣ правду» (Сура VII, 27—28).

Это заявленіе, сдѣланное въ Меккѣ, выражаетъ основное религіозное настроеніе Мухаммеда и указываетъ на внутреннюю *raison d'être* мусульманства.

Аргументъ «отъ вѣры отцовъ» вѣроятно часто выставлялся противъ Мухаммеда, такъ какъ онъ неоднократно возвращается къ нему въ Коранѣ. Такъ, въ Сурѣ XLIII, 22—23: «Каждый разъ, какъ наши служители (говорить Аллахъ) проповѣдывали истинную вѣру

въ какомъ-нибудь городѣ, старѣшины народа держали имъ одну и ту же рѣчь: мы слѣдуетъ вѣрѣ нашихъ отцовъ. Скажи: какъ! Даже если я приношу вамъ вѣру болѣе правую, чѣмъ вѣра вашихъ отцовъ? Но они говорили: мы не вѣримъ твоему посланничеству».

Такъ какъ отвѣтъ Мухаммеда, что отцамъ должно слѣдовать не во всемъ, а только въ хорошемъ, былъ въ своемъ общемъ внутреннемъ смыслѣ мало доступенъ толпѣ, то Мухаммѣдъ даетъ ему другую, болѣе конкретную и внушительную форму: напоминающую евангельское: *вы отца вашего диавола есть*: «когда убѣждаешь ихъ принять религию, посланную Богомъ съ неба, они говорятъ: мы слѣдуетъ богопочитанію нашихъ отцовъ. Не послѣдуютъ ли они и за сатаной, когда онъ позоветъ ихъ въ вѣчный огонь?» (Сура XXXI, 20).

Другіе столь же естественные, но еще болѣе слабые и существуя дѣла чуждые аргументы, противопоставлявшіеся Мухаммѣду его невѣрующими соотечественниками (аргументы, также извѣстные намъ изъ Евангелія), состояли въ требованіи чудесъ для подтвержденія божественной миссіи и въ указаніи на внѣшнюю незначительность проповѣдника. Такіе аргументы не могли затруднить Мухаммѣда. На требование чудесъ онъ отвѣчаетъ: «Прежнѣе пророки творили чудеса, а невѣрующіе ихъ все-таки убили» (Сура III, 180).

«Чудеса во власти Божіей, но Онъ ихъ не совершаетъ потому, что, и видя ихъ, вы остались бы въ невѣріи... Если бы мы ангеловъ съ неба послали, и мертвые говорили имъ, и мы собрали бы передъ ними всѣ чудеса, — не повѣрили бы» (Сура VI, 109, 111).

«Если бы Корантъ двигалъ горы, раздѣлялъ землю пополамъ и заставлялъ говорить мертвыхъ, — они не повѣрили бы» (Сура XIII, 30).

«Невѣрные сказали: мы не повѣримъ твоему посланничеству, если ты не вызовешь изъ земли источника живой воды, или ручья среди сада, или если ты не опустишь свода небеснаго и не покажешь намъ открыто Бога и ангеловъ, или не построишь золотого дома, или не взойдешь на небо по лѣстницѣ. Да и тогда не повѣримъ, если не пришлешь съ неба книгу, которую мы могли бы читать. Скажи: «хвала Всевышнему! я только человѣкъ, посланный къ вамъ!» (Сура XVII, 93—96).

«Если бы они видѣли сводъ небесный, обрушающейся на ихъ головы, они сказали бы: «это скученныя облака» (Сура LII, 44).

Для самого Мухаммѣда, если не для его невѣжественныхъ про-

тивниковъ, болѣе всего убѣдительна судьба прежнихъ проповѣдниковъ истины и народовъ, отвергавшихъ ихъ.

«И прежде тебя смеялись надъ Нашими служителями, но вышло худо для смеявшихся» (Сура XXI, 42).

«Каждый народъ отвергалъ посланничество посланного къ нему; все народы погибли одинъ за другимъ. Они называли Нашихъ служителей обманщиками и они погибли» (Сура XXIII, 46).

«Они обвиняютъ исламъ во лжи, — они услышать новость, надъ которой не будутъ смеяться» (Сура XXVI, 5).

«Когда они слышать божественное учение, они говорятъ: это простой человѣкъ. Онъ хочетъ отвратить насъ отъ вѣры отцовъ. Коранъ — это ложныя выдумки, басни. Ослѣпленные нечестіемъ, они называютъ ложью истину, которая блещетъ передъ ихъ глазами... Народы, бывшіе прежде нихъ, обвиняли въ обманѣ посланниковъ вѣры, но не получили и десятой доли того, что было имъ назначено. Они называли обманщиками посланныхъ Моихъ, но какъ ужасно было Мое мщеніе!» (Сура XXXIV, 42, 44).

Были нѣкогда въ Аравіи два идолопоклоннических народа — темудъ и адъ. «Служители вѣры проповѣдывали имъ поклоненіе единому Богу. Они отвѣчали: «Если бы Онъ хотѣлъ насъ просвѣтить, Онъ послалъ бы намъ ангеловъ» (Сура XL, 13). Темудъ и адъ погибли безслѣдно.

Особенно поучительнымъ для Мухаммеда представляется примѣръ фараона, противившагося Моисею. «Египетскіе волхвы, убѣжденные чудесами Моисея, сказали: «Мы вѣруемъ во Всевышняго Бога Моисея и Аарона». — Фараонъ сказалъ: «Развѣ вы можете вѣрить безъ моего позволенія?» (Сура XXVI, 45—48).

«Пусть Моисей будетъ казненъ смертью, сказалъ царь, я боюсь, чтобы онъ не заставилъ народъ мой перемѣнить религию и чтобы онъ не разорилъ моего государства» (Сура XL, 27).

«Развѣ я не заслуживаю предпочтенія (говорить фараонъ) передъ низкимъ обманщикомъ? Онъ едва умѣетъ говорить. Украшенъ ли онъ золотыми браслетами? Сопровождаютъ ли его полчища ангеловъ?» Фараонъ обвинялъ своихъ подданныхъ въ легкомыслии, и они послушались его, потому что были нечестивы. Преступленія ихъ вызвали гневъ небесный, и они были поглощены водами. Наказаніе ихъ будетъ служить примѣромъ для потомства» (Сура XLIII, 51—56).

«Старѣшины народа отвѣчали Ною (когда онъ имъ проповѣды-

валь единаго Бога): «Ты такой же человѣкъ, какъ мы; подлая чернь послѣдовала за тобою безъ разсужденія. У тебя нѣтъ никакихъ заслугъ, которыя возвышали бы тебя надъ нами. Мы считаемъ тебя обманщикомъ» (Сура XI, 29).

Непримиримые противники Мухаммеда ставили ему въ укорь даже то, что онъ проповѣдывалъ на общепонятномъ арабскомъ языкѣ. Въ своемъ краткомъ отвѣтѣ Мухаммедъ удачно характеризуетъ подобный возраженія: «Если бы изложили Коранъ на языкѣ невѣдомомъ, они закричали бы: «почему онъ не изложенъ ясно» (Сура XLI, 44).

VIII.

Ученіе Корана о предопределѣленіи и свободѣ. — Вѣра и добрыя дѣла.

Неодолимое упорство противниковъ Мухаммеда въ отверженіи истины, возвѣщаемой имъ по повелѣнію Божію, — упорство, плохо прикрываемое явно недобросовѣстными аргументами, естественно навело Мухаммеда на мысль, что эти его противники, также какъ и предшественники ихъ среди другихъ племенъ, отвергавшіе прежнихъ пророковъ, дѣлали это не по неразумѣнію, а по злой волѣ, что всѣ они — люди безповоротно осужденные, предопределѣлены къ погибели. Эта взглядъ неоднократно высказывается въ Коранѣ и занялъ, какъ извѣстно, видное положеніе въ послѣдующемъ мусульманскомъ богословії. Не правы однако тѣ историки (между прочимъ и такой объективный критикъ ислама, какъ Авг. Мюллеръ), которые приписываютъ Мухаммеду нелѣпый и богохульный догматъ о предопределѣленіи ко злу, т. е. что Богъ по произволу Своему предназначилъ однимъ быть добрыми и спастись, а другимъ — быть злыми и погибнуть. Такой взглядъ можно находить въ отдельныхъ изреченіяхъ Корана только вслѣдствіе неспособности Мухаммеда къ точному и раздѣльному выражению отвлеченныхъ идей. Но если у него не было связной и послѣдовательной богословской системы, то у него нельзя отнять живого религиозного сознанія, открывавшаго ему Бога истины, Бога праведнаго и милосерднаго. Если не логическая мысль, то сердечное чувство и истинное благочестіе препятствовали Мухаммеду представлять Бога несправедливымъ. Поэтому его вѣра въ предопределѣленіе погибающихъ требуетъ другого объясненія, основанія для которого мы находимъ въ томъ же Коранѣ. Нужно различать двѣ мысли: 1) люди

упорствуютъ въ невѣріи потому, что они произвольно осуждены Богомъ на безповоротную злобу и погибель, — этой мысли Мухаммедь никогда не высказывалъ и, на нашъ взглядъ, не могъ высказывать; и 2) когда люди непреодолимо упорствуютъ въ невѣріи — это значитъ, что они осуждены на гибель *всевѣдущимъ* Богомъ, Который, зная, что они, въ глубинѣ души своей, безповоротно предпочли зло добру, не заботится болѣе объ ихъ спасеніи, а напротивъ, для своихъ провиденціальныхъ цѣлей ожесточаетъ еще болѣе сердца ихъ (все равно уже ожесточенное и погибшее), какъ Онъ ожесточилъ сердце фараона, чтобы Моисей прославился великими знаменіями. Такова Мухаммедова мысль о предопределѣніи, основанномъ не на произволѣ Божіемъ, а на Его всевѣдѣніи и вседѣйственности, на которыхъ много разъ и съ особымъ удареніемъ указывается въ Коранѣ.

«Богъ держитъ въ рукахъ Своихъ ключи сокровенного. Онъ одинъ его знаетъ. Онъ знаетъ все, что на землѣ и въ глубинѣ моря. Листъ съ дерева не падетъ безъ Его вѣдѣнія. Нѣтъ зернышка на землѣ, которое не было бы записано въ книгѣ очевидности» (Сура VI, 59).

«Все записано въ книгѣ очевидности» (Сура XI, 8).

«Богъ знаетъ, что женщина носитъ въ утробѣ своей, насколько ея uterus сжимается или расширяется. Все взвѣшено передъ Нимъ» (Сура XIII, 9).

То, что дѣлаетъ человѣкъ, дѣлаетъ не онъ, а Богъ чрезъ него: «не вы ихъ убили (враговъ ислама), они пали подъ мечомъ Всемогущаго. Не ты, Мухаммѣдъ, напалъ на нихъ, а Богъ, чтобы показать вѣрный знакъ своего покровительства. Онъ знаетъ и слышитъ все».

Но если все будущее, также какъ настоящее и прошедшее, написано въ книгѣ очевидности, т. е. дано во всевѣдѣніи Божіемъ, и если все, что совершается, даже виѣшнія дѣла самого человѣка, всецѣло зависятъ отъ божественного всемогущества и собственно имъ совершаются, — этимъ еще свобода человѣка не упраздняется, а только вводится въ предѣлы чисто виутренняго, нравственнаго отношенія его къ Богу. Сдѣлать какое-нибудь виѣшнее дѣло, произвести какую-нибудь реальную перемѣну въ предопределѣніи отъ Бога ходь вѣщей человѣкъ самъ по себѣ не можетъ, но быть добрымъ или злымъ, принять или отвергнуть предлагаемый ему законъ Божій, оставаться вѣрнымъ этому закону или отступить отъ него, однимъ словомъ, быть въ сердцѣ своемъ съ Богомъ, или противъ Бога — это зависитъ отъ

самого человѣка. Что невѣрные были истреблены мусульманами — это было дѣло Всемогущаго, но что одни были вѣрными, а другіе не-вѣрными — это зависѣло отъ нихъ самихъ.

Отношеніе Бога къ творенію, требующее внутренней свободы этого послѣдняго, указано въ слѣдующемъ замѣчательномъ текстѣ Суры XXXIII, 72: «Мы предложили (говорить Аллахъ) истинную вѣру небесамъ, землѣ, горамъ, — они не посмѣли принять ее. Они трепетали передъ этимъ бременемъ. Человѣкъ принялъ его, и сталъ неправеднымъ и безсмысленнымъ».

Конечно, совмѣстность предопределѣнія и свободы, даже при ограниченіи этой послѣдней однимъ внутреннимъ нравственнымъ отношеніемъ человѣка къ Богу, представляетъ большія теоретическія трудности; но Мухаммѣдъ не былъ философомъ, и отъ него нельзя требовать не только разрѣшенія, но и пониманія этихъ трудностей. А все, что требуется для элементарнаго религіозно-нравственнаго уравновѣшенія этихъ двухъ противоположныхъ началь, дано въ Коранѣ.

Все существующее происходитъ отъ Бога; безъ Него человѣкъ не можетъ совершить ничего положительного; во всѣхъ своихъ нормальныхъ дѣйствіяхъ онъ пользуется помощью Божіей; отдельно отъ Бога онъ не производить ничего существующаго, а только извращаетъ таковое.

«Человѣкъ окружены ангелами, которые непрерывно сминаются. Богъ поручилъ имъ хранить его. Онъ отнимаетъ свою благодать только тогда, когда человѣкъ извратилъ себя» (Сура XIII, 12).

Это извращеніе человѣкомъ себя нимало не измѣняетъ не только мірового порядка, но и хода человѣческой исторіи.

«Всякій народъ имѣть свой назначенный предѣль; онъ не можетъ ни ускорить, ни отсрочить его» (Сура X, 50).

«Всякая книга (т. е. всякое откровеніе) имѣть свое назначенное время» (Сура XIII, 38).

Отъ человѣка зависитъ только его личная судьба: если онъ вѣрить и исполняетъ заповѣди Божіи, онъ спасается и въ будущей жизни пользуется безконечными наслажденіями; если не вѣрить и не исполняетъ повелѣнное ему, осуждаетъ себя на погибель въ вѣчномъ огнѣ. Для практическихъ задачъ религіи этого, конечно, достаточно. Въ Коранѣ встрѣчаются, впрочемъ, какъ бы слабые намеки и на бо-жіе возвышенные мотивы для вѣры и праведной жизни. Указыва-

ется мимоходомъ на то, что только жизнь въ Богѣ есть истинное существованіе, а все остальное только призракъ.

«Все, чѣдѣ есть на землѣ, пройдетъ; только ликъ Божій пребудетъ вѣчно. Слава и величіе окружаютъ его» (Сура LV, 27).

«Жизнь человѣческая есть обманчивое наслажденіе» (Сура III, 182).

«Жизнь міра — легкая игра. Истинная жизнь только въ вѣчныхъ обителяхъ. Если бъ они это знали!» (Сура XXIX, 64).

«Эта жизнь — пустая игра, но вѣра и страхъ Господень будутъ имѣть свою награду».

Вѣра есть именно то, чѣдѣ связываетъ человѣка съ истинной жизнью; только вѣруя въ Бога, человѣкъ увѣренъ и въ своей собственной жизни, которая сама по себѣ, безъ этой вѣры, есть игралище всякихъ случайностей и жертвъ всякихъ враждебныхъ силъ. Для религіознаго сознанія это имѣеть не только теоретическій, но главнымъ образомъ практическій смыслъ. Съ особенной яркостью и живостью это выражается въ двухъ заключительныхъ Сурахъ Корана: CXIII и CXIV, которые хронологически принадлежать къ самымъ раннимъ вдохновеніямъ Мухаммеда въ Меккѣ.

«Скажи: я предаюсь вѣрой моей Богу утра, чтобы Онъ избавилъ меня отъ золъ, осаждающихъ человѣчество; отъ вліяній луны, покрытой мракомъ; отъ колдовства тѣхъ, что дуютъ на узлы, и отъ черныхъ замысловъ завистника».

«Скажи: я предаюсь вѣрой моему Господу людѣй, Царю людей, чтобы Онъ избавилъ меня отъ искушений сатаны, который вдыхаетъ зло въ сердце, и чтобы онъ защитилъ меня отъ козней джинновъ и злодѣевъ».

Коранъ различаетъ двѣ степени вѣры: первая, низшая, которую, собственно, нельзя называть вѣрой, хотя и она имѣеть свою цѣну, состоить въ признаніи единаго Бога и внѣшнѣмъ повиновеніи Его посланному; вторая, высшая ступень, состоить во всецѣлой преданности Богу и святому дѣлу (т. е. дѣлу установленія и распространенія единобожія).

«Арабы говорятъ: «Мы вѣруемъ». Отвѣчай имъ: «Вы не вѣрюете; говорите лучше: мы исповѣдуемъ Исламъ. Вѣра еще нее про никла въ сердца ваши. Но, если вы повинуетесь Богу и посланному Имъ, ваши дѣла не потеряютъ цѣны своей. Господь снисходителенъ и милосердъ».

«Истинно-вѣрные — это тѣ, которые безо всякаго сомнѣнія вѣрятъ Богу и посланному Имъ и жертвуютъ для святого дѣла своей жизнью и богатствами» (Сура XLIX, 14, 15).

Мы нигдѣ не находимъ въ Коранѣ признанія отвлеченной, чисто-теоретической вѣры: Мухаммѣдъ никогда не раздѣляетъ вѣру отъ дѣла вѣры. Но, признавая въ вѣрѣ разныя степени, онъ допускаетъ соответственныя степени и въ дѣлахъ вѣры. Совершенная вѣра выражается на дѣлѣ въ полномъ самопожертвованіи; низшая степень вѣры довольствуется и меньшими дѣлами — исполненiemъ необходимыхъ предписаній религіи и нравственности. Только это послѣднее обязательно для всѣхъ. А о такой мнимой вѣрѣ, которая не выражается ни въ какихъ добрыхъ дѣлахъ, въ Коранѣ даже не упоминается. Мухаммѣдъ всегда стоитъ на нераздѣльной религіозно-этической точкѣ зренія. Это совершенно понятно, ибо необходимо связано съ самой идеей о Богѣ. Такъ какъ Богъ не есть только вседержительная невѣдомая *сила*, а имѣть опредѣленное свойство, или характеръ, такъ какъ Онъ, по существу Своему, есть Богъ Праведный, Милосердный и Святой (т. е. чисто-духовный), то и законъ Божій состоять не изъ произвольныхъ и непонятныхъ требованій и предписаній, а имѣть опредѣленный этический характеръ, — изъ нравственныхъ свойствъ «Бога людей» вытекаютъ для вѣрующаго человѣка и опредѣленныя нравственные заповѣди. Для вѣрующихъ Богъ не есть неопредѣленная величина, они всегда знаютъ, чего хотеть отъ нихъ Богъ, что Ему пріятно и что непріятно. И точно также невѣрный всегда за разъ нарушаетъ и религіозную, и нравственную заповѣдь, оскорбляя вмѣстѣ и Бога, и ближняго! «Онъ не увѣровалъ въ Бога Великаго, онъ не позабылся о пищѣ бѣднаго» (Сура LXIX, 33, 34).

«Онъ говоритъ: «Господь пренебрегаетъ мною». — Нѣть! Но вы презираете сироту. Вы не спѣшите насытить бѣднаго. Вы съ жадностью пожираете наслѣдства. Вы страстно любите богатства» (Сура LXXXIX, 17—21).

«Справедливость — сестра благочестія. — Богъ обѣщаєтъ милосердіе Свое и славную награду тѣмъ, кто съ вѣрой соединяетъ заслугу добрыхъ дѣлъ».

«Богъ отнимаетъ благословеніе Свое отъ лихоимства и изливаетъ его на милостыню. Онъ ненавидитъ невѣрныхъ и нечестивыхъ. Но вѣрующіе, которые будутъ дѣлать добро, совершаТЬ мо-

литью и творить милостию, будуть имѣть награду свою у Бога, — они будутъ избавлены отъ страха и казни» (Сура II, 277).

«Если вашему должнику трудно заплатить, дайте ему срокъ, а если хотите сдѣлать еще лучше, отпустите ему долгъ его. О, если бы вы знали!» (тамъ же, 280).

«Богъ взыщетъ съ каждого лишь по силамъ его. Всякій будетъ имѣть за себя свои добрыя дѣла и противъ себя содѣянное имъ зло». Но, выставляя этотъ общій принципъ, Коранъ постоянно возвращается къ идеѣ милосердія Божія, напримѣръ, въ слѣдующей молитвѣ, выражющей также иераздѣльность религіозно-нравственного настроенія Мухаммеда:

«Господи! не карай насъ за грѣхи забвенія. Прости намъ грѣхи наши. Не налагай на насъ бремя отцовъ нашихъ. Не обременяй насъ сверхъ силъ нашихъ. Яви слугамъ Твоимъ прощеніе и снисхожденіе. Сжался надъ нами: Ты покровитель нашъ» (тамъ же, 286).

Религіозно-этическому характеру Мухаммѣдовой проповѣди противорѣчатъ повидимому такія изречения: «Идолопоклонство хуже убийства» (тамъ же). — «Опасность измѣнить истинной вѣрѣ хуже убийства» (тамъ же, 187). — «Богъ не простить многобожья. Онъ отпускаетъ по волѣ Своей всѣ другія преступленія; но многобожіе больше всѣхъ беззаконій» (Сура IV, 116). Не нужно, однако, забывать, что языческій кульпъ дѣятельно находился въ тѣснѣйшей связи съ дѣлами гораздо худшими простого убийства (принесеніе въ жертву дѣтей, безмѣрный развратъ), такъ что и эта беззощадность Мухаммѣда имѣла не исключительно религіозное, а религіозно-нравственное основаніе.

Главное дѣло вѣры относительно Бога есть молитва, относительно ближняго — милостиныя, относительно собственной своей природы — воздержаніе, или постъ. Мухаммѣдъ не только по личному чувству находилъ въ молитвѣ единственное настоящее наслажденіе, но онъ видѣлъ въ ней дѣло величайшей важности.

«Когда служитель Божій остановился, чтобы молиться, джинны стояли вокругъ него, чтобы его слушать» (Сура LXII, 19).

Милостиныя въ исламѣ также не есть только внѣшнее предписаніе, а представляется какъ выраженіе истиннаго религіозно-нравственного настроенія относительно ближняго, — такого настроенія, которое опредѣляется не формальной справедливостью, а милосердіемъ.

емъ, которое побуждаетъ давать другому даромъ и не воздавать зломъ за зло.

«Мы кормимъ васъ ради одного Бога. Мы не ищемъ отъ васъ ни награды, ни благодарности» (Сура LXXVI, 9).

«Если вы мстите за себя, пусть мщеніе не превышаетъ обиды; но кто перенесетъ терпѣливо, будетъ лучше для него: итакъ, переносите терпѣливо обиды» (Сура XVI, 128).

Воздержаніе предписывается Кораномъ це въ смыслѣ умерщвленія плоти, а лишь въ смыслѣ умѣренности для сохраненія чистоты душевной и нравственной свободы.

Изъ этихъ трехъ основныхъ религіозно-нравственныхъ заповѣдей важнѣе всѣхъ для человѣка средня: милосердное отношеніе къ близкимъ. Возношеніе души къ *невидимому* Богу трудно для людей материальныхъ; такъ же тяжело имъ сопротивляться влечениямъ низшей природы и соблюдать воздержаніе; но быть милосерднымъ однаково способно всякое нравственное существо; быть добрымъ или злымъ зависитъ отъ внутренней сущности самого человѣка. Поэтому читаемъ въ Коранѣ: «Знаешь ли, что есть *вершина* (добродѣтели)? Выкупить плѣннаго, накормить въ дни голода сироту ближняго и нищаго безвѣстнаго» (Сура XC, 12—15).

IX.

Ученіе о будущей жизни.

Мы видѣли, что, по Корану, Богъ предложилъ человѣчеству — черезъ своихъ пророковъ и посланныхъ — истинную вѣру, и человѣчество приняло это предложеніе. Тѣмъ самымъ устанавливается между Богомъ и людьми завѣтъ или договоръ, по которому человѣкъ обѣщаетъ сохранять вѣру въ единаго Бога и исполнять Его заповѣди, а Богъ обѣщаетъ вѣрному человѣку вѣчное блаженство. Нарушеніе этого договора невозможно со стороны Бога истины и правды, нарушение же его со стороны человѣка вредить только ему самому.

«Если вы будете невѣрны, то Богъ все-таки останется Владыкою неба и земли. Онъ богатъ и хвала Его въ Немъ Самомъ» (Сура IV, 130).

«Сектанты много спорили, но горе тому, кто не вѣритъ собранию великаго дня» (Сура XIX, 38).

Ученіе объ откровеніи въ смыслѣ завѣта или договора между Богомъ и человѣкомъ необходимо восполняется ученіемъ о послѣднемъ судѣ, какъ реализациіи этого договора. «День великаго собрания» занимаетъ очень важное мѣсто въ Коранѣ. Это одинъ изъ главныхъ догматовъ.

«Проповѣдуй Коранъ боящимся. Возвещай имъ, что они будутъ собраны передъ Вѣчнымъ», что у нихъ нѣтъ другого защитника и покровителя, дабы они ходили съ опасеніемъ» (Сура VI, 51).

«Кто хочетъ, пусть вѣруетъ, а кто не хочетъ, пусть остается невѣрующимъ. Для этихъ у насъ (у Бога) готовъ огонь... А кто вѣруетъ и творить добрыя дѣла, ихъ награда не погибнетъ. Для нихъ — сады Эдема» (Сура XVIII, 28—30).

Послѣ «дня великаго собрания» «преграда воздвигнется между избранными и осужденными» (Сура VII, 44).

Вместо «избранные» и «осужденные» въ Коранѣ можно встрѣтить другіе термины: «мусульмане» и «невѣрные», но основанные на этомъ упреки въ фанатизмѣ и религіозной исключительности были бы несправедливы — по крайней мѣрѣ относительно самого Мухаммеда и его откровенія. Конечно, и по Мухаммеду, спасутся только послѣдователи ислама, но мы знаемъ рѣшительное заявленіе того же Корана, что исламъ былъ прежде Мухаммеда, что Авраамъ и всѣ держащіеся вѣры Авраамовой — истинные мусульмане. Къ такимъ принадлежать и іудеи, и христіацѣ, исполняющіе законъ своихъ писаний; если они окажутся правыми по закону своему, то также получать новую жизнь. Съ другой стороны, люди, только наружно принимающіе Коранъ, но въ душѣ враждебные или равнодушные къ нему, такъ называемые лицемѣры или «трусы» (эльмунафикунъ), не суть настоящіе мусульмане и не получать части своей съ избранными. Такимъ образомъ, согласно основной точкѣ зрѣнія Мухаммеда, окончательная судьба человѣка опредѣляется не исключительно религіознымъ, а религіозно-нравственнымъ условіемъ; эта судьба рѣшится не произволомъ Высшей силы и не фактотъ исповѣданія той или другой религіи, а внутреннимъ отношеніемъ человѣка къ добру и злу, дѣйствительнымъ принятіемъ закона Божія со стороны человѣка. Вотъ главные относящіеся сюда тексты Корана:

«Добродѣтельный человѣкъ и злой работаютъ каждый за себя. Богъ никому не сдѣлаетъ неправды» (Сура XLI, 46).

«До Него (Бога) конечно не доходитъ ни мясо, ни кровь жертвъ, но благочестіе ваше доходитъ до Него» (Сура XXII, 38).

«Тѣ, кто вѣровалъ и дѣлали добрыя дѣла, будуть введены въ сады, гдѣ текутъ рѣки, обитель вѣчныхъ наслажденій. Они найдутъ тамъ чистыхъ женщинъ и вѣчную тѣнь. Богъ велитъ вамъ отдавать всякому залогъ его и судить ближняго по правдѣ» (Сура IV, 60, 61).

«Не всѣ, получившіе писаніе (иудеи и христіане), похожи другъ на друга. Есть между ними такие, у которыхъ сердце прямое. Они размышаютъ о заповѣдяхъ Божіихъ ночью и повинуются Ему. Они вѣруютъ въ Бога и въ послѣдній день. Они проповѣдуютъ добро и осуждаютъ зло. Они ревностно преданы дѣламъ благочестія. Эти принадлежатъ къ праведнымъ. Добро, что они дѣлаютъ, не отнимается у нихъ. Знаетъ Богъ боящихся Его» (Сура III, 109—111).

«Скажи: возвѣстить ли миѣ вещи болѣе приятныя, приготовленныя для благочестивыхъ, сады, орошенные рѣками, вѣчную жизнь, чистыхъ супругъ (гурій) и благосклонность Господа, Его же око отверсто на служителей Его. Таковъ удѣль тѣхъ, которые говорятъ: «Господи, мы повѣрили, прости намъ грѣхи наши и избавь насъ отъ мучений огня»; — тѣхъ, которые были терпѣливы, благотворительны и которые съ утра умоляли милосердіе Божіе» (тамъ же, 13—15).

«Мудры тѣ, которые послушны заповѣдямъ Господнимъ, не нарушаютъ союза съ Нимъ и соединяютъ то, что Ему угодно было соединить. Тотъ, кого надежда увидѣть Бога дѣлаетъ постояннымъ въ блаженstвияхъ, кто совершаетъ молитву, кто даетъ тайно или открыто часть имѣнія, которымъ Мы надѣлили Его, и заглаживаетъ грѣхи своихъ добрыми дѣлами, для того награда рая . . .»

«Кто нарушаетъ завѣтъ Божій, раздѣляетъ то, что Оно соединило, и распространяетъ развратъ по землѣ, будетъ, обремененный проклятиемъ, низвергнутъ въ адъ» (Сура XIII, 19—22, 25).

«Вѣрующіе, творивши добро, будутъ обитать въ кущахъ райскихъ садовъ» (Сура XLII, 21).

Ученіе Корана о будущей жизни подвергалось обыкновенно двоякому упреку: за утилитаризмъ, поскольку оно поощряетъ вѣру и праведность яркими картинами будущихъ наградъ, и за сенсуализмъ, поскольку оно представляеть сами эти награды въ видѣ чувственныхъ наслажденій. Оба эти упрека несправедливы. Во всѣхъ религіяхъ лучшіе люди нравственны изъ любви къ добру и изъ отвращенія ко злу, а люди низшаго разряда держатся нравственныхъ правилъ по

вишнимъ соображеніямъ. Идеалъ мусульмана — человѣкъ, который, подобно Мухаммedu, можетъ сказать про себя: я отдалъ сердце мое Богу, и который находитъ въ общепи съ Богомъ единственное истинное наслажденіе, и въ Коранѣ заявляется, что праведные добродѣтельны безкорыстно ради одного Бога (см. выше).

Что касается до вошедшаго въ поговорку сенсуализма Мухаммeda рая, то онъ заключается болѣе въ способѣ изображенія будущей жизни, нежели въ понятіи о ней. Принципъ этой жизни есть все-таки и для Мухаммeda непосредственное общеніе съ Богомъ (см. подчеркнутыя мѣста въ вышеприведенныхъ текстахъ). Но, вѣроятнѣе всего, съ ортодоксальнымъ іудействомъ и христіанствомъ не въ отвлеченнѣе безсмертіе души, а въ воскресеніе цѣлаго человѣка, исламъ естественно долженъ былъ и будущую по воскресеніи жизнь представлять какъ полноту бытія не только духовнаго, но и тѣлеснаго. А то или другое представление конкретной обстановки этого бытія конечно не имѣть принципіального и догматического значенія. Если для вѣрующаго іудея или для христіанина изъ іудеевъ, тоскующаго по разрушенномъ Іерусалиму, царство Божіе представляется какъ идеальный городъ, какъ Іерусалимъ, сходящій съ небесъ, то для окруженнаго пустыней араба столъ же естественно мѣсто вѣчнаго блаженства рисуется, какъ садъ, напоенный рѣками. Не слѣдуетъ, впрочемъ, забывать и библейское представление о земномъ раѣ, какъ о садѣ, омываемомъ четырьмя рѣками. О грубо-чувственныхъ наслажденіяхъ будущей жизни въ Коранѣ ничего опредѣленного не говорится: ни изъ чего не видно, чтобы «чистыя супруги» съ большими глазами были предназначены для физиологическихъ отношеній.

Для Мухаммeda, также какъ и для христіанскихъ мистиковъ, занимавшихся этимъ предметомъ, напримѣръ для Сведенборга, — вѣчная жизнь есть дѣйствительное общеніе съ Богомъ, непрерывно осуществляемое во внутреннихъ состояніяхъ и въ конкретныхъ существительныхъ образахъ. Прежде чѣмъ осуждать эту идею, подождемъ, чтобы намъ дали по этому предмету другую, лучшую. Таково было въ главныхъ чертахъ ученіе Мухаммeda о Богѣ и Его свойствахъ, о Его откровеніяхъ, о заповѣдяхъ Божіихъ, о судьбѣ злыхъ и добрыхъ, о воскресеніи и будущей жизни. Это ученіе было весьма неполно, но въ немъ не было ничего ложнаго, а сравнительно съ національной религіей арабовъ оно представляло огромный успѣхъ религіознаго сознанія. Выступая съ этою проповѣдью въ своемъ родномъ городѣ,

Мухаммедъ исполнялъ за разъ двѣ обязанности: обязанность послушанія относительно Бога, сказавшаго ему: «Проповѣдуй!» — и обязанность милосердія къ ближнимъ, стараясь словомъ откровенія вывести ихъ изъ тьмы заблужденій и злыхъ дѣлъ.

X.

Первая проповѣдь, первыя преслѣдованія и обращенія.

Семья Мухаммеда со включеніемъ усыновленныхъ имъ Алія и Зейда безусловно повѣрила его призванію. По началамъ родового быта Аравіи между отдельной семьей и цѣльмъ племенемъ или родомъ (въ широкомъ смыслѣ этого слова) корейшиотовъ были промежуточныя родовыя звенья, изъ коихъ первымъ для Мухаммеда былъ домъ Хашимовъ, т. е. всѣ потомки прадѣла Мухаммедова Хашима. Итакъ, Мухаммedu, желавшему правильно дѣйствовать въ народѣ своемъ, предстояло обратиться прежде всего къ этимъ роднымъ своимъ, ко всѣмъ сынамъ Хашимовымъ. Онь пригласилъ ихъ на собрание и объявилъ о своемъ посланичествѣ. Всѣ пришли въ удивление и негодованіе, ибо ожидали сообщенія о какомъ-нибудь серьезномъ коммерческомъ или разбойниччьемъ дѣлѣ. Одинъ изъядьевъ Мухаммеда, Абу-Лабахъ, выразилъ общее мнѣніе, закричавши: Чтобъ тебѣ удавиться! Такъ за этимъ-то ты созывалъ насть?». Всѣ разошлись со смѣхомъ и ругательствами. Сынъ этого самаго Абу-Лабаха былъ уже помолвленъ съ дочерью Мухаммеда, Рокайей, но теперь старикъ, серьезно сочтя своего племянника и предположенного свата сумасшедшімъ, взялъ назадъ свое согласіе. Но Рокайя, отличавшаяся красотою, скоро нашла себѣ другого жениха — Османа Иби-Аффана, изъ знатнаго семейства Омайдовъ. Османъ, породнившись съ Мухаммедомъ, сталъ вмѣстѣ съ тѣмъ ревностнымъ преслѣдователемъ ислама и былъ потому третьимъ преемникомъ пророка. Еще прежде пріобрѣлъ Мухаммедъ для себя и ислама своего будущаго первого преемника Эль-Атика, по прозванию Абу-Бекра, который во все время его общественной дѣятельности былъ его главною опорою. Абу-Бекръ, котораго отношение къ Мухаммedu можно сравнить съ отношеніемъ Меланхтона къ Лютеру, былъ человѣкъ кроткий, мягкий, невозмутимо спокойный, говорчивый въ вопросахъ чисто-практическихъ и непоколебимо твердый въ главномъ дѣлѣ.

Отвергнутый своею родней, Мухаммедъ сталъ проповѣдывать публично. Его проповѣдь, въ особенности его нападенія на національныхъ идоловъ, служившихъ связью племенъ и санкціей торговыхъ перемирій, была непріятна для корейшитской знати и могла казаться сїй опасной. Но долгое время Мухаммеда не трогали, боясь междуусобій, ибо домъ Хашимовъ, хотя отвергъ его проповѣдь, не отказался, однако, отъ обязанностей родства; особенно же ревностнымъ защитникомъ его былъ всѣми уважаемый въ Мекѣ дядя его Абу-Талибъ, который не вѣрилъ въ его посланичество, но былъ сильно привязанъ къ нему лично.

За первые годы Мухаммедовой проповѣди насчитываютъ 43 послѣдователя ислама, большею частью изъ бѣдняковъ и рабовъ. Эти послѣдніе, естественно, стали изъ-за Мухаммеда подвергаться всяческимъ насилиямъ отъ своихъ господъ. Тогда богатый Абу-Бекръ употребилъ значительную часть своего состоянія на выкупъ этихъ рабовъ-мусульманъ; тѣ же, которыхъ господа не соглашались уступить, получили отъ Мухаммеда, по совѣту того же Абу-Бекра, разрѣшеніе отречься наружно отъ нового пророка, сохранивъ себѣ вѣру въ исламъ.

Обращенія въ исламъ продолжались понемногу (хотя и не ежедневно, какъ говорить арабскій лѣтописецъ), и каждый новый прозелитъ давалъ поводъ для новыхъ преслѣдований. На этой первичной стадіи своего развитія исламъ, еще не организованный и не принявший никакой твердой формы, являлся, главнымъ образомъ, какъ общая противоположность единобожія идолопоклонству, и отъ прежняго ханифизма отличался не содержаніемъ своимъ, а только тѣмъ, что имѣлъ личного представителя, личного посредника между Аллахомъ и людьми. Въ такомъ неопределѣвшемся внутреннемъ состояніи и при обострившейся внѣшней враждѣ съ идолопоклонниками, Мухаммедъ и его послѣдователи, естественно, чувствовали себя солидарными со всѣми монотеистами и въ особенности съ христіанами, которыхъ религія не была связана съ національностью. Къ этому времени относятся, по всей вѣроятности, тѣ мѣста Корана, въ которыхъ Мухаммедъ не только съ уваженіемъ, но и съ благоговѣніемъ говорить о Христѣ и Его Матери. Такъ, въ Сурѣ V (Столь) читаемъ: «Послѣ пророковъ Мы послали Марію и Іисуса, чтобы подтвердить Пятикнижіе. Мы дали ему Евангеліе, которое есть свѣточъ вѣры и печать истины древнихъ писаній. Эта книга просвѣщаетъ и наставляетъ боящихся Господа».

Сура XIX (Марія) специально восхваляетъ Пресв. Дѣву: «Продлавляй Марію въ Коранѣ, прославляй день, когда она удалилась отъ семейства своего къ Востоку».

«Пой хвалу Маріи, сохранившей дѣвство свое неприкосновеннымъ. Мы вдохнули въ нее Духа Нашего. Она и Сынъ Ея были дивомъ вселенной» (Сура XXI, Пророки).

«Иисусъ, сынъ Маріи, есть посланникъ Всевышняго и Слово Его. Богъ ниспослалъ Его въ Марію. Онъ — дыханіе Божіе» (Сура IV, Женщины).

Въ той же IV Сурѣ Мухаммѣдъ утверждаетъ, что Иисусъ не былъ умерщвленъ, а прямо взятъ на небо, и въ день всеобщаго воскресенія будетъ свидѣтельствовать противъ недостойныхъ іудеевъ и христіанъ. Такимъ образомъ представление Мухаммѣда о Христѣ соединяетъ двѣ противоположныя идеи, воспринятія имъ отъ различныхъ христіанскихъ сектъ и ничѣмъ не связанныя между собою. Вмѣстѣ съ эвонитами (іудействующими христіанами) Мухаммѣдъ признаетъ Христа за великаго пророка въ ряду другихъ пророковъ, и вмѣстѣ съ гностиками-докетами видить въ Немъ особое небесное существо, не подлежащее даже закону смерти.

При такомъ отношеніи Мухаммѣда къ христіанству неудивительно, что нѣкоторые его послѣдователи, когда усилились гоненія, рѣшили искать убѣжища въ той христіанской странѣ, которая и этнографически, и политически стояла всего ближе къ арабамъ Мекки, именно въ Абиссиніи. Въ 615 году 11 мусульманъ отправились черезъ Красное море подъ покровительство негуса Аксумского. Положеніе Мухаммѣда въ Меккѣ отъ этого не улучшилось, и въ минуту душевнаго упадка онъ рѣшился идти на сдѣлку и попытаться примирить истину единобожія съ языческимъ культомъ его родины. Вѣдь «люди писанія» всѣ признаютъ кромѣ единаго Бога высшія существа, называемыя ангелами. Христіане сверхъ того считаютъ своего пророка Сыномъ Божіимъ и воздаютъ религіозное почитаніе Его Матери и множеству духовъ умершихъ святыхъ; нельзя ли признать и национальная божества арабовъ-идолопоклонниковъ за что-то среднее между Богомъ и людьми, за ангеловъ Аллаха и ходатаевъ передъ Нимъ? Вдохновленный этою мыслью, которую онъ потомъ призналъ за внушеніе сатаны, Мухаммѣдъ произнесъ однажды около Каабы слѣдующее изреченіе: «Думали ли вы, какъ должно, объ Аллатъ, и Уззѣ, и Манатѣ, о третьей между ними? Воистину это небесные

лебеди, воистину можно положиться на ихъ ходатайство». Аллатъ, Узза и Манатъ были женскія божества изъ наиболѣе чтимыхъ арабами. Мекканцы, враждовавшіе противъ Мухаммада не за его поклоненіе Аллаху (который тоже имѣлъ свое мѣсто въ Каабѣ), а за его нападеніе на прочихъ боговъ, съ радостью привѣтствовали перемѣну въ его настроеніи и, собравшись вокругъ него, слушали все, что онъ далѣе говорилъ; а когда онъ закончилъ свою проповѣдь возгласомъ: «Итакъ, преклонитесь передъ Аллахомъ и служите Ему!» всѣ присутствовавшіе пали на колѣна и благословляли имя Аллаха. Молва о примиреніи между Мухаммедомъ и корейшитами дошла до мусульманъ, поселившихся въ Абиссиніи, и побудила ихъ вернуться на родину. Но когда они возвратились, то положеніе дѣлъ опять перемѣнилось. Архангель Гавриилъ, или собственная совѣсть Мухаммада, заставилъ его отречься отъ допущенной сдѣлки. Убѣдившись, что она была внушена ему сатаною, онъ на томъ же мѣстѣ у Каабы произнѣасилъ свое стеченіе: «Думали ли вы, какъ должно, объ Аллатъ, и Узза, и Манатъ, о третьей между ними? Какъ? У васъ самихъ было бы мужеское потомство, а у Него (Аллаха) только женское? Вотъ быль бы неподобающій дѣлежъ!» Впослѣдствіи Мухаммедь такъ говорилъ объ этомъ случаѣ:

«Чуть было невѣрные не заставили тебя (говорить Аллахъ Мухаммеду) покинуть Наше ученіе и выдумать нѣчто другое отъ Нашего Имени. Уступчивостью своею ты купилъ бы дружбу ихъ. Когда бы Мы не утвердили сердце твое, близокъ ты быль, близокъ къ тому, чтобы исполнить желаніе ихъ. Если бы послѣдовалъ ты имъ, немощь жизни и смерти испытать бы ты и гибѣва Нашего не избѣжалъ бы ты» (Сура XVII, 76—78).

Разумѣется, разочарование мекканцевъ вслѣдствіе этого отреченія усилило преслѣдованія противъ мусульманъ. Въ 617 г. послѣдовало второе, болѣе обширное переселеніе въ Абиссинію: туда отправилось 83 мужчины и 18 женщинъ, во главѣ переселенцевъ былъ Османъ со своею женой, дочерью Мухаммада. Корейшиты потребовали отъ негуса ихъ выдачи, но получили отказъ. Большая часть этихъ переселенцевъ впослѣдствіи вернулась обратно.

Чтобы отнять у Мухаммада послѣднюю опору, корейшиты обратились къ Абу-Талибу, требуя, чтобы онъ образумилъ своего племянника. На увѣщанія дяди Мухаммедь отвѣчалъ: «Если бы они давали мнѣ солнце въ правую руку и мѣсяцъ въ лѣвую съ тѣмъ,

чтобы я оставилъ это дѣло прежде, чѣмъ Богъ дастъ ему побѣду или я погибну за него, — не оставилъ бы его». Сказавши это, онъ хотѣлъ уйти, но Абу-Талибъ удержалъ его, говоря: «Проповѣдуй все, чтѣ хочешь, сынъ брата моего! Я ни за что никогда не покину тебя».

Однажды Мухаммѣдъ сидѣлъ на площади, недалеко отъ Каабы. Одинъ изъ главныхъ противниковъ ислама между корейшитскою знатью, прозванный мусульманами Абу-Джакхъ, т. е. отецъ цевѣжества, подошелъ къ нему и сталъ осыпать его насмѣшками и ругательствами. Мухаммѣдъ не отвѣчалъ ни слова. Въ это время дядя его Хамза, не принадлежавшій къ мусульманамъ, человѣкъ огромнаго роста и силы, возвращался съ охоты. Не стерпѣвшіи обиды племяннику, онъ подбѣжалъ къ Абу Джакху и, ударивъ его лукомъ по лицу, такъ что потекла кровь, закричалъ: «Ты смѣешься ругаться ему, когда и я той же вѣры и исповѣдую то же, чтѣ и онъ исповѣдуетъ. Возврати мнѣ мой ударъ, если смѣешься!». Тотъ не рѣшился на единоборство, а Хамза не рѣшился взять назадъ всего заявленія и сдѣлался съ тѣхъ порь ревностнымъ мусульманиномъ. Около этого же времени обратился въ исламъ Омаръ Ибн-Хаттабъ, будущій халифъ, покоритель Египта и Сиріи.

XI.

Новыя преслѣдованія и личныя несчастія Мухаммѣда. — Расширение горизонта.

Эти новые успѣхи ислама, придавая смѣлости Мухаммѣду и его приверженцамъ, еще болѣе ожесточили его противниковъ. Въ 617 г. корейшиты уговорились между собою прервать всякия сношенія съ мусульманами, не допускать ихъ къ Каабѣ, ничего имъ не продавать и не покупать у нихъ. Поставленные виѣ общаго закона, послѣдователи Мухаммѣда должны были запереться въ отдаленномъ отъ городского центра кварталѣ, гдѣ находился домъ Абу-Талиба, вслѣдствіе чего вся эта мѣстность называлась оврагомъ Талиба.

Мухаммѣду пришлоось попеволѣ расширить свою проповѣдь, перенести ее изъ запертої для него Мекки въ другія мѣста. Въ теченіе четырехъ мирныхъ мѣсяцевъ, кромеъ большой ярмарки въ Меккѣ, бывали также многолюдныя торжища въ Минѣ, Указѣ и другихъ мѣстечкахъ Хиджаза. Мухаммѣдъ отправлялся туда и проповѣдывалъ

исламъ. Хотя эта проповѣдь была безуспешна, главнымъ образомъ вслѣдствіе противодѣйствія корейшитовъ, зорко слѣдившихъ за опаснымъ человѣкомъ, однако, важно было, что новая религія стала извѣстна винѣ Мекки и что провозвѣстникъ ея вышелъ изъ предѣловъ узкой мѣстной дѣятельности. Онъ долженъ быть оставаться на этомъ новомъ пути и тогда, когда корейшиты (въ 619 г.) отмѣнили свой уговоръ противъ мусульманъ и согласились принять ихъ опять въ общеніе, — ибо условіемъ для этого они поставили, чтобы Мухаммедъ не проповѣдоваль въ Меккѣ. Такимъ образомъ, осѣпленные враги сами толкали ненавистнаго имъ пророка на болѣе широкое по-принципу дѣятельности и вынуждали его къ осуществленію замысла, рокового для защищаемыхъ ими преданій и порядковъ.

Между тѣмъ и личныя обстоятельства Мухаммадовой жизни побуждали его разорвать съ Меккой или по крайней мѣрѣ облегчали для его чувства этотъ разрывъ. Въ 619 г. скончалась Хадиджа, а черезъ нѣсколько недѣль послѣ нея и Абу-Талибъ. Сердечная связь Мухаммеда съ родовой арабской стариной, съ традиціонной жизнью родного города была порвана. Консервативная Мекка представлялась для него только врагами, а его приверженцы, уже испытанные гонениями, чужие въ своемъ городѣ вслѣдствіе вражды согражданъ, готовы были вмѣстѣ съ вождемъ своимъ принять за отчество всякую страшну, дававшую убѣжище исламу.

Такого убѣжища Мухаммѣдъ пробовалъ сначала искать по сопѣству съ Меккой. Въ ста верстахъ отъ нея находился укрѣпленный городъ Таифъ, принадлежавший Бену-Такифамъ, которые входили въ составъ большого племени Бену-Хавазинъ. Туда отправился Мухаммѣдъ самъ-другъ съ приемнымъ сыномъ своимъ Зейдомъ. Проповѣдь ислама имѣла здесь самый печальный успѣхъ: одинъ изъ слушателей сказалъ: если бы Богъ захотѣлъ наше обратить къ Себѣ, Онъ, конечно, выбралъ бы не тебя для этого дѣла». Другой иронически замѣтилъ: во всякомъ случаѣ намъ съ тобой разговаривать не приходится. Ибо если ты дѣйствительно посланикъ Божій, то какъ смыемъ мы, простые смертные, спорить твою священную особу; если же ты не то, за что выдаешь себя, значитъ ты — обманщикъ и не стоишь того, чтобы тебѣ отвѣтить». Отъ такихъ словъ жители Таифа скоро перешли къ соотвѣтственнымъ дѣйствіямъ. Мухаммѣду и Зейду пришлось бѣжать отъ побоевъ враждебной толпы.

Окровавленные спрятались они въ салу, принадлежавшемъ

двумъ братьямъ изъ Мекки, Отба и Шейба, которые сжалились надъ земляками, оставили ихъ у себя переночевать и прислали имъ для подкѣрилениія блюдо винограду. На обратномъ пути, въ мѣстечкѣ Нахла, Мухаммѣдъ, во время ночной молитвы, видѣлъ несмѣтную толпу джинновъ, которые слушали его слова и вмѣстѣ съ нимъ поклонялись Аллаху. Ободренный этимъ въ постигшей его неудачѣ, Мухаммѣдъ вернулся домой и своимъ невольнымъ бездѣйствиемъ воспользовался, чтобы обдумать планъ дальниѣшихъ дѣйствій, ожидая первого благопріятнаго случая для начала его осуществленія. Впослѣдствіи Мухаммѣдъ заявилъ себѣ такимъ искусственнымъ политикомъ, что никакъ нельзя сомнѣваться въ преднамѣренномъ и обдуманномъ характерѣ и первыхъ его шаговъ на этомъ поприщѣ. Потерпѣвъ неудачу въ сосѣднихъ съ Меккою чисто-арабскихъ мѣстностяхъ, онъ, естественно, долженъ былъ подумать о томъ городѣ (извѣстномъ ему и по его путешествіямъ, и по семейнымъ преданіямъ), въ которомъ монотеистической єврейской элементъ мирно уживался съ арабскимъ язычествомъ и не могъ оказывать серьезнаго вліянія на вѣрованія и понятія туземцевъ. Если Мухаммѣдъ рѣшилъ продолжать свою проповѣдь, то онъ долженъ былъ теперь попытать успѣха въ Ятрибѣ (Мединѣ), болѣе удобнаго мѣста для воспріятія ислама онъ не могъ найти во всей Аравіи. Случай завязать сношенія вѣго легче могъ представиться во время великаго весеннаго праздника, когда и изъ Ятриба приходило въ Мекку множество богомольцевъ. Мухаммѣдъ не откладывалъ дѣла и въ первый же (по возвращеніи его изъ Таифа) праздникъ, въ мартѣ 620 г., успешно началъ приводить въ исполненіе свой планъ.

XII.

Первые ансары. — Хиджра. — Договоры.

Праздничныя торжества, начинавшіяся у Каабы, заканчивались соборнымъ жертвоприношеніемъ въ долинѣ Минѣ. Между этой долиной и Меккой была горная дорога, называвшаяся Акаба. По этой дорогѣ въ послѣдніе дни праздника двигались огромныя толпы богомольцевъ. Находившійся между ними Мухаммѣдъ замѣтилъ группу людей племени Хазраджъ — одного изъ двухъ главныхъ племенъ, населявшихъ Ятрибъ; при томъ Бену-Хазраджъ въ послѣднее время находились въ формальномъ союзѣ съ ятрибскими евреями. Отъ нихъ

они много разъ слыхали — и при теперешнихъ своихъ дружескихъ сношенияхъ, и при прежнихъ враждебныхъ столкновеніяхъ, — что Богъ воздвигнетъ великаго пророка, чтобы утвердить истинную вѣру и сокрушить язычество. Такія рѣчи, при уваженіи и довѣріи арабовъ къ «людямъ писанія», производили на нихъ сильное впечатлѣніе. Вѣроятно Мухаммедъ прислушался къ разговору этихъ арабовъ и замѣтилъ въ нихъ особое религіозное настроение. Онъ подошелъ къ нимъ и, освѣдомившись объ ихъ происхожденіи, спросилъ: «Вы изъ тѣхъ, что въ союзѣ съ іудеями?». Получивши утвердительный отвѣтъ, онъ попросилъ ихъ сѣсть въ сторонѣ отъ дороги, за скалою, и выслушать его. Они охотно согласились, и онъ сталъ проповѣдывать единаго, истинаго Бога и возвѣстилъ имъ исламъ. Тогда они стали говорить между собою: «Какъ передъ Богомъ, товарищи! не это ли тотъ самый пророкъ, о которомъ сказывали намъ іудеи, что время его уже близко, и что, когда онъ возстанетъ, они пойдутъ за нимъ и побьютъ всѣхъ враждебныхъ имъ арабовъ и истребятъ ихъ, какъ были истреблены въ древности невѣрныя племена адъ и ирамъ? Не лучшіе ли теперь памъ предупредить ихъ и первыми пристать къ пророку?» И, обращаясь къ Мухаммedu, они сказали: «Земляки наши — самые сварливые и разрозненные изъ всѣхъ народовъ, и потому мы уже хотѣли покинуть ихъ. Но вотъ, быть можетъ, истинный Богъ соединитъ насъ всѣхъ черезъ тебя. Поэтому мы вернемся въ городъ нашъ и положимъ дѣло твое передъ глазами соплеменниковъ нашихъ, и вложимъ въ уши ихъ вѣру эту, которую приняли отъ тебя. И если истинный Богъ въ соединеніи приведетъ ихъ къ тебѣ, не будетъ человѣка во всей землѣ сильнѣе тебя». Затѣмъ они оставили посланика Божія и возвратились въ мѣсто свое, исполненные вѣры и вѣрности. А на будущій годъ они обѣщали вернуться въ то же время и на то же мѣсто и привести другихъ. Было же ихъ всего шесть человѣкъ.

Они сдержали обѣщаніе и на слѣдующій 621 г., въ концѣ праздника, пришли къ акабѣ двѣнадцать человѣкъ, увѣровавшихъ, изъ Ятриба — десять изъ племени хазраджъ и два изъ племени аусъ. Они торжественно принимаютъ исламъ и приносятъ Мухаммedu клятву (такъ называемую малую, или *клятву женщинъ*), которой обязуются: не признавать другого Бога кромѣ Единаго, не воровать, не прелюбодѣйствовать, не умерщвлять своихъ дѣтей, не сочинять и не распространять клеветы и быть послушными посланнику Божію

во всякомъ добромъ дѣлѣ. Принявъ отъ нихъ эту клятву, Мухаммѣдъ сказалъ: «Если вы все это исполните, то рай принадлежитъ вамъ навѣрно; если же въ чемъ согрѣшили, то отъ Бога зависить наказать васъ или помиловать». Затѣмъ Мухаммѣдъ отрядилъ съ ними изъ прежнихъ мусульманъ испытанного въ вѣрѣ Мусаба, сына Омейрова, чтобы наставлять ихъ въ Коранѣ и предстоять на общей молитвѣ.

Вскорѣ постѣ этого Мухаммѣдъ имѣлъ ночное видѣніе не во снѣ и не наяву, а въ восхищѣніи духа. Невѣдомая сила, которую онъ признавалъ за архангела Гавриила, подняла его съ ложа и вывела изъ дома. Онъ увидѣлъ волшебнаго коня эль-Боракъ (молії) и, сѣвъ на него, въ одно мгновеніе очутился въ Йерусалимѣ, около дома молитвы. Здѣсь находить онъ сопѣтъ пророковъ и среди нихъ Авраама, Моисея и Иисуса Христа. Онъ молится вмѣстѣ съ ними. Затѣмъ ему подносятъ три чаші: одну съ водою (по другому варіанту — съ медомъ), другую — съ виномъ и третью — съ молокомъ. Онъ слышитъ чей-то голосъ, говорящій: Если онъ возьметъ воду, то по-тоинѣ вмѣстѣ съ общиной своей; если возьметъ вино, то будетъ блуждать съ общиной своей; если возьметъ молоко, то пойдетъ правымъ путемъ съ общиной своей». Мухаммѣдъ выбираетъ чашу съ молокомъ. Послѣ того онъ переходитъ черезъ семь небесъ и достигаетъ лицезрѣнія Самаго Бога, отъ Котораго получаетъ для мусульманъ заповѣдь пятидесяти ежедневныхъ молитвъ. Но на обратномъ пути у воротъ каждого неба онъ встрѣчается съ однимъ изъ великихъ пророковъ, который внушаетъ ему, что мусульмане не вынесутъ такого большого числа молитвъ и чтобы онъ просилъ Бога сократить ихъ. Онъ такъ и дѣлаетъ, и при выходѣ изъ послѣдняго неба число молитвъ сводится къ тѣмъ пяти, которыя установлены въ Коранѣ. По возвращеніи къ себѣ Мухаммѣдъ находится, что тотъ со-судъ съ водой, который онъ въ началѣ видѣнія опрокинулъ, встававъ съ ложа, еще не успѣлъ весь вытечь на землю.

На другой день Мухаммѣдъ рассказалъ свое видѣніе правовѣрнымъ, но такъ какъ онъ самъ не могъ дать яснаго отчета въ характерѣ явленія, то многие мусульмане пришли сначала въ недоумѣніе, однако, скоро успокоились на простомъ рѣшеніи, которое высказалъ Абу-Бекръ: «Какъ онъ говоритъ, такъ, значитъ, и было». За это Мухаммѣдъ далъ ему прозваніе Эс-сiddикъ — свидѣтель правды.

Между тѣмъ Мосабъ Ибнъ-Омейръ и двѣнадцать ятрибскихъ мусульманъ дѣлали свое дѣло, и на праздникъ 622 г. пришло въ Мекку

изъ Ятриба уже 75 обращенныхъ въ исламъ. Мухаммедь и его близкіе сошлись съ ними въ той же Акабѣ. Кромѣ мусульманъ сопровождалъ Мухаммеда дядя его эль-Аббасъ (родоначальникъ одной изъ будущихъ династій халифата), который не принялъ новой вѣры, но и не враждовалъ противъ нея, какъ и умершій братъ его Абу-Талибъ, хотя и по другимъ причинамъ: тотъ имѣлъ сердечную привязанность къ племяннику, тогда какъ Аббасъ, отличавшийся дипломатическими способностями и практическимъ чутьемъ, сообразилъ, что изъ дѣла, поднятаго Мухаммедомъ, начинаетъ что-то выходить, и что нѣтъ выгоды съ шимъ ссориться и скигать свои корабли. Между тѣмъ и Мухаммедь нуждался въ Аббасѣ, какъ въ одномъ изъ старѣшинъ своего рода, чтобы дать своему рѣшительному шагу законную форму, съ точки зрѣнія арабовъ. Аббасъ заявилъ собранію, что его племянникъ Мухаммѣдъ находился до сихъ поръ подъ защитой своего рода, но что теперь онъ предпочитаетъ защиту людей ятибскихъ, и что онъ, Аббасъ, отъ имени рода Хашимова и Мутталибова спрашивается присутствующихъ людей изъ племенъ хазраджа и ауса, желаютъ ли они принять Мухаммѣда къ себѣ, какъ одного изъ своихъ; и, когда ятибскіе мусульмане громко выразили свое согласіе, Аббасъ объявилъ Мухаммѣда отпущенными и свободными отъ обязанностей къ своему роду. Тогда Мухаммѣдъ въ свою очередь потребовалъ отъ ятибцевъ, чтобы они поклялись, что будутъ защищать его отъ всякой обиды хотя бы оружіемъ, какъ они защищаютъ своихъ женъ и дѣтей. Послѣ этой клятвы, которую называютъ великой, или *клятвой мужей*, Мухаммѣдъ избралъ 12 человѣкъ — 9 хазраджей и 3 изъ аусовъ — для управления ятибскою общиной и для дальнѣйшей проповѣди ислама.

Очень скоро послѣ этого собранія большинство мекканскихъ мусульманъ, съ Омаромъ во главѣ, переселилось въ Ятибъ. При Мухаммѣдѣ, откладывавшемъ по неизвѣстной причинѣ свой переѣздъ, оставались только Абу-Бекръ и Али. Но, когда стало извѣстно, что корейшиты собираются силой задержать пророка, и пошли даже слухи о заговорѣ противъ его жизни, пришлося принять мѣры къ скорому и тайному бѣгству. Абу-Бекръ купилъ двухъ верблюдовъ и съ надежнымъ проводникомъ отправилъ ихъ въ условленное мѣсто по южной дорогѣ, где было меныше опасности преслѣдованія. Въ назначенную ночь Али надѣлъ красный плащъ пророка и остался въ его домѣ, а Мухаммѣдъ съ Абу-Бекромъ тайными проходами вышли

изъ города по направлению къ югу, безлюдными тропинками прошли къ горѣ Таура и спрятались въ одной пещерѣ, куда домашніе Абу-Бекра приносили имъ въ теченіе трехъ дней съѣстные припасы. На четвертую ночь они вышли изъ пещеры и пробрались къ тому мѣсту, гдѣ ждали ихъ проводникъ съ верблюдами. Мухаммѣдъ сѣлъ на верблюдицу Аль-Касва, Абу-Бекръ — на другого верблюда, и они окружнымъ путемъ, избѣгая большой караванной дороги, черезъ восемь дней достигли ятрибскаго пригорода Коба, откуда Мухаммѣдъ, восторженно привѣтствуемый мекканскими переселенцами» (могаджирами) и ятрибскими «союзниками» (ансарами), торжественно вступили въ городъ, ставшій оттого городомъ пророка (Мединет-набп, или просто Медина), и остановился въ домѣ одного изъ бену-хазраджей — Абу-Эйюба, пока ему не построили (въ слѣдующемъ году) двухъ особыхъ домовъ (для двухъ его женъ) и рядомъ съ ними осо-бое зданіе для молитвенныхъ собраний — первую мусульманскую мечеть.

Вскорѣ по прибытіи въ Ятрибъ Мухаммѣдъ далъ своей общинѣ писанный уставъ, окончательно выдѣлявшій ее изъ арабскаго язычества съ его родовымъ бытомъ и племенными дѣленіями и полагав-ши основаніе мусульманству, какъ религіозно-общественному и политическому строю. По этому уставу, всѣ вѣрующіе, какъ изъ корейшитовъ, такъ и изъ ятрибскихъ жителей, переселенцы и союзники (могаджиры и ансары), составляютъ одинъ нераздѣльный и рав-нонравный народъ. Нѣть болѣе раздѣленія на племена, а есть только противоположеніе между правовѣрными и невѣрными. Между пра-вовѣрными не должно быть никакихъ раздоровъ, и старые племенные и родовые счеты должны быть забыты. — Кровная месть между ро-дами, принявшими исламъ отмѣняется. — Правовѣрные должны за-щищать другъ друга оружiemъ противъ всякаго нападенія. — Рѣ-шеніе всѣхъ спорныхъ вопросовъ должно быть предоставлено Богу ч Мухаммedu.

Изъ общей массы невѣрныхъ, естественно, были выдѣлены ятрибскіе арабы, еще не принявшие ислама, но не противодѣсто-вавшіе ему, а также іудеи этого города. И въ тѣхъ, и въ другихъ Мухаммѣдъ видѣлъ ближайшихъ кандидатовъ на мусульманство, что относительно арабовъ и оправдалось черезъ пѣсколько времени. И съ тѣми, и съ другими былъ заключенъ договоръ. Язычники Ятриба обязывались не вступать въ мирныя сношенія съ языческими корей-

шитами и ихъ союзниками, а Мухаммедъ обязался не укрывать между мусульманами воровскихъ людей отъ законнаго преслѣдованія. Съ евреями былъ заключенъ болѣе тѣсный союзъ. Они обязались поддерживать дѣло ислама денежными взносами и въ тяжебныхъ дѣлахъ между своими и мусульманами принимать рѣшеніе Мухаммеда. Защита Ятриба отъ вицѣнаго нападенія была признана общимъ дѣломъ всѣхъ живущихъ въ городѣ — язычниковъ, мусульманъ и іудеевъ.

XIII.

Недовольство Мухаммѣда противъ евреевъ. — Перемѣна киблы. — Повышенное самосознаніе.

Переселеніе Мухаммѣда изъ Мекки въ Ятирибъ имѣло для мусульманства прежде всего то значеніе, какое паденіе Іерусалима въ 70 г. имѣло для христіанства: и въ томъ, и въ другомъ случаѣ обрывалась историческая пуповина, связывавшая новую религию съ материинской почвой. Но насколько мусульманство было проще христіанства, настолько историческій процессъ его развитія совершился быстрѣе, былъ короче и сосредоточеннѣе, и потому постѣднія десять лѣтъ жизни Мухаммѣда, отъ хижды до смерти пророка, совмѣстили для его религіи совокупность перемѣнъ, которымъ въ исторіи христіанства соотвѣтствуетъ все то, что произошло въ почти трехвѣковую эпоху, отъ взятія Іерусалима Титомъ до смерти Константина Великаго (70—337).

Въ эти десять лѣтъ (622—632) произошло слѣдующее: новый религіозный союзъ, образовавшійся вокругъ Мухаммѣда: 1) рѣшительно обособился отъ языческихъ соплемениковъ въ Меккѣ; 2) столь же рѣшительно обособился отъ іудеевъ въ Ятирибѣ; 3) созналъ свое религіозное начало, какъ высшее и окончательное откровеніе; 4) къ религіозному своему характеру присоединилъ политический, организованный въ гражданское общество и государство; 5) усвоилъ идею священной войны; 6)透过 успешное примѣненіе этой идеи овладѣлъ центральнымъ святилищемъ арабовъ и занялъ господствующее положеніе во всей Аравіи, и 7) переступилъ за предѣлы национально-религіознаго сознанія, призналъ за собой универсальное значеніе и назначеніе, и стѣжалъ первые шаги къ его осуществленію.

Мухаммедъ, убѣжденный въ томъ, что получилъ непосредственное откровеніе отъ Бога, наравнѣ съ прежними «посланниками», не

чувствовалъ никакого побужденія (если бы даже имѣлъ возможность) изучать тѣ древнія священные книги, на которыхъ такъ часто ссылался. Итрабскіе евреи, съ которыми ему пришлось имѣть дѣло, не могли, конечно, стать на его точку зрѣнія. Противъ его мессіанскаго достоинства (на признаніе котораго съ ихъ стороны онъ, безъ сомнѣнія, разсчитывалъ) они съ самого начала уже имѣли одно сильное возраженіе: онъ былъ арабъ, принадлежалъ къ сынамъ Измаиловымъ, а не къ сынамъ Израилевымъ. Это препятствіе еще можно было устраниить съ помощью какой-нибудь фантастической родословной. Но, когда эти «люди писаній» убѣдились въ крайне поверхностномъ знакомствѣ Мухаммѣда съ Библіей, онъ потерялъ всякое религіозное значеніе въ ихъ глазахъ, и они прямо стали смѣяться надъ его притязаніями. Мухаммѣдъ очень скоро понялъ безнадежность своего положенія съ этой стороны и прекратилъ всякия попытки къ сближенію. Дѣло было для него рѣшено. «Богъ послалъ евреямъ Коранъ для подтвержденія ихъ писаній, но они не повѣрили», объявилъ онъ (Сура II) и, въ знакъ совершившагося религіознаго разрыва, перемѣнилъ киблу, т. е. тотъ пунктъ, къ которому должны были обращать свое лицо мусульмане при молитвѣ. До сихъ порь киблой былъ Йерусалимъ, теперь молящимся было предписано обращать свое лицо къ Меккѣ. Вотъ какъ самъ Мухаммѣдъ объясняетъ эту перемѣну:

«Безумный спросить: почему Мухаммѣдъ перемѣнилъ място, куда обращаться при молитвѣ? — Отвѣчай: «Востокъ и Западъ принадлежатъ Господу; онъ ведеть, кого хочетъ, правымъ путемъ. Мы утвердили васъ срединнымъ народомъ, какъ свидѣтелей противъ остальныхъ народовъ такъ же, какъ вашъ посланникъ будетъ свидѣтелемъ противъ васъ. Мы перемѣнили място молитвеннаго обращенія, чтобы отличить тѣхъ, которые слѣдуютъ за посланникомъ Божіимъ, отъ возвращающихся къ невѣрію» (Сура II, 136—138).

Мухаммѣдъ съ самого начала знать и заявлять, что «исламъ есть религія Бога вселенной» (Сура VI). Но теперь, послѣ своего первого рѣшительнаго успѣха, онъ выставляетъ себя если не исключительнымъ, то преимущественнымъ провозвѣстникомъ этой универсальной религіи. «Скажи: о люди! воистину я посланъ ко всемъ вамъ отъ Бога, Его же царство неба и земли. Нѣть Бога, кроме Него» (Сура VII, 158).

«Онъ (Богъ) изглаживаетъ и оставляетъ въ писаніяхъ, чтò хочетъ. Подлинникъ въ Его рукахъ» (Сура XIII, 13).

«Богъ послать съ неба самую превосходную изъ книгъ. Одно и то же учение повторяется тамъ безпрестанно. Боящіеся Господа чувствуютъ дрожь при ея чтеніи» (Сура XXXIX, 24).

«Подлинникъ Корана сохраняется Богомъ на небѣ» (Сура XLIII, 3).

«Клянусь книгою очевидности! Мы послали ее тебѣ въ благословенную ночь, чтобы научить смертныхъ. Въ ту же ночь величая Премудрость наложила печать на свои законы. Это Мы даемъ людямъ достоинство апостоловъ» (Сура XLIV, 1—4).

XIV.

Идея священной войны. — Первые примѣненія ея; битвы при Бедрѣ и Оходѣ.

Дѣло Божіе должно торжествовать на землѣ. Оно торжествуетъ черезъ добровольную преданность вѣрныхъ и черезъ вынужденную искорность невѣрныхъ. Добрые убѣждаются проповѣдью посланника Божія, злые принуждаются къ повиновенію его мечомъ. Когда еще до хиджры Мухаммедь взялъ съ ансаровъ «клятву мужей», т. е. обязательство защищать его оружіемъ, идея священной войны была уже, очевидно, принята имъ. Въ позднѣйшихъ Сурахъ Корана, данныхъ въ Мединѣ, эта идея утверждается съ большою настойчивостью.

«Пусть тѣ, которые жертвуютъ жизнью этого міра ради будущей жизни, сберутся подъ знамя Господа, и падутъ ли они въ сраженіи или выйдутъ изъ него побѣдителями, они получать славныя награды» (Сура IV, 76).

«Зачѣмъ велиши ты воевать, зачѣмъ не даешь намъ достигнуть конца дней нашихъ? Отвѣчай: «Наслажденія міра проходятъ, будущая жизнь есть истинное благо для боящихся Бога. Тамъ никто не будетъ обманутъ» (тамъ же, 79).

«Если встрѣтите невѣрныхъ, сражайтесь съ ними, пока не произведете великаго избенія. На плѣнныхъ наложите цѣли... Богъ могъ бы истребить ихъ и безъ вашей помощи, но Онъ хочетъ испытывать васъ однихъ черезъ другихъ. О вѣрующіе! Защищайте дѣло Божіе... Онъ вамъ поможетъ и утвердитъ шаги ваши» (Сура XLVII, 4—6).

«Сражайтесь съ врагами вашими на войнѣ за вѣру, но не нападайте первыми: Богъ ненавидитъ паладающихъ. Убивайте враговъ вашихъ вездѣ, гдѣ найдете ихъ; изгоняйте ихъ оттуда, откуда они васъ изгнали. Отступничество хуже убийства. Не сражайтесь съ ними у святого храма, развѣ только они вызовутъ васъ. Если нападутъ на васъ, — купайтесь въ крови ихъ. Такова награда невѣрныхъ. Если покинутъ заблужденіе свое — Господь снисходитъ ленъ и милостивъ. Сражайтесь съ врагами, доколѣ нечего будетъ бояться соблазна, — доколѣ не утвердится исламъ. Да прекратится всякая вражда противъ покинувшихъ идолы. Ваша ненависть да воспламеняется только противъ превратныхъ. Если нападутъ на васъ въ священномъ мѣстѣ, — и въ священномъ мѣстѣ воздайте имъ тѣмъ же» (Сура II, 186—190).

При всей ожесточенности тона въ этомъ воззваніи слова: «сражайтесь съ врагами, доколѣ нечего будетъ бояться соблазна, — доколѣ не утвердится исламъ» — ясно показываютъ, что священная война была для Мухаммеда религиозно-политической мѣрой, временно необходимой, а никакъ не постояннымъ религиознымъ принципомъ. Относительно этого не можетъ оставаться никакого сомнѣнія, когда черезъ нѣсколько стиховъ въ той же Сурѣ читаемъ: «Не дѣлайте насилия людямъ изъ-за ихъ вѣры. Путь спасенія достаточно отличить отъ пути заблужденія». Такимъ образомъ и въ Мединѣ Мухаммедъ ще измѣнилъ тому, что говорилъ въ Меккѣ. «Мы знаемъ рѣчи невѣрныхъ. Не употребляй противъ нихъ насилия» (Сура I, 44).

Цѣль священной войны не есть обращеніе невѣрныхъ въ исламъ, а только ихъ покорность исламу. Такимъ образомъ противорѣчіе здѣсь только кажущееся, и въ ученіи Мухаммеда вѣротерпимость вполнѣ совмѣщается съ идеей священной войны.

Эта идея, навязанная Мухаммеду жизненною необходимостью, скоро должна была перейти въ фактъ. Обособленный въ Ятрибѣ и организованный исламъ пересталъ быть только религиознымъ принципомъ, онъ сталъ уже реальную, религиозно-политическою и военную силой, которая должна была показать себя на дѣлѣ.

На другой годъ хиджры (въ октябрѣ 623 г.) Мухамедъ послалъ одного изъ своихъ магаджировъ съ семью товарищами къ Меккѣ на разведку. Близъ сосѣдняго съ Меккой селенія Нахлѣ они подстерегли караванъ, шедшій съ пряностями и кожами изъ Іемена подъ конвоемъ четырехъ корейшитовъ. Хотя уже начался ваджабъ, одинъ

изъ четырехъ священныхъ и мириыхъ мѣсяцевъ Аравіи, мусульмане напали на караванъ, одного изъ конвоя убили, одинъ уѣзжалъ въ Мекку, а двухъ они взяли въ плѣнъ и привели вмѣстѣ съ награбленной добычей къ Мухаммеду въ Ятрибъ. Тотъ сначала выразилъ негодованіе на нарушеніе національного обычая, но черезъ нѣсколько времени, опираясь на принципъ, что «идолопоклонство хуже, чѣмъ убийство», примирілся съ совершившимся фактомъ и раздѣлилъ между своими награбленную добычу. А черезъ три мѣсяца онъ отважился на новое, болѣе значительное предпріятіе противъ мекканцевъ. Отъ разосланныхъ имъ разведчиковъ онъ узнавалъ, что большой караванъ, ходившій изъ Мекки въ Сирію подъ предводительствомъ знатнаго между корейшитами Абу Софьяна, изъ дома Омайи, во главѣ военнаго отряда въ 950 человѣкъ, съ 700 верблюдами и 100 конями, вступилъ, па обратномъ пути, въ Хиджазъ съ богатыми товарарами на 50.000 динаровъ (300—400 тысячъ рублей). Мухаммедъ рѣшилъ въ этотъ разъ самъ напасть на враговъ: дѣло того стоило. Вокругъ него кромѣ 83 магаджировъ собралось еще ансаровъ 231 человѣкъ (170 изъ племени хазраджъ и 61 изъ племени аусь) — всего 314 вооруженныхъ людей съ 70 верблюдами и двумя конями. Такимъ образомъ силы мусульманъ не достигали и трети силь противниковъ, но это численное неравенство съ избыткомъ окружалось высокимъ одушевленіемъ и крѣпкимъ единствомъ въ дружинѣ пророка. Это первое военное дѣло мусульманства произошло въ оазисѣ Бедрѣ (140 верстъ на юго-западъ отъ Медины и около 280 верстъ на сѣверо-сѣверо-западъ отъ Мекки) 17 Рамазана 2 года хиджры (13 января 624 г. по Р. Х.). Битва продолжалась только нѣсколько часовъ; мекканцы, потерявъ около 50 человѣкъ убитыми и столько же плѣнными, въ безпорядкѣ бѣжали. Мусульмане, изъ которыхъ было убитыхъ только 14, раздѣлили добычу (одну пятую въ священную казну, одного верблюда и одинъ мечъ, по выбору, Мухаммеду, остальное поровну между сражавшимися) и съ торжествомъ вернулись въ Ятрибъ. Изъ плѣнныхъ корейшитовъ Мухаммедъ велѣлъ убить двухъ своихъ личныхъ враговъ, прочие были оставлены для выкупа. Торжество Мухаммеда, нравственно омраченное личной местью, было омрачено и Божиимъ наказаніемъ. Въ то время, какъ въ Бедрѣ онъ уступилъ чувству непримѣти, въ Ятрибѣ умерла его дочь Рокайя, жена Османа. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, чтобы утѣшить огорченного зятя, онъ отдалъ за него дру-

гую дочь Омм-Кольтумъ. Самъ Мухаммедъ былъ настолько экзальтированъ быстрымъ успѣхомъ при Бедрѣ, который онъ приписывалъ вмѣшательству 3.000 ангеловъ подъ начальствомъ Гавриила и Михаила, что не извлекъ никакого нравственнаго урока изъ смерти Рокайи, и черезъ нѣсколько времени по его указанію были убиты еще два человѣка, уже изъ ятрибскихъ жителей: одна женщина, по имени Асмѣ, и одинъ еврей, по имени Абу Афанъ. Преступленіе обоихъ состояло въ томъ, что они сочиняли и распространяли насмѣшливые стихи противъ Мухаммеда.

Въ это же время вѣроятно рѣшено было покончить съ евреями. Черезъ нѣсколько недѣль послѣ битвы при Бедрѣ въ предмѣстьѣ Ятриба, населенномъ еврейскимъ племенемъ бену-кейнокѣ, произошла уличная драка вслѣдствіе нападенія мусульмана на еврейскую женщину; драка закончилась двойнымъ убийствомъ — обидчика и защитника обиженнай. Мухаммедъ воспользовался этимъ случаемъ, чтобы объявить войну всѣмъ бену-кейнокѣ. Аравійскіе евреи, несмотря на религиозную связь, усвоили себѣ дурные нравы страны и раздробились на отдельныя племена, лишенныя практической солидарности между собой. Поэтому опасность, угрожавшая бену-кейнокѣ, нисколько не обезпокоила два другія племени ятрибскихъ евреевъ — бену-надиръ и бену-корейза. А, чтобы справиться съ однимъ племенемъ, у Мухаммеда уже было достаточно силы. Послѣ двухнедѣльной осады бену-кейнокѣ, заморенные голодомъ, сдались и должны были выселиться изъ Ятриба. Они покинули Аравію и поселились въ Сиріи, въ мѣстечкѣ Адріатѣ (на востокѣ отъ Йордана). Черезъ годъ та же участь постигла и другое племя, бену-надировъ, безо всякаго уже повода съ ихъ стороны, если не считать таковыи предполагаемое намѣреніе одного еврея убить Мухаммеда, о чёмъ сей послѣдній узналъ будто бы отъ архангела Гавриила въ особомъ откровенії. (Съ остальными евреями Мухаммедъ покончилъ нѣсколько позднѣе, о чёмъ будетъ сказано далѣе.)

Между тѣмъ въ Меккѣ собирались отмстить за пораженіе при Бедрѣ. Учрежденіе было общественный трауръ, который долженъ былъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока Мухаммедъ не будетъ побѣженъ. Но спачала нужно было выкупить плѣнныхъ. Это повело къ долгимъ переговорамъ, но въ результатѣ операций выкуповъ оказалась для корейшитовъ гораздо выгоднѣе, по крайней мѣрѣ въ материальномъ отношеніи, чѣмъ они могли думать: многіе изъ плѣнныхъ,

пораженные успехомъ Мухаммеда, увѣровали въ его посланничество и приняли исламъ, такъ что ихъ уже не пришлось выкупать. Мухаммѣдъ отпустилъ ихъ на родину даромъ, взявши клятву, что они не отступятъ отъ мусульманства.

Только черезъ годъ послѣ сраженія при Бедрѣ удалось вождю корейшитовъ, Абу-Софьяну, собрать военные силы, достаточные для того, чтобы съ надеждой на успѣхъ напасть на пророка въ его собственномъ убѣжищѣ. Эти силы состояли изъ 3.000 хорошо вооруженныхъ человѣкъ (между ними 700 въ панциряхъ) съ 3.000 верблюдовъ и 200 коней. Кромѣ корейшитовъ тутъ были и союзники изъ другихъ племенъ. Въ огромномъ обозѣ было много женщинъ съ музыкальными орудіями для ободрѣнія сражающихся. Это войско подошло къ Мединѣ 5 шаввала 3 года (24 января 625 г. по Р. Х.) и остановилось въ равнинѣ, отдалившей городъ отъ горы Оходъ. На другой день, послѣ нѣкоторыхъ колебаній и совѣщаній, Мухаммѣдъ рѣшилъ не дожидаться осады. Онъ вывелъ за городскія ворота свое маленькое войско, въ которомъ было 700 человѣкъ его дружины (могаджировъ и ансаровъ) и 300 человѣкъ изъ ятибцевъ, не принявшихъ ислама, а вошедшихъ въ оборонительный союзъ съ мусульманами. Ночью предводитель этого вспомогательного отряда Абдаллахъ Ибл-Убай счѣль болѣе благоразумнымъ покинуть Мухаммѣда и возвратиться съ своими людьми въ городъ.

Рано утромъ 7 шаввала (26 января) Мухаммѣдъ быстрымъ движениемъ обошелъ непріятеля и занялъ выгодную позицію въ ущельѣ горы Оходъ, повернувъ фронтъ къ Мединѣ, а тылъ и правый флангъ поставивъ подъ защиту высокихъ скалъ. На лѣвомъ же открытомъ флангѣ онъ выбралъ холмъ, съ которого была видна вся равнина между горой и городомъ, и поставилъ тамъ полсотни лучшихъ своихъ стрѣлковъ, поручивъ имъ наблюдать за непріятелемъ, чтобы предупредить возможный съ его стороны обходъ. Мухаммѣдъ имѣлъ время сдѣлать эти распоряженія, такъ какъ корейшиты, стоявшіе лицомъ къ Мединѣ и ожидавшіе нападенія оттуда, когда узнали о движении Мухаммѣда къ сѣверной горѣ, должны были повернуть фронтъ и передвинуть обозъ. Когда они двинулись къ занятому Мухаммѣдомъ ущелью, сраженіе началось, по арабскому обычая, единоборствами. Затѣмъ усилия мусульманъ, подъ предводительствомъ зятя Мухаммѣдова, Али, направились на священное знамя Каабы, которымъ они и завладѣли, перебивъ одного за другимъ одиннадцать

смѣнявшихъ другъ друга знаменоносцевъ. Когда знамя корейшитовъ пало, а въ то же время атака одного изъ ихъ вождей, Халида, противъ лѣваго фланга мусульманъ была отбита Мухаммедовыми стрѣлками, мекканское войско смѣшалось и подалось назадъ. Передовой отрядъ мусульманъ прорвалъ ряды отступившаго непріятеля и ворвался въ его обозъ. Тутъ старые разбойниччи нравы взяли верхъ надъ новымъ религіознымъ одушевленіемъ, и правовѣрные герои, какъ истые бедуины, бросались на богатую добычу. Ихъ товарищи-стрѣлки, увидѣвшіи обороть дѣла, не захотѣли себя обидѣть и, бросивъ свою позицію, устремились туда же на грабежъ. Увидавъ это, тотъ же Халидъ ударилъ въ оставшійся безо всяко прикрытия лѣвый флангъ Мухаммедовой дружины, а затѣмъ и все корейшитское войско, ободренное замѣшательствомъ мусульманъ, перешло въ наступленіе и стѣснило ихъ въ ущельѣ. Самъ Мухаммедь былъ раненъ камнемъ изъ пращи въ лицо, а потомъ еще мечомъ въ колѣно, и упалъ въ ровъ. Его подняли покрытаго кровью и грязью и пронесли сквозь ущелье въ безопасное мѣсто на скалахъ, куда собрались вокругъ него мусульмане, уцѣльвшіе въ битвѣ и не убѣжавши въ Медину. Между тѣмъ дядя Мухаммеда, Хамза, левъ ислама, былъ убитъ, а съ нимъ болѣе 70 мусульманъ. Среди торжествовавшихъ корейшитовъ распространился слухъ о смерти самого пророка. Абу-Софьянъ вѣхахъ на своемъ конѣ въ ущелье, приблизившись на разстояніе человѣческаго голоса къ новой позиціи мусульманъ, крикнулъ: «Правда ли, что Мухаммедь убитъ?» — «Онъ живъ и еще задастъ вамъ», — крикнулъ ему въ отвѣтъ Омаръ. — «Ладно! черезъ годъ сойдемся при Бедрѣ». — «Да! до свиданія въ Бедрѣ».

Въ то время, какъ вождь корейшитовъ такъ благородно усоловливался съ побѣжденными врагами о новомъ сраженіи, его жена Хиндъ совсѣмъ въ другомъ родѣ поминала старое. Ея отецъ Отба былъ убитъ при Бедрѣ упомянутымъ дядей Мухаммеда, Хамзой. Теперь она отыскала трупъ этого кровнаго врага, распорола ему животъ и, вырвавъ печень, сѣѣла ее сырьемъ: Другія женщины только отрѣзали у убитыхъ мусульманъ носы и уши и дѣлали себѣ изъ нихъ ожерелья.

XV.

Окопная война и ея слѣдствія.

Корейшиты, потерявши не болѣе 30 человѣкъ убитыми, были вполнѣ довольны одержанною побѣдою и не намѣревались ни дѣлать

облавы на засевшую въ горахъ дружину Мухаммеда, ни нападать на Ятрибъ. Посвятивъ одинъ день на отдыхъ и погребеніе мертвыхъ, они отправились назадъ въ Мекку, а Мухаммедъ, никѣмъ не тревожимый, вернулся въ Ятрибъ и на другой день выступилъ къ западу, дѣлая видъ, что преслѣдуетъ уходящихъ корейшитовъ. Дойдя до ближайшаго по дорогѣ въ Мекку селенія Хамра-эль-Асадъ (верстахъ въ 20-ти отъ Медины), онъ провелъ тамъ три дня, вѣльть зажечь сторожевые огни по окрестнымъ скаламъ и затѣмъ вернулся въ городъ.

Въ битвѣ при Оходѣ Мухаммедъ показалъ болѣе полководческаго таланта въ началѣ, чѣмъ личной храбрости въ концѣ. Онъ упалъ въ ровъ болѣе отъ испуга, нежели отъ раны; онъ носилъ на себѣ двойной панцырь съ налокотниками и наколѣнниками, такъ что поранившій его мечъ Ибн-Камія не коснулся его тѣла; кровь же, которую увидали на немъ его сподвижники, происходила отъ вышибленнаго камнемъ передняго зуба. Но послѣ ухода корейшитовъувѣренность въ себѣ и политическая сообразительность вѣрнулась къ Мухаммеду въ полной силѣ. Кромѣ демонстративнаго преслѣдованія далеко отошедшихъ побѣдителей, опѣ подъ разными предлогами разослали нѣсколько отрядовъ противъ бедуиновъ пустыни, а затѣмъ, какъ было сказано, обрушился на еврейское плѣмя бену-надиръ и выгналъ его изъ Аравіи. Этимъ онъ поддержалъ свой престижъ передъ невѣрными, относительно же мусульманъ онъ сейчасъ же послѣ битвы при Оходѣ воспользовался обстоятельствами этой битвы, чтобы объяснить неудачу въ свою пользу. «Пока вы меня слушались, — говорилъ онъ своей дружинѣ, — успѣхъ былъ на нашей сторонѣ; но когда вы ради низкой корысти нарушили волю Божію и приказанія Его посланника, справедливое наказаніе обрушилось въ вашу голову — и враги одержали побѣду. Но Богъ милостивъ и снисходителенъ; Онъ простила вашъ грѣхъ и не допустилъ васъ до конечной погибели».

Къ этому нравственному утѣшенію Мухаммедъ присоединилъ и материальное. Оставшуюся послѣ изгнанія евреевъ весьма значительную поземельную собственность онъ раздѣлилъ между своими могаджирами, которые такимъ образомъ получили осѣдлость и самостоятельный средства существованія, тогда какъ до сихъ поръ они жили насчетъ гостепріимства аисеровъ. Слѣдовательно и эти послѣдніе получили облегченіе.

Благодаря изгнанию большинства евреевъ и прикреплению магаджировъ, Мухаммедь сдѣлался господиномъ Ятриба, который съ тѣхъ порь могъ по праву называться его городомъ (Медипетъ-эн-наби или просто Медина). Многіе изъ жителей города, а также изъ сосѣднихъ бедуиновъ приняли исламъ, и, когда чрезъ годъ послѣ битвы при Оходѣ Мухаммедь выступилъ въ Бедру для условленной встречи съ Абу-Софьяномъ и корейшитами, его войско состояло уже изъ 700, а изъ 1.500 человѣкъ. Вместо непріятелей мусульмане нашли въ Бедру мирную ярмарку и, поговоривши съ выгодой, вернулись домой. Мекканцы отказались отъ назначенаго турнира потому, что затѣвали нечто болѣе важное. Не полагаясь на однѣ собственныя силы, чтобы покончить съ Мухаммедомъ, они рѣшили устроить коалицію всѣхъ враждебныхъ исламу элементовъ Аравіи. Кромѣ сосѣднихъ съ Меккою арабскихъ племенъ, давшихъ уже свой контингентъ и при прежнемъ походѣ, въ союзъ вошли три обширныя племени центральной Аравіи: бену-гатафанъ, бену-солеймъ и бену-асадъ, а также еврейская колонія Хейбаръ, куда временно переселились (по пути въ Сирію) и изгнанные Мухаммедомъ изъ Медины бену-надиры. Коалицію устроилъ и союзными войсками предводительствовалъ тотъ же упорный врагъ Мухаммеда — Абу-Софьянъ.

Въ это время, повѣствуетъ преданіе, въ Мединѣ находился одинъ персіянинъ, по имени Салманъ, служившій нѣкогда въ персидскихъ войскахъ и участвовавшій во многихъ походахъ. Затѣмъ онъ подвергся разнымъ бѣдствіямъ и попалъ въ рабство къ одному изъ жителей Медины. Принявши исламъ, онъ получилъ свободу и ревностно служилъ Мухаммedu. Когда до Медины дошли извѣстія о приближеніи большого войска корейшитовъ и союзниковъ, и Мухаммедь, не полагаясь на свои силы, рѣшилъ уклониться отъ открытаго боя и выдерживать осаду, этотъ персъ Салманъ пришелъ къ вождю правовѣрныхъ и сообщилъ ему одно средство обороны, успѣшность котораго была извѣдана на опыте въ войнахъ прошлыхъ съ ромеями. Это средство, невѣдомое до того арабамъ, состояло во рвахъ и окопахъ, представлявшихъ трудно преодолимое препятствіе въ особенности для конницы непріятельской и для верблюдовъ. Мухаммедь оцѣнилъ практическость этого совѣта и послѣдилъ распорядиться его исполненіемъ. Скоро вся Медина кругомъ была обведена рвами и земляными валами. Когда въ началѣ марта 627 г. союзная войска подступили къ городу, они были остановлены неожиданнымъ и не-

обычайнымъ препятствіемъ. Пришлось начать медленную войну съ непріятелемъ, прикрытымъ надежною защитою. Между тѣмъ союзники, не разсчитывавши на такой оборотъ дѣла, не запаслись достаточнымъ количествомъ провіанта для людей и животныхъ, а въ то время года жатва въ окрестныхъ мѣстностяхъ была уже снята житѣями. Послѣ напрасныхъ попытокъ перейти рвы, при чемъ съ обѣихъ сторонъ пало не болѣе 10 человѣкъ, союзники вошли въ тайные переговоры съ послѣднимъ оставшимся въ Мединѣ еврейскимъ племенемъ бену-корейза, склоняя ихъ предать Мухаммеда, столь враждебно поступившаго съ ихъ единовѣрцами, и впустить осаждающихъ въ городъ. Мухаммедъ, узнавши объ этихъ сношеніяхъ, подославъ своихъ тайныхъ агентовъ, которымъ удалось запутать и затянуть переговоры. Въ то же время самъ онъ старался подкупить вождя одного изъ союзныхъ съ корейшитами племенъ, бену-гатафновъ, чтобы склонить его отдѣлиться отъ союза и увести своихъ людей отъ Медины. Хотя эта попытка и не имѣла успѣха, но союзники, утомленные нѣсколькими недѣлями напраснаго стоянія подъ городомъ при недостаткѣ припасовъ, сняли осаду и разошлись по домамъ. Эта почти безкровная война осталась въ лѣтописяхъ мусульманства съ названіемъ «окопной войны».

По удаленіи союзниковъ первымъ дѣломъ Мухаммеда было отомстить евреямъ. Бену-корейза, у которыхъ было 600 человѣкъ, способныхъ носить оружіе, заперлись въ своеемъ кварталѣ, но послѣ двухнедѣльной осады сдались на капитуляцію. Въ прежнія времена это племя находилось въ особомъ союзѣ съ однимъ изъ двухъ арабскихъ племенъ въ Мединѣ, приставшихъ къ Мухаммеду, именно съ племенемъ аусъ. И теперь евреи надѣялись, что старые союзники заступятся за нихъ передъ Мухаммедомъ и выговорятъ имъ право свободно удалиться изъ Медины, подобно тому, какъ это было сдѣлано относительно бену-надировъ ихъ прежними арабскими союзниками, хазраджами. И дѣйствительно, Мухаммедъ предоставилъ судьбу евреевъ на решеніе вождя аусовъ, Саада Ибн-Моада. Но онъ зналъ, что этотъ вождь, смертельно раненый въ оконной войнѣ, выражалъ крайнее ожесточеніе противъ всѣхъ враговъ ислама и, въ особенности, противъ измѣнниковъ-евреевъ. Когда умиравшему арабу передали полномочіе пророка, онъ безъ всякихъ колебаній приговорилъ всѣхъ взрослыхъ мужчинъ къ смерти, а женъ и дѣтей къ рабству. Этотъ приговоръ былъ немедленно исполненъ. Около 600 евреевъ были пе-

рерѣзаны; только одинъ перешелъ въ мусульманство и этимъ избавился отъ смерти. Одну красивую еврейку, по имени Рейхану, принутили принять исламъ, и Мухаммедь взялъ ее въ свой гаремъ; прочія женщины и дѣти были раздѣлены между правовѣрными. Медина сдѣлалась окончательно мусульманскимъ городомъ.

XVI.

Мирный походъ къ Меккѣ и договоръ съ корейшитами. — Первые шаги за предѣлы Аравіи.

Въ началѣ весны 628 г. Мухаммедь имѣлъ вѣщій сонъ. Ему снилось, что онъ совершилъ священное хожденіе въ Мекку, и что ему передали ключи отъ Каабы. Онъ объявилъ объ этомъ сиѣ своимъ вѣрнымъ и повелѣлъ имъ снаряжаться въ благочестивый походъ; изъ оружія нужно было брать только мечи.

Перваго числа мѣсяца зуль-каада Мухаммедь, во главѣ 1.500 мусульманъ изъ Медины и изъсосѣднаго племени бену-асламъ, двинулся въ Мекку и безпрепятственно достигъ мѣстечка Осфандъ, въ 70 верстахъ отъ священнаго города. Тутъ онъ узналъ, что корейшиты, несмотря на наступленіе мѣсяца священнаго мира, вооружились, собрали союзниковъ и выступили противъ него. Свернувъ въ бокъ и обойдя передовые раз进取зы непріятеля, Мухаммедь съ другой стороны подошелъ къ границѣ священной территории и остановился въ мѣстности Ходейбія. Онъ послалъ зятя своего Османа для переговоровъ; за пропускъ къ Каабѣ онъ предлагалъ безопасность мекканскими караванами на неопределенно долгій срокъ. Османъ не возвращался три дня, и мусульмане поймали нѣсколькихъ мекканцевъ, чтобы имѣть заложниковъ. Мухаммѣдъ выбралъ большое дерево и собралъ вокругъ него всю свою дружину. Онъ сидѣлъ подъ деревомъ, а каждый изъ правовѣрныхъ подходилъ и ударялъ съ нимъ по рукамъ въ новое подтвержденіе неизмѣнной вѣрности. Въ это время вернулся изъ Мекки Османъ съ уполномоченнымъ отъ корейшитовъ Согейлемъ Ибн-Амръ. Онъ принесъ Мухаммѣду предложеніе отсрочить до будущаго года входъ свой въ Мекку и поклоненіе Каабѣ. Ревнители ислама, съ Омаромъ во главѣ, горячо возстали противъ такого унизительнаго предложенія, но Мухаммѣдъ рѣшилъ его принять. Согласились заключить письменный договоръ. Уполномоченный корейшитовъ не соглашался называть Бога такъ,

какъ Онъ называется въ Коранѣ — Благой, Милосердный, а также не хотѣлъ титуловать Мухаммеда посланикомъ Божімъ. «Все равно, пиши, какъ онъ желаетъ», сказалъ Мухаммедъ Алію, и тотъ, со словъ Согейля, написалъ слѣдующій договоръ:

«Во имя Твое, Аллахъ! Вотъ условія мира, который заключаютъ Мухаммедъ, сынъ Абдаллы, и Согейль, сынъ Амра. Они сошлись на томъ, чтобы между ихъ сторонами не было войны десять лѣтъ и чтобы это время всякому, и съ той, и съ другой стороны, имѣть взаимную безопасность и миръ. При томъ, если кто отъ стороны Корейша перейдетъ къ Мухаммedu безъ согласія тѣхъ, кто имѣеть надъ нимъ законную власть, то долженъ быть выданъ, а если кто отъ стороны Мухаммeda перейдетъ къ Корейшу, того не выдавать. Къ тому же быть между ними истинной честности и никакой погаенпой вражды и коварства чтобы не было. При томъ, если кто изъ другихъ племенъ захочеть войти въ завѣтъ и союзъ съ тобою, Мухаммедомъ, воленъ это дѣлать, и кто захочеть войти въ завѣтъ и союзъ съ нами, сынами Корейша, вольно и ему. И еще: долженъ ты, Мухаммедъ, въ этомъ году, не входя къ намъ въ Мекку, очистить нашу мѣстность. А когда пройдетъ годъ, мы передѣлъ прибытиемъ твоимъ очистимъ городъ на три дня, и вольно войти тебѣ и дружинѣ твоей и оставаться три дня; и быть вамъ въ походномъ вооруженіи, съ мечами въ ножнахъ, а другого оружія тебѣ не имѣть».

Когда договоръ былъ подписанъ и корейшитское посольство удалилось, Мухаммедъ велѣлъ своей дружинѣ совершить заключительные обряды хаджа (жертвеннное закланіе барановъ, подстриженіе волосъ) и затѣмъ тронутться въ обратный путь. Услышавъ, какъ Омаръ порицалъ Мухаммeda за малодушіе, Абу-Бекръ внушительно сказалъ ему: «Держись крѣпче за его стремя, ибо онъ — посланикъ Божій».

Мухаммедъ подписалъ договоръ конечно не съ тѣмъ, чтобы его исполнить: ему нужно было собраться съ силами, чтобы нанести рѣшительный ударъ «идолопоклонникамъ Мекки». А пока онъ рѣшилъ покончить съ іudeями въ Аравії, какъ уже покончилъ съ ними въ Мединѣ. Въ апрѣлѣ того же 628 г. онъ выступилъ съ своей дружиной, въ томъ же приблизительно числѣ, какъ и для священнаго похода, но съ болѣе полнымъ вооруженіемъ, противъ еврейскихъ поселеній на сѣверѣ отъ Медины: Хейбаръ, Вадиль-Кора, Федакъ и Тайма. Евреи не вышли въ поле и засѣли въ крѣпкихъ башняхъ. Послѣ нѣсколькихъ недѣль осады они стали сдаваться, отрядъ за

отрядомъ. Они должны были отдать побѣдителямъ все свое имущество, а сами съ женами и дѣтьми получили свободный пронускъ. При взятіи Хейбара одна еврейка, по имени Зейнабъ, у которой всѣ родные были перебиты мусульманами, задумала отомстить. Притворившись расположенной къ принятію ислама, она принесла въ даръ Мухаммеду зарѣзанного барана, смазавши его сильнымъ ядомъ. Мухаммедъ, собиравшійся ужинать съ нѣсколькими гостями, велѣлъ подать этого барана къ своему столу. Взявши въ ротъ кусокъ, онъ почувствовалъ дурной вкусъ и выплюнулъ; одинъ изъ гостей, успѣвшій проглотить, умеръ на мѣстѣ. Но и Мухаммедъ не отдался даромъ. Онъ заболѣлъ, и съ тѣхъ поръ, какъ самъ говорилъ, никогда уже не чувствовалъ себя вполнѣ здоровымъ. Свою послѣднюю болѣзнь и смерть онъ приписывалъ дѣйствію того же яда.

Между тѣмъ договоръ, заключенный въ Ходейбіи, оказывался болѣе выгоднымъ для Мухаммеда, чѣмъ думали ревнители ислама. Сосѣднее съ Меккой племя бену-хозаѣ, — то самое, которое нѣкогда отняло у корейшитовъ Каабу, а потомъ было принуждено опять возвратить ее, — воспользовалось соотвѣтствующей статью договора, открыто стало на сторону Мухаммеда и вступило съ нимъ въ союзъ. А статья о выдачѣ перебѣжчиковъ, повидимому представлявшая корейшитамъ несправедливое преимущество передъ Мухаммедомъ, была отмѣнена по требованію самой привилегированной стороны, которой пришлось плохо отъ этой привилегіи. Одинъ буйный мекканецъ, по имени Абу-Басиръ, изъ племени такифовъ, но находившійся подъ защитой дома Зохра, за слишкомъ ярое проповѣдываніе ислама былъ запертъ своимъ патрономъ въ темницу. Вырвавшись оттуда, онъ прибѣжалъ въ Медину, къ Мухаммеду. Домъ Зохра, на основаніи договора, потребовалъ его выдачи. Мухаммедъ исполнилъ требованіе, но Абу-Басиръ дорогой уѣхалъ и, набравъ шайку такихъ же бѣглецовъ изъ Мекки, недовольныхъ корейшитской плутократіей, засѣлъ съ этой шайкой (числомъ въ 70 человѣкъ) близъ большой хиджазской дороги и сталъ разбивать всѣ мекканскіе караваны. Корейшиты обратились къ Мухаммеду съ просьбой, чтобы статья о выдачѣ была исключена и чтобы онъ принималъ къ себѣ всѣхъ бѣглецовъ изъ Мекки.

Весной 629 г. Мухаммедъ съ 2.000 спутниками отправился въ Мекку. Всѣ вооруженные корейшиты при его приближеніи вышли изъ города и стали лагеремъ въ окрестныхъ горахъ. Съ оставшимися

жителями Мухаммедь вступил въ дружескія сношенія, послѣ того какъ онъ и его спутники торжественно совершили всѣ священные обряды. Дядя его Аббасъ принялъ его въ своеи домъ и предложилъ ему въ жены свою овдовѣвшую невѣстку Меймуну. Мухаммедь хотѣлъ остаться въ Меккѣ и послѣ условленныхъ трехъ дней, чтобы отпраздновать новую свадьбу, но корѣйшиты потребовали точнаго исполненія договора. Мухаммедь оставилъ Мекку, пріобрѣтъ себѣ новыхъ приверженцевъ между ея жителями, въ томъ числѣ побѣдителя при Оходѣ, Халида Ибн-эль-Валида.

Вѣроятно въ этомъ же году (по нѣкоторымъ преданіямъ еще раньше) Мухаммедь послалъ пословъ къ императору Гераклію, къ персидскому царю Хозрою Парвезу, къ правителю Сиріи и къ вассалу Византіи, царьку сирійскихъ арабовъ Хариту VII (изъ дома Гассанидовъ). Послы были снабжены письмами Мухаммѣда, увѣщавшаго этихъ владѣтелей признать единаго, истиннаго Бога и принять исламъ⁶. Египетскій намѣстникъ присыпалъ Мухаммѣду дружеское письмо и двухъ невольницъ въ подарокъ. На одной изъ нихъ, по имени Мариатъ, Мухаммедь женился, и она родила ему сына Ибрахима, который однако не исполнилъ надеждъ Мухаммѣда имѣть мужское потомство, такъ какъ умеръ въ младенчествѣ.

Со стороны Сиріи Мухаммѣдъ встрѣтилъ враждебный пріемъ. Пятнадцать человѣкъ развѣдчиковъ были захвачены врасплохъ и перебиты гассанидскими воинами, а гонецъ съ письмомъ Мухаммѣда къ греческому коменданту Бостры былъ задержанъ на дорогѣ и обезглавленъ.

Въ сентябрѣ 629 г. Мухаммѣдъ послалъ своего пріемнаго сына Зейда Ибн-Хариса съ трехтысячнымъ войскомъ въ Сирію. Вѣроятно предполагалось имѣть дѣло только съ гассанидами, но, дойдя до южныхъ береговъ Мертваго моря, мусульмане неожиданно наткнулись на расположившіяся близъ мѣстечка Мута войска императора Гераклія, незадолго передъ тѣмъ одержавшія блестящія побѣды надъ пер-

⁶ Весьма мало вѣроятно, чтобы эти письма были отправлены одновременно. Обращаясь къ самому императору, Мухаммѣдъ не имѣлъ никакой нужды обращаться къ его генералъ-губернатору въ Египтѣ и его вассалу въ Сиріи. Если обращеніе Мухаммѣда къ императору и Шахин-Шаху не есть вымыселъ (какимъ признается его напримѣръ новѣйшій историкъ Мухаммѣда, Губертъ Гримме), то его слѣдуетъ отнести къ самому послѣднему времени передъ смертью пророка.

сами. По арабскимъ извѣстіямъ, очевидно преувеличеннymъ, это войско состояло изъ 100.000 человѣкъ. Во всякомъ случаѣ, превосходство силъ на сторонѣ грековъ было подавляюще. Тѣмъ не менѣе мусульмане рѣшились на сраженіе. Послѣ того какъ ихъ предводитель Зейдъ и потомъ замѣстившій его Джафаръ (сынъ Абу Талиба, двоюродный братъ Мухаммѣда) и мединецъ Ибн-Рахава были убиты, мусульмане обратились въ бѣгство, но Халиду удалось ихъ собрать, привести въ порядокъ и совершить правильное отступленіе къ Мединѣ. Мухаммѣдъ запретилъ городскимъ жителямъ смыться надѣй бѣглецами, а Халиду, уберегшему войско отъ окончательного истребленія, онъ далъ почетное прозвище *Божій мечъ*.

Обыкновенный политический пріемъ Мухаммѣда состоялъ въ томъ, что, потерпѣвши пораженіе отъ однихъ враговъ, онъ, прежде чѣмъ собраться съ силами для вѣрнаго отомщенія, поддерживалъ свой престижъ нападеніемъ на другихъ, болѣе слабыхъ противниковъ. Такъ поступилъ онъ и тутъ. Немедленно послѣ пораженія при Мутѣ онъ посылаетъ Амра Ибн-эль-Аси (знатнаго корейшита, обратившагося въ исламъ вмѣстѣ съ Халидомъ) въ походъ противъ Гатафановъ и другихъ племенъ средней Аравіи. Они покорились почти безъ сопротивленія и объявили себя сторонниками Мухаммѣда, который теперь несомнѣнно сталъ самымъ могущественнымъ властителемъ на всемъ полуостровѣ. Видя это, мекканцы рѣшились на последнюю попытку сопротивленія.

XVII.

Окончательное торжество Мухаммѣда.

Вступившее въ союзъ съ Мухаммѣдомъ племя бену-хозаѣ, подъ Меккой, состояло въ давней кровной враждѣ съ сосѣднимъ племенемъ бену-бекръ, состоявшимъ въ союзѣ съ корейшитами. Между ними происходили постоянныя драки. Одна такая драка вышла изъ-за Мухаммѣда. Кто-то изъ бену-бекровъ, сказавшій что-то оскорбительное для пророка, былъ избитъ присутствовавшими хозяйствами. Его родичи пожаловались корейшитамъ и отъ нѣкоторыхъ изъ нихъ получили совѣтъ раздѣлаться силой съ союзниками Мухаммѣда, т. е. нарушить Ходейбійскій договоръ. Тогда бену-бекръ ночью напали на отрядъ хозяйствовъ и многихъ перерѣзали. Только что это стало из-

вѣстно въ Меккѣ, народъ возсталъ противъ воинствующихъ корейшитовъ и объявилъ, что не желаетъ навлекать на себя справедливаго мщенія Мухаммѣда. Корейшиты уступили народнымъ требованияніямъ, и Абу-Софьянъ, котораго вражда къ Мухаммѣду за послѣдніе годы совсѣмъ укротилась, бысть посланъ въ Медину для мирныхъ переговоровъ. Мухаммѣдъ, разумѣется, не поддался этимъ увѣщаніямъ, и немедленно по отъездѣ Абу-Софьяна выступилъ со всѣми силами мусульманъ и иowychъ союзниковъ — болѣе 10.000 человѣкъ — противъ Мекки. По дорогѣ онъ встрѣтилъ многихъ мекканцевъ, переходившихъ на его сторону и принимавшихъ исламъ. Такимъ образомъ присоединился къ нему окончательно и старый дядя его Аббасъ.

Въ январѣ 630 г. мусульманское войско стало лагеремъ около Марръ-эзъ-Захринъ, въ 9 верстахъ къ сѣверо-западу отъ Мекки. Корейшиты послали къ Мухаммѣду опять Абу-Софьюна для переговоровъ. На другой день опять принялъ исламъ, а Мухаммѣдъ со своимъ войскомъ безпрепятственно вступилъ въ священный городъ. По новому договору, жители Мекки признавали верховную власть Мухаммѣда и предоставляли въ его распоряженіе свои вооруженные силы; за это они получали равное съ мединцами право на военную добычу. Большинство тутъ же приняло исламъ. Мухаммѣдъ семь разъ обѣхалъ Каабу на своей верблюдицѣ Эль-Касва, семь разъ дотронулъся своимъ посохомъ до священного камня, велѣлъ уничтожить всѣхъ иоловъ вокругъ святилища, затѣмъ во имя Божіе торжественно подтвердилъ всѣ права Мекки и ея территоріи, но вмѣстѣ съ тѣмъ объявилъ равенство всѣхъ людей передъ Богомъ и одинаковую для всѣхъ обязанность подчиняться законамъ ислама. Въ заключеніе онъ предписалъ мекканцамъ истребить иоловъ и у себя въ домахъ. Язычники, на опытѣ убѣдившіеся въ безсиліи своихъ боговъ, охотно исполнили это повелѣніе.

Тѣмъ не менѣе Мухаммѣдъ не располагалъ перенести въ Мекку свое мѣстопребываніе. Онъ рѣшительно объявилъ своимъ мединскимъ сподвижникамъ: «Я хочу и жить, и умереть вмѣстѣ съ вами», и уже собирался въ обратный путь къ Мединѣ, какъ пришло извѣстіе, что на него поднимаются новыя силы. Могущественный союзъ бедуинскихъ племенъ, носившихъ общее название эль-хавазинъ и занимавшихъ обширную территорію, простиравшуюся изъ глубины средне-аравійской пустыни до границъ Мекканской области, включая сѣдѣй съ Меккою городъ Таифъ, выставилъ огромное для тѣхъ

мѣсть и временъ войско въ 20.000 человѣкъ, которое подъ начальствомъ Малика Ибн-Ауфа уже стояло около Таифа. Мухаммѣдъ, увеличивъ свои силы на 2.000 новыхъ мусульманъ-мекканцевъ, выступилъ навстрѣчу непріятелю, который также двинулся впередъ, ведя за собою свой обозъ съ женами, дѣтьми и множествомъ скота. Между враждебными войсками находилась глубокая долина Хонейнъ. Маликъ, оказавшійся недурнымъ полководцемъ, успѣлъ занять боковыя ущелья конными отрядами, и, когда мусульмане вошли въ долину, они были охвачены непріятелемъ съ обоихъ фланговъ. Мусульманское войско состояло изъ трехъ главныхъ отдѣловъ: подчиненныйя Мухаммѣду бедуинскія племена, мекканцы и старые мусульмане, или мединская дружина. Бедуины, по обычаямъ пустыни считавшіе поспѣшное бѣгство такой же важной и почтеннай частью военного искусства, какъ и успѣшное нападеніе, немедленно показали тылъ; мекканцы, приведенные этимъ въ замѣшательство, послѣдовали ихъ примѣру, а затѣмъ общая паника охватила и мединцевъ. Мухаммѣду, котораго чуть было не отрѣзали непріятели, удалось громкими криками: «Сюда, люди дерева!» (т. е. клявшіеся подъ деревомъ въ Ходейбії) остановить бѣгство своей дружины и собрать ее вокругъ себя. Когда вернулись и прочія части войска, непріятель былъ вытѣсненъ изъ Хонейнской долины; одно изъ племенъ, бену-такибы, которымъ принадлежалъ городъ Таифъ, ушли подъ защиту его укрѣплений, покинувъ союзниковъ. Прочіе пытались защищать свой лагерь у мѣстечка Эль-Аутасъ, что значитъ печь. «Печь разгорается жарко», сказала Мухаммѣдъ. Послѣ упорного боя хавазины бросили лагерь и бѣжали въ Таифъ. 6.000 женщинъ и дѣтей, 24.000 верблюдовъ, несчетное множество овецъ, козъ и всякаго добра досталось мусульманамъ. Мухаммѣдъ роздалъ большую часть добычи мекканцамъ, и, когда обиженная этимъ его дружина выражала свое неудовольствіе, онъ сказалъ: «Неужели вы недовольны тѣмъ, что эти (мекканцы) погоняютъ къ себѣ овецъ и верблюдовъ, а вы, ансары, поведете съ собой посланника Божія? Клянусь Тѣмъ, что въ Чьихъ рукахъ душа Мухаммѣда! Если бы я могъ выбирать, гдѣ родиться, я родился бы между ансарами. И если бы весь свѣтъ пошелъ на одну сторону, а ансары на другую, я оставилъ бы весь свѣтъ и пошелъ съ ансарами. Боже! будь милостивъ къ ансарамъ, и къ сынамъ ансаровъ, и къ сынамъ сыновъ ихъ вовѣки!». Растроганные сподвижники закричали: «Мы довольны своей долей и жребiemъ, посланникъ Бо-

жий!». Мухаммедъ зналъ, что ихъ сердца принадлежать ему, тогда какъ сердца мекканцевъ нужно было еще пріобрѣсти; и тутъ онъ имѣлъ полный успѣхъ: кто не поддался снисходительному и дружелюбному обращенію побѣдителя, не могъ устоять передъ щедрыми дарами. Но Мухаммедъ тутъ же пріобрѣлъ сердца и только-что разбитыхъ передъ тѣмъ непріятелей. Когда пришли послы отъ Малика и хавазиновъ, Мухаммедъ отпустилъ безъ выкупа ихъ женъ и дѣтей. Тропутый этимъ великодушiemъ, Маликъ принялъ исламъ, а его примѣру послѣдовали подвластные ему бедуины.

XVIII.

Смерть Мухаммѣда. — Оценка его нравственного характера.

По возвращеніи въ Медину Мухаммедъ собралъ 30.000 войска и объявилъ походъ противъ Византіи. Но, дойдя до пограничнаго съ Сиріей города Табука, онъ остановился. Отъ передовыхъ отрядовъ пришли извѣстія, что полчища сирійскихъ арабовъ, собравшіяся къ востоку отъ Йордана, разсѣялись безъ боя, а о войскахъ императора Гераклія нѣть никакого слуха. Подъ этимъ страннымъ предлогомъ — какъ будто шло обѣ единоборствъ въ назначенному мѣстѣ и времени — Мухаммедъ рѣшилъ отказаться отъ дальнѣйшаго похода. Заключивши договоры съ нѣкоторыми шейхами бедуиновъ на Синайскомъ полуостровѣ, которые, вмѣсто вассальныхъ отношеній къ Византіи, признали его верховенство, Мухаммедъ вернулся въ Медину. По всей вѣроятности, у него было уже предчувствіе смертельной болѣзни, и онъ не находилъ въ себѣ достаточно силъ для такого важнаго и новаго предпріятія. Это подтверждается тѣмъ прощальнымъ характеромъ, какое приняло его послѣднее путешествіе въ Мекку. По окончаніи священныхъ обрядовъ онъ обратился къ собравшимся въ долинѣ Мина богомольцамъ съ особой рѣчью. Напомнивъ имъ всѣ заповѣди и законы ислама, онъ увещевалъ ихъ быть между собою въ мирѣ и братскомъ единству, навсегда отказаться отъ обычая кровной мести, хорошо обращаться со своими женами и рабами, и въ заключеніе сказалъ: «Воистину, я исполнилъ то, что было мнѣ поручено».

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ по возвращеніи домой онъ почувствовалъ приступъ горячки. Передавъ Абу-Бекру предстоятельство на

молитвѣ въ мединской мечети, онъ остался безвыходно въ ~~домѣ~~ любимой жены своей Аиши. Онъ не сомнѣвался въ близкой смерти и отпустилъ на волю всѣхъ своихъ арабовъ. Временами онъ впадалъ въ бредь и однажды потребовалъ письменныхъ приадлежностей. Его требование не было исполнено, и онъ на немъ не настаивалъ. Утромъ въ день своей смерти онъ пришелъ въ полное сознаніе и показался на порогъ смежной съ домомъ Аиши мечети, когда вѣрные были тамъ собраны на молитву. Этотъ выходъ источилъ его послѣднія силы; когда Аиша уложила его въ постель, началась агонія. Проговоривъ задыхающимся голосомъ безсвязныя слова: «Нѣть — великіе — товарищи — въ раю», онъ умеръ въ первомъ часу пополудни 8 июня 632 г. (13 числа мѣсяца — первого Раби 11 года хиджры) на 63 году отъ рожденія.

Историки, наиболѣе благосклонные къ Мухаммеду, все-таки упрекаютъ его за то, что и во второй, мединскій періодъ своей дѣятельности, — періодъ по преимуществу политической, онъ продолжалъ выдавать себя за посланника Божія и различнымъ своимъ приказамъ и распоряженіямъ придавать значеніе прямыхъ божественныхъ предписаній. Этотъ упрекъ имѣть смыслъ только при томъ предположеніи, что Мухаммѣдъ въ этотъ второй періодъ своей жизни уже не считалъ, а только выдавалъ себя за посланника Божія. Но когда же онъ пересталъ вѣрить въ свое посланничество? Такого момента въ его жизни нельзя указать, и менѣе всего можно его искать именно во второй, мединскій періодъ. Если въ первое время, когда онъ въ пользу дѣйствительности своего призванія не имѣлъ ничего кромѣ своей собственной внутренней увѣренности да вѣры въ него Хадиджи и нѣсколькихъ друзей его, если тогда, вопреки всей вицѣпіей очевидности и на зло общему мнѣнію, онъ твердо стоялъ на своемъ убѣжденіи, то какъ же онъ могъ въ немъ поколебаться, когда послѣ невѣроятно быстрыхъ успѣховъ онъ добился признанія даже со стороны своихъ прежнихъ враговъ и гонителей? Когда же, въ самомъ дѣлѣ, былъ тотъ моментъ, въ который Мухаммѣдъ могъ потерять вѣру въ себя и въ свое призваніе? Не тогда ли, когда чужеземцы клялись ему въ вѣрности? или когда съ нимъ, бѣглецомъ и изгнаникомъ, могущественные племена, владѣвшія вторымъ городомъ въ Аравіи, вступили съ нимъ въ договоръ, какъ съ самостоятельнымъ властителемъ? или тогда, когда

онъ разбилъ втрое сильнейшихъ его корейшитовъ при Бедрѣ? или тогда, когда при Оходѣ его дружина за ослушаніе ему была наказана пораженіемъ, а онъ не только спасся, а сохранилъ и даже возвысилъ свое положеніе? или тогда, когда соединенные силы всѣхъ его враговъ разсѣялись, не причинивъ ему никакого урона, передъ наскою выкопаннымъ имъ рвомъ? или когда корейшиты и вся Мекка, а за ними и вся почти Аравія признали его своимъ вѣрховнымъ владыкой и посланникомъ Божіимъ? Ясно, что каждый изъ этихъ успѣховъ въ отдельности могъ только укрѣплять его вѣру въ себя и въ свыше данное ему порученіе, а весь послѣдовательный рядъ этихъ чудесныхъ успѣховъ долженъ былъ довести эту вѣру до безусловной непоколебимости. А при этомъ могъ ли онъ проводить точную границу между своимъ усмотрѣніемъ и волею Божіею? Если онъ «отдалъ сердце свое Богу», и Богъ соединилъ съ нимъ Свое неизмѣнное благоволеніе, на какомъ основаніи сталъ бы онъ отнимать религіозную санкцію у движений этого сердца, отданного Богу? Была здѣсь, конечно, одна граница, признававшаяся Мухаммедомъ въ принципѣ и иногда нарушавшаяся имъ на дѣлѣ. Онъ зналъ, что различіе добра и зла безусловно, не зависитъ ни отъ чьего произвола, что даже Богъ не можетъ повелѣть того, что дурно. И въ тѣхъ, правда, рѣдкихъ случаевъ, когда онъ мстилъ своимъ личнымъ врагамъ или политическую мудрость смѣшивалъ съ коварной жестокостью (какъ относительно евреевъ), совѣсть, безъ сомнѣнія, говорила ему, что это дурно и что Богъ не могъ этого повелѣть. Я сейчасъ укажу на смягчающія обстоятельства и для этихъ поступковъ, но, во всякомъ случаѣ, они заслуживаютъ осужденія. Нельзя однако распространять этого осужденія на разныя предписанія Корана, въ которыхъ не было ничего нравственно дурного, но которыя представляются намъ, какъ внушенныя человѣческой политикой, тогда какъ Мухаммедъ придавалъ имъ значеніе божественныхъ заповѣдей. Не нужно забывать, что политика Мухаммеда была искренне-религіозной, а его религія съ самаго начала имѣла и политическую задачу. Развѣ существовало въ его время (да и гораздо позже) раздѣленіе между религией и политикой? развѣ не смѣшивались эти два интереса и въ дѣятельности византійскихъ императоровъ, и въ дѣятельности римскихъ папъ? Еще менѣе возможно было это раздѣленіе въ томъ варварскомъ состояніи общественной жизни, въ которомъ находились племена Аравіи.

Мухаммедъ не былъ свѣтскимъ политикомъ въ мединской пе-

ріодъ, также какъ онъ не былъ духовнымъ богословомъ въ эпоху своей первой проповѣди. Разница между двумя періодами состояла не въ существѣ дѣла, а только въ способѣ дѣятельности, не въ существѣ и характерѣ задачи, а только въ степени ея реализаціи. Сначала Мухаммѣдъ безуспѣшно убѣждалъ, а потомъ съ успѣхомъ побѣждалъ своихъ противниковъ, но и то, и другое онъ дѣлалъ во имя одного и того же закона жизни. Этимъ закономъ жизни, а не какимъ-нибудь отвлеченнымъ догматомъ увлекался онъ въ своихъ первыхъ проповѣдяхъ, и этотъ же законъ жизни, интересъ его утвержденія и распространенія, а не какая-нибудь внешнія мірскія выгоды и соображенія руководили имъ въ его походахъ и войнахъ. Законодательныя Суры Корана изъ мединскаго періода суть только частныя, практическія примѣненія того закона жизни, который онъ въ принципѣ проповѣдывалъ корейшитамъ, и если самый законъ, по искреннему его сознанію, былъ не отъ него, а свыше, то та же самая религіозная санкція, безъ всякаго подлога съ его стороны, естественно распространялась и на частныя приложенія общаго принципа, па частныя узаконенія, реализующія единый законъ жизни, Мухаммѣдъ былъ бы виновенъ въ злоупотребленіи своимъ религіознымъ авторитетомъ только въ томъ случаѣ, если бы какая-нибудь изъ его узаконеній были несомнѣнно безнравственны. Такихъ мы не находимъ въ Коранѣ, хотя многое здѣсь, какъ и въ законѣ Моисеевомъ, дано «по жестокосердію» народа. Главное обвиненіе противъ Корана то, что онъ узаконяетъ многоженство. И это обвиненіе нельзя принять безъ оговорокъ. Узаконяя извѣстныя потребности, Коранъ не обоготворяетъ ихъ, какъ это дѣжалось въ язычествѣ, онъ не признаетъ за ними безусловнаго права, а вводить ихъ въ извѣстные предѣлы (не болѣе четырехъ женъ). Эти предѣлы можно находить слишкомъ широкими и легко обходимыми (посредствомъ отличенія невольницъ отъ женъ, подобно тому, какъ плохіе мусульмане стали обходить заповѣдь трезвости чрезъ различеніе водки отъ винограднаго вина); но здѣсь, во всякомъ случаѣ, есть принципіальное ограниченіе чувственности вмѣсто прежняго ея обоготворенія. Освобождая себя самого отъ этого ограниченія, Мухаммѣдъ признаетъ это какъ слабость и ссылается на безкощечное милосердіе Божіе. Изъ вышеприведенныхъ текстовъ Корана мы видѣли также, насколько несправедливы другіе упреки, дѣлаемые Мухаммѣду, — въ фанатизмѣ, нетерпимости, проповѣди религіознаго насилия. Вообще въ священной книгѣ мусульманъ нѣть ни

одного изречеія, въ которомъ видно было бы сознательное злоупотребленіе религіей со стороны Мухаммеда. За устраниемъ этого основного принципіального обвиненія остаются противъ Мухаммеда только чувственныя увлеченія его старости и нѣсколько политическихъ убийствъ, винуенныхъ мстительностью. О первыхъ мы уже говорили, а для справедливаго сужденія о вторыхъ нужно сравнивать Мухаммеда съ людьми, находившимися въ аналогичномъ положеніи. Сами собою напрашиваются на сравненіе Константина Великаго и Карла Великаго. Оба они, также какъ и Мухаммѣдъ, были дѣятелями религіозно-политическими. Всѣ трое связывали свою политику съ религіей, во имя Божіе писали законы и вели войны, всѣ трое понимали религію какъ начало практическое, какъ основу соціально-политического объединенія людей, всѣ трое были представителями извѣстныхъ теократическихъ идеаловъ, и каждый изъ нихъ оставилъ послѣ себя нѣкоторую теократическую организацію. По личнымъ свойствамъ всѣ трое были людьми искренне-религіозными, честными и свободными отъ низкихъ пороковъ. И всѣхъ троихъ эти личные качества не уберегли отъ злоупотребленія выпавшего на ихъ долю неограниченою властью. Константина Великаго предаетъ смерти свою жену и своего невиннаго сына; Карлъ Великий избиваетъ 4.500 плѣнныхъ саксонцевъ. Эти злодѣянія сами по себѣ тяжелѣ злодѣяній Мухаммѣда, и сверхъ того не надо забывать, что Карлъ Великий принадлежалъ къ народу, уже триста лѣтъ какъ принявшему христіанство, и былъ воспитанъ въ этой религіи, а Константина Великаго, самъ обратившійся въ христіанство, кромѣ того жилъ въ міре несравненно болѣе образованномъ, нежели культурная среда Мухаммѣда. Сравненіе этого послѣдняго съ религіозно-политическими героями востока и запада христіанского міра оказывается такимъ образомъ въ пользу аравійскаго пророка; и если греки канонизировали Константина, а латиняне — Карла, то тѣмъ болѣе оснований имѣютъ мусульмане благоговѣйно почитать память своего апостола.

Для личной характеристики и оцѣнки исторического дѣятеля важно не только то, что онъ сдѣлалъ, но и то, что онъ хотѣлъ сдѣлать, и что онъ самъ цѣнилъ въ своемъ дѣлѣ. Какъ самъ Мухаммѣдъ смотрѣлъ на свою задачу, это онъ высказываетъ въ одной изъ послѣднихъ (по времени) Суръ Корана (III): «Принимайте всецѣло божественную религію; не дѣлайте раскола. Помните блага, которыми небо снабдило васъ. Вы были врагами между собою, оно вложило

согласіе въ сердца ваши, вы стали братьями. Воздайте благодареніе благости Его... дабы, соединенные святыми узами, вы призывали людей къ истинной вѣрѣ, предписывали справедливость, запрещали преступленія и наслаждались благополучiemъ».

Заключение.

Въ преданіи о ночной поѣздкѣ Мухаммеда въ Іерусалимъ (см. выше) разсказывается между прочимъ, какъ въ «домѣ поклоненія» пророку посты молитвы были предложены три чаши: одна съ медомъ, другая съ виномъ и третья съ молокомъ, — и онъ выбралъ изъ нихъ послѣднюю.

Между языческою чувственностью (меди) и христіанскою духовностью (вино) исламъ въ самомъ дѣлѣ есть здоровое и трезвое молоко: своими общедоступными догматами и удобоисполнимыми заповѣдями онъ питаетъ народы, призванные къ историческому дѣйствію, но еще не доросшіе до высшихъ идеаловъ человѣчества.

Для арабовъ и другихъ народовъ, принявшихъ религію Мухаммеда, она должна стать тѣмъ, чѣмъ былъ законъ для іудеевъ и философія для эллиновъ, — переходною ступеню отъ языческаго натурализма къ истинной универсальной культурѣ, школою спиритуализма и тепизма въ доступной этиимъ народамъ начальной педагогической формѣ.

Основная ограниченность въ міросозерцаніи Мухаммеда и въ основанной имъ религії — это отсутствіе идеала человѣческаго совершенства или совершенного соединенія человѣка съ Богомъ, — идеала истинной богочеловѣчности. Мусульманство требуетъ отъ вѣрующаго не безконечнаго совершенствованія, а только акта безусловной преданности Богу. Конечно и съ христіанской точки зрѣнія безъ такого акта невозможно достиженіе совершенства для человѣка; но самъ по себѣ этотъ актъ преданности еще не составляетъ совершенства. Между тѣмъ вѣра Мухаммедова ставить первое условіе истинной духовной жизни на място самой этой жизни. Исламъ не говоритъ людямъ: будьте совершенны, какъ Отецъ вашъ небесный, т. е. совершенны во всѣхъ; онъ требуетъ отъ нихъ только общаго подчиненія себя Богу и соблюденія въ своей натуральной жизни тѣхъ вѣшнихъ предѣловъ, которые установлены божественными заповѣдями. Религія оста-

ется только неизменной основой и неподвижной рамкой человеческого существования, а не его внутреннимъ содержаніемъ, смысломъ и цѣлью.

Если иѣть совершенного идеала, который человѣкъ и человѣчество должны осуществлять въ своей жизни своими силами, то, значитъ, иѣть для этихъ силъ никакой опредѣленной задачи, а если иѣть задачи или цѣли для достижения, то не можетъ быть движенія впередъ. Вотъ истинная причина, почему идея прогресса, какъ и самыи фактъ его остаются чужды магометанскимъ народамъ. Ихъ культура сохраняетъ чисто мѣстный специальный характеръ и быстро отцевѣтаетъ безъ преемственнаго развитія. Міръ ислама не породилъ универсальныхъ геніевъ, онъ не даль и не могъ дать человѣчеству «вождей на пути къ совершенству». Тѣмъ не менѣе религія Мухаммеда еще имѣеть будущность; она еще будетъ если не развиваться, то распространяться. Постоянныи успѣхи ислама среди народовъ, мало воспріимчивыхъ къ христіанству — въ Индіи, Китаѣ, Средней Африкѣ, — показываютъ, что духовное молоко Корана еще нужно для человѣчества.

Византизмъ и Россія.

1896.

Bogusławie w Poccji

1898

Византизмъ и Россія.

1896.

I.

Языческій Римъ палъ потому, что его идея абсолютнаго, обожествленнаго государства была несовмѣстима съ открывавшеюся въ христіанствѣ истиной, въ силу которой верховная государственная власть есть лишь *дѣлегація* дѣйствительно абсолютной богочеловѣческой власти Христовой. Второй Римъ — Византія — палъ потому, что, принявъ на словахъ идею христіанскаго царства, отказался отъ нея на дѣлѣ, коснѣвъ въ постоянномъ и систематическомъ противорѣчіи своихъ законовъ и управления съ требованіями высшаго нравственнаго начала. Древній Римъ обожествилъ самого себя и погибъ. Византія, смилившись мыслью передъ высшимъ началомъ, считала себя спасеною тѣмъ, что языческую жизнь она покрыла вѣшнимъ покровомъ христіанскихъ догматовъ и священодѣйствій, — и она погибла. Эта гибель дала сильный толчокъ историческому сознанію того народа, который вмѣстѣ съ крещеніемъ получилъ отъ грековъ и понятіе христіанского царства. Въ русскомъ национальномъ сознаніи, поскольку оно выражалось въ мысляхъ и писаніяхъ нашихъ книжныхъ людей, явилось послѣ паденія Константинополя твердое убѣжденіе, что значеніе христіанского царства переходитъ отнынѣ къ Россіи, что она есть третій и послѣдній Римъ¹.

Нашимъ предкамъ позволительно было останавливаться на этой идеѣ въ ея первоначальномъ образѣ безотчетнаго чувства или пред-

¹ Подъ вліяніемъ богословской полемики грековъ противъ латинянъ наши книжники первымъ Римомъ считали не Римъ языческій, а папскій Римъ, который, по ихъ мнѣнію, отпалъ отъ православія.

чувствія. Отъ насъ требуется провѣрить ее послѣдовательной мыслью и опытомъ, и черезъ то или возвести ее на степень разумнаго сознанія, или отвергнуть какъ дѣтскую мечту и произвольную претензію.

II.

Два Рима пали, третій — московское царство — стоять, а четвертому не быть!.. Если общее свойство старого и нового Рима состоится въ томъ, что оба они *пали*, то всего важнѣе намъ знать, *отчего* они пали, слѣдовательно, *чего* должно избѣгать третьему, новѣйшему Риму, чтобы не подвергнуться той же участи.

Если бы дѣло шло только о первомъ Римѣ, то вопросъ о причинѣ паденія не представлялъ бы никакой трудности. Римъ палъ потому, что начало его жизни было ложнымъ и не могло устоять въ столкновеніи съ высшую истину, но что сказать о православной Византіи? Начало ея жизни было истину, и ея столкновеніе съ турками-мусульманами не было столкновеніемъ съ высшую истиной. Или она сокрушилась только о материальную силу? Но такое предположеніе, помимо его невозможности съ точки зренія христіанской, одинаково противно и разуму и опыту историческому, который полонъ наглядными доказательствами того, что материальная сила сама по себѣ есть безсиліе. Не перевѣсомъ материальной силы классические предки византійскихъ грековъ сокрушили восточные царства, и не количественнымъ пре-восходствомъ войскъ арагонцы и кастильцы окончательно оттеснили мусульманскій міръ на Западъ какъ разъ въ то время, когда онъ покончилъ съ восточной имперіей.

Была внутренняя, духовная причина паденія Византіи, и такъ какъ она не заключалась въ ложномъ предметѣ вѣры, — ибо то, во что вѣрили византійцы, было истинно, — то причиною ихъ гибели слѣдуетъ признать ложный характеръ самой ихъ вѣры, т. е. ихъ ложное отношеніе къ христіанству: *истинную идею они понимали и принимали нестроно*. Она была только предметомъ ихъ умственнаго при-знанія и обрядового почитанія, а не движущимъ началомъ жизни. Гордясь своимъ правовѣремъ и благочестіемъ, они не хотѣли понять той простой и самоочевидной истины, что дѣйствительное правовѣре и благочестіе требуютъ, чтобы мы сколько-нибудь сообразовали свою жизнь съ тѣмъ, во что вѣримъ и что почитаемъ, — они не хотѣли понять, что дѣйствительное преимущество принадлежитъ христіанскому

царству передъ другими лишь поскольку оно устроется, управляется въ духѣ Христовомъ.

Разумѣется, отъ самаго искренняго и добросовѣстнаго признанія того, что съ исповѣданіемъ высшей истины связаны соотвѣтственныя жизненныя требованія, — еще очень далеко до осуществленія этихъ требованій; но во всякомъ случаѣ такое признаніе уже побуждаетъ къ усиленіямъ въ должномъ направленіи, заставляетъ дѣлать что-нибудь для приближенія къ высшей цѣли, и, не давая сразу совершенства, служить внутреннимъ двигателемъ *совершенствованія*. Но въ Византіи именно отрицались сами жизненныя требованія христіанства, не ставилось никакой высшей задачи для жизни общества и для государственной дѣятельности. Несовершенство есть общій удѣль, и Византія погибла, конечно, не потому, что была несовершенна, а потому, что не хотѣла совершенствоваться. Въ личныхъ своихъ грѣхахъ эти люди иногда каялись, но о своемъ грѣхѣ *общественномъ* совсѣмъ они забыли, и паденіе своего царства приписывали только грѣхамъ отдельныхъ людей. Но если личные грѣхи человѣка могутъ погубить его, а раскаяніе и исправленіе спасти отъ гибели, то можно ли ставить отъ этого въ зависимость судьбу царствъ? Если три праведника могутъ спасти городъ, то, конечно, лишь въ томъ случаѣ, когда они — настоящіе праведники, т. е. не ограничивающіеся эгоистическими заботами о себѣ самихъ, а думающіе также и о спасеніи всего города; если же они этого не дѣлаютъ, то они вмѣстѣ со своими дурными согражданами виновны въ грѣхѣ *общественномъ*, отъ кото-раго городъ и погибаетъ.

Царства, какъ собирательныя цѣлыя, гибнутъ только отъ грѣховъ собирательныхъ — всенародныхъ, государственныхъ — и спасаются только исправленіемъ своего общественного строя, или его приближеніемъ къ нравственному порядку. А если бы все дѣло было въ личной праведности, независимо отъ исправленія общественного, то вѣдь святыхъ въ этомъ смыслѣ людей въ византійскомъ царствѣ было не меньше, чѣмъ гдѣ бы то ни было, — отчего же это царство погибло? По византійскимъ понятіямъ, если какой-нибудь господинъ не мучилъ своихъ рабовъ и хорошо кормилъ ихъ, то ничего больше отъ него не требовалось въ отношеніи къ рабству, и ни ему, ни его духовнику, ни самому императору «ромеевъ» какъ будто не приходила въ голову даже та простая мысль, что отъ хорошаго положенія рабовъ у доброго господина нисколько не легче несчастнымъ рабамъ

его злыхъ сосѣдей, тогда какъ законодательное упраздненіе рабства сразу облегчило бы участіе всѣхъ и сразу придвищило бы земное царство къ царству Божію, гдѣ нѣть господь и рабовъ. Отдельныя явленія безчеловѣчія и разврата, какъ бы они ни были многочисленны и обычны, еще не составляли сами по себѣ достаточнаго основанія для конечнаго паденія Византіи. Но мы вполнѣ поймемъ это паденіе, если обратимъ вниманіе на слѣдующее обстоятельство. Въ теченіе всей собственно византійской исторіи (т. е. со времени рѣшительнаго отчужденія восточнаго христіанскаго міра отъ западнаго — пріурочивать ли это отчужденіе къ XI, или же къ IX вѣку) нельзѧ указать ни на одно публичное дѣйствіе, ни на одну общую мѣру правительства, которою имѣла бы въ виду сколько-нибудь существенное улучшеніе общественныхъ отношеній въ смыслѣ нравственному, какое-нибудь возвышеніе даннаго правового состоянія, сообразно требованіямъ безусловной правды, какое-нибудь исправленіе собирательной жизни внутри царства, или въ его вѣнчанихъ отношеніяхъ, — однимъ словомъ, мы не найдемъ здѣсь ничего такого, на чемъ можно было бы замѣтить хотя бы слабые слѣды высшаго духа, движущаго всемирную исторію. Пусть злодѣянія и распутства однихъ людей уравновѣшивались добрыми дѣлами другихъ и молитвами святыхъ монаховъ, но это полное и всеобщее равнодушіе къ историческому движению добра, къ проведенію воли Божіей въ собирательную жизнь людей — ничѣмъ не уравновѣшивалось и не искупалось.

Прямые преемники римскихъ кесарей забыли, что они вмѣстѣ съ тѣмъ делегаты верховной власти Христовой. Вместо того, чтобы унаследованное ими языческое государство поднимать до высоты христіанского царства, они, напротивъ, христіанское царство понизили до уровня языческой самодовлѣющей государственности. Самодержавіо совѣсти, согласной съ волей Божіей, они предпочли самодержавіе собственнаго человѣческаго произвола, представляющаго сосредоточенную въ одномъ лицѣ сумму всѣхъ частныхъ произволовъ. Они называли себя автократорами, но въ сущности были, какъ и языческие императоры, лишь пожизненными, а иногда и временными уполномоченными народной толпы и ея вооруженныхъ силъ.

Оказавшись безнадежно неспособною къ своему высокому назначению — быть христіанскимъ царствомъ — Византія теряла внутреннюю причину своего существованія. Ибо текущія, обычныя задачи государственного управления могли, и даже гораздо лучше, быть

исполнены правительствомъ турецкаго султана, которое, будучи свободно отъ внутренняго противорѣчія, было честнѣе и крѣпче и при томъ не вмѣшивалось въ религіозную область христіанства, не сочиняло сомнительныхъ доктринаў и зловредныхъ ересей, а также не защищало православія посредствомъ повальнаго избенія еретиковъ и торжественнаго сожиганія ересіарховъ на кострахъ.

Послѣ многихъ отсрочекъ и долгой борьбы съ материальными разложеніемъ восточная имперія, давно умершая нравственно, была, паконецъ, какъ разъ передъ возрожденіемъ запада, снесена съ историческаго поприща. Хотя современникамъ этой печальной катастрофы внутренняя причина ея и не была совсѣмъ ясна, однако и они замѣтили еще другое совпаденіе событий. Турки покончили съ царствомъ Константина именно въ то время, когда въ Восточной Европѣ всталъ на свои ноги новый исторический дѣятель, способный принять ту задачу христіанскаѧ царства, въ исполненіи которой Византія оказалась такъ жалко несостоятельной.

III.

Славяно-финская народность, оплодотворенная германцами, — Россія съ самаго начала своей исторической жизни обнаружила преимущества своего религіозно-политического сознанія передъ византійскимъ. Первый христіанскій князь Киевский, который, бывши язычникомъ, неограниченно отдавался своимъ естественнымъ склонностямъ, — крестившись, сразу понялъ ту простую истину, которой никогда не понимали ни византійские императоры, начиная съ Константина Великаго, ни епископы греческіе, между прочимъ и тѣ, что были присланы въ Киевъ для наставлениія новыхъ христіанъ, — онъ понялъ, что *истиннаа вѣра обязываетъ*, именно обязываетъ перемѣнить правила жизни, своей и общей, согласно съ духомъ новой вѣры. Онъ понялъ это и въ примѣненіи къ такому случаю, который былъ неясенъ не для однихъ византійцевъ; онъ напечъ песогласиы съ духомъ Христовымъ казнить смертью даже явныхъ разбойниковъ. Ново-крещеный Владимиръ понялъ, что отнимать жизнь у людей обезоруженныхъ, и следовательно, безвредныхъ — въ отміненіе за ихъ прежнія злодѣянія, противно христіанской справедливости. Замѣчательно, что въ такомъ отношеніи къ этому вопросу онъ руководился не однимъ только естественнымъ чувствомъ жалости, а прямо своимъ сознаніемъ истинныхъ христіанскихъ требованій. Въ

отвѣтъ на увѣщанія греческихъ епископовъ, уговаривавшихъ его казнить злодѣевъ, синь не говорилъ, что ему ихъ жалко, а сказалъ: «боюся грѣха», т. е. боюсь поступать противно тому, что должно по высшему нравственному началу. Въ отличіе отъ своихъ мнимо-христіанскихъ наставниковъ, онъ боялся грѣха больше, чѣмъ разбойниковъ, и не его вина, если чужой авторитетъ, преибрець которымъ онъ не могъ, ограничилъ въ этомъ случаѣ самодержавіе совѣсти, подобающее христіанскому государю. Находя несправедливою смертную казнь, Владимиръ также отрицательно относился и къ войнѣ съ христіанскими народами, сохранивъ свою дружину только для защиты земли отъ дикихъ и хищныхъ кочевниковъ, недоступныхъ никакимъ другимъ аргументамъ, кромѣ вооруженной силы.

Подчиняя вѣршнюю политику духу миролюбія, Владимиръ во внутреннихъ дѣлахъ проявлялъ духъ Христовъ, не только съ отрицательной его стороны — справедливости, въ силу которой онъ считалъ грѣхомъ умерщвлять даже разбойниковъ, — но и съ положительной стороны милосердія, о чемъ свидѣтельствуютъ его постоянныя заботы о бѣдствующемъ населеніи Кіева и другихъ мѣстъ².

Вѣрное пониманіе христіанства сказалось на конецъ и въ томъ свѣтломъ радостномъ настроеніи, которое возобладало въ жизни и княженіи Владимира и осталось въ народной памяти о немъ, связанное съ полу-историческими, полу-миѳологическими образами и выраженное въ прозваніи Краснаго-Солнца. Этимъ свѣтлымъ настроениемъ не исключалось, какъ мы знаемъ, не только сознаніе прежнихъ грѣховъ, но и боязнь грѣха въ настоящемъ. Въ истинномъ христіанствѣ все это совмѣщается: основанное на испущеніи прошедшаго, давая норму настоящей дѣятельности, оно живетъ въ будущемъ, радостно предваряя наступленіе полнаго совершенства — не духовной только, но и материальной жизни. Такимъ образомъ, нашъ первый христіанскій государь со всѣхъ сторонъ вѣрно понялъ и принялъ нравственную сущность христіанства, которая есть «правда, милость и радость о Духѣ Святомъ».

² Важенъ не столько фактъ этихъ заботъ, сколько ихъ чисто-нравственные побужденія, явствующія изъ разсказа лѣтописца. Въ княженіе Владимира не было какого-нибудь общаго народного бѣдствія, которое грозило бы безопасности государства; но этотъ князь считалъ для себя непозволительнымъ оставлять въ беспомощномъ положеніи кого бы то ни было изъ своихъ подданныхъ.

IV.

Христіанское сознаніе въ Россіи не умерло съ его первымъ выразителемъ. Черезъ сто лѣтъ послѣ Владимира Св., его правнукъ Владимиръ Мономахъ оставилъ поученіе, проникнутое тѣмъ же духомъ. Но примѣръ этого самого Мономаха достаточно показываетъ, что осуществление нравственного порядка въ мірѣ, или хотя бы только въ одной странѣ, кромѣ личного сознанія истины и личной доброй воли, требуетъ еще сложныхъ историко-политическихъ условій, которыхъ вдругъ не даются. Владимиръ Мономахъ, который подобно своему предѣду былъ настолько проникнутъ христіанскимъ духомъ, что считалъ непозволительнымъ умерщвлять даже злодѣевъ, долженъ былъ всю свою жизнь провести на конѣ въ непрерывныхъ походахъ, защищая народъ отъ дикихъ хищниковъ или усмиряя усобицы князей.

Исторический народъ для того, чтобы исполнить свое назначение, чтобы становиться христіанскимъ царствомъ и способствовать всемирному совершенствованію, долженъ прежде всего *существовать*. А то положеніе дѣлъ, которое ярко засвидѣтельствовано въ поученіи Мономаха, а также въ «Словѣ о полку Игоревѣ», грозило самому существованію русскаго народа. Это не было пустымъ страхомъ, ибо подъ рукой были примѣры народовъ, не успѣвшихъ сложиться и погибшихъ отъ нестроенія политического.

Ясно было для всѣхъ людей здраваго смысла и доброй воли, чего недоставало Россіи. Высшій духовный свѣтъ былъ внесенъ въ темную душу народа и поддерживался въ ней достойными подвижниками благочестія и милосердія; христіанство приносило плоды въ личной жизни многихъ, а цѣлое общество погибало отъ братоубийственной розни, дѣлавшей его беззащитной противъ вѣшняго врага, несшаго съ собою разрушеніе и одичаніе. Ясно, что прежде всего нужно было обеспечить существованіе національного тѣла, сплотивши его сосредоточеною и крѣпкою организацией — т. е. создать сильное государство. Эта необходимость, уже ясно сознававшаяся близкайшими преемниками Владимира Мономаха — Юріемъ Сузdalскимъ и Андреемъ Боголюбскимъ, — была только наглядно подтверждена для всѣхъ монгольскимъ нашествіемъ, противъ котораго слабо-государственная Русь оказалась беспомощною. И если очевидною причиной слабости было княжеское многоначаліе и междуусобіе, то идея единодержавія

явилась для всего народа какъ знамя спасенія. Къ этому тяготѣло и наше национальное міросозерцаніе, которое ближайшимъ образомъ опредѣлило и характеръ нашей монархіи.

Вслѣдствіе существенной однородности земледѣльческаго населенія и отсутствія обособленныхъ общественныхъ группъ — феодальныхъ, городскихъ, церковныхъ — въ Россіи не могло явиться западно-европейское понятіе государства (*Status*), какъ равновѣсія самостоятельныхъ и равносильныхъ элементовъ. Самое слово государство — *господарство* въ первоначальномъ своемъ значеніи указываетъ на *домовладыку*, который, конечно, не былъ представителемъ равновѣсія борющихся домочадцевъ, а былъ полновластнымъ хозяиномъ родового общества. Даже тамъ, где единовластія не было на дѣлѣ, оно оставалось въ олицетворяющемъ представлениі о словѣ. Такъ, хотя позднѣшіе историки и говорятъ о нашихъ народоправствахъ, но сами эти такъ называемыя «народоправства» выражались о себѣ иначе. Новгородцы называли свое государство «*Господинъ Великій Новгородъ*», олицетворяя его въ образѣ могущественнаго монарха. Этотъ монархъ враждовалъ противъ московскаго монарха, а не противъ монархической идеи. Что борьба Рязани или Твери противъ Москвы была только соперничествомъ за обладаніе верховною властью, а никакъ не принципіальнымъ противодѣйствиемъ единодержавію — ясно само собою. Мѣстное соперничество не имѣло почвы въ народѣ, который давно угадалъ въ князьяхъ московскихъ настоящихъ хозяевъ земли; а рѣшительная поддержка духовнаго авторитета, представляемаго такими іерархами, какъ св. Алексій, и такими монахами, какъ св. Сергій, окончательно утвердила за ними высшее значеніе христіанскихъ государей, къ которымъ затѣмъ при Иванѣ III перешло и историческое преемство восточно-римскаго царства.

Но очень скоро оказалось, что это историческое наслѣдие есть не только даръ и преимущество, но и великое испытаніе.

Первымъ настоящимъ носителемъ царскаго самодержавія у насъ долженъ быть признанъ Иванъ IV, не только по фактической полнотѣ своей власти, но и по ясному сознанію о ея характерѣ и источникахъ. Безъ сомнѣнія, между Владимиромъ Святымъ и Петромъ Великимъ, это есть самое значительное, характерное и интересное лицо въ нашей истории.

V.

Отъ Ивана Грознаго къ намъ дошла, между прочимъ, самая вѣрная и полная формула христіанской монархической идеи:

«*Земля правится Божиимъ милосердiemъ и пречистыя Богородицы милостию и всльхъ святыхъ молитвами и родителей нашихъ благовенiemъ и постыди — нахи, государями своими, а не судьями и воеводы, и еже гнаты и стратиги.*

Эта формула безукоризненна; нельзя лучше выразить христіанской взглядъ на земное царство. Но если это совершенное слово со-поставить съ историческимъ образомъ того, кто его произнесъ, то какой новый, потрясающій, трагический смыслъ оно получаетъ. Постигнѣ русская история по глубокому внутреннему интересу не уступила никакой другой.

Объ Иванѣ Грозномъ въ русской литературѣ много судили съ разныхъ сторонъ зрѣнія и высказывали о немъ различные частные мнѣнія, вѣрныя и невѣрныя. Насколько мнѣ известно, его не подвергали только окончательному суду той высшей инстанціи, которая указана св. Писаніемъ: «отъ своего слова человѣкъ оправдается и отъ своего слова осудится». Между тѣмъ, этотъ судъ есть не только самый правильный, но и самый интересный, потому что только въ со-поставлениіи съ этимъ своимъ пребывающимъ словомъ личность Ивана Грознаго получаетъ общее и поучительное значеніе, тогда какъ помимо этого она есть только одно изъ минувшихъ и неповторяемыхъ воплощений человѣческаго зла.

Въ этой формулѣ Ивана Грознаго есть отрицательная и положительная часть: указано, кѣмъ земля *не* правится (въ смыслѣ самостоятельной власти) и кѣмъ она правится согласно идеѣ христіанского царства. Земля не правится судьями и воеводами — это отрицательное указание справедливо поставлено въ концѣ формулы, потому что оно имѣетъ въ ней лишь второстепенное значеніе. Что верховная власть христіанскихъ государей неограничена снизу — въ этомъ собственно для нея неѣтъ ничего характернаго, такъ какъ это въ равной мѣрѣ принадлежитъ и власти языческихъ деспотовъ: и для Навуходоносора, и для Нерона, ихъ «ипаты и стратиги» были не самостоятельными участниками въ правлениі, а только слугами. При всей своей важности въ связи съ другими опредѣленіями, этотъ отрицательный признакъ самъ по себѣ не отличается качественной

сущности правления, будучи безразличенъ даже въ отношеніи къ христианству и язычеству.

Существенное значение принадлежитъ, слѣдовательно, положительной части формулы. «Земля правится Божіимъ милосердіемъ и т. д. — и *послѣди* — нами, государями своими». Изъ порядка рѣчи и изъ слова «*послѣди*» совершенно ясно, что власть государя утверждается здѣсь какъ delegaciа свыше съ совершеннюю опредѣленнымъ религіозно-нравственнымъ характеромъ и назначеніемъ, на которые указываютъ такія условія и посредства, какъ милость Пречистыя Богородицы, молитвы всѣхъ святыхъ и благословеніе родителей.

Такимъ образомъ, царствованіе Ивана Грознаго въ ту эпоху, когда окончательно опредѣлился его характеръ, не есть только собраніе всякихъ ужасовъ, а имѣеть болѣе глубокое значеніе *отступленія* отъ имъ самимъ формулированной монархической идеи и *противорѣбія* имъ самимъ провозглашенной верховной власти. Божье милосердіе и милость Пречистой Богородицы не разрѣшили Ивану Грозному избить десятки тысячъ мирнаго новгородскаго народа; онъ самъ и вся Россія, безъ малѣйшей тѣни сомнѣнія, знали, что, совершая это избіеніе, онъ поступалъ прямо вопреки тому, чего требовало Божіе милосердіе, слѣдовательно, находился въ открытомъ противорѣбіи съ тою верховною властью, отъ которой онъ имѣлъ порученіе *послѣди* ея править землею. Совершенно ясно, что «молитвы всѣхъ святыхъ» не уполномочивали благочестиваго царя умертвить святого митрополита Филиппа, и не менѣе ясно, что ближайшая изъ провозглашенныхъ имъ санкцій и источниковъ его власти — «благословеніе родителей» — было дано ему не для того, чтобы онъ убийствомъ своего наследника привелъ династію къ прекращенію и лишилъ своихъ родителей родового преемства.

Царствованіе Ивана Грознаго было яркимъ и своеобразнымъ повтореніемъ того противорѣбія, которое погубило Византію — противорѣбія между словеснымъ исповѣданіемъ истины и ея отрицаніемъ на дѣлѣ. Онъ былъ достаточно учень, чтобы понять смыслъ византійской исторіи, но онъ не захотѣлъ его понять и предпочелъ раздѣлять византійскую точку зрѣнія, что *истина не обязываетъ*. Возвращаясь къ этой «беззѣрной вѣрѣ» для наследника Мономаха было тѣмъ непростительнѣе, что онъ въ собственныхъ предѣлахъ уже имѣлъ примѣръ лучшаго сознанія, а, съ другой стороны, никакая даже кажущаяся необходимость не принуждала его къ злодѣяніямъ. Удѣль-

шое княжеское нестроеніе, погубившее киевскую Русь, несмотря на заложенные въ ней съмена здоровой жизни, не существовало болѣе при вступлении Ивана IV на престолъ, серьезныхъ противниковъ у единодержавія не было, слѣдовательно ничто не мѣшало царю пользоваться своею крѣпкою и неограниченной властью въ смыслѣ христіанскихъ началь, имъ самимъ провозглашенныхъ, тѣхъ самыхъ началь, которыхъ ранѣе его не только понимались, но въ извѣстной мѣрѣ и примѣнялись его киевскими предками. Предпочтая гнилое языческое преданіе лучшимъ завѣтамъ Владимира Святого и Мономаха, несчастный царь погубилъ себя, свою династію, и довелъ до края гибели саму Россію.

VI.

Царствованіе Ивана Грознаго съ его ужасами и съ его роковыми послѣдствіями было бы въ нравственномъ смыслѣ вопіющею неизѣнностью, если бы отступленіе отъ истинной идеи христіанскаго царства было только личнымъ грѣхомъ царя. Ибо за что бы тогда лились эти рѣки крови и за что подвергалось бы вопросу самое существованіе цѣлой страны? Но это не было только личнымъ грѣхомъ Ивана IV. Двоедушіе этого царя, который, предаваясь Нероновскимъ злодѣяніямъ, ссыпался въ то же время на милосердіе Божіе и милость Пречистой Богородицы, — это двоедушіе поддерживалось и въ извѣстномъ смыслѣ извинялось политическимъ двоевѣріемъ русскаго народа.

Въ области собственно-религіозной и бытовой въ эту эпоху двоевѣріе русскаго, какъ и большинства другихъ христіанскихъ народовъ, есть дѣло общеизвѣстное. Менѣе обращало на себя вниманія характерное явленіе, свойственное именно русскому народному сознанію, начиная съ XII вѣка, именно то, что я называю политическими двоевѣріемъ — признаніе заразъ двухъ непримиримыхъ идеаловъ царства: съ одной стороны — христіанскій идеалъ царя, какъ земного олицетворенія и орудія Божьей правды и милости — идеаль, поддерживаемый памятью о лучшихъ изъ великихъ князей киевской и монгольской эпохи, а съ другой стороны чисто языческій образъ властелина, какъ олицетворенія грозной, всесокрушающей, ничѣмъ нравственно необусловленной силы, — идеаль римскаго кесаря, оживленный и усиленный воздействиѳмъ ближайшихъ ордынскихъ впечатлѣній.

Это вызванное историческими несчастьями возвращение русского сознания къ старому языческому обожанію безмѣрной всепоглощающей силы, олицетворенной въ монархѣ, чрезвычайно выразительно запечатлѣлось въ удивительной легендѣ, по которой власть московскихъ государей получаетъ свою верховную санкцію не отъ кого иного, какъ отъ Навуходоносора, т. е. какъ разъ отъ главы сокрушенного Христомъ языческаго колосса, — отъ типичнѣйшаго олицетворенія богоопротивной и свыше обличенной идеи безграницнаго деспотизма³.

Всѣмъ известно преданіе о томъ, что священные знаки царской власти перешли къ московскимъ государямъ отъ ихъ предка, великаго князя кievскаго Владимира Всеволодовича, который въ свою очередь получилъ ихъ въ даръ отъ восточно-римскаго императора Константина Мономаха (передавшаго Владимиру и это прозваніе). Но откуда взялись эти регалии въ самой Византії? На этотъ вопросъ отвѣчаетъ наша легенда.

Послѣ паденія Навуходоносорова царства, разсказывается въ ней. Вавилонъ запустѣлъ, сдѣлался жилищемъ безчисленныхъ змѣй и снаружи былъ окружено однимъ огромнымъ змѣемъ, такъ что городъ сталъ недоступенъ. Тѣмъ не менѣе греческій царь Левъ, «во св. крещеніи Василій», рѣшился добыть сокровища, принадлежавшія нѣкогда Навуходоносору. Собравши войско, Левъ отправился къ Вавилону и, не дошедши до него пятнадцати поприщъ, осталовился и послалъ въ городъ трехъ мужей — грека, обежанина (абхазца) и русина. Путь былъ очень трудный: вокругъ города на шестнадцать верстъ поросла трава великая, какъ волчецъ; было множество всякихъ гадовъ, змѣй, жабъ, которые кучами, какъ сѣнияя копны, поднимались вверхъ отъ земли, — они свистѣли и шипѣли, а отъ иныхъ несло стужею, какъ зимой. Послы прошли благополучно къ великому змѣю, который спалъ, и къ стѣнѣ города. У стѣны была лѣстница съ надписью на трехъ языкахъ — греческомъ, грузинскомъ и русскомъ, — гласившая, что по этой лѣстницѣ можно благополучно пробраться въ городъ. Исполнивши это, послы среди Вавилона увидали церковь и войдя въ нее, на гробницахъ трехъ святыхъ отроковъ Ананія, Азарія и Мисаила, горѣвшихъ нѣкогда въ пещи огненной, они нашли драгоценный кубокъ, наполненный мурой или виномъ; они испили

³ Легендѣ этой приписывается происхожденіе византійское, однако греческаго текста ея не найдено: въ Россіи же она была очень распространена въ разнообразныхъ, донынѣ сохранившихся редакціяхъ.

изъ кубка, стали веселы и на долгое время уснули; проснувшись, хотѣли взять кубокъ, но голосъ изъ гробницы запретилъ имъ это дѣлать и велѣлъ идти въ Навуходоносорову сокровищницу взять «зданіе», т. е. царскія инсигніи.

Въ сокровищницѣ они среди другихъ драгоцѣнностей нашли два царскихъ вѣща. при которыхъ была грамота, гдѣ говорилось, что вѣщи сдѣланы Навуходоносоромъ, *царемъ вавилонскимъ и всея вселенной*, для него самого и для его царицы, а теперь должны быть носимы царемъ Львомъ и его царицею; кроме того, послы нашли въ вавилонской казнѣ «крабицу сердоликовую», въ которой была царская багряница, сирѣчь порфира, и шапка Мономаха, и скипетръ царскій. Взявши вещи, послы вернулись въ церковь, поклонились гробницѣ трехъ отроковъ, еще выпили изъ кубка и на другой день пошли въ обратный путь. Одинъ изъ нихъ на той же лѣстницѣ оступился, упалъ на великаго змія и разбудилъ его; когда же «великий змій услышалъ его, то встала въ немъ чешуя какъ волны морскія и начала колебаться»; два другие послы ухватили товарища и поспѣшно бѣжали; они добрались до мѣста, гдѣ оставили своихъ коней, и уже положили на нихъ добычу, какъ вдругъ великий змій свистнулъ; они попадали на землю и долго лежали какъ мертвые, пока, наконецъ, очнулись и отправились къ царю. Но въ царскомъ войскѣ зміиный свистъ надѣлать еще больше бѣды; погибло не мало воиновъ и коней. Остальные въ испугѣ бѣжали, и лишь за тридцать верстъ отъ Вавилона царь остановился подождать своихъ посланцевъ. Придя, они рассказали свои приключения и отдали царю инсигніи Навуходоносоровы, — тѣ самыя, которыя — по другимъ сказаніямъ — отъ одного изъ послѣдующихъ византійскихъ императоровъ перешли къ кievскимъ, а отъ нихъ — къ московскимъ государямъ.

Другой, позднѣйшій варіантъ той же легенды (записанной въ Самарскомъ краѣ) прямо ставить на мѣсто Византіи Москву, замѣня императора Льва московскимъ государемъ, — а именно Иваномъ Грознымъ. Это онъ оказывается непосредственнымъ преемникомъ Навуходоносоровой власти!

Царь Иванъ Васильевичъ кликалъ кличъ: кто мнѣ достанеть *изъ вавилонской царства* корону, скипетръ, руку державу и книжку при нихъ? По троє сутокъ кликалъ онъ кличъ, — никто не являлся. Приходитъ Борма-ярыжка и берется исполнить царское желаніе. Послѣ тридцатилѣтнихъ скитаний и всевозможныхъ приключений онъ, па-

конецъ, возвращается къ московскому государю, приносить ему вавилонского царства корону, скипетръ, руку державу и книжку и въ награду просить у царя Ивана только одного: «дозволь мнѣ три года безданно, безпошлино пить во всѣхъ кабакахъ!» — не лишенное знаменательности заключеніе для этого обратнаго процесса народнаго сознанія въ сторону дикихъ языческихъ идеаловъ⁴.

VII.

Хотя Борма-ярыжка, отъ которого Иванъ IV получилъ Навуходоносоровы регалии, доселѣ представляеть немаловажный факторъ русской жизни и русского сознанія, однако преобладающаго значенія онъ не имѣлъ и въ XVI вѣкѣ. И тогда чувствовалось противорѣчіе между дѣяніями Ивана Грознаго и идеаломъ христіанскаго царя, отъ которого русскій народъ все-таки не отказался въ пользу понятій, принесенныхъ изъ «Вавилона» Бормо-ярыжкой. Было сознаніе великаго отступленія отъ религіозныхъ основъ истинной царской власти, и вслѣдствіе этого явилось стремленіе торжественно утвердить эти основы, поднять всенародно значеніе духовнаго христіанскаго начала, поруганаго грубымъ насилиемъ, придать ему новый блескъ въ лицѣ его видимаго представительства. При непосредственномъ преемнике Ивана IV, замаливавшемъ грѣхи своего отца, учреждается въ Москве патріаршество, а затѣмъ при двухъ первыхъ царяхъ новой династіи духовная власть въ лицѣ патріарховъ-государей Филарета Никитича и Никона становится почти равносильной и равноправной съ властью царскою. Эта клерикальная реакція противъ вавилонскаго типа монархіи весьма замѣчательна, но въ окончательномъ результѣтъ она къ добру не привела, и это по двумъ причинамъ. Съ внѣшней стороны, патріаршество, будучи собственною лишь созданіемъ той же государственной власти, не могло имѣть прочно обезпеченнной самостоятельности и вліянія; то высокое значеніе, котораго церковная власть дважды достигала у насъ въ XVII вѣкѣ, какъ известно, зависѣло главнымъ образомъ отъ того, что патріархъ Филаретъ былъ роднымъ отцомъ царя Михаила Феодоровича, а патріархъ Никонъ — личнымъ другомъ Алексія Михайловича, а при первомъ столкновеніи съ источникомъ своей силы іерархія роковымъ образомъ обнажила

⁴ См. у А. Н. Пыпина: „Новая эпоха“ („Вѣстникъ Европы“, январь 1894).

свою зависимость отъ государственноаго начала. А съ внутренней стороны, только нераздѣльное преобладаніе истинно-духовнаго христіанскаго интереса въ обѣихъ властяхъ могло бы сдѣлать соединеніе ихъ плодотвориыемъ. Но патріаршеское званіе само по себѣ, конечно, не ручается за христіанскій духъ его носителя, и примѣръ Владимира Св. и его греческихъ епископовъ показываетъ, что иногда свѣтскіе государи бываютъ болѣе воспріимчивы къ высшимъ духовнымъ требованіямъ, нежели официальные представители церкви.

Патріархъ Никонъ, пользуясь, благодаря преданности ему царя, фактически почти верховною властью, по собственному сознанію своихъ правъ и преимуществъ былъ въ нашей исторіи главнымъ и къ счастью единственнымъ значительнымъ представителемъ клерикализма, за что онъ по недоразумѣнію и превознесенъ своимъ католическимъ біографомъ (Пальмеромъ), который не сообразилъ, что превращеніе московскаго патріарха въ какого-то восточнаго quasi-папу сдѣлало бы вполнѣ невозможнымъ какое бы то ни было сближеніе Россіи и Востока съ настоящимъ римскимъ папствомъ. Негодность Никоновскаго клерикализма мы познали по его горькому плоду — церковному расколу, — который однако есть худо не безъ добра, такъ какъ благодаря ему мѣстный клерикализмъ въ Россіи сдѣлался окончательно невозможнымъ.

Чтобы стать на путь христіанскаго царства, Россія XVII вѣка нуждалась не въ Никоновскомъ клерикализмѣ, а въ сознаніи своей несостоятельности и въ решеніи дѣйствительно улучшить свою жизнь. Крѣпкое государство было создано Москвою, национальное существованіе обеспечено. Но историческому народу, какъ и отдѣльному человѣку, мало существовать — онъ долженъ стать достойнымъ существованія. Въ мірѣ несовершенномъ достоинъ существованія только тотъ, кто освобождается отъ своего несовершенства. Византія погибла потому, что чуждалась самой мысли о совершенствованіи. Всякое существование, единичное или собирательное, которое отказывается отъ этой мысли, неизбѣжно погибаетъ. Ибо этотъ отказъ отъ задачи совершенствованія можетъ имѣть только два смысла. Или мы считаемъ себя уже совершенными, — что есть безуміе и богохульство; или же, зная свое дурное состояніе, мы имъ довольствуемся, не желая ничего лучшаго, — что есть отреченіе отъ самой сущности нравственной человѣка, или отъ образа и подобія Божіей безконечности въ немъ.

Россія въ XVII вѣкѣ избѣгла участія Византіи: она сознала свою

несостоятельность и рѣшила совершенствоваться. Великий моментъ этого сознанія и этого рѣшенія воплотился въ лицѣ Петра Великаго. Если Богъ хотѣлъ спасти Россію и могъ это сдѣлать только чрезъ свободную дѣятельность человѣка, то Петръ Великій былъ несомнѣнно такимъ человѣкомъ. При всѣхъ своихъ частныхъ порокахъ и дикостяхъ, онъ былъ историческимъ сотрудникомъ Божиимъ, лицомъ истинно-пророческимъ, или теократическимъ. Истинное значеніе человѣка опредѣляется не его отдѣльными качествами и поступками, а преобладающимъ интересомъ его жизни. И едва ли во всемирной исторіи есть другой примѣръ такого, какъ у Петра Великаго, всецѣлаго, рѣшительного и неуклонного преобразованія одного нравственного интереса общаго блага. Отъ раннихъ лѣтъ появивши, чего не достаетъ Россіи, чтобы стать на путь дѣйствительного совершенствованія, онъ до послѣдняго дня жизни заботился только о томъ, чтобы создать для нась эти необходимыя условія. Въ лицѣ Петра Великаго Россія рѣшительно сблизила и отвергла византійское искаженіе христіанской идеи, — самодовольный квіетизмъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Петръ Великій былъ совершенно чуждъ Навуходоносоревскаго идеала власти для власти. Его власть была для него обязательностью непрерывнаго труда па пользу общую, а для Россіи — необходимымъ условіемъ ея поворота на путь истиннаго прогресса. Безъ неограниченной власти Петра Великаго преобразованіе нашего отечества и его пріобщеніе къ европейской культурѣ не могло бы совершиться, и онъ самъ смотрѣлъ на свое самодержавіе какъ на орудіе этого пророческаго дѣла. Онъ никогда и не помышлялъ о своей власти отдельно отъ той задачи, для которой онъ служилъ, и не принималъ никакихъ искусственныхъ мѣръ для огражденія этой власти въ видахъ личнаго или династического интереса, къ которому онъ, вслѣдствіе особыхъ обстоятельствъ, относился даже враждебно. Для Петра Великаго все, даже жизнь единственнаго его сына, зависѣла отъ интересовъ его дѣла, и у него не было ни одного врага, кромѣ враговъ его дѣла.

А дѣло его состояло въ томъ, чтобы дать Россіи реальную возможность стать христіанскимъ царствомъ — исполнить ту задачу, отъ которой отреклась Византія. Извѣстное подложное завѣщаніе Петра Великаго обязывало Россію завоевать Константинополь и потомъ весь миръ. Дѣйствительное завѣщаніе Петра Великаго, написанное его дѣлами на лучшихъ страницахъ русской исторіи, обязывало Россію,

научившись уроками Византії, приняться за то, что должна была, но чего не захотѣла дѣлать имперія Константина, вслѣдствіе чего она и погибла. Усвоивши себѣ значеніе третьаго Рима, Россія, чтобы не раздѣлить судьбу двухъ первыхъ, должна была стать па путь дѣйствительного улучшенія своей національной жизни — не для того, чтобы завоевать весь міръ, а для того, чтобы принести пользу всему міру.

VIII.

По самой идеѣ христіанства, какъ религії бого-человѣческой, христіанское царство должно состоять изъ свободныхъ человѣческихъ лицъ, какъ и во главѣ его должно стоять такое лицо. Понятіе человѣческой личности въ ея безусловномъ значеніи было совершенно чуждо византійскому міросозерцанію, какъ это признается и его сторонниками. Развитіе этого существеннаго для христіанства начала, совершенно задавленаго на Востокѣ, составляетъ смыслъ западной исторіи. Сближеніе съ Европой, которымъ мы обязаны Петру Великому, принципіальную свою важность имѣть именно въ этомъ: чрезъ европейское просвѣщеніе русскій умъ раскрылся для такихъ понятій, какъ человѣческое достоинство, права личности, свобода совѣсти и т. д., безъ которыхъ невозможно достойное существованіе, истинное совершенствованіе, а следовательно невозможно и христіанское царство. Объ этой сторонѣ своего дѣла самъ Петръ Великій прямо не думалъ, но это не уменьшаетъ его значенія⁵.

Черезъ полвѣка послѣ Петра Великаго, люди, пріобщенные, благодаря его реформамъ, къ умственному движенію Европы, стали ясно понимать и громко заявлять, что личное рабство — крѣпостное состояніе, — въ которомъ благочестивая Москва, какъ и благочестивая Византія, не подозрѣвала ничего дурного, есть воинюще нарушеніе неотъемлемыхъ человѣческихъ правъ, несовмѣстимое съ достоинствомъ просвѣщенаго государства. Требованія такой коренной перемѣны могли казаться материально-опасными, но нравственная обязанность, вытекавшая изъ идеи христіанского царства, овладѣла, вслѣдъ за

⁵ Нельзя впрочемъ сказать, чтобы совсѣмъ не думалъ: между книгами, которые по его приказанію переводились на русскій языкъ, рядомъ съ учебниками ариѳметики и фортификаціи, были также сочиненія Самуила Шуффендорфія и Гуга Гроція, лучшихъ пѣкогда выразителей западнаго правового сознанія.

немногими частными умами — и мыслью русскихъ государей. Рѣшительное исполненіе этой обязанности блистательно оправдало дѣло Петра Великаго и «петербургскую эпоху» русской исторіи.

Въ освобожденіи крестьянъ, какъ и въ другихъ реформахъ того же направленія, Россія въ лицѣ своего государя еще разъ послѣ Петра Великаго и на новой высшей ступени своего исторического развитія отказалась отъ византійскаго искаженія христіанства и на дѣлѣ признала то нравственное начало, которое обязываетъ къ дѣятельному добру, къ дѣятельному исправленію и совершенствованію народной жизни.

Нельзя однако сказать, чтобы это было сдѣлано съ полной сознательностью. Такіе вопиющіе общественные грѣхи, какъ крѣпостное право, продажные суды, квалифицированная смертная казнь — были рѣшительно осуждены совѣтствомъ и упразднены; тѣмъ самымъ были исполнены *нижеследующимъ* условия для того, чтобы Россія стала христіанскимъ царствомъ, или — что то же — были устраниены *нижеследующимъ* препятствія на пути къ этой цѣли. Но сама цѣль не ставилась ясно и во всемъ своемъ объемѣ, а вслѣдствіе этого и многія важныя условія для ея достижениія не только не исполнялись, но и не созидались.

Этимъ же недостаткомъ сознательности въ русскомъ обществѣ объясняются еще особыя странности въ нашей новѣйшей исторіи. Съ одной стороны, люди, требовавши нравственного перерожденія и самоотверженныхъ подвиговъ на благо народное, связывали эти требованія съ такими ученіями, которыми упраздняется самое понятіе о нравственности: «ничего не существуетъ, кроме вещества и силы, человѣкъ есть только разновидность обезьяны, а потому мы должны думать только о благѣ народа и полагать душу свою за меньшихъ братьевъ». Съ другой стороны, люди, исповѣдывавши и даже съ особымъ усердіемъ христіанскія начала, вмѣстѣ съ тѣмъ проповѣдывали самую дикую антихристіанскую политику насилия и истребленія. — Первое противорѣчіе принадлежитъ прошедшему. Второе, болѣе глубокое и пагубное, еще тяготѣть надъ нами. Пора, наконецъ, освободиться отъ этого исторического яда, поражающаго самые источники нашей жизни.

IX.

Политика христіанского государства, очевидно, должна быть христіанскою политикой. Здѣсь прежде всего возникаетъ вопросъ объ

отношениі такого государства къ тому обществу или тому учреждению, которое содержитъ въ себѣ и представляетъ собою самыя основы христіанства на земль, — т. е. къ церкви.

Въ Византіи вопросъ этотъ былъ решенъ опредѣленно и просто. Іерархія греческой церкви очень рано отказалась отъ своей обязанности представлять передъ своимъ государствомъ вѣчную правду, во имя которой оно должно управлять временною жизнью народа и вести ее къ высшей цѣли. Въ Константинополѣ едва ли не послѣднимъ представителемъ церкви въ этомъ смыслѣ былъ св. Иоаннъ Златоустый. У него были преемники, но не было продолжателей, а нѣсколько вѣковъ послѣ него іерархія теряетъ высшее управление даже собственно церковною жизнью, органомъ котораго были вселенские соборы: послѣдній такой соборъ на Востокѣ былъ созванъ, какъ известно, въ 787 году, а съ конца слѣдующаго, IX вѣка, не только вселенскихъ, но и вообще никакихъ самостоятельныхъ и съ историческимъ значенiemъ соборовъ уже не собирается болѣе въ греческихъ странахъ; высшею церковною властью являются «вселенские патріархи» въ Царьградѣ, но это только пышное название, ибо они находятся вполнѣ въ рукахъ свѣтской власти, которая по собственному усмотрѣнію возводитъ и низвергаетъ ихъ, такъ что въ дѣйствительности верховное управление византійской церкви принадлежитъ всецѣло и безраздѣльно императорамъ, которымъ, кроме царскихъ, воздаются и архіерейскія почести.

Этотъ существенный и характерный для византизма церковно-государственный строй былъ если нечиюю, то главнымъ условiemъ искаженія самой царской власти въ восточной имперіи, — онъ превращенія изъ христіанской въ «Навуходоносорскую», а следовательно и рокового крушенія Византіи.

Въ древней Руси были задатки болѣе правильныхъ отношеній между духовнымъ и свѣтскимъ началами, между церковью и государствомъ, но въ силу историческихъ условий эти задатки не могли развиться, и убіеніе св. митрополита Филиппа явилось на нашей почвѣ самымъ яркимъ примѣромъ вавилонско-византійского деспотизма. Надежда спасенія для насъ заключалась въ томъ, что Московская Русь не могла удовлетвориться такимъ типомъ самодержавія. Въ новой Россіи первый, кто ясно созналъ необходимость самостоятельнаго религиознаго авторитета въ истинномъ его смыслѣ, — не какъ ограниченія, а какъ восполненія самодержавной царской вла-

сти, бытъ именно тотъ, кого не безъ видимыхъ оснований обвиняютъ въ порабощеніи церкви у настъ, и удивительнымъ образомъ это со-
знаніе истиннаго идеала церковно-государственныхъ отношеній явилось у великаго преобразователя и выражено имъ какъ разъ по по-
воду того дѣла, въ которомъ его личность явилась съ самой непри-
влекательной стороны, и которое составляетъ самый мрачный эпи-
зодъ его царствованія. Я разумѣю дѣло царевича Алексія Петровича.
Припомните главныя обстоятельства и ходъ этой трагической исторіи.

Въ малолѣтство царевича Алексія Петръ Великій разрываетъ свой
брачъ съ его матерью, ради привязанности къ нѣмецкой дѣвицѣ Аннѣ
Монсѣ насилино постригаетъ бывшую царицу и занираетъ въ мо-
настырь навсегда; потомъ, когда Анну Монсѣ замѣнила Екатерина
Скавронская, — присоединяя ее къ православію, Петръ заставляетъ
сына быть ея воспріемникомъ. Все это совершается съ прямымъ
участіемъ церковныхъ властей. Вмѣстѣ съ тѣмъ Петръ позаботился
дать сыну достаточное по тому времени образование и старался прі-
учить его къ воинскому и правительенному дѣлу; при другихъ
условіяхъ онъ могъ бы оказать на него благотворное вліяніе примѣ-
ромъ собственной неустанный работы на пользу общую, — но ца-
ревичъ по природѣ былъ совсѣмъ несклоненъ и неспособенъ къ пу-
блічной дѣятельности, чувствовалъ себя хорошо только въ частной
жизни, гдѣ менѣе всего получалъ назидательныхъ примѣровъ отъ
отца, а тогдѣ между тѣмъ съ бранью и побоями требовалъ отъ него,
чтобы онъ передѣжалъ свою природу, «отмѣнилъ свой нравъ». Есте-
ственнымъ слѣдствіемъ всего этого было, что когда царевичъ достигъ
совершеннолѣтія, то «не токмо дѣла воинскія, и прочія отца его
дѣла, но и самая его особа зѣло ему омерзѣла и для того всегда
желалъ быть отъ него въ отлученії».... Когда его звали къ отцу
для дѣла или для праздника, напр. на спускъ корабля, онъ говорилъ:
«лучше бы я на каторгѣ былъ, или въ лихорадкѣ лежалъ, чѣмъ тамъ
быть»⁶. При такомъ настроеніи сынъ неизбѣжно становился на
сторону людей, хотя и не злоумышлявшихъ прямо противъ его отца,
но враждебно относившихъ къ его дѣлу, мечтавшихъ о поворотѣ на-
задъ.

Оставить Россію во власти человѣка, непонимающаго ея исто-
рическихъ потребностей и готоваго разорить великое «насажденіе» —

⁶ С. Соловьевъ, „Исторія Россіи“, т. XVII, гл. II.
<http://rcin.org.pl>

Петръ не могъ. Какъ самодержавный государь, онъ имѣлъ право лишить его престолонаслѣдія, а какъ преобразователь Россіи, сознавшій важность и провиденціальное значеніе своего дѣла, онъ былъ нравственно обязанъ такъ поступить, и его слова: «лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный» — вполнъ достойны великаго человѣка⁷.

Лишая сына наслѣдства, Петръ исполнилъ только свой долгъ и действовалъ по чистой совѣсти; но, идя далѣе, онъ увлекался злону страстью, и самъ чувствовалъ это, какъ сейчасъ увидимъ; если это добродѣло не взяло въ немъ верха, то лишь потому, что злая страсть явила въ благовидной личинѣ того же общественнаго интереса, которому онъ отдалъ свою жизнь: — «за мое отечество и люди живота своего не жалѣть и не жалѣю, то какъ могу тебя непотребнаго пожалѣть?»⁸.

Когда царевичъ Алексѣй, заявившій отцу, что желаетъ монашескаго чина, затѣмъ, въ сопровожденіи какой-то Афросинны бѣжалъ въ Вѣну и Неаполь, Петръ имѣлъ прямой поводъ исполнить *свой долгъ передъ Россіей*, — законнымъ образомъ устранить отъ престолонаслѣдія человѣка столь явно недостойнаго. Но злая страсть подъ лициною высшаго общественнаго интереса внушала Петру, что сынъ-бунтовщикъ опасенъ, что оставить его за границей нельзя, что онъ можетъ сдѣлаться тамъ орудіемъ въ рукахъ враговъ Россіи. И вотъ употребляются всевозможныя мѣры, чтобы возвратить царевича, ему обѣщается полное прощеніе. «Буде ли побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обѣщаюсь Богомъ и судомъ Его, что никакого наказанія тебѣ не будетъ, но лучшую любовь покажу тебѣ, ежели воли моей послушаешь и возвратишься»⁹. Это торжественное обѣщаніе было подтверждено черезъ нѣсколько мѣсяцевъ предъ самымъ возвращенiemъ царевича: «Письмо твое я здѣсь получилъ, на которое отвѣтствую: что просиши прощенія, которое уже вамъ предъ симъ чрезъ господь Толстаго и Румянцева письменно и словесно обѣщано, что и нынѣ подтверждаю, въ чёмъ будь весьма надеженъ»¹⁰. Про-

⁷ Эти слова написаны до рожденія другого сына (отъ Екатерины) и выражаютъ такимъ образомъ серьезную готовность совсѣмъ отречься отъ династического интереса ради блага отечества.

⁸ Соловьевъ, тамъ же.

⁹ Тамъ же.

¹⁰ Тамъ же.

щеніе было обѣщано, безъ всякихъ другихъ условій, кромъ возвращенія въ Россію; но когда царевичъ вернулся, были поставлены еще два условія: если онъ откажется отъ наслѣдства и если откроетъ всѣхъ людей, которые присовѣтовали бѣгство. Алексѣй исполнилъ и то, и другое: указалъ сначала словесно, а потомъ письменно на своихъ доброжелателей и торжественно въ Успенскомъ Соборѣ отрекся навсегда отъ правъ на престолъ. Обнародованный въ тотъ же день царскій манифестъ подтверждалъ полное прощеніе: «И хотя онъ, сынъ нашъ, за такие противные поступки особенно за это передъ всѣмъ свѣтомъ нанесенное намъ безчестіе черезъ побѣгъ свой и клеветы, на насъ разсѣянныя, какъ злорѣчашій отца своего и сопротивляющійся государю своему, достоинъ быть смерти, — однако мы, соболѣзнуя о немъ отеческимъ сердцемъ, прощаемъ его и отъ всякаго наказанія освобождаемъ»¹¹.

Дѣло могло бы считаться конченнымъ. Приверженцы Алексѣя, столь недостойно имть оговоренные, были уничтожены; на него самого никто болѣе не возлагалъ никакихъ надеждъ, онъ возбуждалъ только презрѣніе. Обстоятельства его побѣга и возвращенія были хорошо известны; когда онъѣхалъ въ Россію, прежний его доброжелатель, князь Василій Владимировичъ Долгорукій, говорилъ князю Богдану Гагарину: «Слышалъ ты, — что дуракъ царевичъ сюда идетъ, потому что отецъ послалъ женить его на Афросинѣ? Жаль ему — не женитьба! Чортъ его несетъ! Всѣ его обманываютъ нарочно»¹². Но Петру, подъ вліяніемъ непобѣженной злобы, мешались серьезныя опасности отъ несчастнаго Алексѣя; конечно, онъ теперь безвреденъ, но чего можно отъ него ожидать въ будущемъ, послѣ смерти отца? Хотя не было никакого основанія для увѣренности, что слабый и болѣзненный сынъ непремѣнно переживеть богатыря отца, который былъ только осьмнадцатью годами старше его, но восплемененная страсть превращаетъ возможное въ неизбѣжное, чтобы сдѣлать его причиною дѣйствительного зла. Въ то время какъ несчастный царевичъ униженно умолялъ свою мачеху содѣстновать его скорѣйшай женитьбѣ, дѣло о немъ возобновляется безъ всякаго серьезнаго повода съ его стороны. Спѣшившую къ нему Афросинью схватываютъ и подвергаютъ допросу; узнаютъ бабы сплетни о раз-

¹¹ Соловьевъ, тамъ же.

¹² Тамъ же.

говорахъ и чувствахъ Алексія; никакого преступнаго дѣйствія, кромѣ уже прощенаго бѣгства за границу, взвести на него нѣвозможно. Тѣмъ не менѣе его арестуютъ и подвергаютъ двукратной пыткѣ. Тутъ великий царь почувствовалъ, что неограниченность его власти не избавляетъ его отъ ограниченій, налагаемыхъ человѣческой немощью, и что его самодержавная совѣсть требуетъ восполненія и поддержки въ борьбѣ противъ превозмогающей злой страсти. Созывается знатное духовенство и свѣтскія особы. Къ іерархіи русской Петръ не чувствовалъ и не имѣлъ причины чувствовать большого уваженія. Но онъ обращается къ ней во имя того высшаго нравственнаго начала, которое представляетъ и на которомъ основывается ея авторитетъ. «Понеже вы нынѣ, — такъ гласило царское объявление духовенству, — уже довольно слышали о малослыханномъ въ свѣтѣ преступлѣніи сына моего противъ нась, яко отца и государя своего, и хотя я довольно власти надъ онымъ по божественнымъ и гражданскимъ правамъ имѣю, а особливо по правамъ россійскимъ (которыя судь между отца и дѣтей и у партикулярныхъ людей весьма отмѣщутъ) учинить за преступлѣніе по волѣ моей безъ совѣта другихъ, — однако жъ боюсь Бога, дабы не погрѣшить, ибо натурально есть, что люди въ своихъ дѣлахъ меныше видятъ, нежели другіе въ ихъ. Такожъ и врачи: хотя бы и всѣхъ искуснѣе который быль, то не отважится свою болѣзнь самъ лѣчить, а призываетъ другихъ. Подобнымъ образомъ и мы сю болѣзнь свою вручаемъ вамъ, прося лѣченія оной, боясь вѣчнаго смерти. Ежели бы одинъ самъ оную лѣчиль, никогда бы, не познавъ силы въ своей болѣзни, *a напиache въ томъ, что я съ клятвою суда Божія письменно обѣщаю оному своему сыну прощеніе и потомъ словами подтвердиль, ежели истинно скажетъ.* Но хотя онъ сіе и нарушилъ угайкою наиважнѣйшихъ дѣлъ и особенно замыслу своего бунтовнаго противъ нась, яко родителя и государя своего, но однакожъ, *дабы не погрѣшить въ томъ,* и хотя его дѣло не духовнаго, но гражданскаго суда есть, которому мы оное на обсужденіе беспохлѣбное, чрезъ особливое объявление, нынѣ же предали; однакожъ, желая всякаго о семъ извѣстія и воспоминаемъ слово Божіе, гдѣ увѣщевается въ такихъ дѣлахъ вопрошать и чина священнаго о законѣ Божіи, какъ написано въ главѣ 17 Второзаконія, желаемъ и отъ васъ, архіереевъ, и всего духовнаго чина, яко учителей слова Божія, не да издадите каковый о семъ декреть, но да взыщите и покажете отъ св. Писанія намъ истинное наста-

вленіе и разсужденіе: какого наказанія сіе богохмерзкое и Авессаломову прикладу уподобляющеся намъреніе сына нашего, по божественнымъ заповѣдямъ и прочимъ св. Писанія прикладамъ и по законамъ, достойно. И то намъ дать за подписаніемъ рукъ своихъ на письмѣ, дабы мы, изъ того усмотря, неотличенную совѣсть въ семъ дѣлѣ имъли. Въ чемъ мы на васъ, яко по достоинству, блюстителей божественныхъ заповѣдей и вѣрныхъ пастырей Христова стада и доброжелательныхъ отечествія, надѣемся и судомъ Божіимъ, и священствомъ вашимъ заклинаемъ, да безъ всяаго лицемѣрства и пристрастія въ томъ поступите»¹³.

Это объявленіе духовенству есть самый важный для насъ документъ въ этомъ дѣлѣ. Иено, чего хотѣлъ Петръ отъ духовенства. Онъ и безъ того зналъ, чего требовала отъ него совѣсть. Но эта личная совѣсть нуждалась въ объективной поддержкѣ религіознаго авторитета, освящающаго и тѣмъ укрѣпляющаго сознанную обязанность. Обязанность тутъ была одна: исполнить обѣщаніе. Петръ указываетъ на свое право; но это право упразднено имъ самимъ: иено, что, давая обѣщаніе простить, онъ отказывался на право не прощать. Онъ это хорошо чувствуетъ, и лишь слabo пытается ограничить силу самого обѣщанія, указываетъ на условный его характеръ: «ежели истинно скажеть». Но въ первомъ письменномъ обѣщаніи, по которому царевичъ вернулся въ Россію, этого условія не было. А если бы и было, то нарушенено ли оно Алексѣемъ? Царь пробуетъ утверждать, что нарушенено «утайкою наиважнѣйшихъ дѣлъ, а особливо замыслу своего бунтовнаго». Но утаить не только наиважнѣйшихъ, а п какихъ бы то ни было дѣлъ царевичъ не могъ, потому что никакихъ дѣлъ за нимъ не было, а были только разговоры и при томъ пьяные¹⁴. Тѣ «замыслы бунтовные», и «богохмерзкія, Авессаломову прикладу уподобляющіяся намъренія», которыхъ обнаруживались въ подобныхъ разговорахъ, выражали только то вра-

¹³ Соловьевъ, тамъ же; курсивъ напѣ.

¹⁴ Однажды на другой день послѣ «бунтовныхъ» рѣчей онъ спрашивалъ своего камердинера: „не досадилъ онъ вчера кому?“ Тотъ сказалъ: „нѣть“. — „Инь не говориль ли я пьяный чего?“ — Слуга повторилъ его пьяныхъ рѣчи; тогда царевичъ молвилъ: „Кто пьянъ не живеть? — у пьяного всегда много лишнихъ словъ. Я поистинѣ себя очень зазираю, что я пьяный много сердитую и напрасныхъ словъ много говорю, а потомъ о семъ очень тужу“ (тамъ же.)

ждебное отношение сына къ отцу, которое Петръ хорошо зналъ и проіжде. Онъ самъ чувствовалъ, что такія обвиненія были недостаточны, чтобы упразднить его клятвенное обѣщаніе; не имѣя силы внутреннимъ подвигомъ покончить съ внушеніями злой страсти и лживаго разсудка, говорившихъ ему, что онъ долженъ однимъ ударомъ избавить свое дѣло отъ будущей опасности, Петръ обращается къ виѣшнему авторитету; но этотъ авторитетъ не оказался на высотѣ своего призванія. Духовные чины въ своемъ отвѣтѣ царю не сказали прямо ни да, ни нѣтъ. Приведя изъ священнаго писания примѣры возмездія и примѣры помилованія, они заключаютъ такъ: «Кратко рѣкше: сердце царево въ руцѣ Божіи есть. Да изберетъ тую часть, амо же рука Божія того преклоняеть»¹⁵. Въ этомъ образцовымъ проявленіи византійскаго духа или бездушія всего болѣе замѣчательно то, что «духовенство не заблагоразсудило ничего сказать, насчетъ обѣщанія, даннаго царемъ сыну, тогда какъ на основаніи этого обѣщанія царевичъ возвратился, и Петръ именно указывалъ на обѣщаніе свое, требуя очищенія совѣсти»¹⁶. Свѣтскіе чины, послѣ двукратнаго допроса съ пыткою, приговорили царевича къ смертной казни, «подвергая, впрочемъ, сей нашъ приговоръ и осужденіе въ самодержавную власть, волю и милосердное разсмотрѣніе его царскаго величества, всемилостивѣйшаго монарха». Такимъ образомъ, и они оставляли Петра одного между голосомъ его совѣсти и навожденіемъ злой страсти; онъ не нашелъ виѣшней поддержки въ своей внутренней борьбѣ; онъ самъ долженъ быть рѣшить: остататься ли ему только историческимъ героемъ, или присоединить къ этому еще болѣе высокое достоинство героизма нравственного. Наканунѣ Полтавской го-довщины Петръ потерпѣлъ роковое пораженіе. Въ записной книжкѣ С.-Петербургской гарнизонной канцеляріи читается: «26-го іюня (1718 г.) полудуночи во 8-мъ часу начали сбираться въ гарнизонѣ: Его Величество, свѣтлѣйший князь (Меншиковъ), князь Яковъ Федоровичъ (Долгорукій), Гаврило Ивановичъ (Головинъ), Федоръ Матвѣевичъ (Апраксинъ), Иванъ Алексѣевичъ (Мусинъ-Пушкинъ), Тихонъ Никитичъ (Стрѣшневъ), Петръ Андреевичъ (Толстой), Петръ Шафировъ, генералъ Бутурлинъ; и учиненъ былъ застѣнокъ, и потомъ, бывъ въ гарнизонѣ до 11-го часа, разѣхались. Того же числа по-

¹⁵ Соловьевъ, тамъ же.

¹⁶ Слова С. М. Соловьева (тамъ же.)

полудни въ 6-мъ часу будучи подъ карауломъ въ трубецкомъ раскатѣ рѣ гарнизонѣ, Даревичъ Алексѣй Петровичъ преставился»¹⁷.

Дѣло это не имѣть оправданія, но вотъ въ немъ важное смягчающее обстоятельство. Сознавая всю силу своей самодержавной власти, благодаря которой онъ вывелъ Россію на настоящій исторический путь, Петръ Великій почувствовалъ неполноту этой власти. Онъ вовсе не хотѣлъ ее ограничивать вѣшнимъ образомъ («не да изадите каковы о семъ декрѣтъ»), а именно только восполнить ее внутренно другимъ, нравственнымъ, началомъ, — совѣтомъ. Онъ понялъ на важномъ частномъ случаѣ, что государственная власть, неограниченная въ своихъ правахъ, для достойнаго исполненія своихъ обязанностей, должна опираться на двоякое содѣйствіе: на религіозный авторитетъ независимаго священства и на свободный голосъ общественной совѣсти въ лицѣ лучшихъ людей, носителей народной будущности. Петръ добросовѣстно искалъ этой помощи и не нашелъ ея: въ Россіи не оказалось ни священника, ни пророка, которые могли бы сказать царю во имя Божіей воли и высшаго достоинства человѣческаго: «ты не долженъ; тебѣ не позволено, есть предѣлы вѣчные». Вместо этого, и духовные, и мірскіе совѣтчики, къ которымъ онъ обращался за разъясненіемъ своей *обязанности*, указывали ему только на *право* его власти. въ которыхъ онъ самъ писалъ не сомнѣвался, но которыхъ считалъ бесполезными для решенія нравственнаго вопроса.

X.

Когда великій самодержецъ и преобразователь, воплощавшій въ себѣ лучшія силы русскаго народа и государства, — представитель національно-государственного прогресса, — сознавая свою некомпетентность окончательно решить по совѣсти и правдѣ важное и близкое ему дѣло, обращался къ чужому авторитету и чужому совѣту, то не являлась ли тутъ нагляднымъ образомъ та истина, что неограниченная власть, по праву принадлежащая монарху — какъ носителю національно-государственного единства, не только не исключаетъ, а, напротивъ, требуетъ содѣйствія двухъ другихъ началь: религіознаго *авторитета* и нравственнаго *совѣта*? И не обнаруживается ли здѣсь съ такою же наглядностью еще другая истина: что

¹⁷ Соловьевъ, тамъ же.

эти два восполняющія политическую власть начала должны быть независимы отъ національно-государственной ограниченности, т. е. должны имѣть значеніе универсальное, сверхнародное? Ясно, что тѣ, къ кому верховный представитель національно-политического единства, «отецъ отечества», обращается за свободною поддержкою, чрезъ кого онъ хочетъ получить то, чего недостаетъ для нравственной полноты его власти, — ясно, что они должны представлять со-бою нечто большее и высшее, нежели отечество, — должны быть носителями вселовѣческаго или всемірного сознанія, которое такъ же относится къ сознанію національно-государственному, какъ это къ родовому.

Универсальное сознаніе является въ жизни человѣчества въ двухъ формахъ: какъ *преданіе* высшей и всеобъемлющей истины въ ея уже данныхъ, открывшихся въ положительной религії начаткахъ, и какъ *предвареніе* будущаго совершенного осуществленія этихъ начатковъ въ жизни всего міра. Люди священнаго преданія хранятъ древній залогъ всемірного единства или царства Божія; люди безусловнаго идеала предвидятъ, предсказываютъ и приближаютъ его дѣйствительное наступленіе. Изъ самаго различія этихъ двухъ назначеній ясно, что первое служеніе имѣть характеръ официальный, а второе совершенно свободный. Блюстители данной всемірно-исторической святыни естественно образуютъ учрежденіе, называемое вселенскою церковью, съ іерархическимъ порядкомъ и преемствомъ. Напротивъ, провозвѣстники идеального совершенства не могутъ составлять опредѣленного учрежденія, которое, по необходимости будучи несовершеннымъ, противорѣчило бы ихъ проповѣди и отнимало бы у нея всякий смыслъ; представляя общество человѣческое въ его будущей всеплѣности, эти люди не могутъ имѣть настоящихъ полномочий отъ ограниченной его части въ ея данномъ преходящемъ состояніи. Поэтому если дѣйствіе священника, опирающеся на твердый камень религіознаго факта, имѣть нравственно-обязательный авторитетъ, то голосъ пророка, говорящаго во имя безконечности высшихъ духовныхъ стремлений, имѣть лишь силу *соваѣта* нравственно-желательнаго.

Петръ Великій былъ и сознавалъ себя верховнымъ представителемъ настоящихъ интересовъ своего отечества. Онъ не имѣть никакого сомнѣнія въ томъ, что его сынъ, если останется живъ, будетъ великою опасностью для будущности Россіи, и что, слѣдова-

тельно, видимая польза отечества требуетъ устранить этого человѣка, а положительный законъ давалъ для этого царю формальное право. Но самодержавіе совѣсти не позволяло ему довольствоваться ни сознаніемъ государственной пользы, ни сознаніемъ своего формального права. Нравственное чувство открывало ему ту истину, которая доселѣ остается закрытою для многихъ; что земные интересы и права имѣютъ только тогда свое настоящее значеніе и достоинство, когда они связаны и согласованы съ вѣчною правдою и высшимъ благомъ. А для опредѣленія этой связи въ каждомъ случаѣ, для согласованія временныхъ интересовъ государственныхъ и народныхъ съ вѣчными требованиями высшаго порядка, совѣсть государя, какъ ясно показываетъ исторія византійская и русская, чтобы быть дѣйствительно самодержавною и исполнять свое назначеніе, должна быть по возможності ограждена отъ преобладающаго вліянія личныхъ юмощей. Предоставленная самой себѣ, совѣсть самодержца, какъ и всякаго человѣка, можетъ быть ослѣплена страстью, обманута ложнымъ разсужденіемъ и невѣданіемъ, ослаблена личными грѣхами. Окончательное рѣшеніе всякаго дѣла, безъ сомнѣнія, принадлежитъ этой единичной самодержавной совѣсти, но для того, чтобы это рѣшеніе было добросовѣстно, оно должно быть предварительно провѣрено священнымъ авторитетомъ религіи и свободнымъ совѣтомъ лучшихъ людей¹⁸. Понятно, что для дѣйствительного значенія такой провѣрки представители этого авторитета и этого совѣта должны быть и сознавать себя совершенно независимыми въ своемъ служеніи. Ихъ голосъ долженъ служить истинному благу государя и государства, а не личному произволу человѣка. Такихъ независимыхъ людей для авторитетнаго служенія и свободнаго совѣта искалъ великий самодержецъ въ своемъ дѣлѣ и не нашелъ. Духовные чины отвѣчали ему какъ «лукавые царедворцы», а начальные свѣтскіе люди, вместо совѣта царю, нашли нужнымъ пытать царевича.

¹⁸ Даже по римско-католическому ученью, гдѣ монархическая идея въ лицѣ папы возведена на исключительную высоту, только тѣ преосвященническія рѣшенія признаются исходящими изъ *cathedra* и потому имѣющими непреложный или непогрѣшительный авторитетъ, которымъ предшествовало (кромѣ другихъ, чисто религіозныхъ, условій) правильное ознакомленіе папы съ мнѣніемъ епископата посредствомъ вселенского собора, или чрезъ формальные или письменные запросы и отвѣты.

Великий умъ преобразователя ясно видѣлъ сущность самодержавія. Для того, чтобы верховная власть была дѣйствительно неограниченою, совѣтъ монарха должна быть свободна не только отъ вѣнчанихъ ограничений, но главнымъ образомъ отъ внутреннихъ ограничений, неизбѣжно налагаемыхъ личною человѣческою слабостью, а для этого, т. е. для истиннаго своего самодержавія — на дѣлѣ, а не на словахъ только, — она должна быть восполнена и провѣрена непреложимъ авторитетомъ религіи и свободнымъ совѣтомъ лучшыхъ людей, истинныхъ представителей общественаго цѣлага. Виноватъ ли былъ Петръ въ томъ, что не имѣлъ передъ собою ни самостоятельнаго церковнаго авторитета, ни свободы личнаго сознанія?

XI.

Донынѣ не прекращаются обвиненія Петра Великаго въ томъ, будто бы онъ унизилъ авторитетъ церкви и подавилъ свободу народной жизни. Но несостоятельность Россіи въ обоихъ отношеніяхъ ярко обнаружилась въ церковно-народномъ расколѣ, который произошелъ за полвѣка до Петровскихъ преобразованій и, слѣдовательно, не можетъ быть поставленъ въ вину преобразователю. Если бы ответственность за ненормальныя условія русской жизни нужно и можно было возлагать на одно лицо, связывать съ однимъ именемъ, то это было бы никакъ не имя царя Петра, а развѣ только патріарха Никона.

Такъ какъ нація въ своемъ совокупномъ единству и особенности всецѣло представляется властью государственною, то церковное правительство можетъ имѣть самостоятельное значеніе и назначеніе относительно народа и національного государства только тогда, когда оно носить въ себѣ и представляетъ собою сверхнародное универсальное начало и, принадлежа данной странѣ, какъ мѣсту своего служенія, имѣть однако высшую точку опоры виѣ этого народа и этого государства. Церковное правительство никакъ не можетъ быть главою націи, поскольку нація уже имѣеть своего естественнаго и законнаго главу въ лицѣ государя. Ограничиваюсь одною національною областью, несвязанной дѣйствительностью съ какимъ-нибудь сверхнароднымъ религіознымъ средоточиемъ, духовная власть не можетъ сохранить своей самостоятельности — иначе въ одной странѣ, у одной націи оказались бы двѣ верховныя власти, два самодержа-

вія, два высшихъ вождя, или двѣ головы на одномъ туловищѣ. На самомъ дѣлѣ церковное правительство отдельной страны не можетъ быть подлинно «автокефальнымъ», хотя бы и называлось тако-вымъ¹⁹; если оно, ограничиваясь одною національною областью, имѣть здѣсь притязаніе на самостоятельную роль, то скоро на опытѣ познаетъ безсмысличество такихъ притязаній, волей-неволей превращающіеся всѣцѣло въ подчиненное орудіе свѣтской власти.

Но патріархъ Никонъ именно имѣть притязанія равняться съ царемъ въ *его* національно-государственной области — хотѣлъ быть другимъ государемъ Россіи, пока не убѣдился, что на этой почвѣ онъ могъ быть только если не вѣрнымъ, то мятежнымъ подданнымъ. Голосъ Никона не могъ имѣть религіознаго авторитета въ глазахъ царя, потому что это былъ голосъ политическаго соперника. За притязаніями московскаго патріарха не скрывалось никакого высшаго содержанія, ничего такого, чтѣ дѣлало бы его и при царѣ необходимымъ для общаго блага; поэтому онъ и былъ, какъ простой *дубликатъ* всероссийскаго государя, справедливо уничтоженъ за ненадобностью.

Будучи неправъ относительно государя и государства, Никонъ не былъ правъ и относительно народа. — Онъ обратилъ всю силу своей власти не противъ дѣйствительныхъ золъ и бѣдъ народной жизни, а противъ невинныхъ особенностей національнаго русскаго преданія (въ области религіознаго обряда); и онъ боролся противъ этихъ особенностей не во имя какихъ-нибудь высшихъ универсальныхъ началъ, а только во имя другого, тоже мѣстнаго преданія (греческаго). Самое столкновеніе и раздѣленіе изъ-за обряда не могло бы произойти, если бъ патріархъ стоялъ на почвѣ дѣйствительно вселенскаго, универсальнаго преданія, которое по существу своему даетъ мѣсто всѣмъ особенностямъ, не исключая, а обнимая ихъ собою, какъ различныя частныя выраженія той же всеединой и всеобщей жизни.

Но московскій патріархъ не былъ носителемъ вселенскаго христіянства, а только византійскаго «благочестія», — того самаго благочестія, которое забыло, что истинный Богъ есть «Богъ живыхъ», Святыни, полученная нами чрезъ религіозное преданіе, — священное прошедшее христіянства — можетъ быть живою основой вселенской

¹⁹ Въ специальномъ смыслѣ слово „автокефальность“ обозначаетъ только іерархическую независимость національныхъ церквей между собою, не касаясь вопроса объ отношеніяхъ къ свѣтской власти.

церкви, одухотворяющей нашу национально-государственную жизнь лишь тогда, когда это прошедшее не отдѣляется отъ настоящей дѣйствительности и отъ задачь будущаго. Эта святыня, это священное преданіе должно быть постоянной опорою современности, залогомъ и зачаткомъ грядущаго. Чтобы руководить христіанскимъ царствомъ, авторитетъ церковный прежде всего не долженъ отдѣляться отъ стремленія къ безусловному идеалу, т. е. отъ духа «пророческаго». Въ этомъ его жизненная сила. Тогда только и вѣковѣчныя формы преданной намъ святыни воплощаются въ живомъ и бесконечномъ содержаніи. Тогда эта святыня не только хранится нами какъ что-то *конченное*, и слѣдовательно *конечное*, какъ что-то отдѣльное отъ насъ, и слѣдовательно вѣнчаное, — но и живеть въ насъ самихъ, и мы живемъ ею, не переставая дѣйствовать въ насъ, и мы дѣйствуемъ ею. Церковь, какъ вселенская или всемирная, т. е. какъ соединеніе всего съ Богомъ, можетъ быть и осуществлена дѣйствительно только чрезъ всемирную исторію — въ цѣлой жизни всего человѣчества, во всей совокупности временъ и народовъ. Поэтому святыню преданія, т. е. данную основу церкви (въ іерархii, догматѣ, таинствахъ), не должно брать какъ нѣчто себѣ довѣрюющее и завершенное для насъ въ *отдѣльности* отъ настоящей и будущей жизни міра. Отдѣленная отъ своего цѣлага и вѣчнаго смысла, признаваемая только какъ завершенная или поконченная, святыня церкви необходимо теряетъ свою бесконечность, переходя въ ограниченныя и мертвыя формы: *ограниченныя*, потому что завершенная святыня завершилась *когда-нибудь* и *идѣ-нибудь*, въ извѣстныхъ вѣнчаныхъ условіяхъ и границахъ, — мертвыя, потому что эти границы явленія, происшедшаго когда-нибудь, отдѣляются здѣсь отъ жизни являемаго, пребывающей вездѣ и всегда. — Умерщвленное въ Византії, священное преданіе стало показывать признаки жизни въ Россіи (нацр., борьба св. Нила Сорского и его учениковъ за смыслъ христіанства), но и здѣсь историческая условія не позволяли ему воскреснуть, а окончательно добили его, *передѣз* Петровской реформой. фанатики московского византизма — Никонъ и иже съ нимъ.

XII.

Когда совершенство церкви полагается не впереди ея, а переносится, какъ это было въ Византіи, назадъ, въ прошедшее, и это

прошедшее принимается, такимъ образомъ, не за основу (какъ слѣдовало бы), а за вершину церковнаго зданія, — тогда непремѣнно случается, что существенныя религіозныя требованія и условія человѣческой жизни, которыя должны исполняться всѣми и всегда, пріурочиваются исключительно къ отдельнымъ своимъ историческимъ выраженіямъ и формамъ, — которыя въ этой отдельности могутъ только тяготѣть надъ живымъ сознаніемъ въ видѣ вѣшняго факта. Это все равно, какъ если бы мы, напримѣръ, духовное преданіе, связывающее насть съ какимъ-нибудь великимъ писателемъ, отѣлили отъ содержанія и внутренней формы его твореній, и пріурочили исключительно къ весьма несовершенной типографической виѣшности старыхъ его изданій, которыя бы мы и старались съ буквальною точностью воспроизвести, въ этомъ полагая весь долгъ нашего уваженія къ великому автору. Таково было отношеніе византізма къ дѣлу Христову. Существенное и вѣчное въ религіозной формѣ остается, конечно, и здѣсь, но уже не занимаетъ болѣе сознанія, не интересуетъ волю, — на первый планъ выступаетъ случайное и преходящее, тщательно консервируемое; и самый потокъ христіанскаго преданія, загроможденный мертвящимъ буквализмомъ, уже не является въ своемъ всемирномъ безконечномъ просторѣ, но скрывается за частными особенностями временныхъ и мѣстныхъ уставовъ.

Такое замѣщеніе въ византійскихъ умахъ вселенского преданія частнымъ обнаруживается уже въ концѣ VII вѣка, сильнѣе проявляется въ IX, а въ XI — это есть уже какъ бы поконченное дѣло. Непреложнымъ свидѣтельствомъ этого печального факта служатъ тѣ поводы, по которымъ совершилось раздѣленіе церквей, или, точнѣе, разрывъ церковнаго общенія между Византіей и Римомъ. О нравственныхъ и культурно-политическихъ причинахъ этого разрыва мы здѣсь говорить не будемъ; но весьма характеристичны для византізма церковный поводъ и предлогъ, въ которые облеклись эти причины.

Знаменитый Фотій уже въ началѣ столкновенія своего съ Римомъ (не захотѣвшимъ признать законность его патріаршества при жизни неотрекшагося законнаго патріарха, св. Игнатія), во второмъ письмѣ къ папѣ Николаю (861 г.) обращаетъ вниманіе на нѣкоторыя вѣшняя особенности латинской церкви, какъ-то бритые бороды и темени у священниковъ, посты въ субботу и т. п. Самъ Фотій былъ и слишкомъ образованъ вообще, и слишкомъ тѣсно связанъ съ

умственнымъ наслѣдіемъ великихъ учителей церкви, чтобы придавать существенное значение такимъ мелочамъ и видѣть въ нихъ препятствіе къ церковному единству; однако въ своихъ указаніяхъ онъ ясно намекалъ на то, что эти обрядовыя разности *могутъ* послужить оружиемъ противъ Рима. И онъ самъ, нѣсколько лѣтъ спустя, воспользовался этимъ оружиемъ въ своеемъ окружномъ посланіи къ восточнымъ патріаршимъ престоламъ (867 г.), где онъ осуждаетъ (наравицъ съ *filioque*), какъ ересь, нечестіе и ядъ, тѣ самыя обрядовыя и дисциплинарныя особенности западной церкви, которыя онъ же шесть лѣтъ назадъ признавалъ за вполнѣ позволительные мѣстные обычай. Эта фактъ во всякомъ случаѣ показываетъ, что въ средѣ восточной іерархіи, къ которой обращался Фотій, было довольно такихъ людей, для которыхъ всякое наружное отличіе отъ мѣстныхъ восточныхъ формъ церковнаго быта являлось равносильнымъ отступленію отъ вселенскихъ преданій — казалось ересью и нечестіемъ. Если эти люди были благочестивы, то въ ихъ благочестіи, привязанномъ исключительно къ своему, родовому, мѣстному, было слишкомъ много старого языческаго элемента.

Такихъ людей въ византійской церкви было не мало уже при Фотії; черезъ два столѣтія такими являются тамъ чуть не всѣ. Когда въ половинѣ XI вѣка патріархъ Михаилъ Керулларій въ своеемъ посланіи къ епископу Ioannu Транійскому, а затѣмъ Никита Ститесть (Пекторатъ) въ своихъ полемическихъ сочиненіяхъ торжественно и безпощадно осуждаютъ латинянъ, какъ *еретиковъ*, за то, что они постятся по субботамъ, не поютъ аллилуїя великимъ постомъ, ёдятъ будто бы мясо удавленныхъ животныхъ, терпятъ бритыхъ священниковъ, епископовъ съ перстнями на пальцахъ и употребляютъ для евхаристіи прѣсный, а не квасной хлѣбъ, — то этотъ приговоръ уже не вызываетъ въ Византіи никакого протеста или сомнѣнія, такъ что взглянуть, выразившійся въ такихъ обвиненіяхъ, можно считать за решительно господствующій въ греческой церкви. Вотъ какъ далеко лежать корни нашего русскаго раскола.

На первый планъ въ этой полемикѣ XI вѣка, въ которой вполнѣ выразился характеръ церковнаго византизма, стоить, какъ известно, вопросъ объ опреѣнокахъ, въ силу чего западное христіанство было тогда предано проклятию какъ ересь опреѣночниковъ или безквасниковъ (азимитовъ). Въ восточной половинѣ христіанского міра издревле употреблялся для евхаристіи квасной хлѣбъ, но пока вселенское

значение церкви и ея таинствъ ясно понималось восточными християнами, никому не приходило въ голову свой частный обычай возводить на степень общеобязательного требования, и установленій въ западныхъ странахъ противоположный обычай употреблять для евхаристіи прѣсный хлѣбъ никого не соблазнялъ на Востокѣ и нисколько не мѣшалъ полному общенію съ Западомъ. Но съ развитиемъ византизма взгляды измѣнились, и въ XI вѣкѣ споръ объ опрѣснокахъ кончается раздѣленіемъ церквей. Привходящая подробность обряда принимается за существенное условіе таинства, и особенностямъ мѣстнаго обычая приписывается общеобязательность вселенского преданія.

Значенію спорнаго вопроса, свидѣтельствовавшаго объ уменьшении и измельчаніи религіознаго смысла, соотвѣтствовало и качество аргументовъ. Превосходство кваснаго хлѣба доказывалось тѣмъ, что онъ есть хлѣбъ живой, одушевленный, ибо имѣеть въ себѣ соль и закваску, сообщающую ему дыханіе и движеніе, тогда какъ латинскіе опрѣсноки суть хлѣбъ мертвый, бездушный, и даже недостойный называться хлѣбомъ, будучи «какъ бы кускомъ грязи». Можно только пожалѣть, что преимущество жизненности и соли остались въ квасномъ хлѣбѣ, а не сдѣлались отличительными свойствами византійскаго ума. Впрочемъ, дѣйствительное основаніе въ пользу употребленія кваснаго хлѣба, очевидно, было то, что оно есть свой, греческій обычай, — тогда какъ употребленіе опрѣсноковъ есть обычай чужой, латинской. Этотъ господствующій мотивъ невольно высказывается въ постановленіи Константинопольскаго (патріаршаго) синода, произнесшаго въ 1054 г. анаему на папскихъ легатовъ и на всю западную церковь: «нѣкоторые нечестивые люди, — говорится въ этомъ постановленіи, — пришли изъ тьмы Запада въ царство благочестія, и въ сей Богомъ хранимый градъ, изъ коего какъ изъ источника истекаютъ воды чистаго ученія до концовъ земли». Дѣйствительное нечестіе этихъ нѣкоторыхъ людей состояло въ томъ, что они были чужие, что они пришли съ Запада, тогда какъ царство благочестія и источникъ чистаго ученія можетъ быть только здесь у насъ, на Востокѣ, въ нашемъ городѣ, — хотя бы это «чистое ученіе» сводилось къ тому, что въ одномъ сортѣ хлѣба есть душа, а въ другомъ — нѣть. Любить и беречь свое, родное — дѣло естественное и справедливое. Нужно только при этомъ помнить двѣ вещи: во-первыхъ, что своего обычая нельзя навязывать другимъ, для которыхъ онъ не свой, а во-вторыхъ, что есть на свѣтѣ нѣчто выс-

шее своего и чужого, и что настоящее мѣсто этому высшему — во вселенской церкви Божіей.

Итакъ, византизмъ со стороны религіозной и церковной уклоняется отъ полноты христіанства не въ томъ, что почитаетъ церковь какъ сверхчувственную святыню, сохраняемую неизмѣннымъ преданіемъ (ибо оно таково и есть по основѣ своей), а въ томъ, что, выдѣляя элементъ преданія ихъ жизненной цѣлости всемирной религіи, онъ ограничивается и умалляетъ самое церковное преданіе, пріурочиваетъ къ одной части церкви и къ одному прошедшему времени, — превращаетъ вселенское преданіе въ преданіе *мѣстной* *старины*.

XIII.

Движеніе къ партикуляризму въ церкви не остановилось на византизмѣ, но послѣдовательно шло дальше. Послѣ того, какъ вселенское православіе превратилось въ византійское или греко-восточное, изъ него начали выступать новыя *національныя* обособленія. Въ этомъ отношеніи нашъ русскій расколъ старообрядчества есть лишь дальнѣйшее послѣдствіе византизма, или, точнѣе, естественная реакція противъ него, на той же почвѣ. Въ этомъ его историческое оправданіе.

Когда Византія была царствующимъ градомъ, главнымъ политическимъ средоточіемъ христіанского Востока, и греки византійскіе были господствующимъ народомъ въ православномъ мірѣ, тогда на этомъ основаніи (другого не было) Константинополь получаетъ центральное значеніе, и въ церкви восточной архіепископъ константинопольский называетъ себѣ вселенскимъ патріархомъ; частное византійское преданіе возводится на степень вселенского и общеобязательнаго, и православная церковь для восточныхъ христіанъ становится синонимомъ церкви греческой. Но вотъ въ XV вѣкѣ, съ одновременнымъ паденіемъ Константинополя передъ турками и освобожденіемъ Россіи отъ татаръ, политическое средоточіе христіанского Востока переходитъ отъ Византіи въ Москву; господствующимъ народомъ «благочестиваго закона» вмѣсто грековъ становятся русскіе. На тѣхъ же самыхъ историческихъ основаніяхъ, на которыхъ Константинополь, какъ царствующій градъ, призналъ себя вторымъ Римомъ, полноправнымъ преемникомъ первого древняго Рима, — на тѣхъ же самыхъ историческихъ основаніяхъ, новый царствующій градъ, сто-

лица восточного православія — Москва, — была объявлена, какъ мы знаемъ, полноправною наследницею всѣхъ преимуществъ и притязаній Византіи, не только политическихъ, но и церковныхъ.

Россія получила православное христіанство изъ Византіи уже въ томъ видѣ, который оно имѣло тамъ въ X и XI вѣкѣ; вмѣстѣ съ православіемъ, она получила и церковный византізмъ, т. е. извѣстный традиціонализмъ и буквализмъ, утвержденіе временныхъ и случайныхъ формъ религіи наряду съ вѣчными и существенными, мѣстнаго преданія наряду съ вселенскими. Но разъ было принято такое смышеніе и мѣстной формѣ религіознаго преданія приписано безусловное вселенское значеніе, то естественно возникаетъ у нашихъ предковъ вопросъ: почему же это значеніе должно принадлежать именно греческому мѣстному преданію, а не русскому, особенно теперь, когда греки утратили всѣ свои прежнія дѣйствительныя преимущества? Этотъ вопросъ рѣшался очень опредѣленно такими людьми, какъ извѣстный Арсеній Сухановъ, доказывавшій огорченнымъ фанаріотамъ, что теперь средоточіе вселенной ужъ не въ агарянскомъ Стамбулѣ, а въ благочестивой Москвѣ; что нашъ великий государь въ грекахъ не нуждается; что онъ самъ установилъ у себя еще большую полноту церковную, чѣмъ та, что была въ Византіи; что у него патріархъ всероссійскій вмѣсто папы римскаго, а при немъ четыре митрополита, вмѣсто восточныхъ патріарховъ. Но кромѣ могущества, Москва имѣла передъ Византіею, пораженною невѣрными, и внутреннее превосходство. Являлось искреннее опасеніе, что подъ мусульманскимъ владычествомъ грекамъ трудно сохранить чистоту православія, что могутъ пошатнуться въ самой вѣрѣ. Значить, истинное благочестіе должно сохраняться только въ Россіи, находящейся подъ благочестивыми государями; значитъ, истиннымъ православіемъ преданіемъ должно почитать мѣстное преданіе русской, а не греческой церкви.

И вотъ, подобно тому, какъ въ IX—XI вѣкахъ темный патріотизмъ византійскихъ грековъ заставлялъ ихъ видѣть сущность православія въ квасныхъ хлѣбахъ и небритыхъ бородахъ греческихъ священниковъ, точно также въ XVI—XVII вѣкахъ такой же темный патріотизмъ московскихъ людей заставилъ и ихъ видѣть существо благочестія въ незначительныхъ мѣстныхъ особенностяхъ русскаго церковнаго обычая. Эти особенности, каковы бы они ни были сами по себѣ, становятся неприкосновенною святынею, и на мѣсто вѣры Хри-

стовой, вѣчной и всемирной, въ умѣ этихъ благочестивыхъ людей незамѣтно становится «Старая русская вѣра».

Съ высшей точки зрењія вселенского христіанства положеніе русскихъ старообрядцевъ было неправильно. Но были ли они неправы въ историческомъ смыслѣ, по отношенію къ своимъ тогдашнимъ, а отчасти и теперешнимъ противникамъ, — это другой вопросъ. Дѣло въ томъ, что прямые ихъ противники — патріархъ Никонъ и его единомышленники стояли и стоять вовсе не на точкѣ зрењія вселенского христіанства, а такъ же, какъ и старообрядцы, на точкѣ зрењія мѣстнаго буквализма, но только не московскаго, а прежняго византійскаго. Извѣстны слова патріарха Никона: «по роду я русскій, но по вѣрѣ и мыслямъ — грекъ». Если можно быть *по вѣрѣ грекомъ* вмѣсто того, чтобы быть просто христіаниномъ, то отчего же не быть *по вѣрѣ русскимъ?* Старая русская вѣра не должна имѣть силы передъ всемирною христіанскою вѣрою, но передъ *старою греческою вѣрой* она во всякомъ случаѣ имѣть равные съ тою права.

Въ дѣяніяхъ московскаго собора въ 1654 г. разсказывается, какимъ образомъ патріархъ Никонъ началъ то исправленіе церковныхъ книгъ, изъ-за котораго произошелъ нашъ расколъ. Здѣсь съ полною ясностью можно видѣть сущность тѣхъ воззрѣній, которыхъ держался московскій патріархъ, и дѣйствительный характеръ нашего церковнаго спора. «Входя въ книгохранительницу (Никонъ) обрѣте ту грамоту, въ ней же писано греческими письменами, како и коимъ образомъ въ царствующемъ градѣ Москвѣ начались патріархи поставляти; написана же сія грамота въ лѣто 7097 (т. е. 1589)... И обрѣте еще книгу, писанную съ собору вселенскихъ патріарховъ греческими же письмены: бѣ же соборъ той въ новомъ Римѣ, въ Константиноцѣ, въ лѣто 7101 (т. е. 1593)... Въ коей книзѣ соборные глаголы сицевы: «Яко понежеubo совершение пріятъ православныхъ церковъ не токмо по богоразумія и благочестія догматамъ, но и по священному церковныхъ вещей уставу, праведно есть и памъ всякую церковныхъ огражденій новину потребляти, — и яже наученная невредима, безъ приложенія же коего-либо и отнятія пріемлющимъ...²⁰ И яко да во всемъ велика Россія православная со

²⁰ То есть: такъ какъ православная церковь завершена, или достигла совершенства, не только со стороны догматического ученія, но и со стороны церковной дисциплины и обряда, то — и т. д.

вселенскими патріархи ²¹ соласна будеть». Прочтетъ же сю книгу государь, святѣйшій патріархъ Никонъ, *въ страхѣ великомъ спаде не есть ли что погрѣшено отъ ихъ православнаго греческаго закона* ²². И нача въ нуждныхъ разсмотряти, еже есть символъ православныя вѣры: вѣрную во единаго Бога и прочая, и узрѣ въ санѣ святительскомъ, его же отъ грекъ въ царствующій градѣ Москву прежде 250 лѣтъ принесе Фотій, россійскій митрополитъ, символъ православныя вѣры воображенъ шитыми письмены, во всемъ согласующіяся святѣй восточной церкви: потомъ узрѣ той же символъ въ Московскихъ въ новыхъ въ печатныхъ книгахъ, и многая обрѣте несогласія». Извѣстно, въ чемъ состояли эти несогласія, испугавшія патріарха Никона. Во второмъ членѣ символа вмѣсто «рожденна не сотворенна» въ московскихъ книгахъ было напечатано: «рожденна, а не сотворенна»; въ седьмомъ членѣ вмѣсто «Его же царствію не будетъ конца» въ московскихъ книгахъ стояло: «Его же царствію нѣсть конца»; въ восьмомъ членѣ вмѣсто «и въ Духа Святаго, Господа животворящаго», въ печатныхъ московскихъ книгахъ читалось: «и въ Духа Святаго, Господа истиннаго и животворящаго»... «Тоже и святую литургію разсмотрѣвъ обрѣте въ ней ово прибавлено, ово же отъято и превращено. По семъ и во иныхъ книгахъ узрѣ многая несходства» ²³. Всѣ эти многія несходства въ чинѣ литургіи и въ иныхъ книгахъ были того же рода, какъ и указанныя въ символѣ.

Никонъ, будучи, какъ самъ онъ заявляетъ, по вѣрѣ грекомъ, — вполнѣ раздѣлялъ то основное заблужденіе византизма, что будто бы «совершеніе пріять православныхъ церквь», и хотя рѣшительно невозможно было бы опредѣлить, когда же именно она «пріять совершеніе», но онъ твердо вѣрилъ, что это произошло когда-то въ Византии и что это совершеніе обнимаетъ собою безусловно все въ церкви и не допускаетъ измѣненія въ малѣйшихъ подробностяхъ. Такъ, по его словамъ, въ скрижали «страшна заповѣдь ихъ, св. вселенскихъ соборовъ, равнѣ полагаетъ анаемѣ и прилагающаго и отъемлющаго и перемѣняющаго наименьшее письмя, даже одину черту, или іоту,

²¹ Т. е. греческими.

²² Т. е. нѣть ли (у насъ) какого-нибудь уклоненія отъ ихъ православнаго греческаго закона.

²³ См. Іеромонаха Пафнутія, Записки, изд. Моск. общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, 1877, II, 20.

еже есть і, въ съмволѣ . . . Яко отнюдь не подобаетъ въ съмволѣ вѣры или мало что, или велика, ни гласа, ни склада, тамо положеннаго предвигати, или перемѣнити, но цѣло подобаетъ хранити то всею силою и вниманіемъ, аки зѣницу ока, да не подъ анаѳему толикихъ и толь великихъ святыхъ отецъ себя подложимъ»²⁴.

XIV.

Дѣло патріарха Никона носило печать тройной неправды. Первою неправдою — и тутъ византизмъ бытъ ще при чёмъ — должно признать его клерикализмъ, въ силу котораго онъ стремился религіозный авторитетъ превратить въ политическую власть, стать другимъ государемъ въ Россіи, въ ущербъ единодержавной верховной власти царской; вторая его неправда, въ которой онъ явился всесѣльымъ и крайнимъ византійцемъ, была противъ вселенскаго христіанства, которое онъ со словъ грековъ объявилъ поконченнымъ, «совершеніе пріявшимъ», — подмѣняя живую религіозную истину мертвымъ буквализмомъ мѣстнаго преданія; третья его неправда была противъ русскаго народа, которому онъ произвольно наязывалъ этотъ чужой буквализмъ, несправедливо осуждая и съ жестокимъ насилиемъ истребляя невинныя особенности нашихъ собственныхъ отеческихъ преданій.

Объявляя себя по вѣрѣ грекомъ, Никонъ оказался по замысламъ и нраву совсѣмъ ще грекомъ, а неумѣстнымъ и неудачнымъ подражателемъ средневѣковаго папства. И весьма замѣчательно, какъ примеръ старой исторической логики, — что греческіе іерархи, призванные въ Москву для суда надъ Никономъ, осудили его за ту вину, въ которой онъ ще былъ византійцемъ, въ которой они дѣйствительно не могли ему сочувствовать или быть за него отвѣтственными, — они осудили его за сопротивленіе царю и присвоеніе политической власти, а въ двухъ другихъ его винахъ, въ которыхъ главная доля принадлежала византійскому наследію, не только онъ былъ ими оправданъ, но они еще и завершили его дѣло, предавъ русскихъ старообрядцевъ торжественному и безпощадному проклятию, какъ преступниковъ, подлежащихъ и церковнымъ и «градскимъ» казнямъ (Московскій большой соборъ 1666—67 гг.).

²⁴ См. тамъ же, стр. 15, 16.

Въ этомъ печальномъ дѣяніи, на ряду съ греками, участвовала и вся русская іерархія и нанесла самой себѣ роковой ударъ. Справедливо отказавшись, въ осужденіи Никона, отъ его клерикальныхъ притязаній, она вмѣстѣ съ тѣмъ, обратившись къ государственной помощи для насильственного подавленія раскола, утратила свою независимость и стала заразъ недолжнымъ образомъ въ служебное отношеніе къ государству и въ притѣснительное къ народу.

Какую же возможность имѣлъ Петръ Великій отнять у «церкви», т. е. у русской іерархіи, ту самостоятельность и тотъ духовный авторитетъ, которыхъ она сама себя лишила еще раньше его рожденія? Онъ, напротивъ, безуспѣшно пытался восстановить этотъ духовный авторитетъ. Въ дѣлѣ великой важности для него и для государства онъ обратился къ священному чину, какъ высшей (въ религиозно-нравственномъ смыслѣ) инстанціи, за духовнымъ указаніемъ и поддержкой. Его ли вина, что онъ вмѣсто этого получиль только византійскій камень мертваго буквализма и византійскую змѣю лукавой лести?

Черезъ три года послѣ того, какъ русская іерархія на царское требованіе авторитетнаго руководства сумѣла только отвѣтить: «сердце царево въ руцѣ Божіи», рука Божія вложила въ сердце царево мудрео рѣшеніе окончательно отмѣнить патріарщество и учредить духовную коллегію или синодъ для завѣдыванія церковными дѣлами подъ наблюденіемъ и руководствомъ «изъ офицеровъ доброго человѣка, который бы синодское дѣло знать и смѣлость имѣлъ». Эта коллегія получила отъ царя регламентъ, и ея члены, помимо общей вѣрноподданнической присяги, должны были въ качествѣ церковнаго правительства присягать государю, какъ верховному, или «крайнему» судіи сей коллегіи.

Включеніе русской церкви, какъ одного изъ вѣдомствъ, съ центральною коллегіей во главѣ, въ общий составъ государственного управления на одинаковыхъ началахъ съ другими вѣдомствами, вполнѣ отвѣчало истинному положенію дѣла, и осуждать Петра Великаго за то, что онъ не поддерживалъ искусственно явную фикцію самостоятельной духовной власти, значитъ — осуждать его за то, что онъ не хотѣлъ лгать передъ самимъ собою и передъ исторіей. Воображаютъ, что церковная іерархія лишилась независимости и авторитета вслѣдствіе учрежденія синода, тогда какъ совершенно ясно, что синодъ могъ и долженъ быть быть учрежденъ вслѣдствіе того,

что іерархія уже прежде лишилась самостоятельности и авторитета. Церковное управление уже на дѣлѣ превратилось въ отрасль государственного прежде, чѣмъ было объявлено въ этомъ качествѣ официально. Это была одна изъ наиболѣе естественныхъ, правдивыхъ, а потому и прочныхъ реформъ Петра Великаго. Почти всѣ основанныя имъ коллегіи исчезли или подверглись кореннымъ перемѣнамъ, одна «духовная коллегія», руководимая «знающимъ и смѣлымъ» оберъ-прокуроромъ, вотъ уже почти два вѣка остается во всей своей неприкословенности, — явное доказательство, что это учрежденіе не было создано личнымъ произволомъ, а вызвано дѣйствительными условіями нашей исторической жизни, сохраняющими до сихъ поръ свою силу. А слѣдуетъ ли признать эти условія нормальными съ высшей точки зренія — это другой вопросъ. Попчувствовать ихъ ненормальность и пострадать отъ нихъ нравственно пришлось самому великому преобразователю въ самую трагическую минуту его жизни, — но измѣнить ихъ было не въ его власти...

zakonnych sprawozdań, z których wynika, że obecnie w
zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia i dobrobytu ludzkiego
w kraju, nie ma ani jednego tego, co mogłoby skutkować
zatrzymaniem i skazaniem na karę karną. Wszystko to, co jest
zakazane, jest pozwolone, a co pozwolone, jest
zakazane. Czy to nie absurd? Czy to nie przekreślać, że
w zakresie działań na rzecz ochrony zdrowia i dobrobytu ludzkiego
w kraju, nie ma ani jednego tego, co mogłoby skutkować
zatrzymaniem i skazaniem na karę karną? Dlatego też
zakazanie pozwalać, a pozwolenie zakazywać, to jest
jednakże nieprawdziwe. Czy to nie przekreślać, że skazanie i
zatrzymanie jest pozwolone? Czy to nie przekreślać, że skazanie i
zatrzymanie jest zakazane? Czy to nie przekreślać, że skazanie i
zatrzymanie jest pozwolone? Czy to nie przekreślać, że skazanie i
zatrzymanie jest zakazane?

Wszystko to, co jest pozwolone, jest zakazane, a co jest zakazane, jest pozwolone. Czy to nie przekreślać, że skazanie i
zatrzymanie jest pozwolone? Czy to nie przekreślać, że skazanie i
zatrzymanie jest zakazane?

Wszystko to, co jest pozwolone, jest zakazane, a co jest zakazane, jest pozwolone. Czy to nie przekreślać, że skazanie i
zatrzymanie jest pozwolone? Czy to nie przekreślać, że skazanie i
zatrzymanie jest zakazane? Czy to nie przekreślać, że skazanie i
zatrzymanie jest pozwolone? Czy to nie przekreślać, że skazanie i
zatrzymanie jest zakazane?

Wszystko to, co jest pozwolone, jest zakazane, a co jest zakazane, jest pozwolone. Czy to nie przekreślać, że skazanie i
zatrzymanie jest pozwolone? Czy to nie przekreślać, że skazanie i
zatrzymanie jest zakazane? Czy to nie przekreślać, że skazanie i
zatrzymanie jest pozwolone? Czy to nie przekreślać, że skazanie i
zatrzymanie jest zakazane?

Поэзія Я. П. Полонского
Критический очерк.

1896.

Поэзія Я. П. Полонского.

Критический очеркъ.

1896.



Сергѣй Михайловичъ Соловьевъ.

1896.

Włodzimierz R. II Włodzimierza.

Włodzimierza

1896



Czterej Włodzimierze Czterech

1896

Поэзія Я. П. Полонского.

Критический очеркъ.

1896.

Полное собр. сочиненій Я. П. Полонского, въ 5 т., изд. А. Ф. Маркса,
Спб. 1896.

I.

Самый вдохновенный изъ англійскихъ поэтовъ, Шелли, такъ говоритъ о началѣ своего творчества:

Есть Существо, есть женственная Тѣнь,
Желанная въ видѣніяхъ печальныхъ.
На утрѣ лѣть моихъ первоначальныхъ
Она ко мнѣ являлась каждый день,
И каждый мигъ среди лѣсныхъ прогалинъ,
Среди завороженныхъ дикихъ горъ,
Среди воздушныхъ замковъ и развалинъ
Она плѣняла дѣтскій жадный взоръ.
Мѣняясь въ очертааніяхъ несказанныхъ,
Скользя своей стопой по ткани сновъ,
Она пришла съ далекихъ береговъ,
Изъ областей загадочно-туманныхъ,
Красавицей нездѣшнихъ острововъ,
И въ лѣтній день, ликующей и жаркій,
Когда небесный сводъ огнемъ блисталь,
Она прошла такой чудесно-яркой,
Что я — увы! — ее не увидаль.

Но и невидимая въ своемъ собственномъ образѣ, она давала себя чувствовать поэту во всемъ, что было отъ нея:

Въ глубокой тишинѣ уединенья,
Среди благоуханія цвѣтовъ,
Подъ шумъ ручьевъ, подъ звонкое ихъ пѣнье,
Сквозь гулъ неумолкающихъ лѣсовъ,

Она со мною тихо говорила,
 И все дышало только ей одной,
 Рѣка съ своей серебряной волной,
 И сонмы тучъ, и дальняя свѣтила,
 Влюбленный воздухъ, теплый вѣтерокъ,
 И дождевой сверкающій потокъ,
 И пѣвные лѣтнихъ птицы, и все, что дышитъ,
 Что чувствуетъ, звучить, живеть и слышитъ.
 Въ словахъ высокихъ вымысловъ и сновъ,
 И въ пѣсняхъ и въ пророчествахъ глубокихъ,
 Въ наслѣдии умчавшихся вѣковъ,
 Отшедшихъ дней и близкихъ, и далѣкихъ,
 Въ любви къ другимъ, въ желанья свѣтлымъ быть,
 Въ сказаньяхъ благороднаго ученья,
 Что намъ велить навѣкъ себя забыть
 И познавать блаженный смыслъ мученья, --
 Во всемъ она сквозила и жила,
 Въ чемъ правда и гармонія была¹.

Всѣ истинные поэты такъ или иначе знали и чувствовали эту «женственную Тѣнь», но немногіе такъ ясно говорятъ о ней; изъ нашихъ яснѣе всѣхъ — Я. П. Полонскій. Это тѣмъ болѣе замѣчательно, что если мы возьмемъ совокупность его произведеній (хотя бы только стихотворныхъ), то далеко не найдемъ здѣсь той полной гармоніи между вдохновенiemъ и мыслью и той твердой вѣры въ живую дѣйствительность и превосходство поэтической истины сравнительно съ мертвящею рефлексіей, — какими отличаются, напримѣръ, Гете или Тютчевъ. Отзвѣчивый сынъ своего вѣка, Полонскій былъ впечатлителенъ и къ тѣмъ движеніямъ новѣйшей мысли, которыя имѣли антипоэтический характеръ; во многихъ его стихотвореніяхъ преобладаетъ разсудочная рефлексія и прозаический реализмъ. И однакоже никто, послѣ Шелли, не указалъ съ такою ясностью на сверхчеловѣческій «запредѣльный» и вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно дѣйствительный и даже какъ бы личный источникъ чистой поэзіи:

Въ дни ребячества я помню
 Чудный отроческій бредъ:
 Полюбиль я Царь-дѣвицу,
 Что на свѣтѣ краше нѣть.
 На чель сіяло солнце,
 Мѣсяцъ прятался въ косѣ,

¹ Цитирую по прекрасному переводу г. К. Бальмонта (Соч. Шелли выпускъ 4, Москва 1896).

По косицамъ рдѣли звѣзды, —
Богъ сіяль въ ея красѣ.
И жила та Царь-дѣвица
Недоступна никому
И ключами золотыми
Замыкалась къ терему.
Только ночью выходила
Шелестить въ тѣни березъ:
Тоключи свои роняла,
То рояла капли слезъ.
Только въ праздники, когда я
Полосенный брель домой,
Изъ-за рощи яркій, влажный
Глазъ ся слѣдила за мной.
И ужъ какъ случилось это, —
Наяву или во снѣ?!

Разъ она весною, въ часъ утра,
Зарумянилась въ окнѣ: —
Всколыхнулась занавѣска,
Вспыхнулъ розъ махровыхъ кустъ,
И, закрывъ глаза, я встрѣтилъ
Поцѣлуй душистыхъ усть.
Но едва-едва успѣль я
Блескъ лица ея поймать,
Ускользая, гостья ко лбу
Миѣ прижгла свою печать.
Съ той поры ея печати
Miѣ ничѣмъ уже не смыть,
Вѣчно-юной Царь-дѣвицѣ
Я не въ силахъ измѣнить...
Жду, — вторичнымъ поцѣлуемъ
Заградивъ мои уста, —
Красота въ свой тайный теремъ
Miѣ отворить ворота.

Ясно, что поэтъ здѣсь искрененъ, что это его настоящая вѣра, хотя бы порою онъ и колебался въ ней. Пусть, уступая на минуту ходящему мнѣнию, онъ называетъ откровеніе истины — «бредомъ», — онъ «не въ силахъ измѣнить» тому, что ему открылось въ этомъ бреду. Для его лучшаго сознанія красота и поэзія не могла уже быть пустымъ обманомъ, онъ, какъ и Шелли, зналъ, что это — существо и истинная сущность всѣхъ существъ, и если она и является какъ тѣнь, то не отъ земныхъ предметовъ. «Есть существо, есть женственная тѣнь...» «Богъ сіяль въ ея красѣ...» Такъ ли говорять поэты, не

вѣрящіе въ поэзію? Для блестящаго и несчастнаго Лермонтова она была лишь созданіемъ его мечты.

Люблю мечты моей созданье
Съ глазами полными лазурного огня,
Съ улыбкой розовой, какъ молодого дня
За роцей первое сіянье...

Но если поэтическая истинна есть только созданіе мечты, то вся жизнь есть лишь «пустая и глупая шутка», съ которою всего лучше покончить въ самомъ началѣ.

Счастливъ поэтъ, который не потерялъ вѣры въ женственную Тѣнь Божества, не измѣнилъ вѣчно-юной Царь-дѣвицѣ: и она ему не измѣнить и сохранить юность сердца и въ ранніе, и въ поздніе годы.

II.

Много поэтическихъ мыслей, благородныхъ чувствъ и чудесныхъ образовъ внушила неизмѣнившему ей пѣвицу его Царь-дѣвица. Прежде чѣмъ отмѣтить и подчеркнуть въ отдѣльности тѣ стихотворенія и части стихотвореній, на которыхъ особенно видна ся печать, укажу на общую имъ всѣмъ черту, отличающую творчество Полонского сравнительно съ другими поэтами, не только уступающими или равными ему, но и превышающими его силуо художественнаго генія. Впрочемъ, съ точки зрѣнія строгой эстетической доктрины эта отличительная черта въ поэзіи Полонского можетъ быть скорѣе недостатокъ, чѣмъ достоинство, — я этого не думаю, — во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что эта черта оригинальна и въ высшей степени плѣнительная. Ее можно выразить такъ, что въ типичныхъ стихотвореніяхъ нашего поэта самый процессъ вдохновенія, самый *переходъ* изъ обычной материальной и житейской среды въ область поэтической истины остается *ощущительнымъ*: чувствуется какъ бы тотъ ударъ или толчокъ, тотъ взмахъ крыльевъ, который поднимаетъ душу надъ землею. Этотъ переходъ изъ одной сферы въ другую существуетъ конечно для всѣхъ поэтовъ, такъ какъ онъ есть неизбѣжное условіе истиннаго творчества; но у другихъ поэтовъ онъ далеко не такъ чувствителенъ, рѣ ихъ произведеніяхъ дается уже чистый результатъ вдохновенія, а не порывъ его, который остается скрытымъ, тогда какъ у Полонскаго онъ прямо чувствуется, такъ сказать, въ самомъ звуку его стиховъ.

Вотъ два примѣра наудачу. Стихотвореніе «Памяти Ѹ. И. Тютчева»:

Оттого ль, что въ Божьемъ мірѣ
 Красота вѣчна,
 У него въ душѣ витала
 Вѣчная весна,
 Освѣжала зной грозою
 И сквозь капли слезъ
 Въ тучахъ радугой мелькала —
 Отраженьемъ грезъ.
 Оттого ль, что отъ бездущья,
 Иль отъ злобы дня,
 Ярче въ немъ сверкали искры
 Божьяго огня,
 Съ равныхъ лѣтъ и до преклонныхъ
 Безотрадныхъ лѣтъ
 Былъ къ нему неравнодушенъ
 Равнодушный свѣтъ.
 Оттого ль, что не отъ свѣта
 Онъ спасенія ждалъ,
 Выше всѣхъ земныхъ кумировъ
 Ставилъ идеалъ, —
 Пѣснь его глубокой скорбью
 Западала въ грудь
 И, какъ звѣздный лучъ, тянула
 Въ безконечный путь

Развѣ не чувствуется здѣсь, какъ тотъ звѣздный лучъ, кіоторый тянуль Тютчева, тянетъ и самого Полонского въ тотъ же безконечный путь вверхъ отъ бездущья и злобы дня. Въ послѣдней строфѣ, кото-
 рую не привожу, поэтъ опять спускается въ эту злобу дня и прозу. Внимательный читатель замѣтилъ кое-что прозаическое и въ трехъ приведенныхъ строфахъ, но въ такой мѣрѣ, которая не только не мѣшаетъ ихъ чарующему впечатлѣнію, а, напротивъ, входитъ въ его составъ: чувствуешь въ поэтическомъ порывѣ и ту землю, отъ кото-
 рой онъ оттолкнулся.

То пе вѣтеръ — вздохъ Авроры
 Всколыхнуль морской туманъ;
 Обозначилися горы
 И во мглѣ Данаевъ станъ...

Въ этомъ вздохѣ Авроры развѣ не слышится вздохъ поэзіи, всколыхнувшей житейскій туманъ въ душѣ поэта? Къ лучшимъ сти-

хствореніямъ Полонскаго всего болѣе примѣнно то удивительное определеніе или описание поэзіи, которое даетъ геніальный лирик Фетъ:

Однимъ толчкомъ согнать ладью живую
Съ наглаженныхъ отливами песковъ,
Одной волной подняться въ жизнь иную,
Учуяты вѣтры съ цвѣтушихъ береговъ,
Тоскливыи сонъ прервать единымъ звукомъ,
Упиться вдругъ невѣдомымъ, роднымъ,
Дать жизни вздохъ, дать сладость тайнымъ мукамъ,
Чужое вмигъ почувствовать своимъ;
Шепнуть о томъ, предъ чѣмъ языкъ нѣмѣть,
Усилить бой безтрепетныхъ сердецъ, —
Вотъ чѣмъ пѣвецъ лишь избранный владѣеть!
Вотъ въ чемъ его и признакъ и вѣнецъ!

Этотъ размахъ и толчокъ, сгоняющій живую ладью поэзіи съ гладкихъ песковъ прозы, почти всегда чувствуется у нашего поэта — чувствуется даже тогда, когда онъ остался неуспѣшнымъ, только раскачалъ, но не сдвинулъ ладью, — какъ, напримѣръ, въ юбилейномъ гимнѣ Пушкину: и здѣсь ощущителенъ порывъ вдохновенія, но безъ соответствующаго результата — само стихотвореніе неудачно и легко поддается пародіи. Но зато какъ прекрасно юбилейное привѣтствіе, обращенное къ Фету:

Ночи текли, — звѣзды трепетно въ бездну лучи свои съяли...
Капали слезы, — рыдала любовь, — и алѣль
Жаркій разсвѣтъ, — и тѣ грезы, что въ сердцѣ мы тайно лелѣяли,
Трель соловья разносила, и бурей шумѣлъ
Моря сердитаго валъ, — думы зрели и — рѣяли
Сѣрыя чайки... Игру эту боги затѣяли...

Поэзія есть участіе человѣка въ этой игрѣ, затѣянной богами; каждый поэтъ видить ее и участвуетъ въ ней по-своему.

III.

Область и характеръ поэзіи Полонскаго какъ будто заранѣе очерчены въ одномъ изъ его первыхъ по времени стихотвореній:

Уже надъ ельникомъ, изъ-за вершинъ колючихъ
Сияло золото вечернихъ облаковъ,
Когда я рвалъ весломъ густую сѣть пловучихъ
Болотныхъ травъ и водяныхъ цвѣтовъ.

То окружая насъ, то снова разступаясь,
Сухими листьями шумѣли тростники;
И нашъ членокъ шель, медленно качаясь,
Межъ топкихъ береговъ извилистой рѣки.
Отъ праздной клеветы и злобы черни свѣтской,
Въ тотъ вечеръ наконецъ мы были далеко,
И смѣло ты могла съ довѣрчивостью дѣтской
Себя высказывать свободно и легко.
И голосъ твой пророческій былъ сладокъ,
Такъ много въ немъ дрожало тайныхъ слезъ.
И мнѣ плѣнительнымъ казался безпорядокъ
Одежды траурной и свѣтлорусыхъ кость.
Но грудь моя тоской невольно сжималась,
Я въ глубину глядѣль, гдѣ тысячи корней
Болотныхъ травъ невидимо сплеталось,
Подобно тысячѣ живыхъ зеленыхъ змѣй.
И міръ иной мелькалъ передо мною, —
Не тотъ прекрасный міръ, въ которомъ ты жила...
И жизнь казалась мнѣ сурою глубиною
Съ поверхностью, которая свѣтла.

Спутница поэта въ ту минуту — кто бы она ни была и какъ бы ее ни звали — являлась вѣрнымъ прообразомъ его поэтической дѣятельности. «Плѣнительнымъ безпорядкомъ» отличаются его произведения; есть и въ нихъ земной трауръ по мірскому злу и горю, но голова его музы сіяеть золотистымъ отраженiemъ небеснаго свѣта; и въ ея голосѣ смѣшиваются тайныя слезы переживаемаго горя съ пророческою сладостью лучшихъ надеждъ; чувствительная — быть можетъ даже слишкомъ — къ праздности злобѣ свѣтской, она стремится уйти туда, гдѣ за колючими вершинами земли сіяеть золото вечернихъ облаковъ, и тамъ высказывается свободно и легко, съ довѣрчивостью дѣтской.

Полонскій, какъ всѣ истинные поэты и мыслители, ясно видѣть противоположность между тѣмъ прекраснымъ и свѣтлымъ міромъ, въ которомъ живеть его муга, и тою сурою и темною глубиною жизни, гдѣ сплетаются болотныя растенія своими змѣиными корнями. Но какъ же онъ относится къ этой общей и основной противоположности, — въ чёмъ особенность его міросозерцанія? Для сравненія возьмемъ двухъ наиболѣе родственныхъ ему лириковъ — Тютчева и Фета.

Тютчевъ, который глубже другихъ поэтовъ чувствовалъ и ярче выражалъ и темную основу всякой жизни, и свѣтлый покровъ, на-

брошенный на неё богами, примирялъ эту коренную противоположность чисто-религиознымъ упованіемъ на окончательную победу свѣтлого начала въ Христѣ и въ будущемъ христіанскомъ царствѣ. — Фетъ, на котораго тьма и тяжесть бытія дѣйствовала болѣе своею житейскою стороною, обращенною къ практической волѣ, не думалъ ни о какомъ примиреніи или разрѣшеніи, а просто *уходилъ* въ дрожащіе напѣвы своей поэзіи (его собственные слова: ... и отчего въ дрожащіе напѣвы я уходилъ, и ты за иной уйдешь...). Для Фета между двумя мірами нѣтъ ничего общаго, они исключаютъ другъ друга, и если жить и дѣйствовать приходится въ мірѣ практической воли, себя пожирающей, то пѣть и творить можно, только совсѣмъ забывая объ этомъ зломъ мірѣ, рѣшительно повертываясь къ нему спиной и уходя въ область чистаго созерцанія.

Полонскій не остается при этой двойственности и разобщенности; не отворачиваясь безнадежно отъ темной жизни, не уходя всецѣло въ міръ чисто поэтическихъ созерцаній и ощущеній, онъ ищетъ между этими двумя областями примиренія и находитъ его въ той ідеѣ, которая уже давно носилась въ воздухѣ, но вдохновляла болѣе мыслителей и общественныхъ дѣятелей, нежели поэтовъ. У Полонскаго она сливаются съ его поэзіей, входя болѣе или менѣе явно въ его художественное настроеніе. Это идея совершенствованія, или прогресса.

Надъ жизнью земного человѣчества напѣть поэтъ не ставить, подобно переводчику Шопенгауера, надпись изъ Дантовскаго ада; для него эта жизнь не адъ, а только *чистилище*, она возбуждаетъ въ немъ печаль, но не безнадежность. Хотя онъ не видить въ исторіи тѣхъ ясныхъ идеаловъ, въ которые вѣрилъ Тютчевъ, но она не есть для него, какъ для Фета, только торжище развратной толпы, буйной отъ хмеля преступленій, — онъ слышитъ въ ней глаголъ, въ пустынѣ вопіющій, неумолкаемо зовущій:

О подними свое чело!
Не вѣрь тяжелымъ сновидѣньямъ

Чтобъ жизнь была тебѣ понятна,
Иди впередъ и невозвратно

Туда, гдѣ впереди такъ много
Сокровицъ спрятано у Бога.

Та безмятежная блаженная красота, которая открывается поэтическому созерцанию природы, должна будет открыться и в жизни человечества:

О, въ отвѣтъ природѣ
Улыбнись, отъ вѣка
Обреченный скорби
Геній человѣка!
Улыбнись природѣ!
Вѣрь знаменованью:
Нѣть конца стремленью;
Есть конецъ страданью!

Сильнѣе, чѣмъ въ этихъ нѣсколько отвлеченныхъ стихахъ, выражается бодрое чувство надежды на лучшую будущность въ стихотвореніи «На корабль», — прекрасномъ образчикѣ истинно-поэтической аллегоріи, въ которой конкретный частный образъ такъ внутренно связанъ съ болѣе общею идеей, такъ ясно ее выражаетъ, что вовсе нѣть надобности въ особомъ указаніи на нее, или въ истолкованіи смысла стихотворенія: этотъ смыслъ и его конкретное выражение здѣсь нераздѣльно слиты.

Стихаетъ. Ночь темна. Свисти, чтобъ мы не спали!..
Еще вчерашняя гроза не унялась:
Тѣ жъ волны бурныя, что съ вечера плескали,
Не закачавъ, еще качаютъ насъ.
Въ безлунномъ мракѣ мы дорогу потеряли,
Разбитымъ фонаремъ не освѣщенъ компасъ.
Неси огня, звони, свисти, чтобъ мы не спали! —
Еще вчерашняя гроза не унялась...
Нашъ флагъ порывисто и беспокойно вѣтъ;
Нашъ капитанъ впотьмахъ стоить раздумья полнъ...
Заря, друзья, заря! Глядите, какъ яспѣеть
И капитанъ, и мы, и гребни черныхъ волнъ.
Кто боленъ, кто усталъ, кто бодръ еще, кто плачетъ,
Что бурей сломано, разбито, снесено —
Все ясио: Божій день, вставая, зла не прячетъ...
Но не погибли мы, и много спасено...
Мы мачты укрѣпимъ, мы паруса подтянемъ,
Мы нашимъ топотомъ встревожимъ праздныхъ лѣнъ, —
И дальше въ путь пойдемъ и дружно пѣсию грянемъ:
Господь, благослови грядущій день!

Свѣтлыхъ надеждъ на спасеніе родного корабля поэтъ не отдѣляетъ отъ вѣры въ общее всемирное благо. Широкій духъ всечеловѣческій

вѣчности, исключающей национальную вражду, свойственъ болѣе или менѣе и другимъ нашимъ, какъ и вообще всѣмъ истиннымъ поэтамъ; но изъ русскихъ, послѣ Алексѣя Толстого, онъ всѣхъ рѣшительнѣе и сознательнѣе выражается у Полонского, особенно въ двухъ стихотвореніяхъ, посвященныхъ Шиллеру и Шекспиру.

Съ вавилонскаго столпотворенья
И до нашихъ дней — по всей землѣ
Духъ вражды и духъ разъединенія
Держать міръ въ невѣжествѣ и алѣ.

У разноязычныхъ, у разноплеменныхъ,
У враждебныхъ странъ во всѣхъ вѣка
Только два и было неизмѣнныхъ
Всѣмъ сердцамъ понятныхъ языка:
Не кричить ли миру о союзѣ кровномъ
Каждаго ребенка первый крикъ,
Не для всѣхъ ли націй въ родникѣ духовномъ
Черпеть силу генія языка?
Не затѣмъ ли вся Европа встала,
Засвѣтила тысячи огней
И отпѣла, и отликовала
Шиллера стоглавтній юбилей.

Полонскій, при всей своей неосторожности, свободенъ отъ обмановъ ребяческаго оптимизма и не ждетъ золотого вѣка на завтрашний день; онъ не думаетъ, какъ одинъ знаменитый писатель, что еще одно усиленіе людей благонамѣренныхъ и — и на земль водворяется миръ, правда и блаженство.

Лучшихъ дней не скоро мы дождемся:
Лишь поэты, вѣстники боговъ,
Говорять, что всѣ мы соберемся
Мирно раздѣлять плоды трудовъ, —
Что безумный произволъ свобода свяжетъ,
Что любовь прощеніемъ свяжетъ грѣхъ,
Что побѣда мысли смертнымъ путь укажетъ
Къ торжеству отрадному для всѣхъ...
Путь далекъ, но вся Европа встала — и т. д.

Прогрессъ все-таки есть, хотя онъ мѣряется не годами, а лишь цѣлыми вѣками:

Но впередъ шагая съ каждымъ вѣкомъ,
Чтѣ мы видимъ въ нашъ желѣзный вѣкъ?
Видимъ, — въ страхѣ передъ человѣкомъ
Опускаетъ руки человѣкъ, —

Въ побѣжденныхъ сила духа воскресаетъ...
Побѣдитель, раздражая свѣтъ.
Не затѣмъ ли мечъ свой грозный опускаетъ,
Что его пугаетъ громъ побѣдъ?
Мечъ упалъ, и вся Европа встала — и т. д.

О ,Германіи поэтъ всемірный!
Для тебя народы всѣ равны, —
Откликаюсь я на звонъ твой лирный
Тихимъ трепетомъ одной струны...
Той живой струны, что въ глубинѣ сердечной,
Братія, у всѣхъ у насъ звучить
Всякій разъ, когда любви намъ голосъ вѣчный —
Божій голосъ — громко говорить.

Въ томъ же смыслѣ и обращеніе къ Шекспиру:

Европы сынъ, повитый Альбіономъ!
Пока растеть Европа — ты растешь...
Какъ Греція прошла на Западъ съ Аполлономъ,
Такъ нынѣ на Востокъ съ Европою, съ закономъ
Искусства вѣчнаго ты съ Запала идешь:
И раздвигается вдоль Сѣвера граница.
Такъ, если нѣкогда китайскимъ языккомъ
Заговорять тобой въ міръ вызванныя лица,
Мы за тобой въ Китай съ Европою пойдемъ.

Это было сказано болѣе тридцати лѣтъ тому назадъ и оказалось пророчествомъ, которое нынѣ начинаетъ сбываться.

IV.

Въ ранніе годы надежды нашего поэта на лучшую будущность для человѣчества были связаны съ его юношеской безотчетною вѣрою во всемогущество науки:

Царство науки не знаетъ предѣла,
Всюду слѣды ея вѣчныхъ побѣдъ —
Разума слово и дѣло,
Сила и свѣтъ.

Миру какъ новое солнце сіяеть
Свѣтомъ науки, и только при немъ
Музъ чело украшаетъ
Свѣжимъ вѣнкомъ.

Но скоро та же муз разрушила въ нашемъ поэтъ это наивное поклоненіе мнимому царству науки, которая на самомъ дѣлѣ только познаетъ то, что бываетъ, а не творить то, что должно быть; онъ понялъ, что «міръ съ могущественной ложью и безыльною любовью» можетъ быть спасенъ и обновленъ лишь иною, вдохновляющею силой — силой нравственной правды и вѣрою «въ Божій судъ или Мессію»:

Съ той поры, мужая сердцемъ,
Постигать я сталъ, о Муза,
Что съ тобой безъ этой вѣры
Нѣтъ законнаго союза.

Чѣмъ болѣе зрею становится поэзія Полонского, тѣмъ явственнѣе звучить въ ней религіозный мотивъ, хотя и въ послѣднихъ стихотвореніяхъ выражается болѣе стремленіе и готовность къ вѣрѣ, нежели положительная увѣренность.

Жизнь безъ Христа — случайный сонъ.
Блаженъ, кому дано два слуха, —
Кто и церковный слышитъ звонъ,
И слышитъ вѣщій голосъ Духа.

И то и другое слышишь въ тихій вечеръ жизни. Все обмануло, все прошло, остается только вѣчность и ея земной залогъ:

На всѣ призывы безъ отвѣта
Уходиши ты, мой сѣрый день.
Одинъ закатъ не безъ привѣта,
И не безъ смысла эта тѣнь.

• • • • •
Я къ ночи сердцемъ легковѣрнѣй,
Я буду вѣрить какъ-нибудь,
Что ночь, гася мой свѣтъ вечерній,
Укажеть мнѣ на звѣздный путь.
Чу! колоколь... Душа поэта,
Благослови вечерній звонъ!

• • • • •
И жизнь и смерти призракъ — міру
О чѣмъ-то вѣчномъ говорять,
И какъ ни громко пой ты, — лиру
Колокола перезвонять.

Откуда однако это соперничество? И зачѣмъ подходить слишкомъ близко къ колокольнѣ? Пусть поэтъ слушаетъ колокола на томъ

разстояніи, на которомъ ихъ звонъ трогаетъ, а не оглушаетъ, и пусть его лира поетъ о томъ же вѣчномъ, о чемъ звенятъ и они. Между духомъ, говорящимъ въ лучшихъ произведеніяхъ Полонского, и голосомъ истинной религіи, конечно, нѣтъ никакого противорѣчія, и нашъ славный поэтъ можетъ съ доброю совѣстью благословлять вечерній звонъ, съ которымъ такъ хорошо гармонируетъ его неослабывающее вдохновеніе.

V.

Индивидуальностью у каждого поэта, — какъ и у всякаго другого существа, — мы называемъ то, что свойственно ему исключительно, въ чемъ у него нѣтъ ничего общаго съ другими. Это есть та, совершенно особенная, своеобразная печать, которая налагается существомъ на все, ему принадлежащее, — у поэта въ частности — на все, что становится предметомъ его творчества. Ясно, что въ каждомъ единичномъ случаѣ, для *этого* поэта, напримѣрь, его индивидуальный характеръ, какъ не выражающей никакого общаго понятія, вовсе не можетъ быть опредѣленъ словами, точно описать или разсказанъ. Индивидуальность есть *неизреченное*, или *неказанное*, что только чувствуется, но не формулируется. Оно можетъ быть только закрытоно собственнымъ *именемъ*, и потому первобытная мудрость народовъ видѣла въ имени выраженіе самой глубочайшей сущности, самой подлинной истины именуемаго предмета.

Поэтому, если говорятъ, — какъ это приходится иногда слышать и читать, — что задача критики есть воспроизведеніе *индивидуальности* разбираемаго писателя, то это явное недоразумѣніе. Критика есть во всякомъ случаѣ *разсужденіе*, а прымымъ содержаніемъ разсужденія не можетъ быть то, что не выражается въ общихъ понятіяхъ. Воспроизводить индивидуальное само по себѣ есть дѣло не критика, а поэта; да и то, если это поэтъ по преимуществу лирическій, то онъ рискуетъ при этомъ выразить болѣе свою, нежели чужую, индивидуальность. Такъ, напримѣрь, въ прекрасномъ стихотвореніи Я. П. Полонского о Тютчевѣ, приведенномъ въ началѣ моей статьи («Оттого ль, что въ Божьемъ мѣрѣ красота вѣчна . . .»), хотя чувствуется въ нѣкоторой мѣрѣ индивидуальность Тютчева, но еще болѣе отражается индивидуальность самого Полонского.

Прямая задача критики, — по крайней мѣрѣ философской, понимающей, что красота есть ощущительное воплощеніе истины, — со-

стоить въ томъ, чтобы разобрать и показать, что именно изъ полноты всемирного смысла, какіе его элементы, какія стороны или проявленія истины особенно захватили душу поэта и по преимуществу выражены имъ въ художественныхъ образахъ и звукахъ. Критикъ долженъ «вскрыть глубочайшіе корни» творчества у данного поэта не со стороны его психическихъ мотивовъ — это болѣе дѣло биографа и историка литературы, — а главнымъ образомъ со стороны объективныхъ основъ этого творчества, или его идеинаго содержанія.

Что же касается до единичной и единственной въ своемъ родѣ индивидуальности данного поэта, налагающей свою *несказанную* печать на его творчество, то ее можно только отмѣтить, указывая на тѣ произведенія, въ которыхъ эта индивидуальность чувствуется съ наибольшею ясностью и полнотою.

Вотъ, напримѣръ, «Зимній путь» Полонского:

Ночь холодная мутно глядитъ
Подъ рогожу кибитки моей;
Подъ полозьями поле скрипнѣть,
Подъ дугой колокольчикъ гремитъ,
А ямщикъ погоняетъ коней.
• • • • •

Мнѣ все чудится, будто скамейка стоять,
На скамейкѣ старуха сидѣть, —
До полуночи пряжу прядеть,
Мнѣ любимыя сказки мои говоритьъ,
Колыбельные пѣсни поеть.

Или, напримѣръ, это («Качка въ бурю»):

Снится мнѣ: я свѣжъ и молодъ,
Я влюбленъ, мечты кипятъ...
Отъ зари роскошный холодъ
Проникаетъ въ садъ.
Скоро ночь, — темнѣютъ ели...
Слышу ласково-живой
Тихій лепетъ: „на качели
Сядемъ, милый мой!“
Станѣтъ ея полу- воздушный
Обняла моя рука,
И качается послушно
Зыбкая доска...

Или, наконецъ, вотъ это («Колокольчикъ»):

Улеглася метелица, путь озаренъ...
 Ночь глядитъ миллионами тусклыхъ очей.
 Погружай меня въ сонъ, колокольчика звонъ,
 Выноси меня, тройка усталыхъ коней!
 Мутный дымъ облаковъ и холодная даль
 Начинаютъ яснѣть; бѣлый призракъ луны
 Смотрить въ душу мою и былую печаль
 Наряжаетъ въ забытые сны.
 То вдругъ слышится мнѣ, — страстный голосъ поеть,
 Съ колокольчикомъ дружно звена:
 „Ахъ, когда-то, когда-то мой милый придетъ
 Отдохнуть на груди у меня!
 У меня ли не жизнь! Чуть заря на стеклѣ
 Начинаетъ лучами съ морозомъ играть,
 Самоваръ мой кипить на дубовомъ столѣ
 И трещить моя печь, озаряя въ углѣ
 За цвѣтной занавѣской кровать...
 У меня ли не жизнь! Ночью ль ставень открыть, —
 По стѣнѣ бродить мѣсяца лучъ золотой;
 Забушуетъ ли выюга, — лампада горить.
 И, когда я дремлю, мое сердце не спить,
 Все по немъ изнывая тоской!“
 То вдругъ слышится мнѣ, — тотъ же голосъ поеть,
 Съ колокольчикомъ грустно звена:
 „Гдѣ-то старый мой другъ? я боюсь, — онъ войдетъ
 И, ласкаясь, обниметъ меня!
 Что за жизнь у меня! — И тѣсна и темна,
 И скучна моя горница: дуешь въ окно...
 За окошкомъ растетъ только вишня одна.
 Да и та за промерзлымъ окномъ не видна
 И, быть можетъ, погибла давно...“

· · · · ·

Всякий согласится, что въ этихъ трехъ образчикахъ индивидуальности поэта чувствуется съ полною ясностью, что никто кромѣ Полонского не могъ бы написать этихъ стиховъ, — и однако пусть кто-нибудь попробуетъ определить, описать, или рассказать эту индивидуальную особенность, которой они запечатлены! Можно, конечно, указать разные признаки, какъ-то: соединеніе изящныхъ образовъ и звуковъ съ самыми прозаическими представлениями; напримѣръ, въ первомъ стихотвореніи «рогожа кибитки», а въ послѣднемъ «дуешь въ окно»; затѣмъ — смѣлая простота выраженій, какъ во второмъ

примѣръ «я влюблень»; далѣе можно указать, что во всѣхъ этихъ стихотвореніяхъ выражаются полусонные, сумеречные, слегка бредовыя ощущенія. Такія указанія будутъ совершенно вѣрны, ио совершенно недостаточны; ибо, во-первыхъ, всѣ эти признаки можно найти и у другихъ поэтовъ, а, во-вторыхъ, у Полонскаго найдутся стихотворенія также типичныя, но въ которыхъ эти особенности не замѣчаются, напримѣръ:

Пришли и стали тѣни ночи
На стражѣ у моихъ дверей,
Смѣлѣй глядѣть мнѣ прямо въ очи
Глубокій мракъ ея очей — и т. д.

Или:

Ты, съ которой такъ много страданія
Терпѣливой я прожилъ душой,
Безъ надежды на миръ и свиданіе
Навсегда я простился съ тобой.
Но боюсь, если путь мой протянется
Изъ родимыхъ полей въ край чужой,
Однокое сердце оглянется
И забытесь знакомой тоской — и т. д.

Можно наконецъ печать индивидуальности видѣть главнымъ образомъ въ преобладаніи тѣхъ или другихъ звуковыхъ сочетаній у данного поэта, но это уже конецъ критики и при томъ конецъ довольно слабый; ибо ясно, что поэтическая индивидуальность никакъ не проходитъ отъ звукового характера стиховъ, а напротивъ, этотъ специфический звуковой характеръ имѣеть свое внутреннее основаніе въ духовной индивидуальности поэта:

Чу! Повѣдай чуткій слухъ:
Вѣтеръ это, или духъ?
Это вѣтра шумъ — для слуха...
Это вѣщи духъ — для духа.

Вообще индивидуальность есть нечто первоначальное и неразложимое, и никакія определенные особенности, ии отдельно взятые, ни въ соединеніи, не могутъ ее составить и выразить. Поэтому для «воспроизведенія индивидуальности» поэта критику остается одинъ способъ: указывать на нее, такъ сказать, пальцемъ, т. е. отмѣтить и по возможности приводить тѣ произведенія, въ которыхъ эта индивидуальность сильнѣе проявилась и легче чувствуется. А затѣмъ глав-

ная, собственно-критическая задача состоять все-таки не въ воспроизведеніи, а въ оцѣнкѣ данной поэтической дѣятельности *по существу*, т. е. какъ прекраснао предмета, представляющаго въ тѣхъ или другихъ конкретныхъ формахъ правду жизни, или смыслъ міра.

VI.

Поэзія, какъ высшій родъ художества, по-своему заключаетъ въ себѣ элементы всѣхъ другихъ искусствъ. Истинный поэтъ влагаетъ въ свое слово нераздѣльно съ его внутреннимъ смысломъ и музыкальные звуки, и краски, и пластичныя формы. У различныхъ поэтовъ легко замѣтить преобладаніе того или другого изъ этихъ элементовъ, то или другое ихъ сочетаніе. Въ большихъ вещахъ Полонского (за исключениемъ безупречного во всѣхъ отношеніяхъ «Кузнеца-Музыканта») очень слаба архитектура: нѣкоторыя изъ его поэмъ недостроены, другія загромождены пристройками и надстройками. Пластическая (скульптурная) сторона сравнительно также мало выдается въ его стихотвореніяхъ. Зато въ сильной степени и равной мѣрѣ обладаетъ поэзія Полонского свойствами музыкальности и живописности. Особенно выступаетъ поэтъ-живописецъ въ кавказскихъ стихотвореніяхъ Полонского. Здѣсь ему предшествовали Пушкинъ и Лермонтовъ, но онъ не заимствовалъ отъ нихъ красокъ, и его картины Кавказа гораздо ярче и живѣе, чѣмъ у нихъ. Не только Лермонтовъ, но даже и Пушкинъ бралъ Кавказъ живьемъ лишь со стороны вѣнѣшней природы, а человѣческая дѣйствительность этого края изображается у него хотя вѣрными, но слишкомъ общими чертами. (Несравненное стихотвореніе: «Стамбуль гяуры пынче славятъ» не относится собственно сюда.) Напротивъ, въ кавказскихъ стихотвореніяхъ Полонского именно мѣстная жизнь схвачена въ ея реальныхъ особенностяхъ и закрѣплена яркими и правдивыми красками. Сравните, напримѣръ, Лермонтовскую легендарную «Тамару», при всемъ ея словесномъ великолѣпіи, съ историческою «Тамарой» Полонского:

Молодые вожди, завернувъ въ башлыки
Свои мѣдные шлемы, стоять
И внимаютъ тому, что отцы старики
Ей въ отвѣтъ говорятъ...

Я не говорю про такое, напримѣръ, чисто-описательное произведение, какъ «Прогулка по Тифлису», которое можно, пожалуй, упрек-

путь въ фотографичности, но и чисто-лирическія стихотворенія, вдохновленныя Кавказомъ, насыщены у Полонскаго настоящими мѣстными красками. Вотъ, напримѣръ, «Послѣ праздника»:

Вчера къ развалинамъ, вдоль этого ущелья
Скакали всадники, и были зажжены
Костры, и до утра былъ слышенъ гулъ веселья,
Пальба и барабанъ и вой зурны.
Изъ устъ въ уста ходила азартница,
И хлопали въ ладони сотни рукъ,
Когда ты шла, Майко, сердца и взоры тѣша,
Плясать по выбору застѣнчивыхъ подругъ.
Сегодня вновь безлюдное ущелье
Глядитъ пустыней, мирная пальба
Затихла, выспалось похмелье,
И съѣхала съ горы послѣдняя арба...

Что жъ, медлю я... Бичд! — ты конюхъ мой проворный, —
Ковя!.. Ея арбу два буйвола съ трудомъ
Везутъ, — догонимъ... Вонъ, играетъ вѣтеръ горный
Камибы бархатной пунцовыми рукавомъ.

Сравните благородныхъ, но безъмянныхъ черкесовъ романтической поэзіи — съ менѣе благородными, но зато настоящими живыми туземцами, въ родѣ татарина Агбара, или героического разбойника Тамуръ-Гассана.

Вставай, привратникъ, отворяй
Ворота въ караванъ-сарай!
Готовъ ночлегъ для каравана
И въ гости жди и угощай
Разбойника Тамуръ-Гассана!
Далеко слухъ идетъ о немъ:
Тамуръ-Гассану нипочемъ
Отбить быковъ, связать чабана —
Рука съ нацѣленнымъ ружьемъ
Дрожить при имени Гассана.

Молва ве даромъ бережетъ
Его отъ пули и булата,
Онъ въ трехъ имперіяхъ живеть
И съ каждой въ дань себѣ береть
Коней, оружіе и злато.

Хоть и въ горахъ живеть скитальцемъ, —
 Самъ по себѣ такой же ханъ,
 Возьметъ червонцы у армянъ,
 Но бѣдняка не тронеть пальцемъ,
 Дасть богомольцу золотой
 И съ Богомъ въ путь его проводить.

Мы помнимъ, какимъ безцвѣтнымъ языкомъ изъясняются кавказскія героини у Пушкина и Лермонтова. Даже влюбившись въ демона, княжна Тамара не находить яркихъ словъ и читаетъ стихи точно на урокѣ изъ русской словесности:

Отецъ, отецъ, оставь угрозы,
 Свою Тамару не брани,
 Я плчу, видиши эти слезы,
 Уже не первыя онѣ — и т. д.

Такихъ литературныхъ упражненій мы у Полонского не находимъ. Вотъ какимъ настоящимъ языкомъ говорять у него кавказскія женщины:

Онъ у каменной башни стоялъ подъ стѣной;
 И я помню, на немъ былъ кафтанъ дорогой,
 И мелькала подъ краснымъ сукномъ
 Голубая рубашка на немъ...

Золотая граната растетъ подъ стѣной;
 Всѣхъ плодовъ не достать никакою рукой;
 Всѣхъ красивыхъ мужчинъ для чего
 Стала бѣ я привораживать!...

Разлучили, скубили пасъ горы, холмы
 Эриванскіе! Вѣчно холодной зимы
 Вѣчнымъ снѣгомъ покрыты они!..

Обо мнѣ
 Въ той странѣ, милый мой, не забудешь ли ты?

Говорять, злая вѣсть къ намъ оттуда пришла?
 За горами кровавая битва была!
 Тамъ засада была... Говорять,
 Будто нашихъ сарбазовъ отрядъ
 Истребленъ ненавистной измѣной... Чу!
 Кто-то скачеть, копыта стучать...
 Пыль столбомъ... Я дрожу и молитву шепчу...
 Не бросай въ меня камнями!..
 Я и такъ ужъ ранена...

VII.

Кавказская жизнь не была только картиною для молодого поэта; она повидимому сильно задѣла и его личное существование. Но онъ сохранилъ свободу души и ясность поэтическаго сознанія:

Я не приду къ тебѣ... Не жди меня! Недаромъ,
Едва потухло зарево зари,
Всю ночь зурна звучить за Авлабаромъ,
Всю ночь за баними поютъ сазандари.

Не ты ли тамъ стоишь на кровлѣ подъ чадрою
Въ сіянѣ мѣсячномъ? Не жди меня, не жди?
Ночь слишкомъ хороша, чтобы я провелъ съ тобою
Часы, когда душѣ простора нѣтъ въ груди...
Когда сама душа, сама душа не знаетъ,
Какой еще любви, какихъ еще чудесъ
Просить или желать, но просить, но желаетъ,
Но молится предъ образомъ небесъ, —
И чувствуетъ, что уголокъ твой душенъ,
Что не тебѣ моимъ моленіямъ отвѣтить...
Н ежди! Я въ эту ночь къ соблазнамъ равнодушенъ,
Я въ эту ночь къ тебѣ не буду ревновать.

Неизвѣстно, какъ отнеслась прекрасная грузинка къ этому простодушно-нелюбезному обращенію и чѣмъ она его объяснила; но для пасъ совершенно ясно, что главная причина тутъ была «Царь-дѣвица» (см. начало статьи), которая напомнила о себѣ поэту своимъ отраженіемъ въ ночномъ небѣ и не допустила его погружаться въ омуть «соблазновъ» болѣе, чѣмъ слѣдовало.

Какъ итогъ всего пережитаго имъ на Кавказѣ, поэтъ вынесъ бодрое и ясное чувство духовной свободы.

Душу къ битвамъ житейскимъ готовую
Я за снѣжный несу перевалъ...
Я Каабекъ миновалъ, я Крестовую
Миновалъ, недалеко Дарьяль.
Слышу, Терека волны тревожныя
Въ мутной пѣнѣ по камнямъ шумятъ;
Колокольчикъ звенить и надежные
Кони юношу къ сѣверу мчать.
Выси горъ, въ облака погруженныя,
Разступитесь! Приволье станицъ..
Разстилаются степи зеленыя...

Я простору не вижу границъ.
И душа на просторъ вырывается
Изъ-подъ власти кавказскихъ громадъ...
Колокольчикъ звенитъ — заливается,
Кони юношу къ съверу мчать.

Все, что было обманомъ, измѣниоу,
Что лежало на мнѣ словно цѣль, —
Всё исчезло изъ памяти — съ пѣною
Горныхъ рѣкъ, выбѣгающихъ въ степь.

Это чувство задушевнаго примиренія, отнимающаго у «житейскихъ битвъ» ихъ острый и мрачный, трагический характеръ, осталось у нашего поэта на всю жизнь и составляетъ преобладающей тонъ его поэзіи. Очень чувствительный къ отрицательной сторонѣ жизни, къ ея злобѣ и пустотѣ — онъ не сдѣлялся пессимистомъ, не впалъ въ уныніе, которое есть смертельный грѣхъ не только для религіи и философіи, но также и для поэзіи. Въ самыя тяжелыя минуты личной и общей скорби для него не закрывались «щели изъ мрака къ свѣту».

Мой умъ подавленъ былъ тоской,
Мои глаза безъ слезъ горѣли;
Надъ озеромъ сплетались ели,
Чернѣль камышъ, — сквозили щели
Изъ мрака къ свѣту надъ водой,
И много, много звѣздъ мерцало;
Но въ сердце мнѣ почная мгла
Холодной дрожью проникала,
Мнѣ видѣлось такъ мало, мало
Лучей любви надъ бездной зла.

Но эти лучи никогда не погасали въ его душѣ, они отняли злобу у его сатиры и позволили ему создать его оригинальнѣйшее произведение «Кузнечикъ-Музыкантъ».

Чтобы ярче представить сущность жизни, поэты иногда продолжаютъ, такъ сказать, ея линіи въ ту или въ другую сторону. Такъ Данте вымоталъ человѣческое зло въ девяти грандиозныхъ кругахъ своего ада. Полонскій стянулъ и скжалъ обычное содержаніе человѣческой жизни въ тѣсный мірокъ настѣкомыхъ. Данту пришлось надъ мрачною громадою своего ада возвѣгнуть еще два огромные міра — очищающаго огня и торжествующаго свѣта: Полонскій могъ вмѣстить очищающій и просвѣтляющій моменты въ тотъ же уголокъ поля и

парка. Пустое существование, въ которомъ все дѣйствительное мелко, а все высокое есть иллюзія — существование человѣкообразныхъ насѣкомыхъ или насѣкообразныхъ людей, — преобразуется, получаетъ достоинство и красоту силою чистой любви и безкорыстной скорби. Этотъ смыслъ, разлитый во всей поэмѣ, сосредоточивается въ заключительной сценѣ — похоронѣ, производящей до извѣстной степени, несмотря на микроскопическую канву всего рассказа, то очищающее душу впечатлѣніе, которое Аристотель считалъ назначениемъ трагедии.

Первостепенное мѣсто въ русской поэтической литературѣ было бы обеспечено за Полонскимъ и въ томъ случаѣ, если бы онъ создалъ только «Кузнецика-Музыканта», подобно тому, какъ Грибоѣдовъ всѣмъ своимъ литературнымъ значеніемъ обязалъ единственно своей знаменитой комедіи. Но у Полонского, слава Богу, много и другого багатства, которому мы дали очень цеполный инвентарь. Изъ болѣе крупныхъ жемчужинъ назовемъ еще «Кассандру».

Замѣтимъ однако, что она не безъ изъяна, отъ котораго, впрочемъ, ее очень легко было бы избавить, — стоитъ только зачеркнуть четвертую и пятую строфу, не измѣня ни буквы въ предыдущемъ и въ послѣдующемъ. Дѣло въ томъ, что эти двѣ строфы (отъ стиха «Аполлона жрецъ суровый» и до стиха «Шла изъ отчаго дворца» включительно) составляютъ пояснительную вставку, излишнюю для пониманія и рѣшительно портящую поэтическое впечатлѣніе. Препосходный образъ идущей на свиданіе съ Аполлономъ пророчицы:

Лишь Кассандра легче тѣни,
Не спѣша будить отца,
Проскользнула на ступени
Златоверхаго дворца;

Ей въ лицо прохлада дышитъ,
Ночи темь въ ея очахъ;
Складки длинныя колышеть
Удаляющійся шагъ...
Глухи Гектора чертоги, —
Только храмы настежь, — тамъ
Только мраморные боги
Предвкушаютъ ѿміамъ...

Этотъ прекрасный образъ и прекрасные стихи вдругъ прерываются объясненіемъ закулисной тайны — какъ и почему жрецъ Аполлона подстроилъ это дѣло:

Въ этомъ видѣль онъ спасенье
Трои, замкнутой врагомъ,
И ей даль благословенъе
Сочетаться съ божествомъ;
Скрывъ свое негодовалье
Къ назиданіямъ жреца,
Дочь Пріама на свиданье
Шла изъ отчаго дворца...

Это неумѣстное объясненіе, изложенное ужасно прозаическими стихами, сильно портитъ поэму; а между тѣмъ ничто не мѣшаетъ его выпустить и послѣ мраморныхъ боговъ, предвкушающихъ юніамъ, прямо продолжать:

Вотъ ужъ видны ей: могила,
Съ новой урной саркофагъ,
Даль залива, и вѣтрила,
И костры, и дымъ въ горахъ...

Далѣе черезъ нѣсколько строфъ есть еще маленькая вставка, менѣе портящая дѣло, но все-таки лишняя и столь же легко устранимая, именно начало рѣчи самой Кассандры:

Полюбила бъ я, быть можетъ,
Да любви мѣшаетъ стыдъ...
Участь родины тревожить...
Непрѣбѣтность тяготить...

Зачѣмъ это флегматическое разсужденіе, мало соотвѣтствующее обстоятельствамъ времени, мѣста и образа дѣйствія, когда далѣе слѣдуютъ такие ясные и сильные стихи:

Ты стрѣлой сразилъ Ахилла,
Но Зевесь, отецъ твой, намъ
За Ахилла мстить, и сила
Напираеть на Пергамъ.
Я устала ненавидѣть,
Я любить хочу, но знай, —
Я, любя, хочу предвидѣть, —
Дарь предвидѣнья мнѣ дай!

VIII.

Въ большихъ поэмахъ Полонского изъ современной жизни (человѣчьей и собачьей), вообще говоря, внутреннее значеніе не соот-

вѣтствуетъ объему. Нельзя однако согласиться съ тѣми критиками, которые отрицаютъ у этихъ стихотворныхъ повѣстей всякое поэтическое достоинство и увѣряютъ, что авторъ писалъ ихъ стихами только потому, что ему легко дается версификація. Но не менѣе легко онъ можетъ писать и прозой, какъ доказываютъ его обширные романы. Во всякомъ случаѣ было бы жалко, если бы онъ не воспользовался стихомъ для такого напримѣръ описанія (въ поэмѣ «Мими»):

Вотъ онъ плѣдъ свой перекинулъ
На плечо и, не тревожа
Спящей, темными дверями
Вышелъ вонъ дышать цвѣтами
Южной ночи, въ этомъ садѣ,
Въ этой трепетной прохладѣ,
Гдѣ богинь не мало бѣлыхъ,
Подъ рѣзцомъ окаменѣлыхъ,
Въ неподвижныхъ покрывалахъ,
На высокихъ нѣдесталахъ.

Гдѣ изъ-за горы лѣсистой,
Озаренное луною,
Свѣтить море золотистой
Уходящей полосою,
И, любовно ластясь къ соннымъ
Берегамъ, загроможденнымъ
Сглаженнымъ валунами,
Лоснящимися волнами
Ихъ зализываетъ раны
И на отмели песчаны
Точно сыплеть жемчугами
Перекатными; и мнится,
Кто-то ходитъ и боится
Разрыдаться, только точитъ
Слезы, въ чью-то дверь стучится
То шурша назадъ волочитъ
По песку свой шлейфъ, то снова
Возвращается туда же
И затѣмъ же... и другого
Ничего нѣтъ, — вѣчно та же
Музыка, пульсъ жизни вѣчной —
Мировой, земной, сердечной.

Настоящее собраніе стихотвореній Полонскаго достойно заканчивается правдивымъ поэтическимъ разсказомъ «Мечтатель». Смыслъ
<http://rcin.org.pl>

его въ томъ, что мистическая мечта рано-умершаго героя оказывается чѣмъ-то очень дѣйствительнымъ.

Вообще въ послѣднихъ своихъ произведеніяхъ Полонскій заглядываетъ въ самые коренные вопросы бытія. Между прочимъ его поэтическому сознанію становится ясною тайна времени — та истина, что время есть только перестановка въ разныя положенія одного и того же существеннаго смысла жизни, который самъ по себѣ есть вѣчность. Указанія на эту истину я вижу въ стихотвореніи «Аллегорія», яснѣе — въ стихотвореніи «То въ темную бездну, то въ свѣтлую бездну», и всего яснѣе и живѣе сводить поэтъ концы съ концами временнаго существованія въ одинъ кругъ вѣчности въ слѣдующихъ стихахъ:

Дѣтство нѣжное, пугливое,
Безмятежно шаловливое —
Въ самый холодъ вешнихъ дней
Лаской матери пригрѣтое
И навѣки мной отпѣтое
Въ дни безумства и страстей,
Нынѣ всѣми позабытое,
Подъ морщинами скрытое
Въ нѣдрахъ старости моей, —
Для чего ты вновь встревожило
Зимній сонъ мой, — словно ожило
И повѣяло весной? —

— Старче! Развѣ ты — не я?
Я съ тобой навѣки связано,
Мной вся жизнь тебѣ подсказана,
Въ ней сквозить мечта моя: —
Не напрасно вновь являюсь я, —
Твоей смерти ожидаюсь я,
Чтобъ припомнило и я
То, что въ дни моей безпечности
Я забыло въ нѣдрахъ вѣчности, —
То, что было для меня.

Этимъ прекраснымъ, оригинальнымъ и глубокомысленнымъ комментариемъ на евангельский стихъ: «если не обратитесь и не будете какъ дѣти, не войдете въ Царствіе Небесное» — заключу я свой краткий и неполный очеркъ; моя задача была не исчерпать поэзію Полонского, а только отмѣтить въ ней самое цѣнное на мой взглядъ.

Сергѣй Михайлович Соловьевъ.

1896.

Нѣсколько данныхъ для его характеристики.

Со времени смерти моего отца появилось о немъ нѣсколько пре-
восходныхъ статей, написанныхъ лицами, хорошо его знавшими, какъ,
напримѣръ, проф. В. И. Герье, К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, В. О. Клю-
чевскій. Но эти авторы не имѣли въ рукахъ тѣхъ цѣнныхъ данныхъ,
которые заключаются въ оставшихся послѣ отца неоконченныхъ за-
пискахъ. П. В. Безобразовъ, въ составленномъ имъ «біографическомъ
очеркѣ» (изд. Павленкова), который вполнѣ удовлетворяетъ своему
назначенію, могъ лишь отчасти воспользоваться этимъ матеріаломъ.
Что касается до напечатанныхъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» (1896 г.,
февраль—май) извлеченій изъ записокъ, то они, къ сожалѣнію, подо-
бранны столь односторонне, что производятъ на знакомаго съ полнымъ
текстомъ такое впечатлѣніе — разумѣется, помимо прямого намѣ-
ренія издателя — какъ будто имѣлось въ виду огласить, главнымъ
образомъ, то, что непріятно для постороннихъ лицъ, пропуская все
наиболѣе характерное для самого автора записокъ; а читатели, не
знавшіе его лично и незнакомые съ его подлинными записками, полу-
чаютъ о немъ совершенно невѣрное представление. Необходимое, ради
этого обстоятельства, хотя и нѣсвоевременное въ другихъ отноше-
ніяхъ, изданіе записокъ въ полномъ видѣ будетъ сдѣлано мною и
моимъ младшимъ братомъ; но такъ какъ это можетъ во всякомъ слу-
чаѣ потребовать нѣкотораго времени, то я рѣшился теперь же вос-
пользоваться ими (въ полномъ видѣ), какъ матеріаломъ преимуществен-
но для характеристики духовной индивидуальности ихъ автора.
Быть можетъ, кто-нибудь найдетъ, что не подобаетъ сыну говорить

въ печати о своемъ отцѣ. Но, во-первыхъ, въ настоящемъ случаѣ я не столько буду говорить объ отцѣ, сколько указывать и резюмировать то, что онъ самъ говорилъ о самомъ себѣ и о своей жизни въ откровенной бесѣдѣ съ своими дѣтьми; а во-вторыхъ, всякий соглашается, что каково бы ни было общее правило, могутъ быть особыя обстоятельства, въ силу которыхъ публичное возстановленіе нравственного образа отца не только дозволяется сыну приличiemъ, но и требуется отъ него нравственнымъ долгомъ.

I.

У большинства такихъ людей, какъ авторъ «Записокъ», главные интересы ихъ жизни опредѣляются еще въ раннемъ возрастѣ, въ формѣ прирожденныхъ стремлений. У него же эти интересы были: религіозный, научный, патріотический. Ни одинъ изъ нихъ не преобладалъ исключительно, да они и не боролись за преобладаніе въ его душѣ, будучи внутренно между собою связанны, — и потому поддерживая, а не отрицаая другъ друга. Занятія русскою исторіею и вызывались и питались любовью къ родинѣ, но самостоятельный научный интересъ въ этихъ занятіяхъ предохранялъ историка отъ патріотической «ревности не по разуму», отъ увлеченій узкаго и слѣпого націонализма. По его мнѣнию, непремѣннымъ условиемъ научности должно быть *сравнительное* изученіе однородныхъ явлений; поэтому онъ очень скептически относился къ тѣмъ специалистамъ по русской исторіи, которые, читая свободно только по-русски, не знаютъ ничего, кроме своего прямого предмета. Самъ онъ, владѣя (для чтенія) восемью иностранными языками, основательно и всесторонне изучалъ всемирную исторію, а въ видѣ отдыха любилъ читать сочиненія по географіи, этнографіи, языкковѣдію и общимъ вопросамъ естествознанія.

Широта научнаго взгляда, просвѣщаая и очеловѣчивая патріотическія чувства, оказываетъ такое же благотворное влияніе и на чувства религіозныя. Глубокая сердечная вѣра у автора «Записокъ» была совершенно свободна отъ той *напряженности*, которую поверхностный взглядъ принимаетъ за силу. Непоколебимо увѣренный въ положительныхъ истинахъ христіанства, неизмѣнно и открыто привязанный къ существующимъ формамъ церковнаго благочестія, онъ никогда не подчеркивалъ своей религіозности, не ставилъ ее ребромъ и никого не

хотѣлъ стѣснять єю. Онъ не павязывалъ своихъ религіозныхъ воззрѣй не только своимъ друзьямъ, но даже роднымъ дѣтямъ. Съ этой стороны мнѣ самому пришлось оцѣнить его вполнѣ. Будучи съ дѣтства занятъ религіозными предметами, я въ возрастѣ отъ 14 до 18 лѣтъ прошелъ черезъ различныя фазы теоретического и практическаго отрицанія. Отецъ это зналъ, такъ какъ я пересталъ ходить съ нимъ въ церковь. Но онъ ни однимъ словомъ не окказалъ на меня прямого воздѣйствія, ограничиваясь лишь изрѣдка легкими насмѣшками надъ различными *измажами* и надъ моими тогдашними божками въ родѣ Ренана. Заставши меня однажды надъ запрещеною книгою этого писателя, онъ сказалъ только: «Если уже хочешь читать въ этомъ направлениі, то взяль бы что-нибудь получше, напримѣръ — Жозефа Сальвадора; этотъ еврей куда сильнѣе твоего краснобая съ фальшивыми цитатами». И однако тутъ вовсе не было равнодушія: вскорѣ послѣ этого одинъ случайный разговоръ, взволновавшій отца до слезъ, показалъ мнѣ, до какой степени огорчало его мое скороспѣлое невѣріе, хотя, конечно, онъ догадывался, что это только болѣзнь роста. Но своимъ отношеніемъ ко мнѣ въ этомъ случаѣ онъ далъ мнѣ почувствовать религию какъ нравственную силу, и это, конечно, было дѣйствительнѣе всякихъ обличеній и наставленій.

II.

Главные духовные интересы у автора «Записокъ», опредѣлившіе общее направленіе его жизни и дѣятельности, проявились, какъ я сказала, съ раннаго возраста. Ихъ укрѣпленію способствовали благопріятныя условія его воспитанія въ дѣтствѣ, особенно вліяніе превосходной няни Марьюшки. Вотъ какъ онъ самъ разсказываетъ въ своихъ «Запискахъ» о первоначальной порѣ своей жизни, — этимъ разсказомъ и начинаются «Записки для дѣтей моихъ, а если можно, и для другихъ», съ эпиграфомъ: «Въ трудахъ отъ юности моей».

«5 мая 1820 года, въ одиннадцать часовъ пополудни, наканунѣ Вознесенія, у священника московскаго коммерческаго училища родился сынъ Сергій — слабый, хворый недоносокъ, который цѣлую недѣлю не открывалъ глазъ и не кричалъ. Помню я тѣсную, плохо меблированную квартиру отца моего, въ нижнемъ этажѣ, выходившую на большой дворъ училища, гдѣ въ послѣобѣденное время и вечеромъ гуляли воспитанники. Самыми близкими и любимыми суще-

ствами для меня въ раннемъ дѣтствѣ были — старая бабушка и нянѣка. Послѣднія, думаю, имѣла не малое вліяніе на образованіе моего характера. Эта женщина (т. е. старая дѣвушка), сколько я помню самъ и какъ мы разсказывали другіе, обладала прекраснымъ, чистымъ характеромъ: она была сильно набожна, но эта набожность не придавала ея характеру ничего суроваго; она сохраняла постоянно общительность, веселость, желаніе занять, повеселить другихъ, большихъ и малыхъ. Нѣсколько разъ, не менѣе трехъ, путешествовала она въ Соловецкій монастырь и столько же разъ въ Кіевъ, и разсказы объ этихъ путешествіяхъ составляли для меня высочайшее наслажденіе; если я и родился со склонностью къ занятіямъ историческимъ и географическимъ, то постоянные разсказы старой няни о своихъ хожденіяхъ, о любопытныхъ дальнихъ мѣстахъ, о любопытныхъ приключеніяхъ, не могли не развить врожденной въ ребенкѣ склонности. Какъ теперь я помню эти вечера въ нашей тѣсной дѣтской: около большого стола садился я на свое мѣсто въ стулѣкѣ, дѣвъ сестры, которыхъ обѣ были старше меня — одна тремя, а другая шестью годами, — старая бабушка съ чулкомъ въ рукахъ и нянѣка-рассказчица, также съ чулкомъ и въ удивительныхъ очкахъ, которыхъ держались на носу только. Небольшая, худощавая старушка, съ очень пріятнымъ, выразительнымъ лицомъ (а тогда для меня просто прелестнымъ), съ добродушно-насмѣшилою улыбкою, безъ умолку рассказывала о странствованіяхъ своихъ вдоль по Великой и Малой Россіи. Я упомянуль о веселомъ характерѣ старушки, о ея добродушно-насмѣшилої улыбкѣ: и въ разсказахъ своихъ она также любила шутливый тонъ, была мастерица разсказывать забавныя приключенія, и даже въ приключеніяхъ вовсе незабавныхъ умѣла подмѣтать забавную сторону. Такъ, напримѣрь, я очень хорошо помню разсказать ея о бурѣ, которую вытерпѣло судно съ богомольцами въ устьяхъ Сѣверной Двины, — приключение нисколько не забавное, и, несмотря на то, разсказать этого обыкновенно повторялся, когда молодой компаний хотѣлось посмѣяться, потому что рассказчица цѣобыкновенно живо и комично представляла отчаяніе одного портного, который метался изъ одного угла судна въ другой, крича: «О, андѣль-хранитель!»

«А между тѣмъ судьба моей рассказчицы вовсе не была весела. Родилась она въ Тульской губерніи, въ помѣщичьей деревнѣ. Однажды, когда отецъ и мать ея были въ полѣ, и она, маленькая дѣвочка, оставалась одна въ избѣ, приходитъ приказчикъ и съ нимъ какіе-то незна-

комые люди: то были купцы, которымъ была запрдана дѣвочка; несчастную взяли и повезли изъ деревни, не давши проститься ни съ отцомъ, ни съ матерью. Потомъ ее перепродали въ Астраханскую губернію, въ Черный-Ярь, къ купцу. Рассказы обѣ этой дальней стороны, которой природа такъ рѣзко отлична отъ нашей, о Волгѣ, о рыбной ловлѣ, большихъ фруктовыхъ садахъ, о калмыкахъ и киргизахъ, о похищениіи послѣдними русскихъ людей, обѣ ихъ страданіяхъ въ неволѣ и бѣгствѣ — также сильно меня занимали. Занимали и рассказы о собственной судьбѣ разсказчицы, о сильныхъ гоненіяхъ, которая она претерпѣвала отъ хозяйстваго сына; я не могъ понимать причины гоненій, потому что на вопросы получалъ единѣ отвѣтъ: — *да такъ!* И сынъ черноярскаго купца представлялся мнѣ сказочнымъ злодѣемъ, который дѣлаетъ зло для зла. Я уже послѣ угадалъ причину гоненій, когда угадалъ, за что жена Пентефрія такъ сильно разсердилась на Іосифа.

«Но старый купецъ съ женою иначе смотрѣли на свою рабу и по прошествіи извѣстнаго срока отпустили ее на волю за усердную службу. Ей захотѣлось возвратиться на родину, но какъ это сдѣлать? — у нея была отпускная, но не было денегъ, и вотъ она пошла въ кабалу къ купцамъ, отправившимся съ товарами въ Москву, т. е. тѣ обязались доставить ее на родину съ тѣмъ, чтобы она послѣ заслужила у нихъ деньги, сколько стоилъ провозъ. Трагательенъ былъ разсказъ о свиданіи ея съ матерью, съ которой она должна была скоро опять разлучиться и переселиться въ Москву, гдѣ стала наниматься въ услуженіе.

«Я упомянула обѣ умственному вліянію разсказовъ моей нянки, но я не могу не признать и религіозно-нравственнаго вліянія; бывало, начнетъ она рассказывать о какомъ-нибудь страшномъ приключеніи съ нею на дорогѣ, о бурѣ на морѣ, о встрѣчѣ съ подозрительными людьми, я въ сильномъ волненіи спаршивала ее: «И ты это не испугалась, Марьушка?» — и получаю постоянно въ отвѣтъ: — «А Богъ-то, батюшка?» Если я и родился съ религіознымъ чувствомъ, если въ трудныхъ обстоятельствахъ моей жизни меня поддерживаетъ постоянно надежда на Высшую Силу, то думаю, что не имѣю права отвергать и вліянія нянкиныхъ словъ: — «А Богъ-то!»

«Отходивши меня, Марья-нянка (такъ ее называли въ домѣ) жила нѣсколько времени въ Москвѣ уже не въ услуженіи, а собственнымъ хозяйствомъ, и вдругъ собралась въ дальний путь, въ старый

Іерусалимъ. Изъ Одессы мы получили отъ нея письмо, въ которомъ она уведомляла, что садится на корабль. Послѣ возвратившіяся богохвалки сказывали, что видѣли ее на Аeonской горѣ — и то была послѣдняя вѣсть.

«Я распространился о старой нянѣ моей, потому что влияніе ея на образованіе моего характера считаю довольно сильнымъ, и потому еще, что послѣ я не встрѣчалъ подобной нянѣ, не могъ я найти для своихъ дѣтей нянѣ, хотя сколько-нибудь похожей на мою Марьушку. Теперь перейду къ другимъ влияніямъ, которыхъ начали действовать, когда уже я сталъ выростать. Важное влияніе на образованіе моего характера оказала тихая, скромная жизнь въ домѣ отцовскомъ, отсутствіе всякихъ дѣтскихъ развлечений; сестры мои, какъ я уже сказалъ, были гораздо старше меня, ихъ скоро отдали въ пансионъ, и я по цѣлымъ днямъ оставался совершенно одинъ; вотъ почему, когда я выучился читать, то съ жадностью бросился на книги, которыхъ и составляли мое главное развлеченіе и наслажденіе. Восьми лѣтъ записали меня въ духовное училище съ правомъ оставаться дома и являться только на экзамены; самъ отецъ училъ меня дома Закону Божию, латинскому и греческому языкамъ; для другихъ же предметовъ я посещалъ классы коммерческаго училища. Въ послѣднемъ учили плохо, но зато я получилъ больше средствъ получать книги и предаваться моей страсти къ чтенію» . . .

III.

Говоря о своемъ первоначальномъ чтеніи, авторъ «Записокъ» совсѣмъ не упоминаетъ о дѣтскихъ книгахъ, — специальная литература для дѣтей въ то время у насъ едва зарождалась и, повидимому, вовсе не проникала въ ту среду, где воспитывался отецъ. Это отсутствіе преднарѣнно-приспособленного чтенія и искусственныхъ педагогическихъ воздействиій, при даровитой натурѣ, вызывало, конечно, раннее умственное развитіе. Бросившись на книги, будущій историкъ читалъ сначала безъ разбора все, что попадалось подъ руки — большую частью романы оригиналные и переводные. Это чтеніе, по его словамъ, было вредно, такъ какъ распаляло воображеніе ребенка. Такой вредъ, однако, не могъ быть значительнымъ.

«Очень скоро, — продолжаетъ онъ, — врожденная склонность взяла верхъ: между книгами отцовскими я нашелъ всеобщую исто-

рю Бассалаева, и эта книга стала мою любимицею: я съ нею не разставался, прочель ее отъ доски до доски безконечное число разъ, особенно прельстила меня римская исторія. Велико было мое наслажденіе, когда послѣ краткой исторіи Бассалаева я досталь довольно подробную исторію аббата Милота, нѣсколько разъ перечель и эту, и теперь еще помню изъ нея цѣлыхъ выраженія. Единовременно, кажется, съ Милотомъ попала мнѣ въ руки и исторія Карамзина: до тринадцати лѣтъ, т. е. до поступленія моего въ гимназію, я прочель ее не менѣе двѣнадцати разъ, разумѣется, безъ примѣчаній, но нѣкоторые томы любилъ я читать особенно; самые любимые томы были — шестой: княженіе Иоанна III, и осмой — первая половина царствованія Грознаго; здѣсь дѣйствовалъ во мнѣ отроческій патріотизмъ: любилъ я особенно времена счастливыя, славныя для Россіи; взявши, бывало, девятый томъ, я нехотя читаю первыя главы и стремлюсь къ любимой страницѣ, гдѣ на полѣ стоитъ: «Славная осада Пскова». Живо помню, какъ я ненавидѣлъ Баторія, по цѣлымъ днямъ мечталъ я: — а чтѣ, если бъ вдругъ самъ царь Иванъ принялъ начальство надъ войскомъ и разбилъ бы Баторія, взялъ бы опять и Полоцкъ, и Ливонію? Представлялось живо, съ какимъ торжествомъ Иванъ вѣзжаетъ въ Москву, везя пленного Баторія. Мечталось мнѣ и то: — а что если по какому-нибудь счастливому случаю отыщутъ продолженіе исторіи Карамзина! Двѣнадцатый томъ мнѣ не очень нравился, именно потому, что въ немъ описываютя одни бѣдствія Россіи, и, какъ нарочно, авторъ остановился тамъ, гдѣ долженъ начаться счастливый поворотъ событий. Вмѣстѣ съ книгами историческими, любимымъ чтеніемъ моимъ были и путешествія. Нѣсколько разъ прочель я многотомную «Исторію о странствіяхъ вообще», также «Всемирного путешествователя».

«Таковы были мои занятія до тринадцати лѣтъ; я уже сказалъ, что въ коммерческомъ училищѣ учили плохо, — учителя были до-потопные. Дома отецъ мой не имѣлъ времени заниматься со мною постоянно; давши мнѣ въ руки латинскую и греческую грамматику, онъ часто по нѣсколько недель не требовалъ отъ меня отчета въ томъ, что я изъ нея выучилъ; но какая же охота были долбить: amo, amas, amat, и *τιλτω*, *τιλτεις*, *τιλтети*, — мальчику, который постоянно или защищалъ Псковъ отъ Баторія, или вмѣстѣ съ Муциемъ Сцеволою клать на руку уголья, или съ Колумбомъ открывать Америку? Обыкновенно, каждый день по нѣсколько часовъ я дер-

жалъ передъ собой латинскую грамматику, но внутри ея лежала другая книжка поменьше, обыкновенно какой-нибудь романъ. Отъ этого происходило, что когда отецъ вдругъ начнетъ меня спрашивать, или задастъ задачу, т. е. переводъ съ русскаго на латинскій или греческій, то я отвѣчалъ плохо, и въ задачахъ моихъ «аористы» сильно страдали. То же самое случалось и на экзаменахъ въ духовномъ уѣздномъ училищѣ, которое помѣщалось въ Петровскомъ монастырѣ. Побѣзди на эти экзамены были самыми бѣдственными событиями въ моей отроческой жизни, ибо кромѣ того, что на экзаменахъ я большею частью отвѣчалъ неудовлетворительно, что огорчало моего отца, — самое училище возбуждало во мнѣ сильное отвращеніе по страшной неопрятности, бѣдному, сальному виду учениковъ и учителей, особенно по грубости, звѣрству послѣднихъ; помню, какое страшное впечатлѣніе на меня, нервнаго, раздражительного мальчика, произвѣлъ поступокъ одного тамошняго учителя: одинъ изъ учениковъ сдѣлалъ какую-то вовсе незначительную шалость, — учитель подошелъ, вырвалъ у него цѣлый клохъ волосъ и положилъ ихъ передъ нимъ на столъ. Я чуть-чуть не упалъ въ обморокъ отъ этого ирокезскаго поступка» . . .

IV.

Съ воспоминаніями дѣтства авторъ связываетъ въ своихъ «Запискахъ» довольно обширное разсужденіе о состояніи духовенства бѣлаго и чернаго въ ту эпоху, къ которой относится начало самыхъ записокъ. Въ этомъ разсужденіи многое имѣть не только историческій интересъ, но важно и для характеристики писавшаго, именно со стороны его религіозной точки зрѣнія, — его просвѣщенаго православія, свободнаго отъ вся资料а ханжества и идололоженія, отъ всякаго преклоненія передъ преходящими историческими формами, человѣческими оболочками божественныхъ вещей. Отзывы историка єсть отношенія и лица того — нынѣ уже весьма отдаленаго — времени могутъ показаться слишкомъ рѣзкими и односторонними, но это впечатлѣніе рѣшительно измѣнится, если мы сравнимъ ихъ съ другими, уже появившимися въ нашей печати свидѣтельствами такихъ компетентныхъ лицъ, какъ, напр., бывшаго профессора московской духовной академіи Н. П. Гилярова-Платонова, или покойнаго архиепископа одесскаго и херсонскаго Никанора (въ «Русскомъ Обозрѣніи»). Поэтому нельзя не передать въ существенныхъ чертахъ

того, что авторъ говорить о тогдашнемъ положениі сословія, къ которому онъ принадлежалъ по своему рождению, и о нѣкоторыхъ его представителяхъ въ тѣ времена.

До Петра Великаго, — замѣчаетъ онъ, — общественное значеніе духовенства основывалось на томъ, что это было сословіе по преимуществу образованное, книжное. Когда реформа создала у насъ образованность свѣтскую, школу и литературу, независимую отъ духовенства, — это сословіе потеряло свое прежнее преимущество, не получивши новыхъ. Бѣдное, материально-зависимое, съ одностороннимъ, устарѣлымъ образованіемъ и особымъ «семинарскимъ» языкомъ, духовенство превратилось въ сословіе низшее, отчужденное отъ таекъ называемаго «хорошаго общества».

Бѣдственное состояніе русскаго духовенства, — объясняетъ далѣе авторъ «Записокъ», — увеличивалось еще болѣе раздѣленіемъ его на бѣлое и черное, — на черное, господствующее, и бѣлое — подчиненное . . . Явленіе, только дозволенное въ древней церкви, превратилось въ обыкновеніе, наконецъ, въ законъ, по которому высшее духовенство непремѣнно должно быть изъ чернаго духовенства, — монаховъ. И вотъ, сынъ дьячка какого-нибудь хорошо учится въ семинаріи, — близайшее начальство начинаетъ поставлять ему на видъ, что ему выгоднѣе постричься въ монахи и достигнуть высокаго сана, чѣмъ быть простымъ священнослужителемъ, — и вотъ, онъ съ этою цѣлью, а не по внутреннимъ нравственнымъ побужденіямъ, постригается въ монахи, становится архимандритомъ, ректоромъ семинаріи или академіи и т. д. Положеніе начальника и властителя въ монашескомъ одѣяніи представляется автору «Записокъ» нравственно-опаснымъ въ высшей степени. Свѣтскіе начальники все еще имѣютъ болѣе широкое образованіе, все еще боятся какого-то общественного мнѣнія, все еще находятъ ограниченіе въ разныхъ связяхъ и отношеніяхъ общественныхъ; тогда какъ высшее духовное лицо, въ своемъ замкнутомъ кругу, гдѣ остается, не встрѣчаетъ ни малѣйшаго ограниченія, оттуда не раздается никакой голосъ, воющій о справедливости, о защите . . . Сынъ дьячка, получившій самое грубое воспитаніе, не освободившійся отъ этой грубости никакъ въ семинаріи, пошедшій въ монахи безъ нравственного побужденія, и изъ одного честолюбія ставшій, наконецъ, повелителемъ изъ раба — онъ не знаетъ мѣры своей власти . . . Такое положеніе объясняется не только вышеизложеннымъ состояніемъ бѣлага духовенства, но

такжѣ воспитаніемъ въ семинаріяхъ, гдѣ жестокость и деспотизмъ въ обращеніи учителей и начальниковъ съ учениками были тогда доведены до крайности; чтобы быть хорошимъ ученикомъ, мало было хорошо учиться и вести себя нравственно, надобно было превратиться въ столпъ одушевленный, котораго одушевленіе выражалось бы постороннимъ поклоненіемъ предъ монахомъ — инспекторомъ и ректоромъ, уже не говоря о высшихъ. И вотъ, юноша, имѣющаго особенную склонность къ поклоненію, хотя бы и не такъ хорошо учился и не такъ отлично велъ себя, идетъ впередъ, постригается въ монахи и скоро становится начальникомъ товарищей своихъ, и легко догадаться, какъ онъ начальствуетъ!.. Выше уже объяснено, по какимъ побужденіямъ произносить такой юноша обѣты монашескіе: онъ пошелъ въ монахи не для того, чтобы бороться со страстями и подавлять ихъ, а, напротивъ, для удовлетворенія одной изъ самыхъ позукающихъ человѣка страстей — честолюбія. Авторъ «Записокъ» замѣчаетъ еще, что тѣ ученые монахи, которые подпадали человѣческимъ слабостямъ, были, вообще говоря, лучше: они мягче относительно другихъ, относительно подчиненныхъ. Гораздо хуже были тѣ, которые воздерживали себя, надѣвали личину святости; слабости мірскія остаются не удовлетворенные, но и не обузданы христіанскими нравственными началами, христіанскимъ подвижничествомъ. Душа невольнаго инока ищетъ удовлетворенія другимъ слабостямъ, удовлетворенія приличного и безнаказанного въ мірѣ семье; — отсюда необузданное честолюбіе, зависть, страшное высокомѣrie, требование бесполезнаго рабства и униженія отъ подчиненныхъ, ничѣмъ неедрживаемая запальчивость относительно послѣднихъ. «Разумѣется, — говоритъ авторъ, — были исключенія; но я говорю не объ исключеніяхъ» . . .

V.

Эти общія указанія подтверждаются у автора конкретными историческими примѣрами. Приведя нѣкоторыя черты изъ жизни митрополита Платона и архіепископа Августина, и разсказавъ исторію митрополита Серафима, который случайнымъ образомъ пошелъ въ монахи, но, впрочемъ, оказался «добрѣмъ, очень сноснымъ архіереемъ», авторъ «Записокъ» церекходитъ къ болѣе подробной характеристики знаменитаго Филарета московскаго. Достоинства и заслуги этого святителя слишкомъ извѣстны, и распространяться о нихъ въ интим-

ныхъ запискахъ ему не было никакой надобности. Вполнѣ признавая блестящія дарованія и безупречно-монашескій образъ жизни Филарета, авторъ останавливается преимущественно на отрицательной сторонѣ этого характера, отмѣченной и другими писателями.

«Принадлежка, безспорно, — говорить онъ, — къ числу даровитѣйшихъ людей своего времени, Филаретъ шелъ необыкновенно быстро, поддерживаемый масонскою партіею, къ которой принадлежалъ, и особенно другомъ своимъ, княземъ Алекс. Никол. Голицынымъ. Отъ природы ли получилъ онъ горячую голову и холодное сердце, или вслѣдствіе положенія его, вслѣдствіе отсутствія сердечныхъ отношеній, внутренняя теплота постоянно отливалась у него отъ сердца къ головѣ — только этотъ человѣкъ, для коротко звшихъ и наблюдавшихъ его, представлялъ печальное явленіе. Рожденный быть министромъ, онъ попалъ въ архіереи. Если бы онъ попалъ въ латинскіе прелаты, то онъ нашелъ бы себѣ дѣятельность» . . .

Филаретъ шелъшибко, — объясняетъ далѣе авторъ, — когда былъ угоденъ начальству, и былъ удаленъ, когда замѣтили въ немъ попытки служить себѣ или своему сословію. Онъ долженъ былъ перестатьѣздить въ Петербургъ для присутствія въ св. синодѣ, гдѣ «шпоры оберь-прокурора, гусарскаго офицера, графа Протасова, зацеплялись за его рясу». По смерти Серафима, Филарета оставили въ Москвѣ, а въ Петербургъ, т. е. въ первоприсутствующіе члены синода, взяли съ юга Антонія, человѣка незначительнаго, послѣ Антонія — Никанора изъ Варшавы, столь же незначительнаго, сравнительно съ Филаретомъ. Сначала было думали, что Филаретъ станетъ явно въ оппозицію; пѣкоторыя проповѣди показывали дѣйствительно въ немъ это направлѣніе, но это было минутное выраженіе досады оскорблennаго честолюбія; Филаретъ не могъ свыкнуться съ мыслью жить виѣ благосклонности начальства, архіереемъ опальнымъ, ибо опала эта уменьшила бы его значеніе; онъ сталъ угоджать и достигъ знаковъ благоволенія . . . Какъ сказано уже, у этого человѣка «была горячая голова и холодное сердце», и это рѣзко выразилось въ его проповѣдяхъ: «искусство необыкновенное, языкъ не-сравненный, но холодно, нѣть ничего, что бы обращалось къ сердцу, говорило ему» . . . Такой характеръ при дарованіяхъ самыхъ блестящихъ представлялъ въ Филаретѣ особое явленіе . . . «Сохрани Боже, если свѣтское лицо скажетъ что-нибудь прекрасное относительно религіи и церкви; сохрани Боже, если кто-нибудь изъ духов-

ныхъ, помимо его, скажетъ что-нибудь прекрасное, — онъ оскорблень. Талантъ находилъ въ немъ постояннаго гонителя; выдвигалъ, выводилъ въ люди онъ постоянно людей посредственныхъ, которые унижались передъ нимъ. Это унижение любилъ онъ болѣе всего, и ни одинъ архіерей не могъ соперничать съ нимъ въ этой любви; ни въ одной русской епархіи раболѣпство низшаго духовенства не было доведено до такой степени, какъ въ московской во время управлениія Филарета. Онъ не зналъ мѣры въ выраженіяхъ своего гнѣва на бѣднаго, трепещущаго священника или дьякона при самомъ ничтожномъ проступкѣ, при какомъ-нибудь неосторожномъ, неловкомъ дивженіи... И не должно думать, чтобы здѣсь были излишняя строгость, излишнія требованія отъ подчиненныхъ благочинія и нравственности. Троицкая лавра, подчиненная ему непосредственно, доказывала противное...» «Филаретъ требовалъ одного, чтобы всѣ клали поклоны ему, и въ этомъ полагалъ величайшую нравственность»...

Подъ особымъ гнетомъ находилась духовная академія московская и семинарія. «Преподаватели даровитые здѣсь были мучениками, какихъ намъ не представляеть еще исторія человѣческихъ мученій. Филаретъ по каплѣ выжималъ изъ нихъ, изъ ихъ лекцій, изъ ихъ сочиненій всякую жизнь, всякую живую мысль, пока, наконецъ... не превращалъ человѣка въ мумію. Такую мумію сдѣлалъ онъ изъ Горскаго, одного изъ самыхъ даровитыхъ и ученѣйшихъ между профессорами духовной академіи¹. Появится живая мысль у профессора въ преподаваніи, въ сочиненіи, Филаретъ вырываетъ ее, и, чтобъ отнять въ преподавателѣ охоту къ дальнѣйшему выражению такихъ мыслей, публично позорить его на экзаменѣ: — «Это что за нелѣпость!» — кричить онъ ему. Тотъ кланяется... Филаретъ не скрывалъ своего сочувствія къ іезуитамъ, говорилъ въ академіи: «какъ жаль, что столько талантовъ, учености, трудолюбія, самоот-

¹ Въ одинъ изъ послѣднихъ годовъ жизни А. В. Горскаго я былъ съ нимъ близокъ въ качествѣ вольного слушателя московской духовной академіи, гдѣ онъ былъ ректоромъ. При необъятной учености, ясномъ пониманіи труднѣйшихъ вопросовъ и необыкновенной сердечной добродѣтѣ этиотъ превосходный старецъ носилъ на себѣ печальные слѣды духовнаго гнета — въ крайней робости ума и малоплодности мысли сравнительно съ его блестящими дарованіями: онъ все понималъ, но боялся всякаго оригинального взгляда, всякаго *непринятаго* рѣшенія.

верженія, благонамѣренности употреблено на поддержаніе папскихъ заблужденій!» . . . Поданный имъ проектъ учрежденія миссіонерскихъ училищъ соотвѣтствовалъ такимъ симпатіямъ: императора Николая оскорбилъ этотъ проектъ, и онъ отвергнулъ его. «Въ академической библіотекѣ сохранялась книга о раскольникахъ, драгоценная по собственноручнымъ замѣчаніямъ митрополита Платона, слѣдующаго содержанія: — Споръ съ раскольниками невозможенъ, ибо для успѣшнаго окончанія всякаго спора необходимо, чтобы спорящіе признавали одно начало. Такъ, въ религіозномъ спорѣ необходимо, чтобы обѣ стороны признавали одинъ авторитетъ — священное писаніе; но невѣжественный раскольникъ одинаковую важность съ Евангеліемъ придаетъ и твореніямъ отцовъ, часто ошибавшихся, и приговорамъ соборовъ, также часто ошибочнымъ, житіямъ святыхъ и разнымъ повѣстямъ нелѣпымъ. Просвѣщенный богословъ опровергать его не можетъ уже и потому, что боится оскорбить и своихъ слабыхъ, благоговѣющихъ предъ всѣми этими авторитетами: и потому молчи, просвѣщенный богословъ, и ври, невѣжественный раскольникъ! — Филарету показали эту книгу; онъ взялъ ее къ себѣ и возвратилъ ее въ другомъ видѣ: строки, написанныя Платономъ, уже были уничтожены: «Зачѣмъ, — сказалъ онъ при этомъ, — позорить память такого знаменитаго пастыря» ². Какой-то невѣждѣ написалъ книгу противъ раскольниковъ, гдѣ мнѣніе папы Иннокентія III приписалъ Иннокентію I, другу Ioanna Златоустаго, а другой невѣждѣ поставилъ обоихъ Иннокентіевъ и приписалъ имъ одно и то же мнѣніе. Книга проходила чрезъ академическую цензуру; профессора представили ее Филарету съ указаніемъ явной нелѣпости: «Пропустить, — отвѣчалъ Филаретъ: — это можетъ принести *пользу*». Однажды Филаретъ выразилъ желаніе, чтобы кто-нибудь занялся опроверженіемъ Сведенборга, имѣющаго читателей и почитателей. Одинъ учѣный занялся дѣломъ и представилъ ректору изложеніе ученія Сведенборга и опроверженіе. Первая часть, изложеніе ученія, ужаснула ректора: «Какъ можно такъ писать! Сведенборгъ выходитъ у васъ очень уменъ». И давай вычеркивать изъ сочиненія все то, что могло выставить Сведенборга въ сколько-нибудь выгодномъ свѣтѣ; ревность стга-ректора дошла до того, что, встрѣтивъ извѣстіе: въ одной го-

² Этотъ случай былъ подробнѣе разсказанъ Н. П. Гиляровымъ-Платоновымъ въ „Руси“ Аксакова. См. мою замѣтку „О самочинномъ умствованіи“ („Вѣсты Европы“ 1892, дек., стр. 863).

стиницѣ Сведенборгъ имѣлъ видѣніе, онъ зачеркнулъ «гостиница» и написалъ: *кабакъ*. Въ этомъ исправленномъ видѣ сочиненіе было представлено Филарету; но тотъ нашелъ, что и тутъ оно представляеть Сведенборга въ выгодномъ свѣтѣ, и еще перемаралъ, такъ что когда ректоръ послѣ этого опять началъ читать статью, то съ самодовольнымъ смѣхомъ повторялъ: «Какой этотъ Сведенборгъ былъ дуракъ!»

«Въ такомъ печальному состояніи, — продолжаетъ авторъ «Записокъ», — находилось русское духовенство, когда я началъ понимать. Но скоро я могъ уже замѣтить мерцаніе свѣта, обѣщавшее выходъ изъ этого страшнаго положенія, — и то направлѣніе, которымъ шла Россія въ продолженіе 150 лѣтъ, взяло, наконецъ, свое: просвѣщеніе, начавшее наконецъ смягчать нравы, распространять лучшія понятія въ русскомъ обществѣ, проникло съ этимъ благодѣтельнымъ вліяніемъ своимъ и въ семинаріи, и въ духовенство. Русскій человѣкъ любить читать — это искони было залогомъ его прогресса; читали и читали усердно семинаристы и духовенство, оглянулись на самихъ себя при новомъ свѣтѣ... ; началось распространяться недовольство своимъ воспитаніемъ, условіями своего быта, и это былъ уже огромный шагъ; начали отряхаться, обчищаться извѣ, но съ этимъ вмѣстѣ шло, хотя понемногу, и внутреннее очищеніе; особенно большое вліяніе оказала здѣсь, какъ и на все русское общество, печать; при сравненіи нѣсколькихъ поколѣній священниковъ, старыхъ, среднихъ, новыхъ, легко было увидать разницу въ пользу послѣднихъ. Здѣсь Петербургъ пошелъ впередъ: въ этомъ городѣ изначала было больше вицѣней чистоты, которая всегда имѣть вліяніе на внутреннюю, если не употреблена во зло, не доведена до односторонности. Во всей Россіи вообще, и въ Петербургѣ въ особенностіи, преобладало стремленіе къ одной форменности; не могло не отразиться это и на духовенствѣ; съ другой стороны, въ началѣ духовенство, особенно въ Петербургѣ, познакомившись ближе съ наукой, ударило въ протестантизмъ, потомъ въ раціонализмъ. Но этому явилось противодѣйствіе: религіозная потребность начала усиливаться; въ XVIII вѣкѣ смотрѣли на религию съ презрѣніемъ и не могли не радоваться унизительному состоянію служителей религії; въ XIX вѣкѣ направлѣніе измѣнилось; волею-неволею должны были уступить религії высокое, высочайшее мѣсто; обнаружилось стремленіе къ самопознанію, начались толки о старинѣ русской, въ которой церковь

играла такую важную роль; съ желаніемъ поднять русскую старину, русскую народность, необходимо соединилось желаніе поднять русскую церковь, православіе, какъ главную отличительную черту этой народности; люди невѣрующіе во Христа начали толковать о превосходствѣ православія надъ другими исповѣданіями христіанскими. Все это необходимо должно было содѣйствовать къ очищенню духовенства, и признаки этого очищенія, какъ уже сказано, показались въ половинѣ XIX вѣка, конечно, признаки не очень рѣзкіе, слабое мерцаніе свѣта, который не могъ свѣтить ярко, благодаря тяжести атмосферы повсюду въ Россіи; но все начинается съ небольшого, не вдругъ» . . .

VI.

Отъ виѣшняго положенія православнаго духовенства въ его время авторъ «Записокъ» переходитъ къ общему историческому значенію православія для Россіи. Собственно-религіозныя, таинственные и богослужебныя формы православія, также какъ и его догматы, онъ всегда признавалъ безусловно и въ теоріи, и въ своей личной жизни. Въ «Запискахъ» онъ высказываетъ только свое мнѣніе объ историческомъ воздействиіи православія на наше отечество. Это мнѣніе, во многомъ вѣрное, можетъ, конечно, подлежать нѣкоторымъ оговоркамъ и ограниченіямъ; но такъ какъ задача настоящаго очерка есть характеристика, а не критическая оцѣнка, то намъ достаточно будуть привести подлинныя слова автора «Записокъ» объ этомъ предметѣ», напоминая еще разъ, что дѣло идетъ только объ исторической, чисто-человѣческой сторонѣ православнаго христіанства.

«Признавая важное значеніе православія въ русской исторіи, мы не назовемъ, однако, вліянія этого византійскаго исповѣданія безусловно благодѣтельными; вмѣстѣ съ этимъ впрочемъ, глядываясь внимательно и въ прошедшее, и въ настоящее, мы не можемъ приписывать непріятнаго во многихъ отношеніяхъ хода русской исторіи православію, не можемъ не увидать въ немъ свѣтлыхъ сторонъ относительно и прошедшаго, и настоящаго, и будущаго.

«Православіе могущественно содѣйствовало утвержденію единовластія и самодержавія; по характеру своему, это византійское исповѣданіе изначала стремилось стать полезнымъ орудіемъ самодержавной власти — и стало. — Такимъ образомъ, скажутъ иные, православіе способствовало утвержденію рабства, было орудіемъ порабо-

щенія . . . Элементы сопротивленія деспотизму не могли находить въ немъ опоры. — Но мы спросимъ, гдѣ были эти элементы сопротивленія, и каковы были они? Безмысленное боярство, съ одной стороны, и свирѣпое казачество — съ другой! Предположимъ, что вмѣсто православія былъ бы въ Россіи католицизмъ: конечно, историкъ не имѣтъ права толковать о томъ, что бы изъ этого произошло; но онъ имѣтъ право сказать, что могли бы произойти такія явленія, которымъ помышляло одно только православіе, а именно: только одно православіе помышляло Владиславу стать царемъ въ 1612 году и ополячить московское государство; но кто же рѣшится сказать, что было бы лучше, если бъ вся восточная Европа представляла сплошную Польшу? Православіе отняло Малороссію у Польши и додрушило послѣднюю, собравши всю восточную Европу въ одно цѣлое подъ именемъ Россіи: неужели русскій человѣкъ будетъ сѣтовать за это на православіе? Относительно настоящаго — я спрошу у тѣхъ, которые не признаютъ никакой религіи, но уважаютъ католицизмъ за его великую будто бы историческую роль и презираютъ православіе за то, что оно этой роли не играло, я спрошу у этихъ господъ: — вы не вѣрите ни во что, громко признаетесь въ этомъ, круглый годъ не заглядываете въ церковь — и кто вѣсЬ за это тревожитъ? Знаете ли вы资料 вашего приходского священника, и знать ли вѣсЬ этотъ священникъ? вы совершенно свободны, и этою свободою обязаны православію, ибо католическій священникъ не позволялъ бы вамъ такъ спокойно вольнодумничать, такъ спокойно презирать его: въ немъ имѣли бы вы самаго злого врага, доносчика, который или запряталъ бы вѣсЬ въ недоброе мѣсто, или бы заставилъ ходить къ себѣ въ церковь и на исповѣдь; если въ православіи правительство имѣть орудіе тупое, въ католицизмѣ оно имѣло бы острое. Но самое важное и благодѣтельное значеніе православіе должно, по-моему мнѣнію, имѣть для будущности народовъ, его исповѣдающихъ. Мы видимъ, что протестантизмъ многихъ не удовлетворяетъ; достаточно факта всѣмъ извѣстнаго: движение отъ протестантизма между англичанами, народомъ самымъ практическимъ, умѣющимъ болѣе другихъ народовъ остановиться на серединѣ, избѣжать крайностей, — всего лучше доказываетъ, что протестантизмъ неудовлетворителенъ. Съ другой стороны, католицизмъ, не говоря уже объ исторической и догматической неправдѣ папизма, становится, какъ видимъ, постоянно на дорогѣ движенія народа впередъ, никакъ не можетъ ужиться съ но-

выми потребностями народовъ. Что же касается православія, то, во-первыхъ, оно не имѣтъ того характера безавторитетности, которымъ протестантизмъ именно многихъ не удовлетворяетъ; съ другой стороны, чуждое неправды папизма православіе можетъ быть вездѣ народною формою религіознаго исповѣданія Православіе отражаетъ теперь на себѣ всю черную сторону настоящаго состоянія русскаго общества; оно страдаетъ вмѣстѣ съ нами; при перемѣнѣ къ лучшему, на немъ отразится эта перемѣна, оно не помѣшаетъ ей; теперь оно страдаетъ вмѣстѣ съ нами, тогда будеть радоваться, и будетъ довольно вмѣстѣ съ нами; это нашъ вѣрный спутникъ; не будемъ же отнимать отъ него руки нашей» . . .

Въ этомъ разсужденіи особенно характерно для автора то, что при своей искренней вѣрѣ онъ самыи очевиднымъ достоинствомъ православія считалъ его (сравнительно) благодушное отношеніе даже къ невѣрующимъ. Конечно, онъ былъ въ принципѣ совершенно правъ, — и плохую услугу оказываютъ нашей отечественной религіи тѣ, которые хотѣли бы лишить ее этого преимущества и превратить въ какую-то пародію средневѣковаго католицизма.

VII.

Тяжелыя впечатлѣнія, полученные въ духовномъ училищѣ, и вліяніе матери, которая по своему родству принадлежала къ другому кругу и въ устахъ которой семинарія была «сионимомъ всякой гадости», внущили автору «Записокъ» отвращеніе отъ этого сословія и желаніе поступить въ свѣтское училище. Послѣ нѣкоторыхъ колебаний рѣшено было выписать его изъ духовнаго званія и опредѣлить въ гимназію. Здѣсь въ самомъ началѣ произошло сильное препятствіе: будущій историкъ изумилъ учителя истории и географіи своими познаніями, но оказался крайне слабъ въ математикѣ, къ которой питалъ большоѣ отвращеніе и во все продолженіе своего ученія. Его едва приняли въ третій классъ.

Изъ воспоминаній о гимназіяхъ того времени приведемъ то, что имѣтъ значеніе для характеристики автора «Записокъ».

«Какъ прежде было сказано, я поступилъ въ третій классъ благодаря плохому знанію математики. Всльдствіе сильнаго отвращенія отъ этой науки, полной неспособности къ цей, невозможности понять, къ чemu служить эта передвижка цифръ и буквъ, какая

благодать отъ того, что $x^2 + px + q = 0$; что x , наконецъ, можетъ быть равенъ 23 или 33; что при такихъ-то и такихъ-то случаяхъ треугольники равны, — вслѣдствіе этого я не могъ дѣлать успѣховъ и въ гимназіи, хотя здѣсь принужденъ былъ силою заниматься и математикою, ломать безъ пользы голову по нѣскользку часовъ надъ задачами, чѣмъ, разумѣется, еще болѣе усиливало во мнѣ отвращеніе къ предмету. Въ третьемъ классѣ учителемъ былъ Волковъ — страшный педантъ; это чудовище осмѣлилось однажды поставить меня на колѣни, что случилось со мною въ первый разъ въ жизни; понятно, каково было моему самолюбію — самолюбію ревностнаго сопутника героеvъ древней, средней и новой исторіи. Мало того: Волковъ обращался ко мнѣ съ такими милыми привѣтами: «Дуракъ ты, дуракъ ты, Соловьевъ! уравненія второй степени решить не можешь. Жаль мнѣ твоего отца, отецъ твой хороший человѣкъ, а ты дуракъ!» И вотъ прошелъ годъ; я вышелъ изо всѣхъ предметовъ отличнымъ, кроме математики; инспекторъ далъ знать объ этомъ отцу; отецъ нанялъ ученика изъ старшаго класса, чтобы приготовлять меня изъ математики къ экзамену; я приготовился, взялъ, какъ говорится, если не мытьемъ, такъ катаньемъ, выучилъ наизусть всѣ доказательства; экзаменовалъ учитель старшихъ классовъ Погорѣльскій, къ которому я долженъ былъ перейти; этотъ человѣкъ любилъ скорые, твердые отвѣты; я прорѣзъ ему отвѣтъ наидivo, и Погорѣльскій восхитился, пощѣловавъ меня, сказалъ: «умница мальчикъ! молодецъ мальчикъ!» — и поставилъ мнѣ «пять». Волковъ стоялъ тутъ, и я былъ вполнѣ отомщенъ; тѣмъ болѣе успѣхъ мой былъ блестательнъ, что большая часть учениковъ, пользуясь длиниою вакацію по случаю перестройки гимназіи, очень плохо приготовилась. Я поступилъ въ четвертый классъ изо всѣхъ предметовъ первымъ...

«Съ IV класса преподавателемъ русскаго языка былъ у насъ Поповъ, учитель превосходный, умѣвшій возбудить охоту къ занятіямъ, прекрасно разбиравшій образцовые сочиненія и сочиненія учениковъ, умѣвшій посредствомъ этихъ разборовъ достигать главной цѣли своего преподаванія — выучивать правильно писать по-русски и развивать таланты, у кого они были. Когда онъ начиналъ объяснять урокъ къ слѣдующему классу, урокъ изъ логики или реторики, я, заинтересованный предметомъ, начиналъ вслушиваться, прислушиваться ему свои мысли; Поповъ не нашелъ этого страннѣмъ со стороны ученика, пятнадцатилѣтняго мальчика, напротивъ, находилъ

удовольствиѣ въ этихъ присказывашахъ, въ этой бесѣдѣ, обмѣнѣ мыслей со мной; должно быть, я говорилъ недурно, благодаря огромному количеству прочтенныхъ книгъ, потому что Поповъ получилъ очень высокое мнѣніе о моихъ способностяхъ и внушилъ это мнѣніе остальнымъ своимъ товарищамъ-учителямъ. Вслѣдствиѣ этого высокаго мнѣнія о моемъ умственномъ развитіи Поповъ былъ чрезвычайно строгъ къ моимъ сочиненіямъ, хотя онъ и гордился ими и выставлялъ ихъ напоказъ, но ему все казалось, что я могъ бы еще лучше писать: разобравши мое сочиненіе, онъ часто приговаривалъ: «Хорошо! но скажи, пожалуйста, Соловьевъ! отчего ты говоришь лучше, чѣмъ пишешь?» Это, дѣйствительно, могло быть такъ, во-первыхъ, потому, что учитель, взобравши себѣ въ голову высокое мнѣніе о развитости моихъ способностей по разговору, при чѣмъ его поражала живость мыслей, относительная ихъ самостоятельность, не могъ быть такъ доволенъ сочиненіями, гдѣ на первомъ для него планѣ была уже форма; во-вторыхъ, для меня эта форма была тяжка, это были цѣпи, которыя затрудняли естественные движения, наводили на меня тоску, необходимо отражавшуюся въ сочиненіи: учитель задаѣть описание памятника Минину и Пожарскому; я подумалъ: «ну, чтѣ же тутъ я стану описывать» — и ударюсь въ описание впечатлѣній, производимыхъ этимъ памятникомъ, въ разсказѣ о событияхъ, въ которыхъ участвовали изображенныи герои, — а учитель съ упрекомъ: «задано было описание памятника, а ты изъ описанія сдѣлалъ по-вѣствованіе!» О, проклятыя хри и формы реторической! много онѣ мнѣ надѣлали непрѣятностей! . . .»

Для характеристики автора «Записокъ» съ нравственной стороны особенно интересно то, чтѣ онъ далѣе говорить по поводу своего ближайшаго друга и товарища по гимназіи.

« «Не купи домъ, купи сосѣда», — говорить пословица: и въ этомъ отношеніи я былъ счастливъ: постояннымъ моимъ сосѣдомъ, т. е. ученикомъ, постоянно занимавшимъ второе мѣсто, былъ Ладыгинъ, вмѣстѣ со мною поступившій въ III классъ и вмѣстѣ со мною кончившій курсъ въ гимназіи: прекрасное, нравственное, кроткое, женственное существо. Онъ былъ воспитанъ въ тихомъ, нравственномъ домѣ, среди многочисленной толпы сестеръ, и отсюда получилъ, какъ видно, женственный характеръ; онъ былъ очень прилеженъ и, въ противоположность мнѣ, имѣлъ способность и склонность къ математикѣ, очень часто помогалъ мнѣ въ урокахъ и въ

приготовлениі къ экзаменамъ своими объясненіями, но у него не было той развитости и той быстроты въ обращеніи мысли около предмета, какими обладалъ я; главная причина тому: моя ранняя и относительно громадная начитанность, тогда какъ Ладыгинъ началъ читать поздно, и читалъ вообще мало, безъ выбора. Съ самаго начала Ладыгинъ призналъ мои преимущества и уступалъ мнѣ безропотно первое мѣсто: эта уступка, отсутствіе соперничества облегчили наши отношенія, завязали дружбу, при чемъ, разумѣется, высшее нравственное значеніе имѣлъ онъ, а не я; онъ былъ болѣе меня христіанинъ, хотя я съ раннихъ лѣтъ былъ пылкій приверженецъ христианства, и въ гимназіи еще толковалъ, что буду основателемъ философской системы, которая, показавъ ясно божественность христіанства, положитъ конецъ невѣрію. Внутри меня было много религіозности, выражавшейся въ набожности; я ничего не начинай безъ молитвы; вѣра была сильна; не готовъ къ отвратительному математическому уроку, не приготовился изъ нѣкоторыхъ частей науки къ экзамену, — помолюсь, крѣпко вѣрую, что этого у меня не спросятъ, и дѣйствительно не спрашивали; другой товарищъ окажется въ подобномъ положеніи, боится, что срѣжется (по гимназическому выражению) — говорю ему: «не бойся, только вѣруй», — молюсь за него, вѣрую за него, и его не спрашиваютъ. Религіозности было много, но христіанства было мало; успѣхи, первенство, воздымали духъ, высокое мнѣніе о самомъ себѣ, развивали гордость, эгоизмъ; самую вѣру свою я считалъ привилегіею, особеннымъ знакомъ Божьяго благоволенія, ручательствомъ за будущее успѣхи. Въ виду были только эти успѣхи, успѣхи виѣшие, житейскіе; о нравственномъ преуспѣяніи, *внутреннемъ* мало думалось, — говорю о *внутреннемъ*, либо извѣѣ-то было все чисто и чинно, я первенствовалъ и отиосительно поведенія. Правда, находили и тутъ иногда минуты опамятованія, когда я сознавалъ необходимость внутренняго нравственнаго совершенствованія и рѣшался внимательнѣе смотрѣть за собою, строго за своими мыслями и словами, но такая рѣшительность не бывала продолжительна: бури молодости срывали утлыі чолни съ якоря» . . .

Воспоминанія этого рода, конечно, болѣе характерны для ихъ автора, нежели его дальнѣйшіе отзывы о разныхъ лицахъ, съ которыми ему пришлось сталкиваться въ жизни.

Памяти императора Николая I.

1896.



Миръ Востока и Запада.

1896.



Изъ Московской губерніи.

1897.

- II. *История химии и технологии*
1890.
- III. *Математика в геометрии*
1890.
- IV. *Народоведение в педагогике*
1890.

Памяти Императора Николая I.

1896.

Могучий Самодержецъ, которого сегодня благочестиво поминаетъ Русское царство, не былъ только олицетворенiemъ нашей вѣшиной силы. Если бы онъ былъ только этимъ, то его слава не пережила бы Севастополя. Но за суровыми чертами грознаго властителя, рѣзко выступавшими по требованію государственной необходимости (или того, что считалось за такую необходимость), въ императорѣ Николаѣ Павловичѣ таилось ясное пониманіе высшей правды и христианскаго идеала, поднимавшее его надъ уровнемъ не только тогдашняго, но и теперешняго общественнаго сознанія. Не передъ одною же вѣшнею силой преклонился гений Пушкина и не одна грандиозность привязала къ государю сердце поэта! Лучшая сторона характера и образа мыслей императора Николая I, хорошо знакомая въ кругахъ, близкихъ къ престолу, скрывалась и доселе скрывается для большинства за подавляющимъ обликомъ державнаго великана. Въ нынѣшний день, когда всюду поется вѣчная память императору Николаю Павловичу, хорошо напомнить именно эту, менѣе известную, человѣчную и духовную сторону его личности: земное величие проходить; для императора, потрясенаго и сокрушенаго вѣлѣнными неудачами и внутренними разочарованіями, — блескъ этого величія померкъ еще ранѣе смертнаго часа, — только добро и правда, связанныя съ высшою природой человѣка, достойны вѣчной памяти.

Когда послѣ трагической смерти Пушкина появилось письмо Жуковскаго къ его отцу съ описаніемъ послѣднихъ дней великаго поэта, одно обстоятельство могло показаться страннымъ и загадочнымъ, именно порученіе государя: «Скажи Пушкину, что я его прощаю». Къ чому собственно относилось это прощеніе? И почему государь какъ будто бралъ на себя то, что принадлежитъ къ обязанности ду-

ховника? Конечно, дуэль, будучи *тяжкимъ грѣхомъ*, есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, *легкій проступокъ* противъ законовъ государственныхъ, но за этотъ проступокъ смерть была уже и такъ слишкомъ большимъ искуплениемъ. Въ послѣдніе годы обнародованные по этому дѣлу документы и извѣстія разъяснили недоумѣніе, «къ новой славѣ императора Николая Павловича». Сердечно полюбившій поэта, гордившійся своимъ Пушкинымъ, государь зналъ его необузданній характеръ и боялся за него. Съ нѣжною заботливостью сѣдила онъ за его поступками, и послѣ первой несостоявшейся дуэли призывалъ его и потребовалъ отъ него честнаго слова, что въ случаѣ необходимости новой дуэли онъ прежде всего дастъ объ этомъ знать ему, государю. Но въ дѣлѣ ложной чести была забыта первая обязанность честности. Если бы Пушкинъ исполнилъ данное имъ слово, Россія не потеряла бы своей лучшей славы, и великодушному государю не пришлось бы оплакивать вмѣстѣ съ гибеллю поэта и свое рыцарское довѣріе къ человѣку. Было здѣсь, что прощать, и есть въ этомъ дѣлѣ, за что помянуть вѣчною памятью императора Николая I!

Еще болѣе характерно его отношеніе къ Ю. Ф. Самарину въ тяжелый 1849 г., когда подъ впечатлѣніемъ революціоннаго движения въ Европѣ императоръ счѣль себя вынужденнымъ усилить строгость правительственныхъ мѣръ. При томъ дѣло шло не о знаменитомъ поэту, которыемъ восторгалась вся Россія и которыемъ государь долженъ былъ дорожить уже изъ одного патріотическаго чувства: дѣло шло о начинаящемъ чиновнику, который тогда успѣлъ заявить себя только неумѣренною ревностью къ обрученію Остзейскаго края, вопреки видамъ государя и мѣстной администраціи: Самаринъ былъ обвиненъ въ томъ, что онъ нарушилъ служебный долгъ, распространяя рукописную книгу со ввѣренными ему по службѣ секретными документами и съ проповѣдью насилиственнаго введенія православія и русской народности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ. За обвиненного могло говорить только то, что государь когда-то зналъ его родителей. Самаринъ подлежалъ суду, но императоръ «свою, — какъ онъ самъ выразился, — деспотическою властью» велѣлъ посадить его въ крѣпость, черезъ нѣсколько дней послалъ къ нему для бесѣды своего духовника, а затѣмъ потребовалъ его къ себѣ и имѣлъ съ нимъ наединѣ въ высшей степени замѣчательный разговоръ. Упрекнувъ Самарина за формальное нарушеніе служебныхъ обязанностей, государь обратился къ содержанію книги: «Вы, очевидно, —

сказать онъ, — возбуждали вражду пѣмцевъ противъ русскихъ, вы ссорили ихъ, тогда какъ слѣдуетъ ихъ сближать; вы укоряете цѣлъя сословія, которыхъ служили вѣрно: начиная съ Палена, я могъ бы высчитать до 150 генераловъ. *Вы хотите принужденіемъ, силой сдѣлать изъ пѣмцевъ русскихъ, съ мечомъ въ рукахъ, какъ Магометъ; но мы этого не должны именно потому, что мы — христіане.* Вы писали подъ вліяніемъ страсти; я хочу думать, что она была раздрожена личными непріятностями и оскорблѣніями». И далѣе: «Вы пишете: если мы не будемъ господами у нихъ и т. д., т. е. если пѣмцы не сдѣлаются русскими, русские сдѣлаются пѣмцами; это писано было въ какомъ-то бреду. *Русские не могутъ сдѣлаться пѣмцами; но мы должны любовью и кротостью привлечь къ себѣ пѣмцевъ.* Въ заключеніе государь сказалъ: «Теперь вы должны совершенно перемѣниться, служить, какъ вы присягали, вѣрой и правдой, а не нападать на правительство. Мы всѣ такъ должны служить; я самъ служу не себѣ, а вамъ всѣмъ; и я обязанъ наводить заблуждающихъ на путь истины; но я никому не позволю забываться: я не долженъ этого по той же самой присягѣ, которой и я вѣренъ. Теперь это дѣло конченное: помиримся и обнимемся... Побѣжайте теперь въ Москву и успокойте вашихъ родителей; побѣжайте завтра, если соberетесь; ступайте сейчасъ къ министру внутреннихъ дѣлъ и скажите ему, что я васъ отпускаю»... Двадцать лѣтъ спустя Самаринъ писалъ: «Я благодаренъ судьбѣ, доставившей мнѣ случай видѣть покойнаго императора съ глаза на глазъ, слышать прямодушную рѣчъ его и унести въ память изъ кратковременнаго съ нимъ свиданія образъ историческаго лица, неожиданно передо мною явившагося въ строгой и благородной простотѣ своего обаятельнаго величія»¹.

Но наше впечатлѣніе не ограничивается этимъ. Кромѣ великодушнаго характера и человѣческаго сердца въ этомъ «желѣзномъ великанѣ», — какое ясное и твердое пониманіе принциповъ христіанской политики! «Мы этого не должны, именно потому, что мы — христіане», — вотъ простыя слова, которыми императоръ Николай I «опередилъ» и свою и нашу эпоху, вотъ начальная истина, которую приходится напоминать нашему обществу! Въ послѣдніе дни въ высшей степени своевременно напомнилъ ихъ намъ знаменитый государственный человѣкъ, начавшій свое полуувѣковое служеніе въ царствованіе

¹ Сочиненія Ю. Ф. Самарина, т. VII, стр. XC—XCVI.

Николая I. «Въ вопросахъ вѣрованія народнаго, — пишетъ К. П. Побѣдоносцевъ въ началѣ своей замѣчательной книги, — государственной власти необходимо заявлять свои требования и устанавливать свои правила съ особливою осторожностью, чтобы не коснуться такихъ ощущеній и духовныхъ потребностей, къ которымъ не допускается прикасаться самосознаніе народной массы. Какъ бы ни была громадна власть государственная, она утверждается не на иномъ чмъ, какъ на единствѣ духовнаго самосознанія между народомъ и правительствомъ, на вѣрѣ народной: власть подкапывается съ той минуты, какъ начинается раздвоеніе этого на вѣрѣ основаннаго сознанія. Народъ, въ единеніи съ государствомъ, много можетъ понести тягостей, много можетъ уступить и отдать государственной власти. Одного только государственная власть не въ правѣ требовать, одного не отдастъ — того, въ чмъ каждая вѣрующая душа въ отдѣльности и всѣ вмѣстѣ полагаютъ основаніе духовнаго бытія своего и связываютъ себя съ вѣчностью. Есть такія глубины, до которыхъ государственная власть не можетъ и не должна касаться, чтобы не возмутить коренныхъ источниковъ вѣрованія въ душѣ у всѣхъ и каждого»².

Эти прекрасныя слова выражаютъ истину общаго значенія, особенно важную въ такой странѣ, гдѣ, — какъ у насъ въ Россіи, — народная масса раздѣлена на многія племенины и религіозныя группы, и гдѣ такъ легко подъ благовиднымъ предлогомъ отдаться той неразумной антихристіанской ревности, которую съ такою несокрушимою простотой императоръ Николай I обличилъ и осудилъ въ молодомъ славянофилѣ. Отграждая отъ вѣшнихъ принудительныхъ требованій и правилъ то, «въ чмъ, — по превосходному выраженію К. П. Побѣдоносцева, — каждая вѣрующая душа въ отдѣльности и всѣ вмѣстѣ полагаютъ основаніе духовнаго бытія и связываютъ себя съ вѣчностью», — должны ли мы исключить при этомъ всѣ тѣ души, которыя вѣрюютъ иначе, чмъ мы, и не по-нашему связываютъ себя съ вѣчностью, — должны ли мы признать ихъ вѣру не за вѣру и ихъ душу не за душу? Извѣ-за сводовъ царственной гробницы звучитъ величавый отвѣтъ: «Нѣть, не должны, именно потому, что мы — христіане». Провозглашая пышнѣ вѣчную память императору Николаю I, забудемъ ли мы лучшій изъ его завѣтовъ!..

² „Московскій сборникъ“, изд. К. П. Побѣдоносцева, Москва 1896, стр. 1—2.

Миръ Востока и Запада.

1896.

При благодарномъ воспоминаніи о славной императрицѣ прежде всего приходитъ на мысль ея благочестивое преклоненіе передъ великимъ основателемъ Россійской имперіи. Екатерина II сдѣлала все свое царствованіе сознательнымъ продолженіемъ, оправданіемъ и живымъ памятникомъ дѣлу Петра.

Громкіе титулы, когда они не выражаютъ только самомнительную претензію, суть символы историческихъ задачъ. Петръ Великій не по притязанію, а по праву принялъ титулъ императора, послѣ того какъ подвигъ его жизни далъ Россіи возможность стать болѣе, чѣмъ отдельною націею — сдѣлаться настоящею имперіею. При Екатеринѣ II эта возможность начала осуществляться, *государственная политика Россіи стала явнымъ и внушительнымъ фактомъ*.

Имперія двуглаваго орла есть миръ Востока и Запада, разрешеніе этой вѣковѣчной распри великихъ историческихъ силъ въ высшее всеобъемлющее единство. Миръ, завѣщанный Христомъ въ области духа, долженъ быть проведенъ и въ политическую жизнь народа посредствомъ христіанской имперіи. И какъ для духовнаго примиренія людей съ Богомъ и между собою принесенъ Христомъ на землю мечъ и огонь нравственной борьбы, такъ не безъ борьбы политической достигается миръ имперіи, — лишь бы только въ этой борьбѣ не забывалось никогда то, для чего она ведется, лишь бы эта борьба при громкихъ словахъ не переходила на дѣлъ въ тяжбу злыхъ страстей и низменныхъ интересовъ.

Настоящая имперія есть возвышеніе надъ культурно-политическою односторонностью Востока и Запада, настоящая имперія не мо-

жеть быть ни исключительно восточною, ни исключительно западною державою. Римъ сталъ империою, когда силы латино-кельтскаго запада уравновѣсились въ немъ всѣми богатствами греко-восточной культуры. Россія стала подлинною империою, ея двуглавый орелъ сталъ правдивымъ символомъ, когда съ обратнымъ ходомъ исторіи полу-азіатское царство московское, не отрекаясь отъ основныхъ своихъ восточныхъ обязанностей и преданій, отреклось отъ ихъ исключительности, могучею рукою Петра распахнуло широкое окно въ міръ западно-европейской образованности и, утверждаясь въ христіанской истинѣ, признало — по крайней мѣрѣ въ принципѣ — свое братство со всѣми народами.

Въ подвигѣ Петра Великаго Россія проявила всю силу своей самобытности и получила новыя средства для ея дальнѣйшаго проявленія. Екатерина II не только дѣлами своего царствованія, но и личнымъ своимъ перерожденiemъ представляется провѣркою Петра Великаго, блестящее доказательство прочности его дѣла. Принадлежа всесфѣро Западу по рождению и воспитанію, ангальтская принцесса стала вполнѣ русскою, вошла въ самую душу русского народа, и это было возможно только потому, что, благодаря петровскому перевороту, душа Россіи, сохранивая всю свою положительную особенность, раскрылась и расширилась до новой культурной вмѣстимости. Такихъ обрученыхъ европеїщевъ, какъ Екатерина II, не было и не могло быть въ Руси до-Петровской.

Но важнѣе этой личной — историческая провѣрка дѣла Петрова въ имперской политикѣ Екатерины II, особенно по отношенію къ Польшѣ и Турціи, представлявшихъ собою двѣ культурно-политическія односторонности, къ преодолѣнію которыхъ была призвана Россійская имперія. Польша всѣмъ своимъ строемъ выражала крайность западнаго индивидуализма, дошедшую до узаконенной анархіи, въ которой, однако, произвольъ каждого (*liberum veto*) былъ весьма далекъ отъ свободы всѣхъ, совмѣщаясь съ угнетенiemъ диссидентовъ (не говоря уже о хлопахъ). Задачей имперской политики въ Польшѣ стало исправленіе обиды, защита угнетенныхъ диссидентовъ не во имя исключительно вѣроисповѣдныхъ сочувствій, а во имя болѣе широкаго, истинно-имперскаго начала справедливой вѣротерпимости для всѣхъ. Съ этого началось, на этомъ опиралось и этимъ оправдывалось вмѣшательство императрицы въ польскія дѣла, приведшее къ раздѣлу Польши и къ возвращенію Россіи ея обширной западной

окраины. «Излишне описывать здѣсь, — писала императрица своимъ представителямъ при республикѣ, — извѣстное вамъ самимъ дѣло утѣшненія въ Польшѣ нашихъ единовѣрцевъ и прочихъ диссидентовъ. Кто не вѣдаетъ, что одни и другіе равно подвержены гоненію», которое довело до того, «что знатная часть согражданъ, такъ сказать, изъ сообщества отринуты за то одно, что исповѣдуютъ законъ другой. Но пока еще сіе зло вовсе не окоренится . . . , повелѣваемъ мы вамъ . . . употребить всевозможное стараніе ваше, дабы какъ собственные наши единовѣрные, такъ и прочіе диссиденты . . . во всѣ прежнія свои права и преимущества точнымъ и яснымъ закономъ возстановлены, да и для переду какъ въ персонахъ и имѣніяхъ своихъ, такъ и въ принадлежащихъ имъ епархіяхъ, монастыряхъ и церквяхъ отъ всякихъ нападковъ . . . охранены, и прежде отнятая, сколько возможно, имъ возвращены были». Когда большая часть Рѣчи Посполитой была присоединена къ имперіи, пестрому населенію этого края, безъ всякаго различія народности и религіи, были торжественно подтверждены всѣ прежнія права: Россія являлась здѣсь не какъ одна нація, покоряющая и подавляющая другія, а какъ высшая сила мира и правды, отдающая всякому свое.

Право на Польшу давали имперской политикѣ Екатерины обиды диссидентовъ, угнетаемыхъ анархическимъ произволомъ; право на Турцію давали ей обиды христіанъ, угнетаемыхъ военнымъ деспотизмомъ османовъ, представителей односторонне-восточного политического строя.

Какъ въ Польшѣ политика Екатерины была чужда исповѣдной исключительности, такъ въ Турціи она была свободна отъ исключительности племенной и не принижала права грековъ передъ правами единокровныхъ славянъ. Блестящія торжества и прочные успѣхи Екатерининской политики были естественны и неизбѣжны, потому что за нею была внутренняя сила идеи, знамя христіанской имперіи, справедливой къ Востоку и Западу, открытой для всѣхъ и никого не исключающей.

Широкая всепримирающая политика — имперская и христіанская — есть единственная национальная политика Россіи, потому что только она соотвѣтствуетъ лучшимъ отличительнымъ сторонамъ русскаго народнаго характера. Оставшійся всецѣло русскимъ, несмотря на свое поклонение Европѣ, Петръ Великій и ставшая всецѣло русскою, несмотря на свой природный европеизмъ, Екатерина II оста-

вили нашему отечеству одинъ завѣтъ. Ихъ образъ и ихъ историческая дѣла говорятъ Россіи: будь вѣрна себѣ, своей національной особенности и въ силу ея будь универсальна.

Человѣкъ, который хочетъ быть вполнѣ достойнымъ этого званія, не можетъ оставаться только человѣкомъ: въ немъ должна жить и разгораться искра высшей божественной природы, поднимающая его надъ средою людской повседневности; человѣкъ, который довольствуется своею человѣческою ограниченностью и не стремится выше, неизбѣжно тяготѣть и ниспадаетъ до уровня животности. Точно также исторический народъ, если想要 жить полною національною жизнью, не можетъ оставаться только народомъ, только одною изъ націй, — ему неизбѣжно перерости самого себя, почувствовать себя больше, чѣмъ народомъ, уйти въ интересы сверхнаціональные, въ жизнь всемирно-историческую. Для народа, имѣющаго такие великие природные и исторические задатки, какъ русскій, совсѣмъ не естественно обращаться на самого себя, замыкаться въ себя, настаивать на своемъ національномъ я, и еще хуже — навязывать его другимъ, — это значитъ отказаться отъ истинного величія и достоинства, отречься отъ себя и отъ своего исторического призванія.

Дѣйствительные успѣхи вѣшней политики держатся внутреннимъ прогрессомъ. Тотъ народъ, какъ и тотъ человѣкъ, который внутренне не совершенствуется, не можетъ совершать истинно славныхъ дѣлъ: откуда бы они взялись? Побѣдоносныя войны и выгодные договоры Екатерининского царствованія отвѣчали на далекой окружности государствъ тому, что дѣлалось великою императрицею внутри страны для смягченія нравовъ, для просвѣщенія умовъ, для улучшенія жизни.

Наивное преклоненіе передъ Вольтеромъ и энциклопедистами — извѣстнаго рода умственная слабость, общая средѣ и эпохѣ — не мѣшиали Екатеринѣ твердо держать знамя христіанской политики, какъ иѣкоторыя слабости ея характера не препятствовали ей отдаваться всею душой своему царственному служенію. Яркость ея недостатковъ только подчеркиваетъ ея заслуги. Теперь, черезъ сто лѣтъ послѣ ея кончины, можемъ ли мы съ увѣренностью сказать, что наша русская дѣйствительность достаточно прониклась духомъ тѣхъ вышихъ началь, которыми великая императрица озарила и оживила свое славное царствованіе?

Изъ Московской губерніи.

Письмо въ редакцію „Вѣстника Европы“.

1897.

Я только что вернулся изъ Московской губерніи, гдѣ было въ трехъ различныхъ мѣстностяхъ. Вернулся я съ тревожнымъ чувствомъ, которое охотно бы призналъ преувеличеннымъ... Лѣтъ семь тому назадъ такія авторитетныя лица, какъ А. С. Ермоловъ (нынѣ министръ земледѣлія и государственныхъ имуществъ) и профессоръ геологіи Докучаевъ, сообщили въ особыхъ книгахъ рядъ факторъ и соображеній, доказывающихъ, что въ Евроазійской Россіи, преимущественно въ ея срединной и юговосточныхъ частяхъ, — уже долгое время совершаются естественный (но искусственно облегчаемый) процессъ медленного и неравномѣрнаго, но постояннаго измѣненія почвенныхъ, а въ связи съ ними и атмосферическихъ условій въ смыслѣ приближенія этихъ странъ къ типу средне-азіатскихъ пустынь. Одновременно съ этими авторитетными указаніями появлялось въ периодической печати множество сообщеній изъ губерній Астраханской, Саратовской, Воронежской, Харьковской, области Донской и т. д., подтверждавшихъ яркими частными примѣрами существование этого зловѣщаго процесса. Сообщалось, между прочимъ, что вслѣдствіе истребленія лѣсовъ за среднею и нижнею Волгою открылся просторъ для юговосточныхъ вѣтровъ, несущихъ мелкій песокъ, который постепенно засыпаетъ рѣчки и отнимаетъ ежегодно у культуры тысячи десятинъ земли. Грозное значеніе такихъ явленій было подчеркнуто бѣдствіемъ 1891 г., вызвавшимъ тревогу въ обществѣ и чрезвычайную мѣры правительства. Всльдѣтъ затѣмъ несолько дождливыхъ лѣтъ быстро заставили почти всѣхъ забыть грозный во-

прось, выдвинутый въ книгахъ А. С. Ермолова и проф. Докучаева. Ихъ заключенія, казалось, были опровергнуты нагляднымъ образомъ. Подмосковные дачники ходили съ зонтиками и промачивали обувь въ лужахъ, — какое же тутъ высыханіе почвы. Но успокоиться можно было только по недоразумѣнію. Вѣдь дѣло шло не о такомъ простомъ переворотѣ, который можетъ закончиться въ нѣсколько лѣтъ, а о сложномъ процессѣ, продолжающемся многія десятилѣтія, при чемъ частные остановки и возвращенія назадъ не измѣняютъ его общаго направленія и рокового исхода.

Нынѣшнее лѣто опять напомнило печальную дѣйствительность. — Хотя такого бѣдствія, какъ въ 1891 г., пока не предвидится, но характеръ лѣта въ средней Россіи — чисто туркестанскій. А главное, становится очевиднымъ, что процессъ измѣненія почвы подвинулся впередъ. Одна изъ мѣстностей, где я былъ (Звенигородскаго уѣзда), всегда отличалась своей сыростью и обиліемъ болотъ, — теперь отъ нихъ не осталось и слѣда; а между тѣмъ никакой мѣстной и случайной причины для такой перемѣны не было, — никакихъ значительныхъ порубокъ лѣса пососѣству и никакого искусственного осушенія болотъ не производилось, а характеръ почвы измѣнился. То же самое пришлось наблюдать и въ Бронницкомъ и въ Московскомъ уѣздахъ, а по сообщеніямъ въ печати видно, что Московская губернія не составляетъ тутъ никакого исключенія. Принесли мнѣ и прочитанное этой весною въ «Новомъ Времени» указаніе, что обнаруженная по всепародной переписи прибыль населенія падаетъ главнымъ образомъ на окраины и на города, а въ средней Россіи прибыль сравнительно незначительна, въ некоторыхъ же губерніяхъ оказалась даже убыль сельского населенія. Звенигородскій обыватель, съ которымъ я бесѣдовалъ, угрюмо замѣтилъ: «Понятное дѣло! Жрать нечего, и уходить».

Погулявши по прежнимъ болотамъ, какъ по суху, мы проходили мимо небольшого зданія специальной наружности. — Хлѣбный магазинъ. И тутъ я узналъ кое-что новое и поучительное. За постыднѣ годы обычаемъ установился слѣдующій способъ пользованія этимъ учрежденіемъ. — Всѣ хозяева обязаны каждый годъ (не голодный, разумѣется) всыпать въ магазинъ по одной мѣрѣ зерна — мѣрѣ доброй, т. е. «горой», сверхъ краевъ. По истеченіи года каждый получаетъ свою мѣру, но только обыкновенной величины, безъ этихъ прибавокъ, остающихся въ магазинѣ и составляющихъ въ совокуп-

ности для данного сельского общества около двадцати мѣръ. Этс раздается на обѣмененіе тѣмъ бѣднымъ хозяевамъ, которые почему-либо не могли ничего собрать съ своего участка. — Что же, способъ хорошій, замѣтилъ я. — «Да, но нужно знать, подъ какимъ условіемъ дается помощь: черезъ годъ общественный должникъ обязанъ вернуть *втрое* большее количество зерна, т. е. онъ получаетъ ссуду за *двѣсти* процентовъ годовыхъ. Мужики здѣсь — мерзавцы!» — заключилъ мой собесѣдникъ и кстати помянулъ нелегкимъ словомъ пресловутую нашу національную «общественность» и «хоровое начало».

А мѣгъ вспомнились другіе мужики. Изъ той же средней Россіи пришли они на югъ, разжились честнымъ трудомъ, усердно занимались сверхъ того и божественными предметами, и вдругъ, услыхавши о предстоящей всенародной переписи, порѣшили, во избѣжаніе антихристовыхъ соблазновъ и для спасенія души, закопаться живыми въ землю. — что и исполнили въ количествѣ 25 душъ. Только одинъ послѣдній, закапывавшій другихъ и долженствовавшій самъ утопиться, былъ накрытъ властями и подлежитъ уголовному суду.

«Что мерзавцы» во всякомъ сословіи дѣлаютъ мерзости, это можетъ казаться естественнымъ; но почему же люди исключительной героической силы духа дѣлаютъ у насъ мерзости несравненно худшія? Неужели между скотоподобiemъ и адскимъ изувѣрствомъ нѣть третьаго, истинно-человѣческаго пути для русскаго мужика? Неужели Россія обречена на нравственную засуху, какъ и на физическую? . . .

INSTYTUT
BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Tel. 26-68-63

Примѣчанія.

- Смыслъ любви.* Напечатано впервые въ „Вопросахъ Философіи и Психологіи“ 1892, №№ 14 и 15; 1893, № 17, и 1894, № 21.
- Предисловіе къ книги Э. Гернай, Ф. Майерса, Ф. Подмора:* „Прижизненные призраки и другія телепатическія явленія“, Спб. 1893.
- Первый шагъ къ положительной эстетикѣ.* Напечатано впервые въ „Вѣстникѣ Европы“ 1894, № 1, стр. 294.
- Буддийское настроеніе въ поэзіи.* Напечатано впервые въ „Вѣстникѣ Европы“ 1894, № 5, стр. 329—346, № 6, стр. 687—708.
- Современное состояніе вопроса о медіумизмѣ.* Напечатано впервые въ „Вопросахъ Философіи и Психологіи“ 1894, № 23, стр. 424—437.
- Поэзія О. И. Тютчева.* Напечатано впервые въ „Вѣстникѣ Европы“ 1859, № 4, стр. 735—752.
- Поэзія графа А. К. Толстого.* Напечатано впервые въ „Вѣстникѣ Европы“ 1895, № 5, стр. 237—259.
- Русские символисты.* Напечатано впервые въ „Вѣстникѣ Европы“ 1895, № 1, стр. 421—424, и № 10, стр. 847—851.
- „Оттуда“.* Разсказы Сергея Норманского. Напечатано впервые въ „Вѣстникѣ Европы“ 1895, № 8, стр. 850—853.
- Рецензія на книгу Вундта „Лекція о душѣ человѣка и животныхъ“.* Напечатано впервые въ „Вопросахъ Философіи и Психологіи“ 1895, № 28, стр. 372—375.
- Когда жили еврейскіе пророки?* Напечатано впервые въ „Сборникѣ въ пользу начальныхъ еврейскихъ школъ“, 1896, стр. 255—277.
- Магометъ, его жизнь и религиозное ученіе.* Напечатано впервые въ серіи „Жизнь замѣчательныхъ людей“ Павленкова, Спб. 1896, 80 стр.
- Византизмъ и Россія.* Напечатано впервые въ „Вѣстникѣ Европы“ 1896, №№ 1 и 4.
- Поэзія Я. П. Полонского.* Напечатано впервые въ „Нивѣ“ 1896, №№ 2 и 6.
- Сергій Михайловичъ Соловьевъ.* Несколько данныхъ для характеристики

стки. Напечатано впервые въ „Вѣстникѣ Европы“ 1896, № 6, стр. 689—708.

Памяти императора Николая I. Напечатано впервые въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ въ 40-ю годовщину смерти императора. *Миръ Востока и Запада.* Напечатано впервые въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“ 1896, № 306.

Изъ Московской губерніи. Напечатано впервые въ „Вѣстникѣ Европы“ 1897, № 8, стр. 780.



Задавшись цѣлью дать русской публикѣ дѣйствительно доступную — какъ по существу сообщаемыхъ свѣдѣній, такъ и по цѣнѣ — энциклопедію, Т-во „Просвѣщеніе“ остановилось на мысли предпринять переизданіе для Россіи извѣстнаго большого энциклопедическаго словаря Мейера. При этомъ издатели поставили себѣ задачей сохранить въ русскомъ изданіи изящную виѣшность и большую часть иллюстрацій оригинала, что же касается содержаній, то оно для иностраннаго отдѣловъ представляется сокращеннымъ воспроизведеніемъ Meyer'a, а для русскихъ отдѣловъ и частью для теоретическихъ, особенно общественно-научныхъ, оно совершенно переработано. Поэтому не только все, что касается Россіи и для насы осо-
бенно важныхъ отраслей знанія, а также западно-славянскихъ и смежныхъ съ Россіей восточныхъ странъ, входящихъ въ сферу русскихъ интересовъ и русского вліянія, написано избранными русскими учено-литературными силами, но и всѣ прочие отдѣлы въ „Большой Энциклопедіи“ переработаны соотвѣтственно требованіямъ русского читателя: вездѣ, где необходимо, сдѣланы или сокращены, или дополнены, приведена русская литература и т. д. Кромѣ оригиналной обработки всѣхъ русскихъ отдѣловъ, редакція „Большой Энциклопедіи“ поставила себѣ еще вторую задачу, именно — отведеніе болѣе значительного мѣста теоретическимъ, научнымъ и философскимъ объясненіямъ на счетъ сокращенія иностраннаго историко-географическихъ и чисто-справочныхъ указаний. При этомъ послѣднія указанія и объясненія не столько исключаются, сколько уменьшаются въ размѣрѣ.

Рекомендовать читающей публикѣ всемирно-извѣстный, разошедшийся въ милліонъ экземпляровъ и пользующейся во всемъ цивилизованномъ мірѣ славою лучшаго въ своемъ родѣ изданія, словарь Мейера — мы считаемъ излишнимъ. Замѣтимъ только, что отличительными качествами этого словаря являются полнота и доведенная до возможно высокой степени точности сообщаемыхъ имъ фактическихъ свѣдѣній, полная объективность въ передачѣ научныхъ доктринъ и — что особенно выгодно отличаетъ словарь Мейера — планомѣрная и систематическая обработка материала.

Особенное вниманіе, въ отлічие отъ другихъ подобныхъ изданий, обращено на иллюстраціи, которая представляютъ точное воспроизведеніе художественныхъ иллюстрацій немецкаго „Konversations-Lexikon“ Meyer'a.

Всѣ рисунки и отдѣльные приложения „Большой Энциклопедіи“ отличаются въ высшей степени художественнымъ исполненіемъ и научною цѣнностью. Можно смѣло утверждать, что такого цѣннаго материала не дало ни одно изъ доселѣ вышедшихъ изданий.

На изящную виѣшность изданія вообще обращено особенное вниманіе. Шрифтъ, печать и бумага удовлетворяютъ самымъ строгимъ требованіямъ.

XXI и XXII томы заключаютъ въ себѣ дополнительныя свѣдѣнія по всѣмъ отраслямъ знанія.

20 основныхъ том. и 2 дополн. въ изящн. полукоожаныхъ переплатахъ по 6 руб.

Пробный выпускъ высылается за 15 коп. (можно почтов. марками).

Допускается разсрочка платежа,

на условіяхъ, изложенныхъ въ каталогѣ изданій Т-ва „Просвѣщеніе“.

<http://rcin.org.pl>

Каталогъ изданій Т-ва „Просвѣщеніе“ высылается, по требованію, бесплатно.

F

Книгоиздательское Т-во „Пресвѣщеніе“, С.-Петербургъ. Забалканскій пр.

24. 163/7

Собраніе сочиненій

В. С. СОЛОВЬЕВА

въ 10 томахъ.

Подъ редакціей и съ библиографическими примѣчаніями

С. М. Соловьева и Э. Л. Радлова.

Къ изданію приложены три портрета и автографъ.



Содержаніе томовъ:

- I и II томы (1873—1880): Философскія сочиненія первого периода.
- III и IV „ (1877—1887): Богословскія сочиненія.
- V „ (1883—1897): Национальный вопросъ и другія публицистическая статьи.
- VI и VII „ (1886—1897): Статьи по исторіи религіи, философіи, эстетикѣ, критикѣ.
- VIII „ (1894—1897): Нравственная философія.
- IX и X „ (1897—1900): Философія и другія сочиненія послѣднихъ годовъ. Статьи изъ энциклопедического словаря. Біографія.

Цѣна за каждый томъ 2 руб.

Каталогъ изданій Т-ва „Пресвѣщеніе“ высылается, не требуяплаты.

